Виктор Некрасов

В родном городе

Харьков
«ФОЛИО»
2018

УДК 821.161.1(477)
Н48

Серия «Библиотека киевлянина»
основана в 2015 году

Составление, предисловие и примечания
А. В. Немца

Художник-оформитель
Е. А. Гугалова

В книге использованы фотографии из личного архива
В. Кондырева

ISBN 978-966-03-7437-9
(Б-ка киевлянина)
ISBN 978-966-03-8123-0

© В. Кондырев (правообладатель), 2018
© А. В. Немец, составление, предисловие и примечания, 2018
© Е. А. Гугалова, художественное оформление, 2018
© Издательство «Фолио», марка серии, 2015

КИЕВ ВИКТОРА НЕКРАСОВА

Уже через год после окончания войны было опубликовано художественное произведение, посвященное её решающему сражению — Сталинградской битве (17 июля 1942 — 2 февраля 1943). А в этом году мы празднуем уже 75-ю годовщину победы в ней. Дебют молодого автора — Виктора Платоновича Некрасова — оказался по общему признанию исключительно удачным, и, как впоследствии точно отметил Сергей Довлатов, писателю удалось проделать неслыханный путь от ранней творческой зрелости — к поздней творческой молодости.

Критика отмечала, что прозе Виктора Некрасова присуще такое редчайшее литературное качество, как изящество, то есть суховатая точность, лаконизм, когда все права интерпретаций отданы именно самому читателю.

Предлагаемый сборник произведений Виктора Платоновича Некрасова посвящен Киеву, его родному городу, в котором он родился 4 [17] июня 1911 года. Жили тогда Некрасовы на улице Владимирской, 4, кв. 7. Младенца Вику крестили в соседней церкви Рождества Пресвятой Богородицы (Десятинной) по ул. Владимирская, 2. Произошло это событие 2 [15] июля 1911 года.

В 1912 году — отъезд с матерью в Лозанну (Швейцария), а затем и в Париж (Франция). В 1915 году семья возвратилась в Киев, где поселилась в съемной квартире на улице

Кузнечной (1919—1935 — ул. Пролетарская, 1936—2013 — ул. Горького, с 2014 — ул. Антоновича), 24, кв. № 17.

В 1917—1918 годы маленький Вика Некрасов учился в младшем приготовительном классе коммерческого училища Хорошиловой (ул. Кузнечная, 3), с 1918-го по 1919 год — в старшем приготовительном классе смешанной школы (бывшей женской гимназии Игнатьевой; ул. Пушкинская, 32). В 1926 году окончил 43-ю трудовую школу (ул. Раковского, ныне Ярославов Вал, 25), железнодорожную строительную профшколу — в 1929 году (ул. Святославская, ныне Чапаева, 6).

В 1929—1930 гг. Виктор Некрасов участвовал в строительстве железнодорожного вокзала, красы и гордости нового Киева. С 1930-го по 1936 год учился в Киевском строительном институте, на архитектурном факультете. Институт в 1930—1934 годы размещался на ул. Гершуни, ныне Олеся Гончара, 55-б (сейчас здание Института геологических наук НАН Украины), а в 1934—1941 гг. — на ул. Пирогова, 9 (сейчас Национальный педагогический университет им. М. Драгоманова).

Параллельно он посещал театральную студию при Киевском театре русской драмы (ул. Пушкинская, 6), которую закончил в 1937 году.

В 1936—1938 гг. работал в архитектурных мастерских Киева, в частности, по его архитектурному проекту была построена лестница на Аскольдовой могиле.

С 1938-го по 1941 год Некрасов был актером и театральным художником в театрах Владивостока, Кирова, Ростова-на-Дону.

В августе 1941 года ушел на фронт. Воевал в Сталинграде, на Украине, в Польше. После второго ранения в 1944 году демобилизовался в звании капитана. Жил в Киеве на ул. Горького, 38, кв. 7.

С марта 1945-го по июль 1947 года работал в газете «Радянське мистецтво» (ул. Владимирская, 56, угол бульвара Тараса Шевченко) заведующим отделом.

В 1946 году в журнале «Знамя» была опубликована повесть Виктора Некрасова «Сталинград». Под этим же назва-

нием она вышла и отдельной книгой (в издательстве «Московский рабочий», 1946). Во всех последующих изданиях книга выходила уже под названием «В окопах Сталинграда» (первая публикация — в издательстве «Советский писатель», 1947).

Повесть «В окопах Сталинграда» была удостоена Сталинской премии 2-й степени за 1947 год, издавалась общим тиражом более четырех миллионов экземпляров и переведена на 36 языков.

Вся жизнь Виктора Некрасова была неразрывно связана с Киевом и отмечена безмерной любовью к нему. И куда бы ни забросила писателя его судьба, — в Сталинград, Москву или Париж, — все мысли его неизменно возвращались к родному городу. Свои нежные чувства к Киеву писатель вкладывает в уста Юрия Керженцева, главного героя повести о Сталинграде: «Милый, милый Киев!.. Как соскучился я по твоим широким улицам, по твоим каштанам, по желтому кирпичу твоих домов... Как я люблю твои откосы днепровские... Я и теперь иногда гуляю по Крещатику...»

С 1950-го по 1974 год Некрасов жил в киевском Пассаже (ул. Крещатик, 15, кв. 10). И был известен всему Киеву своим радушием и хлебосольством.

В конце 1950-х он выступил в центральной печати, с горечью говоря об отсутствии памятника погибшим в Бабьем Яру. А в 1966 году участвовал в памятном митинге, приуроченном к 25-летию трагедии Бабьего Яра, к которой он не раз возвращался в ряде своих произведений.

Во многом благодаря очерку В. Некрасова «Дом Турбиных» у широкой публики возник интерес к киевскому дому, где жила семья Булгаковых.

Писатель никогда не оставался равнодушным к проблемам людей, которые подвергались гонениям властей. Некрасов писал открытые письма, подписывал петиции, обращался с протестами. В начале 1970-х власти делали все, чтобы создать ему невыносимые условия для жизни и творчества, вплоть до проведения органами госбезопасности обыска в его квартире в январе 1974 года.

В конце концов Некрасов был вынужден навсегда покинуть Родину. 12 сентября 1974 года он с женой Галиной Викторовной вылетел из Борисполя в Цюрих (Швейцария). Последние годы жизни он прожил в Париже (Франция). Посетил множество стран, приобрел массу новых друзей.

Все книги Виктора Некрасова по распоряжению ЦК КПСС были официально запрещены приказом Главлита № 31 от 13.08.1976, в том числе и «В окопах Сталинграда», с уточнением: «Все издания на всех языках».

Умер Виктор Платонович Некрасов 3 сентября 1987 года, в клинике городка Жантийи под Парижем. Отпевание состоялось 10 сентября в парижском соборе Святого Александра Невского, и в этот же день он был похоронен на русском кладбище в городке Сент-Женевьев-де-Буа, под Парижем.

Друг Некрасова, московский поэт Владимир Корнилов в стихотворении «Памяти Виктора Некрасова», написанном в 1987 году, откликнулся на смерть писателя:

Ты любил свой город Киев
До тверезых слез,
А потом его покинул,
Не хотел — пришлось.

Не одно промчалось лето
В спешке, в маяте,
И все время был ты где-то,
А теперь — нигде...

Стройный, ладный и поджарый,
Еле седоват,
Не болезненный, не старый
И за шестьдесят.

Забулдыга и усатик,
На закате дня
Ты не выйдешь на Крещатик
Повстречать меня.

18 октября 1990 года, в Пассаже, рядом с парадным дома, в котором жил писатель, была торжественно открыта мемориальная доска В. П. Некрасову. Скульптор — друг Виктора

Некрасова — Валентин Евгеньевич Селибер, архитектор — Валерий Александрович Романов.

В 1997 году известный киевский поэт Риталий Заславский посвятил этому событию стихотворение:

ПАМЯТИ ВИКТОРА НЕКРАСОВА

Люди, которым при встрече
он бы не подал руки,
нынче толкают речи
у мемориальной доски.

Речи толкают, толкутся
около дома его:
пара мыслишек куцых,
каждое слово мертво.

Ишь, собрались, прохиндеи,
собой наслаждаются всласть —
мутные, злые идеи,
смутная жалкая власть.

Их уж теперь не прогонишь —
жуткий начальствующий раж.
Видите, Виктор Платоныч,
все-таки влезли в Пассаж*.

Что у них? Наглость? Смелость?
Видно, одна в этом суть:
Вашу судьбу захотелось
как-то к себе пристегнуть!

Сыплют пустыми словами,
им до сих пор невдомек,
что же стояло за вами
в строчках и между строк.

Жалко кучкуясь, толкутся...
ладно, пускай, ничего...
Пара мыслишек куцых,
каждое слово мертво.

В настоящий сборник серии «Библиотека киевлянина» включено шестнадцать произведений Виктора Платоновича Некрасова. Они объединены общей темой — непреходящей любовью писателя к Киеву, непростой истории города, его архитектуре, к близким, друзьям и добрым знакомым, и располагаются в соответствии с годом первой публикации. Четыре произведения публикуются впервые после долгого забвения.

Александр Немец, автор
интернет-проекта «Киевский календарь»
и «Сайта памяти Виктора Некрасова»
(в соавторстве с Виктором Кондыревым)

Повесть, рассказы, очерки

РОЗМОВА ПРО КИЇВ

Наш Київ красиве, чудове місто, але його можна і треба зробити ще красивішим, ще впорядкованішим... Настала пора по-справжньому зайнятися оформленням наших міст, вулиць, майданів, парків, бульварів».

М.С. Хрущов

Якось ще на фронті, задовго до визволення Києва, я зустрів знайомого капітана. Капітан був ленінградцем, архітектором. Я до війни теж був архітектором. Розмова зайшла, звичайно, про мистецтво, архітектуру, про наші рідні міста — Київ і Ленінград. Я згадував і захоплювався красою Ленінграда — його перспективами, ансамблями, витриманістю ліній, завершеністю композицій.

— Так, — сказав я наприкінці, — все-таки далеко архітектурі Києва до Ленінграда, дуже далеко!

— Ось не розумію вас, киян, — заговорив капітан. — Ви все скаржитесь на архітектуру свого міста, але ж Київ — одне з найкрасивіших міст Союзу.

— Дуже красивий, — погодився я, — але як це не дивно, саме не завдяки архітектурі, а незважаючи на неї.

— То що з того? У кожного міста своє лице. І в Києва — своє, у Ленінграда — своє. Чарівність міста — в його неповторності. Не можна прищеплювати характер одного міста — іншому. Проспекти Ленінграда були б недоречні

в Києві, так само, як і чарівно-мальовничі середньовічні провулки старого Вільно в Ленінграді. Усе добре на своєму місті. Захаровське Адміралтейство на дніпровських схилах виглядало б так само безглуздо, як бані Київської Софії в ансамблях Россі.

— Усе це вірно, але факт все-таки лишається фактом: київська рядова архітектура надзвичайно вбога.

Капітан посміхнувся.

— Києву не пощастило з архітектурою, це так. Та хіба тільки будинки визначають лице міста? Воно складається віками. Історія народу, історія самого міста, його рельєф, природні умови — ось складові частини того, що ми називаємо образом, характером чи лицем міста. Звідси народжується і стиль міста, — але не історичний ампір, ренесанс, бароко, а стиль забудування, планування, силуету, архітектурного ландшафту, стиль, що надає місту чогось невловимого, того, що об'єднує його індівідуальні риси, які народжують чарівність цього міста.

І зовсім не обов'язково архітектура повина визначити це лице. Усе це надто тісно переплітається між собою: будинки, сади, бульвари, перспективи вулиць, пам'ятники, фонтани, ліхтарі... Навіть табличка біля зупинки трамвая — це також лице міста...

Капітан помовчав трохи, кілька раз затягнувся цигаркою і продовжував:

— А Київ має яскраво виявлене лице. Дуже яскраве. І я люблю його. На все життя лишаться в моїй пам'яті зелені масиви каштанів, квітучі липи, тіняві вулиці-алеї, стрункі тополі, величезні в'язи, що закривають своїм віттям фасади будинків.

І, подумавши трохи, він додав:

— Ось закінчиться колись війна, приїду я до вас у Київ, поблукаємо тоді з вами його вулицями і садами... Обов'язково поблукаємо...

На цьому закінчилась наша розмова. Мене кудись викликали, а коли я повернувся, капітана вже не було. Він поїхав.

Днів десять тому я його зустрів у Києві, біля трамвайної зупинки. Він приїхав на кілька днів у відрядження. Трамваю довго не було і він запропонував мені:

— Ви дуже поспішаєте? Якщо ні — поблукаємо по місту, продовжимо нашу розмову. Пам'ятаєте, тоді, — на Дінці?

І ми пішли. За кілька годин ми спинились на східцях стадіону «Динамо». Сіли, запалили цигарки. Перед нами в промінні передвечірнього сонця лежав Київ, великий, мальовничий, привільно розкинувшись на своїх горбах. Височіли один над одним будинки, підносячись з темно-зеленого моря дерев. І такі некрасиві зблизька, зараз, здаля, випадково повернуті, приліплені один до одного, в загальній масі своїй вони створювали цілком завершену, хоч і своєрідну, живописну композицію. І над усім цим кам'яним, застиглим сум'яттям, наче якась організуюча сила, спокійно і суворо підносилась дзвіниця Софії.

— Красиво ж! — сказав капітан. — Дивіться, як красиво! І це вже усе випадково, само собою вийшло. Горби і зелень створили цей пейзаж, більше ніхто. Людина тут не при чому. Вона тільки побудувала будинки, а решту доповнила природа. Уявляєте собі, скільки цікавого можна було б створити, коли б місто будувалось за планом, організовано? Навіть подих перехоплює. Ні, чудесно все-таки, цікаво працювати в Києві архітектором. Скільки перспектив, скільки точок! Це вам не Ленінград, рівний наче стіл.

І, знову, помовчавши, зауважив:

— А все-таки як постаріло за ці роки місто. І знаєте, мені здається, що архітектори, скульптори, художники ще не все роблять, щоб омолодити, прикрасити Київ. Подивіться, — на кожному кроці звалені ґрати, побиті вази, поламані дерева, кожна ваза з квітами — усе ж це архітектурні деталі міста. Загалом вони й створюють лице міста, особливо такого, як Київ, як дерево відіграє мало не провідну роль в його зовнішньому оформленні.

А вулиці! Які вони звідси красиві! А поблизу? — Я вже не пам'ятаю, якими вулицями ми з вами ходили — Толстого, Горького, Володимирською. З своєю багатою рослинністю, широкі, наповнені повітрям, вони могли б бути прикрасою міста, коли б тільки запорошені пустощі між будинками і тротуарами перетворити в газони, посадити кущі, квіти. І це ж зовсім просто і не дорого. Кожний такий клаптик землі цінувати треба. Зовсім недавно Хрущов про це сказав: «У Києві багато гір, багато схилів, багато парків, бульварів і в той же час багато місць ще не впорядковано, не засаджено зеленню... Треба використати всі місця і, де тільки можливо, посадити фруктові й декоративні дерева, квіти. Місто любить порядок: треба зробити так, щоб міському населенню було де відпочити, де розважатися».

Ми проходили з вами Софійський майдан. Це один з найцікавіших майданів міста, але ж велика його частина — від трамвайної колії до будинків — зовсім не організована, не використана. Брукований камінь проріс травою — ні автомобілі, ні навіть пішохідці ним не користуються. Чому ж не перетворити цей нудний камінь у зелений куток? Навряд щоб майдан став від цього гірший.

— Києву з майданами так само не пощастило, як і з архітектурою, — погодився я. — Їх багато, але вони не мають архітектурної цінності. Та й використовуються вони не за призначенням. На Сінному — базар, на Галицькому — базар...

— У Москві всі базари з вулиць і майданів перевели — і Сухарівку, і Арбатський, і Смоленський.

— Так, майдан — центр кількох вулиць — місце найбільшої архітектурної насиченості. Згодом їх, мабуть, перепланують. До війни вже такі проекти були.

— Згодом... А чому б зараз, уже зараз не прибрати ці рундуки і кіоски далі від центру, не розпланувати там скверів, не прикрасити їх скульптурами?.. До речі, про скульптуру. Майстри тримають її за сьомома замками, в майстернях, музеях. А як добре виглядає вона на майдані! І сама від цього виграє, і майдан прикрашує,

організовує його. Монументальна скульптура не любить кімнати. Їй потрібні простір, повітря, архітектура, яку вона могла б доповнити. Ніщо так не організує, не надає композиційної завершеності майданові, як скульптура. Я не кажу вже про те, що на майдані її сприйматимуть десятки тисяч людей, а не окремі відвідувачі музеїв. І не обов'язково зразу ж брати граніт і бронзу. Можна поки що з гіпсом примиритись.

Ось праворуч від оперного театру невеликий прямокутний майдан. — Якісь сходи з ліхтарями, кілька дерев — і все. Порожньо. А поставити туди скульптуру — зразу ж оживе майдан, зміцніє, відродиться. Пригадайте флорентійський майдан Сеньйорії з мікельанджелівським Давидом, мармуровим Нептуном Аманатті, пам'ятником Козімо Медічі та іншими скульптурами, розміщеними в лоджії і просто на майдані. Хіба погано? Або наш ленінградський Літній сад. Петергоф? Адже ваші сади набагато кращі від ленінградських, а крім стандартних фонтанів — у них нічого немає. Слово честі, прикро стає за скульптуру.

Навіть такий одвертий ворог прикрас, як вождь конструктивістів Ле Корбюзьє сказав:

«В усякому архітектурному ансамблі є місця, що являють собою наче ключ до пропорцій навколишніх архітектурних творів. Це місця високої інтенсивності, місця, де поєднано всі умови для виголошування промови — пластичного, звичайно, характеру промови».

А скільки ж таких місць у Києві і розповісти нам є нібито про що. Як на вашу думку?

Якийсь час ми мовчали. Сонце зайшло за дахи будинків, на мить затримавшись на білосніжній дзвіниці Софії.

— Вам подобається Софія? — запитав капітан.

— Це архітектурна прикраса нашого міста.

— Колись вона була значно красивішою, ніж зараз. Я кажу про дзвіницю.

— Колись? — не зрозумів я. — У XVIII столітті?

— Ні, навіть значно пізніше. Років сорок тому, — зауважив капітан, підводячись. — Ось ви — киянин, а, мабуть, не знаєте, що ця дзвіниця колись була зовсім не білою. Подивіться альбоми Лукомського. Наче мереживо. Білий орнамент на блідо-зеленавому, фісташковому фоні... Прекрасно! Адже цінність дзвіниці, громіздкої і важкої, саме в цих казково-фантастичних скульптурних прикрасах. За словами того ж Лукомського, — а це ж один з найбільших знавців староросійської і української архітектури, — нічого подібного до цієї орнаментики в Росії немає, за винятком Георгіївського собору XIII століття в м. Юр'єві. А зараз усе це замазано суцільною білою фарбою.

Шкода!

І він протяг мені руку.

— Вам, здається, ліворуч? Мені праворуч. Може, через кілька років знову зустрінемось — і орнамент тоді вже буде на зеленому фоні, і ґрати поставлено, і квіти у вазах, і газони на всіх вулицях. А в садах — багато скульптур. Адже у вас досить талановитих архітекторів, скульпторів, художників! Кияни ж так люблять своє місто! Чудеса можна творити. Ось тоді знову поблукаємо і поговоримо.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О КРЕЩАТИКЕ

Когда на рассвете 6 ноября 1943 года советские войска ворвались в центр горящего Киева, на Крещатик, они увидели страшную картину — Крещатика фактически не существовало. Некогда оживленная, веселая улица лежала в развалинах. Только в начале и конце ее чудом сохранилось десятка полтора домов, все остальное было взорвано, сожжено, разрушено.

Сейчас человек, видавший занесенные снегом печальные руины 1943 года, вряд ли узнает эти места. Буквально на глазах рождается новая магистраль. На месте старого, милого сердцу каждого киевлянина, но архитектурно мало выразительного, застроенного в большинстве своем двух- и трехэтажными домами Крещатика, должен возникнуть новый Крещатик — величественный и красивый, объединенный единой мыслью, цельный и законченный архитектурный ансамбль.

Задача нелегкая и по масштабам и по ответственности. К тому же Крещатик по своим планировочно-топографическим условиям — одна из сложнейших для проектирования магистралей. Его малая длина, крутой поворот в середине, множество вливающихся в него на небольшом пространстве улиц, наличие трех площадей и общее его расположение в долине, между холмов, — чрезвычайно усложняют работу. Все это требует от архитектора прежде всего внимательной, продуманной во всех деталях разработки генерального плана — основы всего проекта.

За последнее время в киевской газете «Радянське мистецтво» («Советское искусство») появилось несколько статей, посвященных этому вопросу. Авторы — член-корреспондент Академии архитектуры УССР А. Касьянов, архитектор И. Малоземов, народный художник УССР К. Трохименко, член-корреспондент Академии архитектуры СССР Ю. Савицкий, действительный член Академии архитектуры УССР А. Вербицкий, кандидат архитектуры Л. Синькевич, народный артист СССР Ю. Шумский — во многом друг с другом не соглашаются, спорят, но приходят к выводу: в планировке и строительстве Крещатика далеко не все благополучно.

То же можно услышать и на улицах, в трамваях, троллейбусах — киевляне живо интересуются обликом нового Крещатика. Правда, судить о нем они могут пока только по первым воздвигнутым зданиям да по выставляемым во время праздников в витринах магазинов проектам отдельных сооружений, но в разговорах, так же, как и в статьях, звучит беспокойство: таким ли получается Крещатик, каким хотелось бы его видеть?

Есть ли основания для этого беспокойства? Попытаемся разобраться.

Работы по проектированию Крещатика начались в 1944 году. В результате многочисленных конкурсов окончательный проект составила под руководством действительного члена Академий архитектуры СССР и УССР А. Власова группа архитекторов — А. Добровольский (главный архитектор города), В. Елизаров, Б. Приймак, А. Заваров и А. Малиновский. По их проекту правая сторона Крещатика отводится для административных зданий и застраивается сплошной линией — без разрывов между отдельными домами. Противоположная же, левая сторона решается в виде отдельно стоящих жилых ансамблей, с большими, в 100—150 метров разрывами между ними. По мнению авторов проекта, архитектура домов, расположенных на прилегающих к Крещатику холмах, должна войти в общий его ансамбль.

Мысль интересная. Система ассиметричного решения улицы, пожалуй, впервые встречается в практике проекти-

рования городов и в данном случае безусловно удачна. Тянущаяся по левой стороне, вдоль жилых ансамблей, линия бульвара соответствует характеру города, делает Крещатик живописным и подчеркивает его значение не только как делового центра, но и как излюбленного места прогулок киевлян. Удачна и общая тональность зданий на улице. Светлый, солнечный цвет керамики, которой облицованы дома, в сочетании с зеленью прекрасно привившихся каштанов, лип и кленов, придает улице приветливый, жизнерадостный вид.

И все же, ни интересная мысль, положенная в основу проекта, ни отдельные, в основном удачные детали его никак не могут скрыть весьма серьезных ошибок и промахов, допущенных при проектировании Крещатика.

Вот несколько фактов, по которым можно об этом судить.

Строительство Крещатика идет полным ходом, до сих пор не разрешены два существеннейших его узла — его начало и конец — площадь Сталина и Бессарабка. Окончательных проектов этих двух очень сложных для проектирования площадей до сих пор нет, и по-настоящему к ним еще не приступали.

Наиболее живописные уголки Крещатика (поросшие зеленью холмы около площади Калинина и Бессарабки) застраиваются новыми домами, в то время как в композицию улицы вводятся случайно стоящие тыльные фасады старых дореволюционных еще домов.

Так, например, получилось со специально запроектированным разрывом между уже построенным домом № 27 и другим, еще строящимся домом по левой стороне Крещатика. По проекту, разрыв этот должен был включить в ансамбль Крещатика большой внутриквартальный участок и строящийся сейчас на вершине холма 9-этажный жилой дом. На деле же оказалось построенным где-то в стороне, случайно, без малейшей связи с ансамблем. Пришлось на ходу принять решение — на месте разрыва строить еще одно здание.

Таким образом, вопрос раскрытия внутриквартальных участков (одна из основных идей проекта) оказался недостаточно продуманным.

Еще менее продумали авторы проекта место, где улица Свердлова вливается в Крещатик. Если в предыдущем случае неудачное решение генерального плана пытаются спасти постройкой нового дома, то здесь запроектированное уже здание строить не будут.

По генеральному плану улицу Свердлова из-за ее крутизны следовало, как проезжую, закрыть. Со стороны Крещатика предполагалось ее замкнуть зданием концертного зала консерватории, оставив по бокам только проходы для пешеходов. Сейчас решено — концертный зал на этом месте не ставить. Улица Свердлова остается открытой, устье ее противоестественно расширено (воздвигающиеся в этом месте здания начали строить еще тогда, когда предполагалось сооружать концертный зал), а противоположная сторона Крещатика уже застроена — застроена без учета ее видимости с улицы Свердлова. Таким образом улица упирается в угол нового здания на Крещатике и виднеющуюся из-за него тыльную сторону старого дома.

Концертный зал консерватории, как мы видим, не будет строиться на улице Свердлова. В этом есть логика — концертный зал и консерваторию лучше воздвигнуть в более тихом удаленном от центра месте. К нашему удивлению, консерватория вместе с залом отстраивается сейчас на другом, не менее бойком месте — в здании бывшей гостиницы «Континенталь» на улице К. Маркса. А здание бывшего института благородных девиц, находящееся на горе и окруженное парком (оно само собой напрашивалось для консерватории), передано почему-то под строительство клуба промкооперации.

Один из наиболее сложных и не решенных до сих пор узлов нового Крещатика — площадь Калинина. Примыкая подковой к правой стороне Крещатика, она расширяется сейчас за счет партерного парка, поднимающегося уступами на месте уничтоженного гитлеровцами квартала по левой

стороне улицы. В самой высокой части парка предполагается соорудить высотное здание гостиницы.

Можно ли признать удачным такое решение? Площадь Калинина имеет вполне законченную, архитектурную четкую конфигурацию. Принцип разрешения нового участка пока не совсем понятен. Форма его расплывчата и неясна, размеры явно преувеличены и не масштабны по отношению к сравнительно короткому и широкому Крещатику, а архитектурное обрамление такого большого незастроенного пространства ограничивается стоящим в стороне на горе зданием бывшего института благородных девиц, предполагаемой высотной гостиницей (к проекту ее, правда, еще не приступали) и тылами расположенных ниже парка домов ул. К. Маркса.

Место вливания ул. К. Маркса в Крещатик также не решено — левый ее угол отодвинут по отношению к правому на добрую полсотню метров, и улица в самой ответственной ее части — начало — теряет свою стройность (тот же случай, что и с улицей Свердлова).

В связи со всем сказанным возникает вопрос — уместна ли вообще такая большая площадь (по длине своей она равна одной трети Крещатика) в самом центре города, к тому же на расстоянии одного квартала от другой площади — площади Сталина и мощной зеленой полосы надднепровских садов. Не следует ли эту новую площадь (если она все-таки останется) ограничить в размерах и придать ей более правильную, а не случайную форму. Вопрос этот разбирается со всех точек зрения в статьях, опубликованных «Радянським мистецтвом», но решенным его до сих пор считать никак нельзя.

Здание городского Совета предположено построить не на площади, а на участке между ул. Ленина и ул. Свердлова. Есть описание, что это важное по своему значению здание будет много терять от соседства с расположенным через улицу, на холме, высотным жилым зданием. Высказывалось мнение, что значительно более удачным местом для здания горсовета была бы площадь Калинина, в своей новой части, непосредственно за вновь построенной лестницей, в начале партерно-

го парка. При таком решении выигрывает не только здание горсовета (центральное, а не проходное местоположение, площадь перед зданием, парадная лестница), но и сама площадь, получающая определенное архитектурное завершение.

Мы привели только несколько наиболее существенных фактов, по которым можно судить о положении на Крещатике.

Какие же напрашиваются выводы?

Крещатик строится полным ходом, но строится по плану, который явно недоработан. На проектирование и строительство затрачены уже значительные средства, но, как видим, многое меняется на ходу, в спешке, проверяется в натуре, когда здания построены и допущенные ошибки исправить невозможно.

Я думаю, что проектировщики и главный архитектор города тов. Добровольский должны вынести свой проект на широкое обсуждение. Это надо сделать, не откладывая, пока еще не поздно, хотя лучшее время уже упущено.

Хотелось бы, чтобы обсуждался макет нового Крещатика. Ведь на аккуратно вычерченных фасадах и живописно нарисованных перспективах всегда получается красиво, в жизни же, к сожалению, не всегда.

Еще одно замечание. Непонятно, почему так узок круг архитекторов, работающих над восстановлением Крещатика? Почему не привлечена к проектированию Академия архитектуры УССР? Почему не объявляются конкурсы на отдельные объекты Крещатика? В таких конкурсах могли бы принять участие десятки архитекторов со всех концов страны: сейчас же, как это ни странно, в застройке Крещатика участвуют (в различных комбинациях) только авторы проекта. Отдавая должное их знаниям и способностям, нельзя не высказать опасение, что, при столь узком круге участников, архитектуре Крещатика грозит весьма опасное однообразие.

Еще не все упущено. Есть еще время исправить ошибки и недоделки. Есть все условия, чтобы создать Крещатик таким, каким он должен быть, — красивым, приветливым, радостным.

1952

В РОДНОМ ГОРОДЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Трамваи ходили редко и были так переполнены, что Николай со своей раненой рукой предпочел идти с вокзала пешком. День был солнечный, яркий, и после шести дней тряски в душном эшелоне пройтись по улице было даже приятно.

Дойдя до Владимирской, Николай почувствовал легкое головокружение — он отвык от ходьбы — и присел на ступеньки возле аптеки.

Напротив, через улицу, под козырьком из фанерного листа бойко торговал мороженым и водами веселый, громогласный продавец. Покупатели то и дело подходили к нему.

Николай, посидев, тоже подошел. Продавец дружески подмигнул, указывая глазами на подвязанную к лангетке руку Николая.

— С фронта небось, товарищ капитан?

Николай кивнул головой.

— Может, тогда сто грамм прикажете?

— Нет, не надо.

— А то хорошая, «Московская»...

— Нет, не надо, — ответил Николай, чувствуя, что после третьего предложения он уже не сможет отказаться.

— Напрасно, товарищ капитан, ей-богу напрасно. В вашем возрасте я не отказывался.

Продавец был явно расположен разговаривать, но Николай выпил свой стакан воды, расплатился и пошел дальше.

Возле шестиэтажного углового дома Николай остановился. Закурил. Дом был сожжен. Сквозь пустую витрину молочного магазина — еще вывеска сохранилась — видны были груды обгорелого кирпича и на них две застывшие друг против друга кошки — черная и рыжая.

«Фу ты, кошки...» — подумал Николай и быстро, чтоб они не перебежали дорогу, свернул за угол.

Соседний с угловым, двадцать четвертый номер, тоже был сожжен. На стене у входа еще виднелись надписи, сделанные мелом. Из них только две можно было разобрать: «А. Вайнтрауб живет на М. Васильковской, 16, кв. 3» и «Гуреевы — Жилянская, 6». Остальные за год стерлись.

До войны Вайнтраубы жили в пятнадцатой квартире. Николай их хорошо помнил: муж, жена и восьмилетний мальчик Жора. В обеденный час мамаша высовывалась из окна и кричала на весь двор: «Жора, Жо-ора!» Это длилось очень долго, так как Жора никогда не слышал, а когда слышал — убегал на задний двор. Гуреевых Николай не помнил.

Некоторое время Николай стоял перед домом и, задрав голову, смотрел на пятый этаж. Маленький тополь, росший из трещины балкона, за эти три года так вырос, что стал уже вровень с перилами. Сквозь окна было видно небо и изогнутые железные балки.

Из ворот вышла женщина с корзинкой и торопливо пошла вниз по улице.

«Флигель, вероятно, цел», — подумал Николай и вошел в ворота. Первый флигель был сожжен, второй сохранился. Через весь двор была протянута веревка, на ней сохло белье, а рядом на табуретке сидела старушка и чистила картошку. Николай подошел и спросил довольно спокойно:

— Простите, бабушка, вы и до войны жили в этом доме?

Бабушка вздрогнула и испуганно посмотрела на Николая.

— А?

— Я спрашиваю: вы и до войны жили в этом доме?

— В этом доме? Нет, нет... — Она с испугом смотрела на его перевязанную руку. — Нет, мы в восемнадцатом номере жили. Здесь с ноября только.

— Я о жильцах одних хотел узнать, — сказал Николай и, заметив, что старушка плохо слышит, повторил погромче:

— О жильцах спросить хотел...

— Не знаю, не знаю... — Старушка замотала головой. — Мы здесь только с ноября живем, как наши пришли.

Она тревожно глянула на развешанное белье, потом на Николая, словно проверяя, не взял ли он чего-нибудь.

— Не знаю, не знаю... Мы здесь с ноября только живем... — в третий раз сказала она и опять принялась за картошку.

— Вы кого ищете? — раздался за спиной Николая женский голос.

Николай обернулся. Невысокая, очень худая женщина, в калошах на босу ногу, с мусорным ведром в руке, внимательно смотрела на него.

— Вы из какой квартиры? — спросила она и поставила ведро на землю.

— Из семнадцатой, — ответил Николай.

— Митясов ваша фамилия?

— Митясов...

Женщина серьезно, без улыбки смотрела на него.

— Ой-ой-ой, как вы изменились! Такой молоденький были, а теперь... — Она, как и все, посмотрела на его повязку. — Ранены? Да?

— Как видите.

Женщина покачала головой.

— Ужасно как изменились... Просто ужасно, — она сочувственно покачала головой. — Вот вы меня не узнаете, — Николай действительно никак не мог ее припомнить, — а я сразу узнала. У вас, я помню, еще собака была.

— Была. Рыжик. Щенок. Ему и года еще не было.

— И ваш сынишка прогуливал ее еще в этом дворе.

— Нет, у нас детей не было. Это не наш сынишка.

— Разве не было? А мне казалось, что был.

— Нет, не было. Это соседский, Смирновых...

Они помолчали. Николай ждал, что женщина еще что-нибудь скажет, но она молчала и только сочувственно, очевидно уже машинально, качала головой.

Подошел мальчик лет восьми и, раскрыв рот, стал смотреть на Николая.

— А про Шуру вы ничего не знаете? — спросил Николай, не глядя.

Женщина зачем-то развязала и опять завязала платок на голове.

— Они, кажется, при немцах оставались? — спросила она.

— Оставались. У нее мать больная была.

Женщина почему-то вдруг оживилась.

— Да-да. Старуха умерла. У нее, кажется, рак был.

— А Шура?

— Шура? — Женщина задумалась и опять поправила на голове платок. — Шура сейчас здесь не живет. Она на Жилянской, кажется, живет.

— Не... В тридцать восьмом номере вовсе, — сказал мальчик и опять раскрыл рот.

Николай пристально посмотрел на него.

— А ты откуда знаешь, о ком мы говорим?

— Знаю, о тете Шуре, что в семнадцатой квартире жила.

— А теперь, значит, в тридцать восьмом? Ты точно знаешь?

— Точно. С улицы, на третьем этаже. Я ей раз помогал дрова нести. У нее тогда рассыпались, а я помог собрать. И нести помог.

— Это четвертый или пятый дом от угла, — сказала женщина. — Там, где примусная мастерская. Теперь я вспомнила, она туда переехала, — и улыбнулась, — не в мастерскую, конечно, а в дом.

Николай тоже улыбнулся.

— Ну, спасибо, большое спасибо, — и торопливо, точно боясь, что его задержат, зашагал по направлению к улице.

Женщина некоторое время смотрела ему вслед, опять покачала головой, потом взяла свое ведро и, шлепая сваливающимися с ног калошами, пошла к мусорному ящику.

Николай быстро шел по улице и смотрел по сторонам. Прошли мимо две девушки и обернулись. Николай тоже

обернулся. Девушки рассмеялись. Николай расправил складки гимнастерки. Она была коротенькая, выцветшая, с наполовину оторванным и засунутым за ремень рукавом. Широкие маскировочные шаровары, рука на перевязи — вид не совсем обычный для тылового города. Прохожие оборачивались. Николай невольно поймал себя на том, что это ему даже приятно.

Дойдя до угла, он увидел парикмахерскую и вспомнил, что надо побриться. Парикмахерская была та самая, в которой он брился еще до войны. Николай зашел. Парикмахер, новый, узкоплечий, с копной удивительно мелко вьющихся волос, с презрительно-скучающим выражением лица чистил ногти, развалившись в кресле. При виде вошедшего сразу вскочил.

— Усы и бачки сбреем? — неожиданно весело спросил он, бросая под стол грязную и вынимая из ящика свежую салфетку.

— Сбреем, — сказал Николай и посмотрел на себя в зеркало.

Он давно не видел себя в таком большом красивом зеркале. Оказалось, что лицо его стало совсем медным от загара, брови и ресницы выгорели, а отпущенные от нечего делать в госпитале усы и баки выросли почему-то рыжими. Лицу они, безусловно, придавали лихость, но в то же время явно старили. Николай решительно повторил:

— Сбреем, ну их...

Парикмахер спросил, где и как Николая ранило и скоро ли наши будут в Варшаве. Николай отвечал и чувствовал, что к ответам его прислушиваются. Даже кассирша — пышная, полногрудая девица с сонными от жары глазами — вылезла из-за загородки, чтоб лучше слышать.

Парикмахер стал брить усы. Николай не мог отвечать на вопросы и, следя в зеркале за движениями парикмахера, старался припомнить, как выглядит тридцать восьмой номер, о котором говорил мальчишка во дворе. Сначала ему показалось, что это тот большой серый дом, в котором была мясная лавка. Затем, — что маленький, двухэтажный,

с обваливающимся балконом. Потом вспомнил, что маленький — это тридцать четвертый, серый — тридцать шестой, а следующий за ними, — он не помнил какой, — но помнил, что перед ним рос старый, дуплистый вяз с кучей вороньих гнезд, под которыми тротуар всегда был белым. Очевидно, это и есть тридцать восьмой.

Николай стал думать о Шуре, но сразу же постарался отогнать эту мысль: Шура почему-то представилась ему похожей на ту женщину из двадцать четвертого номера — худой, поблекшей, с морщинками возле глаз. Чтоб не думать об этом, он стал рассматривать в зеркало пышную кассиршу, которая опять забралась за свою перегородку и от жары и безделья клевала носом.

Парикмахер сделал компресс, массаж, запудрил все лицо, отчего оно стало розово-лиловым, и, стряхнув последние волоски, сказал:

— Ну что? Правильная работа?

— На десять лет помолодели, — сказала из-за своей загородки кассирша, — жена не узнает.

— Узнает, — рассмеялся Николай и еще раз, издали, посмотрел на себя в зеркало. Если б не белесые, выгоревшие брови и слишком широкий нос, он совсем был бы собой доволен.

Он заплатил лишнюю десятку и вышел. Парикмахер, прощаясь, усиленно приглашал его заходить почаще.

2

Тридцать восьмой номер оказался именно тем домом, о котором подумал Николай. Вяз по-прежнему стоял на своем месте, и по-прежнему над ним вились вороны, а на тротуаре белели пятна. Дом был пятиэтажный, кирпичный. Маленькие тонконогие девочки, отчаянно визжа, играли на тротуаре в «классы».

Переходя с противоположной стороны, Николай посмотрел на окна третьего этажа (мальчик говорил, что на третьем этаже) и решил, что второе справа, с белень-

кой занавеской, из-за которой выглядывал фикус, и есть Шурино.

Николай вошел в парадное и по темной лестнице, с забитыми фанерой окнами, поднялся на третий этаж. Там оказалось две двери, одна против другой. На правой висела бумажка с указанием, сколько кому стучать. Фамилии Митясовой на ней не было. Николай постучал в дверь напротив. Где-то в глубине, очевидно на кухне, слышны были голоса, но никто не открывал. Он постучал еще раз. Никто не подходил.

«Если и сейчас не откроют — значит, все в порядке», — загадал Николай, и в ту же секунду донесся далекий женский голос:

— Эмма, слышишь же, стучат! У меня руки мокрые...

Не дожидаясь Эммы, Николай торопливо постучал третий раз, и за дверью раздалось веселое детское: «Сейчас, сейчас!..»

Дверь отворила девочка лет двенадцати.

— Вам кого? — спросила она.

— Скажите, Митясова здесь живет? Или Вахрушева, может быть?

— Александра Павловна?

— Александра Павловна.

— Здесь. — Девочка повернулась в сторону кухни и крикнула: — Мама, это к тете Шуре.

Из темного коридора, вытирая руки об юбку, вышла женщина с озабоченным лицом.

— Что ж ты свет не зажигаешь, Эмма? — Девочка повернула выключатель. — Вы к Александре Павловне?

— Да.

— Ее нет дома.

Женщина вопросительно смотрела на Николая, придерживая одной рукой дверь. Николай по-прежнему стоял на площадке.

— Вы хотите ей что-нибудь передать? — спросила женщина.

— Нет... То есть... Я хотел ее видеть.

— Но ее сейчас нет дома. У нее замок висит на двери.

Женщина почему-то не приглашала его войти, и Николаю пришлось самому сказать, что он хотел бы дождаться Александру Павловну.

— Ну что ж, — сказала женщина, — пройдите тогда на кухню. Эмма, покажи.

Женщина пропустила в дверь Николая, и он пошел вслед за Эммой по очень длинному и темному коридору.

На кухне шипело три или четыре примуса. Эмма сняла с табуретки таз с мыльной водой. Николай сел. Эмма подкачала один из примусов и, так ничего и не сказав, ушла.

Потом пришла женщина с озабоченным лицом. Она, очевидно, почувствовала какую-то неловкость в том, что офицер, к тому же раненый, сидит на кухне, и предложила Николаю перейти в комнату, хотя у них там и беспорядок. Николай сказал, что, если он не мешает, ему и здесь хорошо, и спросил, когда приходит обычно Шура.

— По-разному, — ответила женщина, мешая что-то в кастрюле и стоя к нему спиной. — В три, четыре, пять... Иногда и поздно вечером.

Помолчав, она спросила:

— А вы что, родственник ее или знакомый?

— Родственник, — ответил Николай.

Женщина потушила примус и ушла.

Зашли и ушли, ничего не говоря, но с любопытством взглянув на Николая, еще две женщины. Потом вбежал на кухню очень хорошенький мальчишка лет пяти, курчавый, светлоглазый и общительный. Его сразу заинтересовала повязка.

— У дяди Феди тоже такая была, — сказал он, — только не тут, а тут. Он на костылях ходил. Вы ходили на костылях?

— Нет, не ходил, — ответил Николай.

Мальчик старательно поковырял в носу и опять спросил:

— А почему у вас одна Красная Звезда?

— Не заслужил больше.

— У дяди Феди две. И такая медаль, как у вас. И еще одна. На ней винтовка и шашка. Как вас зовут?

— Дядя Коля. А тебя?

— Вова. Вы к тете Шуре пришли?

— К тете Шуре.

— А зачем?

Николай рассмеялся.

— Хочу на нее посмотреть.

Вова сел на корточки, провел пальцем по сапогам Николая и сказал:

— Принести щетку?

Николай улыбнулся:

— Вот это ты правильно заметил, Вова. Валяй-ка, принеси.

Вова застучал голыми пятками по коридору и через минуту принес старую, облезлую сапожную щетку. Николай почистил сапоги. Вова сосредоточенно за ним следил, сидя рядом на корточках.

— А зачем вам надо на тетю Шуру смотреть? — спросил он.

— Да просто так, хочется.

— А ее столик вы знаете какой?

— Какой столик? — не понял Николай.

— Как какой? У всех тут есть столик. Показать?

— Ну, покажи. Или нет: я сам угадаю. — Николай оглядел кухню. — Вот тот? Да?

— Ага. А откуда вы знаете?

— Угадал.

Николай подошел к столику. Он был очень чистый, опрятный, покрыт свежей клеенкой. Стояло несколько кастрюлек, повернутых вверх дном, горшочек с солью. Справа, на приделанной к стенке полочке, тоже покрытой клеенкой, лежало мыло, две зубные щетки и бритвенный прибор с помазком.

— А это чье? — спросил Николай.

— Что? Щеточки? Красная — тетя Шуры, а желтая — дяди Феди. Нельзя ж одной щеткой чистить зубы, правда?

— Нельзя, — сказал Николай и подошел к окну. — Конечно, нельзя.

Внизу, на дворе, двое парней пилили дрова. Несколько минут Николай следил за мерно раскачивающимися фигурами, потом, не оборачиваясь, спросил, давно ли дядя Федя здесь живет.

— Как давно? — удивился Вова. — Всегда. Мы из Уфы приехали, он уже жил... Вы умеете в крестики и нолики играть?

— Нет, не умею.

Николай провел рукой по шелковистым Вовиным кудряшкам и направился к выходу.

3

Очень молоденькая и очень тоненькая сестра с подхваченными марлевой косынкой волосами сидела у окна в приемном покое и читала растрепанную, пухлую книгу.

— Вам надо еще в центральный распределитель сходить, — сказала она, взглянув на Николая и не притрагиваясь к протянутым ей бумагам.

— Зачем? — спросил Николай. — Мне сказали прямо в Окружной госпиталь идти.

— Нет, у нас так не принимают. Обязательно нужно через распределитель. — Она посмотрела на него снизу вверх и чуть-чуть улыбнулась. — Ведь вы с фронта, да?

— Так точно, — ответил Николай.

— С фронта все через распределитель. Это на Красноармейской, пятьдесят шесть. У нас только по направлениям Округа.

Он молча взял свои бумаги и стал запихивать их в планшетку.

— Простите, — сказала вдруг девушка, — дайте мне их на минутку.

Она вышла и почти сразу же вернулась.

— Знаете что? — Она глянула на часы. — Сейчас начало девятого. В десять часов придет майор Свешников. С ним всегда можно договориться. Приходите к десяти.

— Спасибо.

— Температура у вас нормальная?

— Спасибо. Нормальная.

Николай кивнул головой и вышел.

На перилах госпитального мостика, у массивных в виде арки ворот, — госпиталь был старинный и походил больше на крепость, чем на лечебное учреждение, — сидели, болтая ногами и покуривая, раненые.

— Эй, браток, с какого прибыл? — крикнул кто-то из них, но Николай не расслышал и молча прошел мимо.

— Не приняли, должно. В распред послали. Всех они в распред посылают...

Дойдя до старого вала, Николай остановился. Солнце садилось, и сквозь зелень тополей был виден город, освещенный косыми лучами. В воздухе пахло мятой, свежескошенным сеном. Где-то неподалеку, совсем как в деревне, грустно мычала корова. Стоял ясный, тихий августовский вечер.

Николай вынул кисет и сел под тополем. Это был старый, раскидистый, потерявший свою былую стройность тополь.

Прямо под валом расстилалось зеленое поле стадиона, а за ним, невероятно рельефные и четкие в вечернем освещении, громоздились друг на друга дома среди густо-зеленых, кое-где только начавших золотиться осенних садов. Чуть правее ярко-белым пятном на фиолетовом вечернем небе выделялась колокольня Софийского собора. Левее крепкой, точной линией вырезывался горизонт с разбросанными маленькими построечками на пологих холмах и почти черной линией дальних лесов.

Отсюда, с высоты, совсем не было видно, что город разрушен. Он казался таким, каким был всегда, каким помнил его Николай пять, десять лет тому назад. Только купол на соборе был тогда не красным, а золотым и стадион не имел такого заброшенного вида, как сейчас.

Солнце давно уже село, погас крест на колокольне, город стал плоским и расплывчатым, только линия горизонта попрежнему четко и ясно огибала его. Подул легкий ветерок. Зашумели тополя.

Николай посмотрел на часы. Было всего лишь девять часов. Он встал, отряхнул траву с брюк и пошел вниз по Госпитальной улице.

Улица упиралась в базар. Несмотря на поздний час, торговля шла полным ходом. Иногда где-то раздавались милицейские свистки, и торговки, подхватив свои корзины, забивались во дворы, но через минуту все опять выползало на улицу и растекалось среди рундуков и киосков.

Николай зашел в закусочную — он с утра ничего не ел. В закусочной было накурено и тесно. На стойке горела большая керосиновая лампа, и на двух столиках стояли свечи. Николай взял двести граммов свиной, называемой почему-то домашней, колбасы, хлеба и кружку пива.

Три столика из четырех были заняты. За четвертым сидел хмурый человек с подвязанной щекой и ел винегрет. Николай подсел к нему и отхлебнул пива, — оно было теплое и противное. Хмурый человек ел молча, быстро, не глядя на Николая. Потом он встал и ушел. На его место сел другой — светловолосый, румяный, с маленькими закручивающимися усиками. На нем была песочного цвета — очевидно, иранская, подумал Николай — гимнастерка с расстегнутым воротом, обнажавшим загорелую шею. Военная фуражка с голубым околышем сдвинута была на затылок.

Парень поставил на стол две бутылки пива и сразу же, привычным жестом, ударив о край стола, сбил с них металлические пробки.

— Никогда не бери бочкового, — сказал он, смахнув на пол пену. — Только жигулевское. И только четвертого завода. У Фимки всегда есть.

Его быстрые серые глаза остановились на руке Николая.

— Дать полтора за Лонжин?

— Что? — не понял Николай.

— За Лонжин, говорю, полтора куска дать?

— Я не продаю часы, — сухо ответил Николай.

Светловолосый повернулся и, как свой в этом заведении человек, крикнул через головы соседей хозяину:

— Фима, налей два по двести.

На столе появилось два стакана. Парень подвинул один Николаю.

— Поддержи, капитан. — И, не спрашивая, взял с тарелки Николая ломтик колбасы. — С Первого Белорусского?

Николай кивнул головой.

— Ну, как там наши?

— Ничего, воюют.

Парень глянул на перевязанную руку Николая.

— Перелом?

— Перелом.

— Пальцы работают?

— Нет.

— Знакомая картина. Нерв. Тебя где ранило?

— В Люблине.

— Ничего, заживет. Будь здоров. — Парень выпил и сморщился. — Хороша!

Николай тоже выпил. Водка была крепкая, захватывала дух.

— По особому заказу, — сказал парень и улыбнулся. Передние зубы у него оказались металлическими.

Он стал расспрашивать о последних событиях на фронте. Потом, посмотрев на стаканы, подмигнул:

— Еще по одной?

— Погоди, — сказал Николай, чувствуя, что с непривычки захмелел.

— Можно и подождать, — согласился парень, — нам торопиться некуда. Ты отсюда куда?

— В Окружной.

— К Гоглидзе?

— Как? — не понял Николай.

— К Гоглидзе, говорю? Мировой хирург. Я его знаю. Лучший в городе. Если перелом, к нему попадешь, как пить дать... Слушай, я все-таки еще возьму.

Парень встал и почти сразу же вернулся с двумя стаканами и порцией сыра.

За соседним столиком оживленно спорили о каком-то судебном деле. Парень крикнул:

— Прекратите дискуссию. Надоело.

За столиком стали говорить тише. Доносились отдельные фразы: «А прокурор как встанет... Я ж Сашке говорил, стервецу... А прокурор как встанет...»

Входили и выходили какие-то люди. Когда дверь отворялась, с площади доносился хриплый голос, певший по радио «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...» Дверь закрывалась, и опять настойчиво лез в уши разговор о прокуроре, потом снова открывалась, и с улицы доносилось «...немно-о-ого поспят...»

Николай посмотрел на своего соседа: тот, смеясь и поминутно сдвигая то на затылок, то на лоб фуражку, о чем-то оживленно говорил.

— Ты женат? — спросил вдруг Николай.

Парень удивленно на него посмотрел.

— Нет. А что?

— Просто так. Интересно.

— Нет, не женат.

Николай рассеянно посмотрел на него, потом залпом выпил свой стакан и встал.

— Мне идти надо.

— Куда?

— Надо...

— В госпиталь? Подождет, не убежит.

— Да не в госпиталь, черт с ним...

Николай вдруг почувствовал, что у него кружится голова, и, чтобы не упасть, схватился за стол. Парень удержал его за руку.

— Садись, черт, куда сейчас идти? Тебя и ноги-то не несут, герой...

Николай сел. Расстегнул воротник. Парень принес бутылку нарзана и налил в стакан.

— Пей. Легче станет.

Николай выпил.

На противоположной стене висел плакат — женщина с довольным лицом указывала рукой на какие-то стулья, столы, зеркальные шкафы. Николай никак не мог понять,

что это значит. Потом прищурил один глаз и прочел надпись: оказывается, женщина, скопив деньги в сберкассе, купила на них всю нарисованную обстановку и рекомендовала всем поступать точно так же.

— Что? Соблазнительно? — спросил парень, перехватив его взгляд.

— Плевал я на это, — мрачно сказал Николай.

— И правильно, и плюй. Не обращай внимания. Это главное. Это самое главное — не обращать внимания.

— На что?

Николай медленно повернулся и посмотрел на парня: тот сидел и крутил пальцами ус.

— На все! Как я. Иначе свихнешься. Можешь мне поверить. У меня вот фрицы стариков и двух братьев на тот свет отправили. Понял? А я вот под трамвай не бросаюсь. Один инженер, другой полковник. В двадцать пять лет — и полковник. А? Не то, что мы с тобой. Ты кем на гражданке был?

Николай пожал плечами.

— Д-два к-курса физкультурного института.

Парень протянул руку, на ней не хватало пальца.

— Дай пять. Два сапога пара. — Он зло рассмеялся, сверкнув вставными зубами. — Будем знакомы. Сергей. Человек без профессии.

Он вынул из кармана толстую пачку денег и бросил на стол.

— Видал?

Пачка состояла вся из сотенных. Сергей небрежно сунул ее в карман.

— И я один. Ни семьи, ни жены, ничего... Могу все Фимкино заведение купить. А завтра столько же будет. Понял?

Он придвинулся к Николаю. Его серые, широко расставленные глаза блестели, на лбу выступил пот.

— А наши там вперед идут, пока мы с тобой здесь... — Он вытер рукой лоб. — Будешь еще?

— Нет, — Николай прикрыл свой стакан ладонью. — Нарзану выпью.

Сергей усмехнулся.

— Фимка, дай-ка еще нарзану. Так на чем мы остановились? На женах, кажется?

Николай, сощурившись, посмотрел на Сергея. Хмель постепенно проходил.

— А ты женат? — спросил Сергей.

— Нет, — коротко ответил Николай.

— Совсем нет?

— Совсем.

— И не был?

— А что вспоминать, что было?

Сергей понимающе улыбнулся.

— Ясно. И давно?

— С сорокового.

— А знакомы?

— С тридцать девятого.

— Красивая?

— А бог ее знает. Разве в красоте дело?

— В красоте, — уверенно сказал Сергей и сдвинул фуражку на затылок. — А у меня вот нет жены. Не было и не будет.

Николай согласился: «Может, так и надо, все мы дураки в девятнадцать лет...» — и вдруг почувствовал, что случилось то, чего он больше всего боялся, что он дольше не может, что он сейчас все расскажет этому парню, которого он видит в первый раз и, может, никогда больше не увидит. И про Шуру, и про то, как он бегал к ней каждый день из института на Осиевскую, через весь город — она работала на Кабельном чертежницей, — и про ее мамашу-старушку, которая все хотела, чтоб они поженились. «Я, — говорит, — старая, скоро умру, так чтоб увидеть еще...»

Сергей внимательно слушал, засунув пальцы в лохматую шевелюру, потом спросил:

— А сколько ей лет?

— Умерла. Сегодня только узнал, что умерла.

— Да не ей, Шуре твоей!

— Моей? — Николай попытался улыбнуться. — Дяди Фединой, а не моей.

— Ну, дяди Федина, черт с ним, я его не знаю. Лет двадцать пять?

— Двадцать четыре. Когда на фронт шел, двадцать один был. Теперь, значит, двадцать четыре. Три года прошло... Три года, — повторил он, — и три года верил. Письма писал. Как город освободили, раза три или четыре писал. И все впустую. Дом фрицы сожгли, она перебралась... И вот теперь дядя Федя...

Сергей опять подмигнул — это было у него чем-то вроде тика.

— А ты, брат, ни разу дядей Федей не был? А?

— Я? Дураком я был, вот кем я был...

Николай посмотрел на часы. Сергей протянул руку и закрыл ладонью циферблат.

— Не уходи!

— Мне к десяти в госпиталь надо...

— Да плюнь ты на госпиталь. Наваляешься еще. А мне говорить хочется... — Он перегнулся через столик и, обхватив Николая за плечи, задышал в самое ухо. — Я десять тысяч заработал. А говорить не с кем. Понимаешь? Не с кем...

Николай опять посмотрел на часы. Он никак не мог разобрать, сколько они показывают.

— А ночевать?

— Ночевать? Ты на пуховой перине будешь ночевать, понял? И утром тебе в постельку какао принесут.

Он вдруг откинулся и надвинул фуражку на глаза.

— Иди... Со мной связываться... Иди лучше.

— Ладно, — сказал Николай и заказал еще водки.

Сергей молча исподлобья следил за ним. Когда стаканы появились на столе, он отодвинул их и аккуратно прикрыл тарелкой от колбасы.

— Спасибо, капитан, — потом добавил совсем тихо: — Я давно никому спасибо не говорил.

Какой-то парень с лошадиным лицом, в кепочке с крохотным козырьком подсел к их столику и попытался завязать разговор. Сергей мрачно взглянул на него:

— Пей свое пиво и закругляйся.

Парень, торопливо допив свою кружку, ушел. Сергей поднял голову, посмотрел на Николая.

— Вот такие-то дела, брат... Пойдешь ты завтра себе потихонечку в госпиталь. Месяца два-три поваляешься на чистых простынках, а потом фью... Разведчик?

— Разведчик.

— По штанам вижу... Наводчик зорок, разведчик смел. Своих, вероятно, уже в Германии застанешь.

— Надо еще всю Польшу пройти.

— Пройду-ут... — Он потянулся, хрустнул пальцами и посмотрел на Николая. Глаза его стали серьезны, и хмель как будто совсем прошел. — Ну, а мне куда прикажешь деться, товарищ?

— Как куда?

— Вот ты на фронт, а я куда?

Он медленно отодвинулся, засучил штанину на правой ноге и показал протез — коричневый, кожаный протез, выше колена.

— Понял теперь?

Николай молча смотрел на протез. Сергей хлопнул по нему ладонью.

— Курская дуга, четыре «фоккера» на одного «Лавочкина».

Он опустил штанину и ногтем почистил прилипшую к ней грязь.

— А Васькины косточки даже собрать не удалось... А ты говоришь, дядя Федя, жена... Да ты завтра другую найдешь, захоти только. А где я Ваську найду? Я тебя спрашиваю: где я его найду? — Он встал, с шумом отодвинул табуретку. — Пойдем-ка лучше, капитан, я тебя с хорошими девушками познакомлю. Фимка, сколько с меня?

Они расплатились и вышли. На улице было темно, накрапывал теплый летний дождик. Был первый час ночи.

4

Николай долго потом не мог отделаться от какого-то неприятного ощущения, когда вспоминал проведенную с Сергеем ночь. Где-то еще пили, и пили много. Потом проснулся

в незнакомой комнате. Долго не мог понять, как сюда попал. Голова трещала, хотелось воды. На маленьком столике у окна — оно выходило куда-то во двор, набитый автомашинами, — стояла наполовину пустая четвертинка, а рядом лежал огурец и записка, написанная красным карандашом на обрывке газеты:

«Опохмеляйся и топай в госпиталь. Я срочно уехал в Ростов. Если нужны деньги, возьми под кроватью, в чемодане. Ты хороший парень. Сергей».

Николай съел огурец — на водку он и смотреть не мог, — а через час он был уже в белом госпитальном костюме, и на температурном листе над его койкой появилась первая цифра — 36,8.

В палате, кроме него, лежало еще пять человек. Все пятеро попали в госпиталь не с передовой, как Николай, а по болезни: госпиталь был Окружной, и фронтовиков в нем было относительно мало. У двоих была язва желудка, у одного — пожилого майора — карбункул на шее, у другого остеомиелит бедра и у пятого — самого молодого — геморрой, доставлявший ему не столько физические, сколько моральные мучения, а остальным повод для бесконечных шуток.

Рана Николая, как это ни странно, оказалась в хорошем состоянии. Рентген показал, что раздробленная пулей плечевая кость начала уже срастаться, гипс решено было не накладывать, ограничились лангеткой, и надо было только раз в неделю, а то и реже, ходить на перевязку. Зато нерв, приводящий в движение пальцы, был поврежден, и о полном восстановлении его раньше чем через пять-шесть месяцев, даже при самом интенсивном лечении, не могло быть речи. Иными словами, возвращение на фронт откладывалось надолго.

Товарищи по палате относились к Николаю хорошо, с тем особым уважением, с которым относятся к людям, раненным на фронте. Но он как-то мало с ними разговаривал. Ложился задолго до отбоя, в шахматы и домино не играл, а проснувшись, — он просыпался раньше всех, — долго лежал и смотрел в окно. После завтрака пролезал через дыр-

ку в заборе и устраивался где-нибудь на тенистых склонах стадиона, того самого, на котором когда-то сам занимался. Внизу, на зеленом поле, тренировались футболисты, и Николай следил за игрой, или читал, или просто лежал и смотрел в небо.

На пятый или шестой день пришел Сергей. Николай не очень этому обрадовался — ему не хотелось ни вспоминать о той вечеринке, ни вообще вести какие-либо разговоры. Он лежал на своей излюбленной, крохотной, закрытой кустами лужайке, с которой был виден весь город и стадион, и перелистывал «Красноармеец» за сорок второй год.

Сергей пришел в сияющей белизной новенькой выглаженной рубашке и сразу же с подмигиваниями и усмешками заговорил о том, что местечко Николай выбрал чудесное, но не мешало бы сюда кого-нибудь из обслуживающего персонала, — и дальше все в том же тоне.

Николай мрачно слушал, ковыряя спичкой в зубах. Когда же Сергей заговорил о том, что девочки (речь шла о тех девицах, с которыми они тогда пили) не дают ему покоя и все спрашивают, где тот капитан с рукой, Николай не выдержал и сказал:

— И чего ты со всей этой дрянью возишься? Не противно разве?

Сергей обиделся и сухо сказал:

— Я не люблю этих разговоров, капитан. — И вдруг разозлился: — Каждый считает своим долгом читать мне нотации. Все вдруг учителями заделались. Надоело!

— Не учителями, а просто... — попытался вставить Николай, но Сергей его перебил:

— Нет, учителями! И ты в учителя лезешь. Кому какое дело? Противно или не противно, это уж мое дело. Ну, чего смотришь? Вылупился, как баран на новые ворота.

— Смотрю и думаю... Ведь я и фамилии твоей не знаю.

— А зачем она тебе? Ну, Ерошик. Старший лейтенант Ерошик. Двадцать первого года рождения. Холост. Из крестьян. Что еще надо?

— Больше ничего.

Они помолчали, потом Николай попросил Сергея, когда он будет в городе, зайти в адресный стол и узнать адрес одного его приятеля.

— Тоже двадцать первого года, Куценко, Григорий Тимофеевич. Уроженец, не помню уже, не то Житомира, не то Умани.

— Ладно, — сказал Сергей и, помолчав, спросил: — Рентген делали?

— Делали.

— Ну и что?

— Ничего. Срастается. Но поваляться придется.

Опять помолчали.

— А он не летчик? — опять спросил Сергей.

— Кто?

— Да этот самый Куценко.

— Нет. Со мной в институте учился.

— А то у нас тоже один Куценко был. Во второй эскадрилье.

Опять помолчали. Разговор явно не клеился. Сергей, лежа на животе, ковырял ножом землю, потом повернулся.

— Не сердись, капитан. У меня бывает такое. — Он улыбнулся и в улыбке его неожиданно появилось что-то виноватое. — Контуженный все-таки. Псих. Надо считаться.

Николай пожал плечами.

— А Васька вот не был. Ты знаешь? И водки не пил. Настоящий был человек. Такого теперь не сыщешь. Два года вместе летали. С ишаков еще начали. Потом на «Лавочкиных». На «Ла-5», знаешь?

— Хорошие, говорят, машины.

— Первый класс. Почище «фоккера». И вооружение — дай бог. В какой хочешь бой ввязывайся. И ты б видел, что Васька на этой машине выделывал! Уму непостижимо! Ты был на Курской?

— Нет, не был.

— Жаль. Были там дела в воздухе. И ты б видел, что он там вытворял!

Сергей стал рассказывать о воздушных боях. Как все летчики, он неистово жестикулировал и несчетное количество раз повторял слово «бенц», заменявшее ему по меньшей мере десяток других слов.

Откуда-то, очень издалека, донесся звук летящего самолета. Его долго не было видно, потом он появился — крохотная, едва заметная точка.

Сергей уткнулся лицом в землю.

— Слышать не могу.

Самолет долго кружился, потом улетел, остался только длинный, серебристый, медленно расплывающийся в высоком небе след.

— В тот день Васька как раз девятого фрица сбил. Еще б одного — и получил бы Героя.

Сергей лег на спину и долго так лежал, закинув свои черные от загара руки за голову.

— Я знаю, что ты обо мне думаешь, капитан, — произнес он после нескольких минут молчания. — Сказать?

— Говори.

Сергей усмехнулся и скосил глаза на Николая.

— Распутный малый, приземлившийся летчик, работать не хочет, спекулирует своим протезом... Так ведь? Правда?

— Не совсем, но...

— Приблизительно? Да? Нет, брат, не приблизительно, а точно. Абсолютно точно. — Он помолчал. — А почему это так? Если это действительно так, то почему?

— Ты ж не хотел об этом говорить.

— Тогда не хотел, а сейчас хочу.

Он перевернулся на живот и, запустив руки в волосы, посмотрел на Николая своим обычно насмешливым, а сейчас настороженно вопросительным и каким-то не допускающим к себе взглядом, который как будто говорил: «Я вот тебя спрашиваю, но отвечать мне не надо, ты все равно не сможешь, я сам себе отвечу».

— Мне вот недавно одна цыганка гадала. И знаешь, что нагадала? «До глубокой старости, — говорит, — доживешь,

а счастья не будет. Все будет — любовь, деньги, друзья, а счастья не будет».

— Дура она, твоя цыганка.

— Не-ет, не говори. Совсем не дура. Правильно старуха сказала. Биография-то у меня кончилась. Так, мура какая-то осталась. А ведь летчиком был. И неплохим летчиком. Восемь машин на счету имел. И это за каких-нибудь десять месяцев, со Сталинграда начал. Был и комсомольцем, думал в партию вступать. А теперь что? Обрубок... Летать уже не буду, из комсомола выбыл. Мотаюсь по городам с какими-то чертовыми тапочками. В Ростове инвалидная артель их делает — хорошие, на лосевой подошве. Я перевожу их в Харьков, в Одессу, сюда: с протезом всегда проедешь, никто не задержит. А трое ребят — жуки такие, дай бог — загоняют их. Вот так и живу: заработаю — пропью, опять заработаю — опять пропью. А ты говоришь — счастье. Нет его! Нога не вырастет. И жена к тебе не вернется. Нет счастья... — И вдруг подмигнул: — А может, вернется, а?

— Не знаю.

— Чего не знаешь?

— Ничего не знаю...

Сергей ловко на локтях подвинулся к Николаю и положил ему подбородок на колено.

— Э-э, брат! Да ты, я вижу, вроде меня... — И почему-то шепотом добавил: — Я ведь тоже не знаю... Раньше знал, а теперь не знаю.

— Н-да... — неопределенно сказал Николай и понял, что сейчас, так же как и тогда, в пивной, заговорит о Шуре. Черт его знает, но в Сергее, в этом, как он сам себя называл, приземлившемся летчике и распутном малом, было что-то, что располагало к нему.

Николай говорил долго и много, что с ним редко случалось. Сергей слушал, засунув пальцы в лохматую шевелюру, перебивая иногда вопросами.

Думает ли он о Шуре? И не проще ли послать ее к черту, забыть о ней? Может, и проще, но думает. Целыми днями думает. Читает книгу и вдруг замечает, что прочел пять стра-

ниц, но не помнит из них ни одного слова, — думал о Шуре. В столовой официантка подает обед или ужин, а он смотрит на ее руки и вспоминает Шурины руки: как она расставляла тарелки, резала хлеб, разливала суп. Он вспоминает все. Ее голос, улыбку, забавную привычку влезать в пальто, натягивая его на голову. Вспоминает какие-то пустяковые мелочи — как учил ее вскакивать на ходу в трамвай. Трамвай проходил как раз мимо их дома, но до остановки было далеко, и, чтоб не опоздать в кино, они всегда вскакивали на ходу. Не всякий это умеет, а Шура наловчилась не хуже парня. Потом они пешком возвращались домой — трамваи уже не ходили — по тихой, заросшей каштанами Дорогожицкой, и Шура все боялась, что на них нападут хулиганы — она была трусихой, а он, напротив, не прочь был показать перед Шурой свою силу и уменье драться. А весной они переехали с Лукьяновки в город. Шура с азартом принялась обставлять комнату. Какие-то салфеточки, вазочки с ковылем... Все мечтала о тахте. Она могла целыми днями возиться в комнате — что-то вытирать, переставлять, перевешивать. Николай смеялся. Она чуть-чуть обижалась и говорила: «Не нравится, не смотри, а я люблю, чтоб красиво было».

Николай вспоминал. Вспоминал и рассказывал обо всех этих мелочах, о которых обычно не рассказывают, так как они интересны только тебе и уж, во всяком случае, не человеку, которого ты видишь второй раз в жизни. И все-таки он рассказывал и не думал, для чего он это делает, — просто хотелось.

— А вон и тот дом, где мы жили. Вон там, за стадионом. Видишь? Желтый, с башенкой. Рядом с разрушенным. Только окна не сюда, а во двор. — Николай бросил камешек в ту сторону, куда указывал. — И сколько прожили-то, каких-нибудь семь-восемь месяцев. Расписались в ноябре, как раз перед праздником, а в июне меня уже в армию взяли... Но, ей-богу, можешь поверить, за эти семь-восемь месяцев... — Николай вдруг умолк, взглянул искоса на Сергея (тот по-прежнему лежал на животе, глядя на город), потом сказал: — Тебе, холостяку, рассказывать? Разве ты поймешь?

Мне вот тоже когда-то казалось, жена — это так, для стариков: спокойно, удобно, белье выстирано. А молодому... В кино обязательно с женой, и по субботам в театр, и чтоб галстук, воротничок, иначе нельзя. И вообще...

Сергей повернул голову, подмигнул хитрым глазом:

— Главное, «вообще». Вот оно-то и не разрешалось.

Николай помолчал, потом, не улыбаясь, сказал:

— Знаешь что, друг, иди-ка ты домой.

— Ну вот, обиделся.

— Не обиделся, а... иди-ка домой.

Сергей вытянул губы, и усики его смешно задвигались.

— Картина ясная. Вернешься.

Николай ничего не ответил. Встал. Сергей взглянул на часы.

— Тю-тю, седьмой час! Вот оно, про любовь говорить... — И тоже встал. — Так как ты сказал? Куценко, Тимофей Григорьевич?

— Григорий Тимофеевич.

— А стоящий хоть парень?

— Хороший.

— Водку пьет?

— Пьет.

— Тогда не забуду. — Он отряхнул брюки, взглянул на Николая: — А может, мне все-таки сходить к ней, к твоей Шуре? А?

— Уходи уж... Ей-богу, не посмотрю, что ты с палочкой.

Сергей рассмеялся, ловко, почти не опираясь на палку, спустился с пригорка и помахал на прощанье рукой. Николай еще полежал немного, попытался читать «Красноармеец», но не вышло, и, сделав крюк через футбольное поле, чтоб размяться, пошел на ужин.

5

В адресном столе Сергей просидел около часа. Куценко так и не нашли, зато у Митясовой оказалось два адреса: улица Горького, 24 и 38. Один из них, очевидно, был довоенный.

Сергей сунул бумажку в карман, вышел на улицу и сразу же поймал «виллис», который отвез его на улицу Горького. В двадцать четвертом Митясовой не оказалось. Он пошел в тридцать восьмой. Две беленькие девочки, сидевшие у подъезда на скамейке, сказали ему, что она живет в восьмой квартире, надо только погромче стучать. Сергей постучал погромче. Дверь почти сразу же открыли. Он спросил Митясову. Ему сказали, что надо пройти по коридору и постучать во вторую дверь налево. Он прошел по коридору и постучал.

— Войдите, — раздался высокий женский голос.

В небольшой, очень скромной комнате, почти сплошь заставленной цветами, сидела женщина за швейной машиной. Не вставая и продолжая шить, она повернулась и, сощурившись, — очевидно, она была близорука, — посмотрела на Сергея. Сергей вошел и остановился около стола.

— Вы ко мне? — спросила женщина, внимательно через плечо разглядывая Сергея, точно стараясь вспомнить, где она его видела.

Сергей кивнул головой. Женщина встала и подошла к столу.

Она была небольшого, скорее даже маленького роста, тоненькая, с густыми, падавшими на лоб каштановыми волосами и, что прежде всего обращало на себя внимание, большими, серьезными, сейчас немного недоумевающими серыми глазами. На первый взгляд ей никак нельзя было дать больше двадцати лет, и только потом, присмотревшись, Сергей увидел первые седые волосы, а возле рта две морщинки, которых не должно было быть. Одета она была в какой-то домашний халатик, который сразу же немного испуганно запахнула, и стоптанные туфли на босу ногу.

— Вы ко мне? — повторила она, машинально продолжая втыкать иголку в бортик своего халата.

— К вам, — сказал Сергей. — Можно сесть?

— Пожалуйста, пожалуйста. — Она торопливо подвинула стул и привычным жестом хозяйки смахнула с него предполагаемую пыль.

Сергей сел и вынул портсигар.

— Можно?

Женщина ничего не ответила. Облокотясь о спинку стула, она следила за пальцами Сергея, разминавшими папиросу. Потом тихо, точно в себя, спросила:

— Вы от Николая?

— От Николая, — сказал Сергей и отвел почему-то глаза. — Он сейчас в госпитале. В Окружном госпитале. Он не знает, что я к вам пришел.

— Что с ним? — спросила Шура.

— Пулевое ранение с переломом кости. Рука. И нерв поврежден.

— И нерв поврежден, — повторила Шура.

— Это значит, что он не может двигать пальцами, — пояснил Сергей. — Это надолго.

— Надолго, — опять повторила Шура и посмотрела на часы, висевшие на стенке. Они показывали без пяти шесть.

Кто-то легкими шагами прошел по коридору. Проходя мимо двери, крикнул:

— Шура, я сняла ваш суп!

— Одну минуточку! — Шура запахнула халатик и выбежала в кухню.

«Сейчас ввалится муж», — подумал Сергей и невольно огляделся, ища признаки его существования в этой комнате.

На гвозде висел ремень с портупеей, а в углу, возле печки, стояли брезентовые, очевидно сшитые из плащ-палатки, сапоги. Фотографий ни Николая, ни кого-либо другого не было. На стенах висели картинки, вырезанные, очевидно, из журнала: мишки в лесу, бурное море с черными тучами, а возле окна большая карта с нанесенной линией фронта. В комнате было чисто и уютно, хотя и были видны следы оккупации — закопченный потолок и большой рыжий потек над самым окном.

Особый уют придавали цветы. Их было очень много: на комоде, на тумбочке, на письменном столе, но больше всего на окне. Маленький горшочек с плющом висел на веревочке.

Тут же стояли кактусы, один из них даже цвел, в нескольких бутылочках торчали молоденькие листья фикуса.

В коридоре хлопнула входная дверь. Послышались быстрые мужские шаги, и в комнату, не стучась, вошел совсем молодой, лет двадцати, не больше, парнишка в военной форме, без погон. Увидев Сергея, он как будто немного смутился, но, ничего не сказав, подошел к письменному столу.

Почти сразу же за ним вошла Шура.

— Познакомься. Это товарищ Николая.

Молодой человек повернулся.

— Вот видишь. Я ж говорил, что это он приходил, а ты... — Он протянул руку Сергею: — Бунчужный. Он что, в госпитале?

— В госпитале.

— Очевидно, ранение не серьезное, раз он... — парень замялся.

У него было очень приятное курносое лицо с пухлыми, придававшими ему совсем детское выражение губами и смешной, тоже какой-то детский, хохолок на лбу.

— Я хотел сказать: раз он мог сюда прийти, значит...

— Нет, ранение серьезное, — сухо ответил Сергей. — Я думаю, что на фронт он уже не вернется.

— Не вернется? — Сергею показалось, что парень покраснел. — Вы думаете, что не вернется?

— Да, я так думаю.

— Вы с нами пообедаете? — спросила Шура, ставя на стол тарелки и не глядя на Сергея.

— Спасибо. Я уже обедал.

Бунчужный вынул из кармана кисет и аккуратно сложенную газетную бумагу.

— Вы курите?

— Спасибо. Только что потушил папиросу.

— А я вот махорку курю. Никак не отвыкну. Шурочка, правда, ругается, — он улыбнулся, и на щеках его появились две ямочки, — но махорка, по-моему, все-таки лучше. Правда?

Сергей ничего не ответил. Бунчужный старательно свертывал папиросу. Шура протирала тарелки.

— С посудой совсем беда. Все тарелки перебила, а новых нигде не достанешь. Может, вы все-таки пообедаете?

— Нет, я уже обедал.

Шура положила на стол ножи и вилки и вышла на кухню. Сергей сидел и крутил пальцами пепельницу. Он сам не мог понять, чего он сидит? То, что ему надо было, он сделал: сообщил Шуре о Николае, посмотрел на нового мужа, — чего ж еще сидеть? Откланялся и ушел. Вместо этого Сергей встал и подошел к карте с линией фронта.

— Тут не все отмечено, — оживленно, точно радуясь теме для разговора, сказал Бунчужный, подходя сзади к Сергею. — Сегодня передали — вы не слыхали? — наши заняли в Румынии больше ста населенных пунктов. Турну-Северин — это вот здесь — и еще какой-то, на «лунг» кончается.

— Н-да... — сказал Сергей.

— Просто не успеваешь отмечать. Уже к югославской границе вышли. В этом, кажется, месте. Постойте, я сейчас посмотрю.

Бунчужный, став на стул, начал искать газету в большой кипе на шкафу.

— Да вот она. — Он соскочил со стула. — Так... Наши части вышли на границу Румынии и Югославии. А где — не сказано. Мне почему-то казалось...

— Вы где-нибудь работаете? — неожиданно спросил Сергей, оборачиваясь к нему.

Бунчужный удивленно посмотрел.

— Работаю. А что?

— Да ничего. Просто так. Интересуюсь. На каких фронтах воевали?

— На разных. На Юго-Западном, Донском, Сталинградском...

Вошла Шура с кастрюлей в руках.

— Может, вы все-таки...

— Нет, нет... Я пошел. — Сергей посмотрел на часы. — Уже седьмой час.

— Так скоро? Мы даже... — Она стояла с кастрюлей в руках и смущенно-вопросительно смотрела на Сергея. — Вы торопитесь, я понимаю.

— Да, я тороплюсь. Всякие дела еще... Всего хорошего!

— До свидания, — скороговоркой сказал Бунчужный и протянул руку. — Вы там от меня... — Он прижал руку к груди и слегка поклонился.

Шура поставила кастрюлю на стол.

— Одну минуточку! У нас темно. Разрешите, я вперед пройду.

Открывая наружную дверь, она спросила:

— Вы не сказали, где он там лежит.

— Первое хирургическое. Третья палата. Это второй корпус слева. Большой двухэтажный корпус.

— Спасибо. Большое спасибо. Я обязательно... Осторожнее, там выбиты ступеньки, не споткнитесь.

— Ничего, ничего. Я вижу. До свидания.

— До свидания.

Сергей стал спускаться. Шура постояла у раскрытой двери, прислушиваясь к удаляющимся шагам Сергея. Лестница была темная, и он на своем протезе спускался очень медленно. Потом хлопнула входная дверь. По коридору прошла соседка. Шура дождалась, пока она не скрылась в своей комнате, прошла на кухню и там заплакала.

6

Дни по-прежнему стояли теплые, совсем летние, и Николай целыми днями, скинув рубашку, загорал на своей лужайке.

Он привык к чтению. До войны он мало читал, а если и читал, то урывками, когда нечего было делать, да и то те книги, которые откуда-то приносила Шура. Это были все старые, растрепанные, пахнувшие почему-то мышами и пылью книги про любовь, которые Николай тут же забывал — он не любил читать про любовь.

В госпитале он стал читать. Сначала тоже от нечего делать. Зашел как-то после кино в библиотеку, просмотрел га-

зеты, увидел на полках книги и попросил, чтоб ему дали что-нибудь интересное, только не про войну и не про любовь.

Библиотекарша, пожилая, коротко остриженная и приветливая, улыбнулась и дала ему «Всадник без головы». Он на следующий же день его вернул и получил «Баскервильскую собаку», затем «Гиперболоид инженера Гарина». Эта книга ему не понравилась — слишком уж выдуманная, и он попросил что-нибудь попроще, без фантазии. Анна Пантелеймоновна улыбнулась и дала ему рассказы Горького, Николай увлекся, потребовал еще.

Он сам себе удивлялся. В прошлом году, когда он лежал в госпитале в Баку, он был первым заводилой, душой палаты. Под его руководством чуть ли не ежедневно «пикировали» в город, пользуясь выходившим на улицу окном физкультурного зала, ходили в театр и кино, по ночам долго сидели в коридоре, развлекая дежурных сестер, или, запершись в палате, занимались недозволенной игрой в карты. Здесь же было не то. Большинство находившихся в госпитале были из местного гарнизона. К ним приходили жены, сестры, знакомые. Устроившись где-нибудь на травке, они уничтожали принесенные ими продукты и рассказывали, рассказывали без конца о своих болезнях. Николая это раздражало. А может быть, он просто завидовал. К нему никто не приходил, даже Сергей и тот исчез.

Как-то ребята из соседней палаты (там было два фронтовика) достали где-то обмундирование и предложили Николаю «спикировать» в город.

— Хватит читать. Глаза опухнут.

Николай пошел, но с ужасом заметил, что совершенно разучился веселиться, и с завистью смотрел на своих товарищей, которые, подцепив в кино каких-то барышень, просто и непринужденно болтали с ними, вызывая поминутно вспышки хохота своими незамысловатыми анекдотами и фронтовыми рассказами. Николай тоже пытался острить, но у него почему-то не получалось. Одна из девушек сказала:

— Можно подумать, товарищ капитан, что вы вчера свою бабушку похоронили.

«Черт! — выругал сам себя Николай. — Действительно, точно бабушку похоронил. На человека перестал быть похож. И из-за чего? Из-за какого-то там Феди. А ну его...» И тут же, чтоб отвлечься от этих мрачных мыслей, предложил после кино зайти посмотреть аттракцион «Петля смерти», мимо которого они как раз проходили.

После аттракциона, где двое ребят с отчаянным треском носились на мотоциклах по вертикальной стенке, Николай оживился, стал тоже рассказывать какие-то фронтовые эпизоды и вскоре даже почувствовал, что молодым девушкам не так уж с ним скучно. Потом проводили девушек домой и условились встретиться в ближайшую субботу.

Но встреча эта не состоялась. Помешали два события, происшедшие на следующий же день.

Первым событием были полученные с фронта письма. Их пришло сразу три — в одинаковых конвертах, со штампами военной цензуры.

Замполит Кадочкин, исполняющий сейчас обязанности командира роты, своим красивым круглым почерком писал, что «солдаты и офицеры вверенного вам подразделения» (из деликатности он писал, что рота вверена все еще ему, Николаю, чем хотел подчеркнуть свою веру в его возвращение) по-прежнему отлично выполняют задания командования, что противник все еще упорен, но упорство это будет сломлено и день победы не за горами. В конце письма Кадочкин перечислял, кто чем награжден, и сообщал, что Николая тоже представили к ордену Отечественной войны первой степени за Люблин.

Второе письмо было от бойцов. По цветистости и замысловатости фраз Николай сразу понял, что писалось оно Толей Семушкиным, новым комсоргом, ротным поэтом, без конца снабжавшим дивизионную газету своими стихами, которые никогда не печатались. Письмо кончалось следующими строфами:

Мы скорейшего желаем
Излеченья ваших ран,

Чтоб в Берлине, мы мечтаем,
Удалось побыть и нам.

Третье письмо было от штабной писарши Лели — веселой, смешливой и тайно, хотя это знали все, влюбленной в своего командира роты.

В нем писалось с бесконечным повторением слов «товарищ капитан», что все скучают о своем бывшем командире, что Польша и поляки Леле очень нравятся, особенно польки, что на смену вишням («помните, товарищ капитан, Лущув под Люблином») пришли антоновки, что в роте есть теперь собственный павлин, которого, раненым, подобрал санинструктор Павлищев, что сама Леля теперь уже тетя — она получила письмо из дому, что у нее родился племянник («не у меня, конечно, а у моей сестры Клавы»), а пятнадцатого была годовщина части, и она выпила два стакана вина «и была совсем, совсем пьяная». Письмо было на шести страницах, кончалось пожеланиями скорейшего выздоровления и надеждой, что товарищ капитан не забыл своих лучших друзей, которые часто-часто его вспоминают.

Николай раз десять перечитывал письма. Он представлял себе, как их писали, как Леля бегала в штадив за конвертами (все три письма были не обычные фронтовые треугольнички, а в настоящих, совсем как в мирное время, конвертах), как Толя Семушкин, распластавшись на животе в кустах, сочинял стихи, как долго искали и не могли найти, а потом находили наконец где-нибудь храпящим вестового Лободу, чтоб поставил свою подпись, и он, сопя и кряхтя, выводил ее аршинными буквами... Представил себе и павлина, которого, наверное, возит Михеич поверх своих мешков, и вспомнил, как Михеич после Одессы точно так же возил зачем-то козу, которая окотилась потом тремя козлятами.

Вспомнил и всех своих друзей, — и последних, и сталинградских, и первых дней войны, когда он был еще в запасном полку, и, как это всегда бывает, вспоминалось почему-то не страшное и тяжелое, связанное с войной, а какие-то веселые,

забавные случаи, все то хорошее и сближающее людей, что встречалось ему за эти последние три года.

И так вдруг захотелось туда, к своим разведчикам, к своему связному Тимошке, замполиту Кадочкину, Лободе, туда, где есть для тебя настоящее дело, где ты чувствуешь себя нужным, что Николай решил сейчас же поговорить с замполитом госпиталя о своей скорейшей выписке.

Майор Касаткин — Николай столкнулся с ним, когда платил партвзносы, — произвел на него хорошее впечатление: спокойный, немногословный, сам в прошлом фронтовик. Договориться с ним, вероятно, будет нетрудно. А на фронте в конце концов, если не в дивизии, то в штабе армии, всегда можно найти работу — поверяющим или еще кем-нибудь, — работа всегда найдется.

Решение это еще больше укрепилось после второго, происшедшего в тот же день события.

7

Николай, как обычно, шел после завтрака на свою лужайку. Дойдя до «второй хирургии», он собирался уже свернуть налево, когда кто-то окликнул его:

— Товарищ капитан, а товарищ капитан!

Он обернулся. Сестра-хозяйка с кипой стираного белья в руках делала ему головой знаки, чтоб он подошел.

— Только для вас исключение сделала, — сказала она басом и не улыбаясь (она была строга, ее все боялись). — Приемные часы у нас только вечером, вы так и скажите своим друзьям. С шести часов. А днем, когда процедуры, чтоб не ходили. Там вас дожидаются.

— Кто? — удивился Николай. Сергей прошел бы прямо на лужайку.

— А мне откуда знать? — Сестра пожала толстыми плечами. — Сидит какая-то с чемоданчиком.

«Какая-то с чемоданчиком?..»

Еще издали он увидел сидевшую на скамейке Шуру. Лица ее не было видно; она, наклонясь, что-то поправляла в туф-

ле. Рядом на скамейке стоял маленький спортивный чемоданчик; Николай сразу узнал его, — тот самый, в котором он когда-то носил свои спортпринадлежности.

Николай часто представлял себе мысленно эту встречу. Он знал, что она должна произойти, — в трамвае ли, на улице ли, но произойти должна, — и заранее приготовил даже первую фразу. Он собирался начать первым, чтобы задать тон всему разговору и сразу же дать понять Шуре, что он ко всему относится абсолютно спокойно, что прошлое должно остаться прошлым, искусственно восстанавливать его незачем, и пускай идет все так, как пошло. Что он чувствует и что думает на самом деле — это другой вопрос, но говорить он будет именно так. Так он решил. Но сейчас, подходя к Шуре, он вдруг почувствовал, что не знает ни как держать себя, ни о чем говорить.

Шура, очевидно, тоже не знала, потому что, встав, сделала навстречу ему два маленьких шажка, остановилась, держа чемоданчик обеими руками, и улыбнулась. Возле рта появились две глубокие складки — раньше их не было.

«Бог ты мой, как изменилась!» — подумал Николай и только сейчас заметил, что на скамейке, кроме Шуры, сидят еще двое раненых и что они оба с нескрываемым любопытством людей, соскучившихся по посторонним лицам, смотрят на него и на Шуру.

Один из них, круглолицый, совсем молоденький парень с мохнатым подбородком и повязанной головой, улыбнулся и сказал:

— А вы, дамочка, волновались! Видите, какой жирный стал. По две порции ест, — он подмигнул Николаю. — Солдат спить, а служба идеть. Правильно я говорю, товарищ капитан?

Николай кивнул головой.

— Они уже уходить собирались, — весело улыбаясь, объяснил парень. — Тут на них хозяйка малость накричала. А я говорю: погоди трошки, капитан, говорю, после завтрака обязательно за книжкой придут. А тут, вижу, вы туды, за кухню, пошли. Хотел крикнуть, а тут хозяйка вас. Да вы садитесь, что вы стоите, всем места хватит.

Он гостеприимно подвинулся и смахнул полой халата какие-то щепки со скамейки.

— Да нет уж! Спасибо, мы пойдем... — Николай протянул руку за чемоданчиком. — Пойдем.

— Узнаешь? — тихо спросила Шура, отдавая чемоданчик.

— Узнаю, — сказал Николай и слегка коснулся Шуриного локтя. — Пойдем.

Они молча дошли до забора.

— Осторожно, здесь проволока, — сказал Николай, раздвигая колючую проволоку, — я уже два раза рвал пижаму.

Шура ловко протиснулась в дырку.

Они пересекли овраг и вышли на лужайку.

— Здесь хорошо, — сказала Шура и села на траву.

— Хорошо, — согласился Николай и тоже сел. — Я здесь целыми днями валяюсь.

— А почему у тебя нет гипса? — спросила Шура. — Я думала, что ты в гипсе.

— Теперь стараются без гипса. Так, говорят, лучше.

Николай полез в карман и вынул трубку, хотя ему совсем не хотелось курить. Шура сидела в трех шагах от него, опершись спиной о тоненькую, совершенно случайно попавшую сюда березку, и смотрела на город. На ней была белая, очень шедшая ей блузка с вышитыми рукавами.

— Так мама, значит, умерла? — тихо спросил Николай.

— Да.

— От рака? Это все-таки рак оказался?

— Да.

— И очень мучилась?

— Очень. Особенно последние дни.

Николай чиркнул спичкой и долго разжигал трубку.

— Мне соседка из двадцать четвертого номера сказала. При немцах еще умерла? — И, помолчав, добавил: — Так я ее и не увидел...

Шура ничего не ответила, потом спросила:

— А где тебя ранило?

— В Люблине.

— Осколком?

— Пулей. Автоматчик с крыши. Дырка пустяковая, а вот пальцы не работают.

Шура посмотрела на его пальцы: они безжизненно свисали из-под черной повязки, и сказала:

— Плохо, что правая.

— Ничего. Зато левая приучится работать.

Потом Шура стала расспрашивать, чем их кормят в госпитале и как лечат. Николай отвечал. Отвечал, машинально посасывая погасшую трубку, и думал о том, что все происходящее сейчас на этой лужайке нелепо и фальшиво до крайности.

К чему все это, думал Николай, изредка уголком глаза взглядывая на Шуру, изменившуюся, похудевшую, но все-таки почти прежнюю. К чему все это? Вот она пришла. Пришла в белой блузке с вышитыми рукавами, которая ему всегда так нравилась. И именно поэтому она ее надела. И именно для того, чтоб напомнить прошлое, она пришла со спортивным чемоданчиком и спросила, узнает ли он его. Да, он его узнал. И что же? Он и Шуру узнал. Она так же, как и раньше, немного щурит глаза, так же разглаживает юбку на коленях, и все-таки... Все-таки она чужая. Между ними выросло то, о чем, — Николаю это сейчас совершенно ясно, — ни он, ни Шура говорить не будут. Да и нужно ли?..

Они посидят так еще десять, двадцать, тридцать минут и будут смотреть на город, потому что смотреть друг на друга неловко и тяжело, и будут говорить о том, чем кормят в госпитале и почему ему не надели гипсовой повязки, и обоим им это неинтересно и не нужно, и все-таки они будут говорить только об этом, а потом Шура встанет и скажет, что ей надо куда-то идти, и Николай тоже встанет, и они попрощаются и разойдутся.

Внизу по аллее прошла парочка — знакомый Николаю интендантский майор из «терапии» с полной, коротконогой дамой. Увидев Николая, он помахал рукой, потом подошел.

— Надеюсь, не помешал вашему уединению?

Николай ничего не ответил.

— А мы вот прогуливаемся, врачи велят побольше ходить. Вот и хожу. А погодка-то, погодка-то какая!.. Как говорится, старожилы не припомнят такой осени.

Дама тоже что-то сказала насчет погоды. Шура взглянула на часы: у нее на руке были маленькие часики на черненькой тесемке. «Их раньше не было», — подумал Николай и впервые почувствовал, как в нем зашевелилось что-то недоброе к тому, кого он знал только как дядю Федю и кто, очевидно, подарил эти часики Шуре.

— Ну, я пойду, — сказала Шура, вставая. — Первый час уже.

Николай тоже встал. Майор приветливо помахал рукой и стал помогать своей даме спускаться с пригорка.

— Ты спешишь? — спросил Николай.

— Да. Мне надо еще... — ответила Шура и стряхнула приставшие к юбке листья. — Ты меня не провожай, я знаю дорогу.

— А чемоданчик? — сказал Николай.

— Ах да... — Она приостановилась. — Там я тебе кое-что принесла. Ты возьми... — и быстро сбежала с пригорка на аллею.

Она больше ничего не сказала, даже не обернулась, а обычным своим мелким, но быстрым шагом дошла до каменной лесенки и, как всегда, бочком спустилась по ней.

Николай тоже ничего не сказал. Постоял немного, потом подошел к чемоданчику, — он так и лежал нетронутый возле березки, — раскрыл его. В нем лежала аккуратно завязанная тряпочкой бутылка молока, два пончика, яблоки и пачка печенья. Все было тщательно завернуто в бумагу. На самом дне, тоже завернутая в бумагу, лежала фотография. Николай посмотрел на нее, они были сняты вдвоем: он в белой майке, напружинившийся, чтоб лучше выделялись мускулы; Шура в той самой блузке с вышитыми рукавами, в которой она пришла сейчас, потом положил все обратно так, как оно лежало, взглянул на часы — до обеда было еще целых два часа, — старательно вычистил и продул трубку, опять набил ее табаком.

...Ну, вот и все. Встретились, поговорили и разошлись. Просто и спокойно. И ни одной слезинки. И голос ровный, спокойный. «Да... Нет... Где тебя ранило?.. Жаль, что правая». И ушла. Оставила чемоданчик, — раненым всегда что-нибудь приносят, — и ушла. И, вероятно, он больше никогда ее не увидит. А может, будет иногда встречать. Впрочем, стоит ли об этом думать? Он хочет сейчас только одного — назад, туда, где самые близкие для него люди: Тимошка, Кадочкин, веселые его разведчики.

Николай встал — начал накрапывать дождик, — пошел к замполиту. Но майор Касаткин развел руками и сказал, что хотя он и вполне сочувствует Митясову, но, к сожалению, вопросами выписки занимается начмед.

Пришлось идти к начмеду.

Разговор с ним занял не больше двух минут. Начмед, изящный капитан в пенсне, со скучающим видом человека, которого по пустякам отрывают от важного дела, выслушал Николая и коротко сказал:

— Безрукие разведчики на фронте не нужны. Это вам так же ясно, как и мне. Вылечитесь, пошлем, — и стал набирать какой-то номер по телефону.

8

Шура вышла со стадиона и остановилась возле Музкомедии. Ей надо было зайти в три места: в Стройуправление узнать насчет работы — для этого надо было свернуть налево по Красноармейской; на базар за керосином (утром она вылила последний в примус) — для этого надо было зайти домой за бидоном, и в магазин за пайком — для этого тоже надо было зайти домой и взять карточки. Все это необходимо было сделать именно сегодня, не завтра, не послезавтра, а именно сегодня. Шура это хорошо знала и все-таки повернула почему-то направо и пошла по Красноармейской.

Откуда-то нагнало тучи, первые за этот месяц. Стал накрапывать дождь. Он становился все сильнее, и Шура — она

была в легоньких белых босоножках — зашла переждать его в обувной магазин.

В магазине выдавали резиновые тапочки. В нем была уйма народу. Шура пристроилась между прилавком и витриной, стала смотреть на улицу. Дождь припустил, превратился в ливень. Прохожих загнало в подъезды и ворота. Только наиболее смелые и торопящиеся, завернув брюки до колен, забавно прыгали через лужи и бурлящие ручьи.

— Вот это дождик так дождик... — сказал кто-то над самым ее ухом.

Шура вздрогнула. Перед ней стоял парень с маленькими, залихватски подкрученными усиками — тот самый, который приходил к ней, — стоял и улыбался.

— Узнали?

— Узнала, — сказала Шура.

— Вас что, дождь сюда загнал?

— Дождь. — Шура почему-то старалась не смотреть ему в глаза. — Вас тоже?

— Меня? Допустим, что тоже. Кстати, вам не нужны тапочки?

— Нет, не нужны.

— А то я мигом... Вы какой номер носите?

— Тридцать пятый... Но, ей-богу, мне не нужны...

— Одну минуточку!

Сергей исчез в толпе. Через минуту вернулся с маленьким свертком в руках.

— Берите. И не делайте вид, что они вам не нужны... В крайнем случае загоните на толкучке.

Шура растерянно посмотрела на Сергея снизу вверх: он был почти на две головы выше ее.

— Да, но...

— Тринадцать пятьдесят. Деньги можете прислать по почте: Главпочтамт, до востребования, Ерошик, Сергей Никитич... Смотрите, дождик-то уже прошел. И солнце вовсю.

Они вышли на улицу.

— Вам куда? — спросил Сергей.

— Мне? — Шура замялась. — Мне туда. — Она показала направо.

— Ну и мне туда.

Они пересекли площадь и пошли по направлению к центру. Небо совсем очистилось, и только ручьи, весело бегущие вдоль тротуаров, напоминали о прошедшем дожде.

— Может, вас на машине подвезти? — спросил Сергей.

— А у вас есть машина?

— Упаси бог! Деньги есть. А это то же самое. Вам далеко?

— Мне? Нет. Мне совсем близко. До этой... до площади Сталина. — Она только сейчас заметила, что Сергей прихрамывает, и смутилась. — Может, вам...

— Нам ничего. Мы привычные. А свежим воздухом дышать только полезно.

По дороге Сергей рассказывал о последнем матче «Динамо»—«Спартак» и о том, сколько какой футболист зарабатывает. Шура молча шла рядом. Когда они дошли до площади Сталина, Сергей спросил:

— Вы очень торопитесь?

— Так себе, — сказала Шура.

— Ну, если так себе, пойдем на Днепр, посмотрим. Поверьте мне, очень хорошая река.

Они свернули на Петровскую аллею. Шура по-прежнему шла молча. Ей хотелось спросить Сергея, давно ли он знает Николая, когда они в последний раз виделись и говорил ли что-нибудь ему Николай о ней, но она не знала, как об этом заговорить, а Сергей все рассказывал о матчах, футболистах и о каком-то волосатом мальчике, который родился у его соседей и которого чуть-чуть не удушили от страха.

Они миновали стадион «Динамо» и вышли на днепровские откосы. После дождя воздух был настолько прозрачен, что, казалось, можно было рассмотреть каждый домик, каждое деревце до самого горизонта.

Тучи угнало далеко за реку, и там, где-то над Дарницей или Броварами, шел еще дождь — отсюда была видна только серая косая полоса и клубящиеся, нежно-белые вверху и почти совсем черные внизу, облака. По реке, лениво шле-

пая колесами, плыл маленький черненький буксир, таща за собой длинный хвост плотов.

— Смотрите, а на пляже еще люди есть, — сказал Сергей. — Интересно, что они делали во время грозы. Кстати, мой вам совет — наденьте тапочки. Вы потом не отмоете свои босоножки.

Шура осмотрелась по сторонам, куда бы сесть.

— А вот на этот дренажный колодец. Я вам газету подстелю.

Они сели на деревянный сруб. Шура скинула босоножки и надела тапочки.

— Видите, как раз по ноге. А говорили, что не нужно. Давайте, заверну. — Он аккуратно завернул босоножки и отдал Шуре. — Не хуже, чем в магазине.

— Спасибо.

— Если хотите, я могу вам и на коже достать.

— Ради бога, мне и так неловко!

— Хорошие, лосевые.

— Да перестаньте об этом говорить! Ведь мы пришли на Днепр смотреть.

— Так мы же смотрим. Вы разве не смотрите? Я смотрю. Между прочим, довольно незначительная река. Волга лучше.

— А вы видели Волгу?

— Видел. В Сталинграде.

— Вы были в Сталинграде?

— Был. Только не в, а над.

— Вы летчик?

— Был...

Пауза.

— А теперь?

— Инвалид второй группы. Отличная профессия.

— Не надо так говорить, — сказала Шура.

— Почему же? Если не ошибаюсь, ваш... Простите, я не знаю имени и отчества.

— Вы о Феде говорите? — совершенно спокойно сказала Шура. — Да, он тоже инвалид. Что вы хотите этим сказать?

— Ничего. Только то, что сейчас много таких, как я и он. Вот и все. — Он помолчал. — Вы были у Николая?

— Была.

— Ну?

— Ничего...

Буксир хрипло загудел. На мостике кто-то махал белым флажком — навстречу шел пассажирский пароход.

— Простудился, бедняжка, — сказал Сергей.

— А вы давно с ним знакомы? — спросила Шура.

— С кем? С Николаем?

— Да.

— Две недели, даже меньше.

— А я думала, вы вместе воевали.

Они помолчали. Теперь загудел пассажирский пароход, низко и густо, и на нем тоже замахали флажком.

— А зачем вы тогда приходили? — спросила Шура.

— Как зачем? Чтоб сообщить вам...

— О чем?

Сергей удивленно посмотрел на Шуру. Она сидела совершенно прямо, не отрывая глаз от буксира, и машинально разглаживала юбку на плотно сжатых коленях.

— О чем вы хотели сообщить?

— По-моему, вы знаете о чем.

— Знаю. Но не знаю зачем. — Она пристально посмотрела на него и сразу же отвела глаза. — После того вы у него не были?

— Не был.

— Я была у него сегодня. Через двадцать пять минут я ушла. Я смотрела по часам... — Она соскочила со сруба. — Пойдемте. Что-то холодно стало.

Господи, как трудно, когда все надо держать в себе! И не день, не два, а годы, целые годы! Да разве об этом расскажешь? И кому? Постороннему человеку, которого видишь второй лишь раз...

Она думала, что сможет все рассказать Николаю. Но она не смогла. А если б даже и смогла? Понял бы он ее? Понял

бы, что значит три года жить в оккупации? Ну не три, два с половиной. Разве могут они это понять, люди, никогда этого не испытавшие?

Две женщины. Две одинокие женщины. Причем одной за шестьдесят, и она прикована к постели. Она тает на глазах. Она не жалуется, не плачет, а когда ее особенно сильно схватит боль, поворачивается лицом к стенке, и только по вздрагивающей под одеялом спине видно, как ей больно. В комнате так холодно, что замерзает вода в стакане. Под окном весь пол покрыт инеем.

«Ах, какая сегодня вкусная каша!» — говорит мама, чтоб доставить Шуре удовольствие. Она знает, что для того, чтоб купить стакан пшена, нужно полдня просидеть на морозе с мешочком семечек. «Ах, какая она вкусная!» — говорит она, а потом всю ночь мучается от изжоги.

Мать умирает на глазах, и ничем ей нельзя помочь. До последнего дня она оставалась в сознании. Правда, она многого не понимает. Она каждый день говорит о Николае и все сокрушается, что он не попал в плен. «Мама, что ты говоришь? Разве можно такое?» — «Нет, нет, Шурочка, я понимаю. Я только думаю, что он мог бы убежать или его освободили бы: ведь они кого-то там освобождают, — и он пришел бы к тебе, к нам. А потом пришли бы наши. Разве ты не хочешь видеть Николая?» — «Хочу, очень хочу, но разве можно плен?» — «Я знаю, Шурочка. Я все понимаю. Но разве нельзя помечтать?»

Она так и не дождалась ни Николая, ни наших. Она умерла в тот день, когда немцы подожгли соседний, двадцать шестой номер. «Почему такой дым? — спрашивала она. — Надо, вероятно, прочистить дымоходы. Ты попроси Егора, он согласится. Он всегда соглашается, когда его попросят». Она умерла в восемь часов вечера, а в девять пришли эсэсовцы и вынесли всю обстановку, оставили только кровать, на которой лежала мать — маленькая, совсем как ребенок, — два стула и стол. Они были поедены шашелем, и эсэсовцы не захотели их брать.

Она похоронила маму без гроба. Егор помогал копать могилу. Он же достал подводу, на которой везли маму —

просто так, завернутую в простыню. Это было в конце октября прошлого года. Через две недели пришли наши.

Она даже не помнит, как попала в эту квартиру. Вероятно, соседи привели. Сначала их было много — человек десять в одной комнате, с детьми, с какими-то узлами. Потом, когда гитлеровцы стали угонять жителей, соседки одна за другой исчезли, разбежались по окраинам, пригородным селам. Она осталась одна, совсем одна в пустой квартире. Днем сидела на чердаке, когда немцы ходили по квартирам, на ночь спускалась вниз.

В ночь на 6 ноября на улице все время была перестрелка. Всю ночь она просидела на чердаке. Сквозь слуховое окошко было видно, как горит город. Утром она спустилась в квартиру. В ней были бойцы, наши бойцы.

Может ли понять Николай, что значит увидеть своих после двух с половиной лет? После того, как немцы были под самым Сталинградом и целый день их радио кричало, что Советская Армия почти полностью уничтожена? Может ли он это понять? Она смотрела на этих солдат — грязных, обросших, пропахших насквозь махоркой и потом, и они ей казались красивее всех. Она стирала им белье, латала и штопала обмундирование, варила им обед. Один из них был ранен, совсем молоденький лейтенант, какой-то их начальник. Его нельзя было переносить, и он лежал тут же, на единственной кровати, и она за ним ухаживала. Госпитали были переполнены, люди лежали на полу. Его часть ушла вперед, он остался у нее.

Соседки — новые, появившиеся после освобождения города, — стали шушукаться чуть ли не с первого дня. В разговорах с ней они называли его не иначе, как «ваш». «Вашему там письмо пришло... Ваш опять расплескал вокруг умывальника воду».

У него были перебиты обе ноги. Это было, очевидно, очень больно, но он не стонал, а только стискивал зубы и смотрел в потолок. Когда бойцы уходили, многие из них плакали. Они любили своего лейтенанта и за глаза называли его Федюшей. Он был моложе самого молодого из своих

бойцов — ему было только девятнадцать лет, а на вид и того меньше. У него еще был пушок на верхней губе, а бороды совсем не было.

Боже мой, Шура чувствовала себя совсем старухой рядом с ним! Когда перед стиркой, меняя ему рубашку, она смотрела на его совсем еще мальчишеское тело с выдающимися ключицами и лопатками, ей казалось, что это ее сын, хотя она была всего лишь на пять лет старше его.

Потом его забрали в госпиталь. Она носила ему передачу — какие-то жалкие булочки и сметану, которую он очень любил. Через полгода он уже ходил на костылях. Его демобилизовали и дали ему вторую группу. Жить ему было негде. Семья его, отец и мать, жили где-то около Риги — отец до войны работал на заводе ВЭФ, но там были еще немцы. Она поступила так, как, по ее мнению, поступил бы каждый на ее месте, — ведь он прожил здесь почти три месяца, и все равно соседки называли его «ваш».

И случилось то, что не могло не случиться, когда двое молодых людей живут под одной крышей.

Была ли это любовь? Со стороны Феди — да. Возможно даже, что это была его первая настоящая любовь, первая любовь человека, прямо со школьной скамьи попавшего в водоворот войны и в этом водовороте столкнувшегося с приласкавшей его женщиной. А со стороны Шуры? Очевидно, тоже да. Но это была какая-то другая любовь, совсем особая, родившаяся из сострадания к этому молоденькому, тяжело раненному человеку, первому человеку с красной звездочкой на пилотке, которого она увидела после двух с половиной лет оккупации.

Как это могло случиться? Ведь все эти годы она думала только о Николае. Она и теперь о нем думала. Часто по ночам, закрыв глаза, она лежала и думала о нем. Она старалась представить его себе в военной форме, в которой никогда его не видела, — когда она с ним прощалась, он был в лыжном костюме и тапочках на босу ногу, — и он рисовался ей почему-то в каске, которая, как ей казалось, очень должна была ему идти, и с гранатами на поясе. «Солдаты должны

его любить, — думала она, — любить и уважать, потому что он прост, весел и смел», — в этом она не сомневалась. Она не верила в его смерть, она ждала его. Она тысячу раз представляла себе, как он постучит в комнату, войдет, посмотрит на нее. И ей становилось вдруг радостно и весело.

Может ли Николай все это понять? И захочет ли? Понять ее одиночество, ее тоску. Она ждала Николая, но его не было. Она ждала писем, их тоже не было. Она понимала, что чем дольше Федя живет у нее, тем положение становится сложнее. Но она ничего не могла поделать. Ей нужна была помощь. И вот бедная, растерявшаяся, сама не понимающая, что происходит, Шура ждала ее от Николая. Ждала все эти годы, ждала и сейчас. Он один может все это распутать. Он один... Пусть бы он только приехал.

И вот он приехал. И она ему ничего не сказала. Она не нашла в себе смелости заговорить об этом первой. А он даже ни разу не улыбнулся. Он сидел и курил трубку. Вот и все.

...Шура и Сергей молча прошли Петровскую аллею. Возле сожженной библиотеки расстались. Сергей пошел направо; Шура подождала, пока он скроется, потом пешком пошла домой.

9

Рана Николая быстро заживала. Тот самый Гоглидзе, о котором говорил когда-то Сергей, флегматичный, невозмутимый хирург, произносивший не больше десяти-двенадцати слов в день и со скучающим, безразличным видом делавший самые сложные операции, щупал своими большими красивыми пальцами с коротко остриженными ногтями рану Николая и, позевывая, говорил:

— Что ж, можно уже и к физическим приступать...

Это значило, что грануляция идет хорошо, а на месте перелома появилась костная мозоль.

Николай стал ходить в физиотерапевтический кабинет. Маленькая, черненькая, почти совсем глухая от контузии, но живая и проворная, несмотря на свои пятьдесят лет, се-

стра-татарка, которую все звали просто Бариат, потому что никто не мог запомнить ее отчества — Бадрутдиновна, делала ему диатермию и гальванизацию и восторгалась его аккуратностью. Николай приходил ежедневно в точно назначенный час и терпеливо сидел на своей скамеечке, обложенный мешочками с песком. Он даже находил какое-то удовлетворение и успокоение в этих ежедневных хождениях к Бариат. Хоть и скучно, но все-таки как-то приближает выписку, приближает фронт.

Сергей так и не появлялся: очевидно, опять куда-то уехал. Один из двух язвенников выписался. На его место, как раз рядом с Николаем, лег пожилой полковник с трофической язвой на ноге. Он был ворчлив, подолгу и еще подробнее, чем остальные, говорил о своей болезни и не разрешал курить в палате. Николай стал еще реже в ней бывать и все чаще ходить в библиотеку помогать симпатичной Анне Пантелеймоновне сортировать книги. Это было чем-то вроде партийной нагрузки, придуманной специально для него майором Касаткиным, считавшим, что этим самым он убивает двух зайцев: с одной стороны, усиливает, так сказать, партийное ядро библиотеки, а с другой — отвлекает «ранбольного» от иных, менее полезных занятий.

Как-то, придя в библиотеку перед самым ее закрытием, Николай застал Анну Пантелеймоновну завязывающей толстую стопу книг. Увидев Николая, она, слегка смущаясь, попросила его дотащить их до ворот.

— Там дочка будет ожидать, на территорию ее не пускают, а до ворот я сама не дотащу. Это все не ходкие книги. Хочу завтра обменять в коллекторе на новые.

Николай охотно согласился. На полпути Анна Пантелеймоновна забеспокоилась, что ему тяжело их нести в одной руке, и предложила разделить пачку на две, чтобы и она могла что-нибудь нести. Николай рассмеялся.

— Я спортсмен, мамаша. Когда-то этой самой левой рукой двухпудовую гирю раз пятнадцать выжимал.

— Ну, смотрите, смотрите. А то я тоже физкультурница. При немцах на четвертый этаж два ведра таскала.

Они подошли к воротам. Кроме облокотившегося о перила часового, там никого не было.

— Вероятно, на лекциях задержалась, — сказала Анна Пантелеймоновна.

— А где ваша дочка учится?

— Не учится, а учит. Английский язык преподает. В строительном институте, не как-нибудь.

Они немного постояли.

— А где вы живете, Анна Пантелеймоновна.

— В двух шагах. Вон за тем домом, видите? — Она указала рукой в сторону стадиона. — По тропинке только спуститься и сразу же налево.

Николай подхватил книги.

— Пошли.

— Что вы, что вы! — испугалась Анна Пантелеймоновна. — Вам неприятности потом будут.

— Чепуха, мамаша, я к ним привык.

Когда они дошли до запущенного четырехэтажного дома с какими-то облупившимися полуголыми старцами на фасаде, Николаю так вдруг не захотелось возвращаться в свою палату с нудным полковником, что он, даже не отказавшись из приличия, сразу согласился зайти попить чаю.

Они поднялись на четвертый этаж.

Таких комнат, как та, в которую он попал, Николай никогда еще не видел. Большая, почти квадратная, с большим окном и дверью, выходящими на заросший виноградом балкон, залитая сейчас лучами заходящего солнца, она поражала невероятным количеством книг. Они были везде: на изогнувшихся под их тяжестью полках вдоль стен, на полках дивана, на подоконнике, но больше всего на полу, прикрытые какими-то ковриками и старыми одеялами. На свободных от полок кусках стен и на самих полках висели фотографии. Их было тоже очень много: какие-то мужчины и женщины в смешных туалетах, виды незнакомых городов, озер и гор. Над диваном висела небольшая, но сразу бросавшаяся в глаза картина — озеро или пруд и склонившиеся над ним, тронутые осенью деревья.

Николай стал рассматривать фотографии. Чаще всего попадался мужчина с усами и в пенсне («Очевидно, муж», — подумал Николай) и хорошенькая девочка с косичками и смеющимися глазами («Вероятно, дочь»). Потом выяснилось, что мужчина с усами вовсе не муж, а отец, а девочка с косичками — сама Анна Пантелеймоновна.

— А где ваш муж? — спросил Николай.

— Мой муж?

Анна Пантелеймоновна указала на маленькую, выцветшую фотографию, висевшую над диваном. Подстриженный бобриком мужчина с ружьем в руках и дама, подпоясанная широким поясом, с перекинутым через плечо биноклем, стояли возле нагруженного тюками ослика.

— Это мы в Монголии. В тринадцатом году. Видите, какая я была тогда молоденькая... Ага... Явилась наконец.

В комнату быстро вошла очень похожая на Анну Пантелеймоновну в молодости стройная девушка, с бросающимися в глаза бронзово-рыжими, по-мужски подстриженными волосами. На ней была старенькая лыжная курточка, в руках военная полевая сумка.

— Ты где пропадала, а? Пришлось вот капитана нагружать. Сколько мы с вами там простояли, Митясов? Минут двадцать, вероятно.

— Ну вот и сочиняете! — Девушка бросила сумку на диван. — Мне часовой сказал, что вы и пяти минут не ждали. Так что не надо, пожалуйста. — Она прямо и с некоторым как будто любопытством посмотрела на Николая. — А вы, значит, тот самый капитан, который про войну и любовь не любит читать?

— Тот самый, — смутился Николай.

Анна Пантелеймоновна тоже смутилась.

— Ведь и ты не любишь про войну. — Она взглянула на Николая так, будто хотела его убедить, что ничего дурного нет в том, что он не любит читать какие-то там книги. — Валя сама в «Войне и мире» всю войну пропускает.

— Вот и не пропускаю. Там, где Пьер, не пропускаю.

— А где Андрей? — Анна Пантелеймоновна чуть-чуть улыбнулась.

— Где Андрей, пропускаю. Я его не люблю ни на войне, ни дома. — Она повернулась к Николаю. — А вы любите Андрея?

Николай замялся — он не читал «Войну и мир».

— Как вам сказать...

— А Николая? Ростова?

— Ничего.

— А Пьера?

«Вот пристала», — подумал Николай и сказал, что Пьера любит, но вообще читал уже давно и многое забыл.

— Мать, завтра же дай ему первый том.

Потом пили чай, и Валя рассказывала про какого-то студента, который сдавал за другого и сдал, но не тому преподавателю, и в связи с этим произошло что-то очень смешное. Потом мать и дочь опять заспорили об Андрее и Пьере, и Николай, чтоб отвлечь их от этой опасной темы и переключить на что-нибудь более знакомое ему (в конце концов, нельзя же все время молчать), заговорил о появившемся сегодня в газетах сообщении о взятии Праги, предместья Варшавы. Но и здесь инициатива почти сразу же была выбита у него из рук. Обе женщины заспорили вдруг о варшавском восстании.

Спор длился довольно долго. Спорщицы взывали к Николаю, к его справедливости, к знанию военного дела, но только он успевал открыть рот, как они опять набрасывались друг на друга. Потом спор неожиданно прекратился. Николай никак не мог уловить, отчего и почему он прекратился, но разговор вдруг зашел о Монголии и Тянь-Шане, где Анна Пантелеймоновна была со своим мужем-геологом тридцать два года тому назад. Анна Пантелеймоновна весело и остроумно рассказывала об их злоключениях.

Николай незаметно выпил три или четыре стакана чаю и, только когда с ужасом увидел, что съедено почти полбанки варенья, стал откланиваться.

— Идите, идите, — засуетилась Анна Пантелеймоновна. — Ей-богу, неприятности будут. Идите...

Николай распрощался и ушел.

Впервые за месяц своего пребывания в госпитале он чувствовал себя легко и весело. Мать и дочь ему очень понравились. Валя, правда, показалась ему немного грубоватой, похожей на парня, — как-то очень уж по-мужски стриженные волосы, и курточка эта лыжная, и слишком энергичные для девушки манеры, зато в Анну Пантелеймоновну он просто влюбился.

Хорошие люди, думал Николай, взбираясь в темноте по знакомой тропинке, очень хорошие. И сколько книг! Но живут, видать, туговато. Туфли-то у мамаши совсем стоптанные и чулки штопаные-перештопаные. А он-то полбанки варенья умял, дурак! На зиму, должно быть, с трудом сварили, а он за каких-нибудь полчаса... А отец-то ее, очевидно, крупный какой-нибудь, важный человек был — воротничок стоячий, пенсне... Наверное, недоволен был, когда она за своего геолога вышла. Тот, видно, из простых был — все в рубашечках да сапогах. Куда он девался, интересно? Погиб или, может, разошлись? Они ничего об этом не говорили, а спрашивать как-то неловко. А вообще хорошие люди, очень хорошие.

Вернувшись в отделение (к ужину он опоздал), Николай, не заходя в свою палату, прошел в двадцать шестую и там до двух часов просидел, болтал с сестрами и больными.

— Что-то у вас вид утомленный и синяки под глазами, — говорил наутро полковник и многозначительно тряс своей плешивой головой. — А я-то вас весь вечер ждал. Соня меняла повязку, и я хотел похвастаться. Знаете, насколько уменьшилась язва? Вы никогда не поверите. Идите-ка, я вам покажу по секрету, — если просунуть карандаш и приподнять повязку, хорошо видно.

10

Так началось знакомство Николая с семейством Острогорских. Сначала редко, потом все чаще и чаще стал заходить он к ним в промежутке между обедом и ужином. Ва-

ренье скоро кончилось, и Николай, как ни возражала Анна Пантелеймоновна, приносил с собой госпитальный сахар и масло, которого не ел.

Обычно Николай заходил за Анной Пантелеймоновной в библиотеку, и они вместе шли домой, а потом, до прихода Вали из института, он помогал Анне Пантелеймоновне на кухне чистить картошку — врачи велели ему как можно больше двигать правой рукой, и чем мельче движения, тем лучше.

Потом приходила Валя, всегда полная новых впечатлений и рассказов, и тут-то начиналась жизнь. Мать и дочь не умели говорить спокойно, они всегда спорили очень горячо и никогда друг на друга не обижались. Николая это очень забавляло. Особенно повторявшийся изо дня в день спор о сервировке стола.

— Когда ты наконец от всех этих фронтовых привычек отделаешься? Разве не приятнее есть за чистым столом со скатертью, чем...

— Скатерть стирать надо, а у меня времени нет.

— Видали? — Анна Пантелеймоновна искала поддержки у Николая. — Хорошо еще, курить отучилась, а то разило махоркой за версту, как от солдата.

— Так я ж и есть солдат, — смеялась Валя.

— Была. А теперь педагог. Не представляю, как и чему ты своих студентов учишь. Ты хоть их по фамилии называешь или Ваньками и Петьками, как своих зенитчиков?

— Как случится.

— Нет! Ни грамма женственности. Запомните мои слова, Николай Иванович, так в старых девах и умрет! Кому она нужна такая?!

Николай смеялся и, соблюдая разумное равновесие, принимал сторону то одной, то другой. Иногда, правда, мать и дочь объединялись, — это было тогда, когда к ним приходил Валерьян Сергеевич, сосед из первой комнаты направо.

Валерьян Сергеевич был корректором. Этим делом он начал заниматься еще тогда, когда ни Николая, ни Вали не было на свете, в петербургской «Биржевке», и, пройдя

штук пятнадцать газет, включая армейскую, работал сейчас в местной, городской.

Он был холост, держал не то пять, не то шесть кошек, которые без конца плодились и съедали почти весь его паек, ходил дома в мохнатом халате с длинными висящими нитками, которые за все цеплялись, и не выпускал изо рта трубки с невероятно вонючим и крепким самосадом собственной резки. От него пахло всегда табаком и одеколоном, так как брился он каждый день и всегда неудачно: сухое, пергаментное лицо его было усеяно бумажками и ватками, а где-нибудь возле уха или на шее оставался недобритый кусочек.

Обычно он приходил за какой-нибудь книгой, но это было только предлогом. Взяв книгу, он говорил: «Зачем вы держите эту гадость? Я б ее давно сжег», или: «Ну вот, опять подсовываете мне Чехова. Я ж его наизусть знаю, от корки до корки».

— Так не берите, если знаете.

— А что ж брать? У вас ничего нет. Дайте мне Элизе Реклю. Есть? Нету. Фабра о муравьях. Есть? Нету. Что ж у вас есть? Ведь вы библиотекарь, Анна Пантелеймоновна.

— Ладно. Вы чаю выпьете?

— Нет, — решительно говорил он и, сев за стол, машинально, ни на минуту не прекращая разговора, выпивал полчайника.

Он все и всегда осуждал, но только до того момента, пока кто-нибудь, в свою очередь, не начинал что-нибудь осуждать. Тогда он принимался яростно защищать.

— Ох, сегодня опять вечером собрание! — говорит Валя. — Совсем замучили.

— Замучили, потому что вам безразлично, что там происходит, — говорил Валерьян Сергеевич, заполняя комнату клубами своего вонючего дыма. — Вы думаете только о том, чтоб оно поскорей кончилось. Вам наплевать на то, что там говорят, наплевать, потому что вы торопитесь на свидание, потому что вы не общественница и вам ничуть не интересно, чем живет ваше учреждение.

— Вы ошибаетесь, Валерьян Сергеевич.

— Нет, не ошибаюсь. Я знаю, что вы мне сейчас скажете. Я все знаю. Про снайперский кружок. Да? Угадал? Чепуха! Это не общественная работа. Это привычный рефлекс. Когда вы были в армии, вы стреляли в самолеты; теперь самолетов нет, но вы не можете не стрелять. Ясно? Где моя книга? Я ушел.

После этого он сидел еще добрых полтора-два часа, и если уходил, то только потому, что надо было идти на дежурство или начинала орать в коридоре кошка.

Заходили и другие соседи. Вообще эта квартира, как говорила Анна Пантелеймоновна, была, пожалуй, одной из немногих в городе коммунальных квартир, в которой все живут дружно. В ней было пять комнат, и в каждой жило по семейству.

Ближайшими соседями были Блейбманы — Муня и Бэлочка. Оба были художниками: Муня плакатистом, Бэлочка книжным оформителем. Мунины плакаты — ими была увешана вся их комната — изображали стремительных бойцов с энергичными лицами, и, глядя на них, трудно было себе представить, что рисовал их тихонький, скромненький, грустно на всех смотрящий большими библейскими глазами из-за очков Муня.

Бэлочка, не под стать ему, красивая, полная, может быть даже слишком полная, чтоб быть красивой, брюнетка с маленькими усиками, обожала своего Муню и не сводила с него влюбленных глаз.

Блейбманы были молодоженами и никогда не говорили о себе в единственном числе, всегда во множественном: «Мы еще не читали этой книги», «У нас с Бэлочкой сегодня вечером занятия», «Мы с Муней сделали новую обложку». Работали они дома и почему-то преимущественно ночью. Работы свои — плакаты и обложки — относили заказчикам всегда вместе. Вообще все, что они ни делали, они делали вместе, даже гриппом заболевали в один и тот же день.

Муня был мучительно застенчив. Вероятно, именно поэтому Яшка Бортник — квартирный остряк и весельчак, шофер, живший в бывшей комнате для прислуги, — плеска-

ясь по утрам на кухне и хлопая себя по здоровенной спине, спрашивал громким шепотом, так, чтоб все слышали:

— А скажите, Муня, с какой это девушкой я видел вас вчера на улице, а?

Муня краснел, а Яшка ржал на всю кухню так, что с потолка сыпалась штукатурка, и подсовывал свою кудлатую голову под кран.

— Ну ладно, ладно уж, не скажу Бэлочке.

Яшка Бортник работал в «Союзтрансе». Работой своей он был доволен, зарабатывал неплохо, но, как говорила Валя, деньги ему жгли карман. Приходил вдруг к Анне Пантелеймоновне и говорил:

— Слушайте, возьмите-ка у меня пару сотен.

— Это зачем же, Яша?

— Зачем или не зачем, а возьмите...

— Да не надо мне, Яша. Пятнадцатого у меня получка, а у Вали двадцатого.

— Так не для вас, а для меня. Возьмите. Меньше потрачу, ей-богу! — и совал растерянной Анне Пантелеймоновне грязные, пахнущие бензином бумажки.

После недолгого сопротивления Анна Пантелеймоновна брала (до пятнадцатого оставалась еще неделя, а денег действительно не было), но когда в получку пыталась вернуть, Яшка говорил:

— Ой, только не сегодня! Сегодня как раз хлопцы собирались ко мне прийти, вот и полетит все в трубу. Давайте лучше до завтра отложим.

А завтра опять что-нибудь придумывал.

Вообще парень он был хороший, всегда был весел, услужлив, всему дому чинил примусы и замки. Дома ходил всегда в каких-то маечках и сеточках, чтоб все видели его мускулатуру, и большего счастья для него не было, как передвинуть с места на место какой-нибудь тяжеленный шкаф или втащить на пятый этаж пятипудовый мешок картошки, обязательно бегом, через одну ступеньку.

— Сердце — будь здоров. Послушай. — И все должны были слушать его безмятежно спокойное и ровное сердце.

В пятой комнате жили Ковровы: отец, мать и шестнадцатилетний Петька — здоровенный, на голову перегнавший отца, длиннорукий, неуклюжий парень с ласковыми глазами. Он был заядлым шахматистом, фотографом и, если б не война, наверное, был бы радиолюбителем.

Отец, Никита Матвеевич, работал столяром-краснодеревщиком на мебельной фабрике, а по вечерам «халтурил» дома, и в комнате их всегда приятно пахло сосновыми стружками и опилками. Мать Петина, или «старуха», как называл ее Никита Матвеевич, хотя ей было немногим больше сорока, а самому Никите Матвеевичу порядком уже за шестьдесят, коренная москвичка, говорила с таким певучим замоскворецким произношением, что Анна Пантелеймоновна, слушая ее, восторгалась: «Ну просто Малый театр, собственная Турчанинова или Рыжова...»

Был у Ковровых еще и старший сын, Дмитрий, но он был на фронте, в Румынии. Над ковровским верстаком висел его портрет в золоченой, собственного Никиты Матвеевича изготовления рамке, — молоденький, курносый, очень похожий на отца сержант, на фоне замка и плывущих по озеру лебедей. Письма от него приходили не часто, но довольно регулярно, и хотя в них, кроме бесчисленных поклонов и «воюем помаленьку», ничего не было, обсуждались они до малейших деталей всей квартирой.

Николай почти сразу стал своим человеком. Валерьян Сергеевич, любивший поговорить о политике и событиях на фронтах, заводил его к себе, и там на громадной, во всю стену, карте Европы обсуждал с ним предполагаемые удары и делал прогнозы на ближайший месяц. Блейбманы преимущественно консультировались на всякие медицинские темы, и Николай приносил из госпиталя Муне пирамидон с кофеином, — его по ночам одолевали головные боли. Яша Бортник полюбил Николая потому, что он вообще всех любил, а к тому же оказалось, что они в сорок втором году были в одной армии и вспоминать им обоим было о чем.

Но кто больше всего полюбил Николая, так это Анна Пантелеймоновна. Может быть, именно поэтому она часто пилила его:

— Ну, почему бы вам не заняться языками? Целый день ничего не делаете, а ведь я знаю французский, Валечка — английский... Ведь вы офицер. Офицер должен быть культурен.

— Ох, мамаша, — смеялся Николай, — где там о языках думать? На фронт скоро, а вы о языках.

— И отучитесь, пожалуйста, от этих «мамаш». У меня есть имя, есть отчество — неужели так трудно запомнить? А насчет думать... Сколько вам лет?

— Двадцать пять уже.

— Господи боже мой, почему вы все считаете себя стариками? Вы и жизни-то по-настоящему не видели.

— Ну, это уж, мам... Анна Пантелеймоновна, не говорите! Три года на фронте...

— Чепуха! Честное слово, Колечка, посмотрю я на вас, и мне кажется, что я ку-уда моложе вас всех.

Николай соглашался: в Анне Пантелеймоновне действительно молодости хватало на десятерых. Маленькая, подвижная, она, казалось, никогда не устает. Придет в девятом часу, наскоро чего-нибудь хлебнет и уж бежит куда-то.

— Ты куда, мать?

— К Пустынским. У них, кажется, «Анна Каренина» есть. Третий день уж Ковальчук из хирургического просит, а она на руках. Я мигом...

Старик Ковров только улыбался и поглаживал свою лысину. Кстати, сам он тоже не прочь был, подобно Анне Пантелеймоновне, попилить Николая.

— Вот ты, капитан, ей-богу, чудак, — говорил он, откладывая рубанок и сворачивая цигарку толщиной в свой корявый коричневый палец. — Ну что ты все на фронт рвешься? Чего, спрашивается? Свое дело ты уже сделал, хай другие теперь повоюют. Ну, в сорок первом, сорок втором, я понимаю, все на фронт рвались. А сейчас? Куда уж ему? («Он» — это означало Гитлер.) И без вас до него доберутся и шею свернут.

— Вот и не хочется, батя, — здесь Николаю разрешалось так говорить. — Вот и не хочется, чтоб без нас.

— А еще чего тебе не хочется? Работать тоже не хочется? А? Разбаловался там, на войне? Немец бежит, а тебе бы за ним, трофеи только подбирать.

Николай смеялся.

— Не всегда и не везде бежит, батя. Сейчас, например, на Висле, ребята пишут...

— Ну и пусть пишут. Наш Митька тоже пишет. Я же про него ничего не говорю. У него руки и ноги целы.

В этом месте Марфа Даниловна всплескивала руками:

— Да ты что говоришь! Побойся бога!

— А ничего я не говорю, — дразнил ее старик, — говорю, что руки и ноги целы, может еще и повоевать. А у этого... Покажи-ка, пальцы работают?

Николай пытался пошевелить пальцами, но это еще не выходило, — чуть-чуть только удавалось на несколько миллиметров отодвинуть большой палец.

— Тоже мне вояка! — Никита Матвеевич, сплюнув на пол, после чего всегда оборачивался, не заметила ли «старуха», растирал ногой плевок и брался за рубанок. — Пока твои пальцы заработают, война кончится. Что тогда делать будешь?

— Еще не знаю, Никита Матвеевич.

— А пора бы знать. Не нам же, старикам, после войны все делать! Бездельник ты, вот что...

Николай любил заходить к Ковровым, хотя там всегда был отчаянный беспорядок. Старик мастерил какие-то этажерки и полочки, Марфа Даниловна что-нибудь гладила или штопала, Петька, сидя в углу на полу, путался в каких-то проволоках и паял детали какой-то никому не известной машины. Николай сидел в углу, покуривая, и с завистью смотрел на всех троих. Шипит примус с кипящим на нем столярным клеем, шипит Петькин паяльник, пахнет клеем, смолой, керосином, и от всего этого становится как-то уютно и весело. Что и говорить! Иногда просто приятно посмотреть, как другие работают, когда сам лишен этой возможности.

Вообще с того дня, как он выпил в этой квартире первый стакан чаю с малиновым вареньем, Николай почувствовал,

что дни вовсе не так уж длинны. Его даже перестал раздражать полковник Зилеранский со своей язвой. Нашлись какие-то общие, помимо лечения, темы для разговоров, и все чаще строгая, всем недовольная сестра-хозяйка, заглядывая в палату, говорила: «Нельзя ли потише, товарищ Митясов? Ваш голос даже в операционной слышно. Просто не узнаю вас...» А операционная сестра Дуся, все и всегда обо всех знавшая, начиная от главного врача и кончая вчера только поступившим больным, как-то после перевязки покачала головой и сказала дежурной няне:

— Появилась женщина. Факт.

11

Острогорским должны были привезти дрова. Валин институтский завхоз был расторопен и загодя, еще до наступления первых осенних холодов, обеспечил всех сотрудников хорошими дубовыми дровами. Договорено было, что Яшка привезет их на своей машине, а Николай с Петькой Ковровым распилят и наколют.

Дрова должны были привезти в четыре, но Николай задержался со своими процедурами и вышел из госпиталя в начале пятого.

На мосту, у входа, столкнулся с Сергеем.

— Ты куда? — спросил Сергей.

— В гости.

— К кому?

— К знакомым.

— Обзавелся уже?

— Да, обзавелся.

Николай ожидал дальнейших вопросов в стиле Сергея, но тот только сказал:

— Я тебя провожу. Не беги только, мне под гору трудно.

— Ты где пропадал? — спросил Николай.

— Где надо, там и пропадал.

— Просьбу мою, конечно, не выполнил?

— Почему конечно? В адресном столе Куценко нет. Если б был, я б тебе сообщил.

Когда они спустились с горы, Сергей сказал:

— Ты что, в театр торопишься? Боишься опоздать?

— Нет, не в театр.

— Так чего ж ты бежишь? Двуногий... Мне протез ногу натер.

Они пошли тише.

— Я видел твою Шуру, — сказал Сергей.

— Где? — Николай удивленно посмотрел на него.

— Не все ли равно где.

— А откуда ты ее знаешь?

— Знаю, и все. По-моему, ты должен к ней сходить.

Николай остановился.

— Говори толком!

— Ага... Заело.

— Брось дурака валять! Когда ты ее видел?

— Может, сядем?

Они сели на парапет у входа на стадион.

— Так где ты ее видел?

— В обувном магазине встретил.

— Ну?

— Я считаю, что ты должен к ней пойти.

— Зачем?

— Это уж твое дело. Но я так считаю.

— Слушай, Сергей, какого дьявола ты говоришь загадками?

Сергей мрачно улыбнулся.

— Она тебе говорила, что я у нее был?

— Ты? У нее? Нет, ничего не говорила. Зачем же ты к ней ходил?

— Так просто. Захотелось.

— А ну тебя!..

Николай встал.

— Сядь, сядь... Я тебе серьезно говорю: сходи к ней. Я видел ее после вашей встречи. Тут что-то не то. У меня ведь есть на это чутье.

— Что она тебе говорила?

— Ничего не говорила. Я говорил. Мы прошлись с ней до Днепра и обратно. Ей надо было на площадь Сталина. Кроме того, я познакомился с дядей Федей. Не в этот раз, а в первый, когда заходил к ней.

Николай вопросительно взглянул на Сергея. Сергей смотрел куда-то в сторону.

— Пацан! Верь моему слову, тут что-то не так.

Николай промолчал. Ему было неприятно, что Сергей заговорил о Шуре. При чем тут Сергей? И зачем он к ней заходил? И зачем вообще он вмешивается? Сергей дернул его за рукав.

— А может, в забегаловку заскочим? Здесь недалеко. Та самая, где мы познакомились. Тяпнем по маленькой, и катись на все четыре стороны.

— Не хочу.

— Вот черт трезвый! Ты что, вообще перестал водку пить?

— Просто не хочется. Не интересует сейчас.

— И что собой представляет дядя Федя?

— Тоже не интересует. И вообще это мое дело. Не твое и не чье-либо, а мое. Понял?

Сергей пожал плечами:

— Ну, раз не мое, тогда... будь здоров!

Он крутнул в воздухе палкой и ушел.

Только пройдя квартал, Николай почувствовал, что разговаривал с Сергеем не так, как надо. Ну чего, спрашивается, он на него разозлился? Ну, не его дело, допустим, но ходил-то он ведь к Шуре не для себя, а для него, Николая... Может, вернуться?

Николай взглянул на часы. Без четверти пять. Поздно!

Придя к Острогорским, Николай застал всю квартиру толпящейся вокруг сваленных на полу здоровенных плах и обсуждающей, на сколько времени их может хватить и что экономнее: на две или три части пилить каждую плаху? Петька разводил пилу.

— Мы сейчас с дядей Колей покажем класс. Он теперь тоже левша, — Петька был левшой.

Яшка с шумом расчищал место для козел.

— Бесплатно делать не будем, учтите это, Анна Пантелеймоновна. Всякая работа вознаграждения требует.

— Ладно, ладно! Уходите же.

— Я не шучу. На четвертый этаж все-таки таскали.

— Да уходите, ради бога, не мешайте! — Анна Пантелеймоновна пыталась вытолкнуть здоровенного Яшку из кухни, но тот упирался. — По рюмке наливки, так и быть, уж дам.

— И не на кухне, а у вас, из рюмочек, по-интеллигентному.

Наконец всех удалось выпроводить, и Николай с Петькой приступили к пилке. У них не очень-то получалось — пила все время заскакивала, оба обвиняли друг друга в неумении пилить. Когда пришла Валя, Николай прогнал Петьку учить уроки, взял пилу в правую руку. Дело пошло лучше, хотя руку приходилось все-таки привязывать бинтом к рукоятке пилы. Рука скоро уставала, и приходилось опять переходить на левую.

Валя раскраснелась, ее бронзово-рыжие волосы растрепались и падали на глаза, левая руку упиралась в плаху, а правая равномерно и с силой тянула к себе пилу.

— Вы хороший пильщик, — сказал Николай.

— Хороший, — согласилась Валя и ловко подхватила отвалившийся кусок плахи. — Только спина с непривычки болит. — Она отбросила чурбак в сторону и посмотрела на форточку. — Какой дурак ее закрыл? Жарко...

Она легко вскочила на подоконник, открыла форточку, хотела соскочить на пол, но зацепилась юбкой за шпингалет.

— Вот черт! Единственная юбка. — Стоя на подоконнике, она наклонилась и пыталась отцепить юбку. — Ну, чего вы смотрите? Помогите!

Николай подошел. Валя стояла над ним, и от неудобного положения и досады лицо ее еще больше покраснело. Волосы почти совсем закрывали лицо, и видны были только зубы, которыми она прикусила нижнюю губу.

Николай отцепил юбку, потом, обхватив левой рукой, снял Валю с подоконника, но не сразу поставил на пол, а, крепко прижав к себе, донес до козел. Валя, чтоб не упасть, схватила его за шею.

— Эге, да вы совсем легонькая! — сказал Николай, смотря на нее снизу вверх.

— Пустите! — Валя обеими руками оттолкнула его голову.

Николай осторожно поставил ее на пол и улыбнулся. Валя не смотрела на него, она рассматривала порванное место юбки. Потом взяла пилу, тряхнула ею так, что она жалобно запела, потрогала пальцами зубцы и поставила в угол.

— Чего ж это вы, Валя?

— Хватит на сегодня, — не глядя, сказала она и быстро вышла из кухни.

Через полчаса собрались у Острогорских. Петька под шумок подливал в рюмку и сидел потный, довольный, с блестящими глазами. Валерьян Сергеевич оседлал Муню. Поминутно всовывая в лампу бумажку и зажигая от нее гаснувшую трубку, ничего не слушая, он доказывал Муне, что к Новому году война обязательно должна кончиться. Муня соглашался.

Валя вначале сидела молча, с безразличным видом ковыряя консервы. Анна Пантелеймоновна несколько раз на нее взглядывала, потом спросила, не случилось ли у нее что-нибудь на службе. Валя, сказав, что ничего, вдруг оживилась, налила себе и пытавшейся сопротивляться Бэлочке по полной рюмке наливки и стала громко и возбужденно о чем-то ей рассказывать. Бэлочка сонно кивала головой и отодвигала рюмку.

— Да, да, ей нельзя! — Муня отодвигал рюмку еще дальше. — Сейчас ей никак нельзя! Даже наливки нельзя!

По радио объявили: «Московское время двадцать два часа одиннадцать минут. Передаем беседу...» Валя встала, выключила радио и, сказавши: «Фу, как жарко!» — вышла на балкон.

В комнату постучался и вошел, смущенно поглаживая лысину, Никита Матвеевич.

— Моя старуха не у вас?

Яшка блеснул глазами.

— Давай, давай, старина. Тащи только свое «энзе». Я знаю, у тебя там есть в сундучке.

Николай уступил место Никите Матвеевичу, постоял немного у дивана, перелистывая книгу, потом тоже вышел на балкон.

У Острогорских был большой, величиной почти с комнату, густо увитый виноградом балкон. Днем с него открывался прекрасный вид на Новое Строение, Сталинку и Голосеево. Сейчас же ничего этого не было видно — город маскировался, и только изредка, справа, проносились по Красноармейской автомашины с синими фарами. Где-то очень далеко, очевидно над Каневом или Трипольем, беззвучно вспыхивали зарницы. Недавно прошел дождик, и в воздухе пахло свежей землей и отцветающим уже табаком.

Валя стояла, опершись о перила, и узенький луч света, пробивавшийся сквозь маскировку, светлой полоской лежал на ее волосах и спине.

— Вам не холодно? — спросил Николай.

— Нет, хорошо, — не поворачивая головы, сказала Валя.

Николай закурил.

— Вас оштрафуют, — сказала Валя.

— Не оштрафуют. Я осторожно. Как на фронте.

Они помолчали.

— Вы знаете, о чем я думаю? — сказала Валя.

— Нет, не знаю. Откуда мне знать?

— Ведь на фронт-то вы уже не попадете, Николай. А?

Она впервые назвала его Николаем, до сих пор она говорила всегда «Николай Иванович» или «товарищ капитан».

— Почему? — спросил Николай.

— Не знаю почему, но я так чувствую. А я никогда не обманываюсь, вы знаете? Никогда. Я знала, например, что не увижу отца, и знала, что увижу мать... Дайте мне потянуть, пока мать не глядит. — Она сделала несколько затяжек и за-

кашлялась. — Отвыкла, голова уже кружится... А вам хочется на фронт?

— Хочется. А вам?

— И мне. Но вы уже не вернетесь, я знаю. А почему вам хочется?

— Странный вопрос!

Валя насмешливо улыбнулась.

— Чем же странный?

— Не надо, Валя. Ведь вы сами были солдатом.

Валя сорвала листок, и с винограда, шурша, посыпались капли.

— Простите. Я вовсе не хотела... Просто... Вот смотрю я на вас, и иногда мне кажется... Ведь вам здесь, у нас, в тылу, очень скучно, правда?

Николай ничего не ответил.

— У вас нет семьи? — спросила Валя.

— Нет.

— Ни отца, ни матери?

— Ни отца, ни матери. Еще перед войной умерли. Да и до этого отец с матерью... В общем, не очень сладкое детство.

Валя опять сорвала листок, и опять зашуршали капли.

— И больше у вас никого не было?

Внизу, откуда-то из-за угла, выехала машина и затормозила.

— Ну куда, куда ты заворачиваешь? — крикнул кто-то снизу. Голос был хриплый и недовольный. — Глаза, что ль, повылазили?

— Как куда? По Красноармейской, — ответил другой голос.

— А кто тебя сейчас там пустит?

— Тогда по Горького. Здесь же проезда нет — стадион.

— Ну, валяй, — ответил первый голос, и машина тронулась.

Довольно долго был виден ее тусклый свет, потом она свернула на Горького и скрылась.

«...Горького... Горького... Горького, тридцать восемь... Кирпичный пятиэтажный дом, а перед ним вяз...»

Николай посмотрел на Валю. Она стояла рядом, облокотившись о перила, закрывши ладонями щеки, и смотрела на изредка вспыхивающие зарницы.

Николай придвинулся к ней, обнял ее за плечи и только сейчас, в темноте, увидел, что глаза у нее светятся, как у кошки, — маленькими красными огоньками...

12

Анне Пантелеймоновне удалось наконец уговорить Николая заняться английским языком. Как он ни мялся, как ни убеждал, что к языкам он не способен и что если уж заниматься, то потом, после фронта, ничего у него не получилось: пришлось-таки сесть за учебник.

Николай не ошибался: у него действительно не было способностей к языкам. Он никак не мог привыкнуть к тому, что в английском «а» читается как «э», а «е» — как «и», перочинный ножик упорно называл «кнайф», а артикль «the» произносил «тхе» или «зи», чем приводил в неистовство нетерпеливую, горячую Валю.

— Ты это нарочно, чтоб меня разозлить! Ну, пойми, ради бога, — она брала себя в руки и начинала сначала: — надо кончиком языка упираться не в небо, а в зубы, пусть он даже немножко высовывается. Вот так, видишь? Ну, теперь скажи.

— Зи, — говорил Николай.

— Ах, господи! Не упирай же его в нижние зубы. В верхние, ты понимаешь, в верхние! Ну, еще раз.

— Зи, — жалобно произносил Николай.

— Нет, это невозможно! Мать, я не могу с ним заниматься. Он нарочно меня дразнит.

И все-таки она терпеливо высиживала свой час, а когда он наконец, к удовольствию обоих, истекал, Валя, энергично захлопывая учебник английского языка для восьмых, девятых и десятых классов, говорила:

— В наказание иди разожги примус.

Николай покорно шел на кухню и разжигал примус.

После третьего или четвертого урока вид наказания был изменен.

— Сегодня за незнание глаголов проводишь меня в институт. У меня целая куча тетрадок, в портфель не влезают.

Проводы эти постепенно из наказания превратились в привычку. Обычно Валя опаздывала на свои лекции, поэтому приходилось бежать сломя голову, и прогулки эти напоминали скорее скачки с препятствиями. Чтоб не попадаться на глаза патрулям и вовремя поспеть в институт, они шли не по улицам, а напрямик, через проходные дворы и развалины.

Как-то Валя задержалась в институте, Анна Пантелеймоновна стала беспокоиться:

— На дворе уже темно, а я уверена, что эта девчонка для скорости через пустырь побежит. Солдат солдатом, а все-таки...

Николай пошел навстречу. Валя действительно шла через пустырь и провалилась в какую-то яму. Николай обнаружил ее сидящей на груде битого кирпича и растирающей коленку.

— Матери только не говори. Придем домой — я живенько в ванной сделаю себе перевязку.

С тех пор, когда у Вали были вечерние занятия, Николай заходил за ней в институт и провожал до самого дома.

Каждый раз, когда он приходил, Валя говорила:

— Ну, что за глупости! Будут еще у тебя неприятности из-за этого в госпитале.

Николай ничего не отвечал, но на следующий день, если у Вали были вечерние часы, приходил опять.

Он полюбил эти прогулки. Полюбил потому, что кругом тихо, а над тобой — звезды, луна. Потому, что приятно идти вот так, по узкой тропинке среди полуразрушенных стен, напоминающих при лунном свете руины средневековых замков. Николаю они, правда, напоминали скорее Сталинград — средневековых замков он никогда не видел, но Валя говорила, что они похожи, и, чтоб не спорить, Николай соглашался. Полюбил он эти прогулки потому, что

с Валей было легко и просто. С ней не надо было как-то по-особенному держаться, выдумывать темы для разговоров. Они сами находились. У них был общий язык — немного грубоватый фронтовой язык. Вале частенько за него доставалось от матери, но что поделаешь, обоим он был близок.

Иногда, если было не очень поздно и не надо было торопиться домой, они возвращались через Ботанический сад. После десяти ворота закрывали, и приходилось перелезать через забор. Валя обычно подсмеивалась над Николаем — «разведчик, физкультурник...» — и Николаю нечего было ответить. Рука ему мешала, и он действительно не очень ловко перебирался через решетку. Сад большой, почти лес, заросший кустарником, старыми дубами и кленами, с шуршащими под ногами листьями, папоротником по пояс. В нем было темно, немного сыро, и почему-то невольно хотелось говорить шепотом.

Как-то в этом самом саду их застала гроза — неожиданная для сентября, совсем майская гроза, с молнией, громом, потоками воды. Они спаслись в какой-то вырытой, очевидно детьми, на дне оврага пещере. Сидели рядом: Николай — на корточках, чтоб не запачкать свой госпитальный костюм, Валя — примостившись на своем портфеле, обхватив руками колени. Когда ударял гром, Валя закрывала лицо руками. Николай смеялся:

— Зенитчица, фронтовичка...

— Ну и зенитчица, и фронтовичка, а грозы боюсь.

Николай улыбался в темноте.

— Напоминает бомбежку?

— Нет, не то... не бомбежку. А может, и бомбежку. Когда в лесу и ночью. Тоже вот так сидишь, и смотришь вверх, и ничего не видишь, и хочется, чтоб только скорее кончилось.

— Хочется?

— Хочется.

— И сейчас хочется, чтоб скорее?

Валя промолчала. Николай слегка придвинулся к ней, обнял рукой за плечи.

— Не надо... — сказала Валя и отодвинулась.

Опять ударил гром. Валя закрыла ладонями уши и уткнулась в колени. При свете молнии ее сжавшаяся в комочек фигура казалась детски беспомощной. Николай снял пижаму и накинул ее на Валю.

— Мне не холодно, — сказала она.

— Неправда, холодно.

Опять загрохотало. Но уже не над головой, а где-то левее. Гроза уходила.

— Ты будешь мне писать, когда я уйду на фронт? — спросил Николай.

— Я не умею писать, — сказала Валя.

— А разве надо уметь? Надо хотеть.

— И на фронт ты не уйдешь.

— Почему?

Валя пожала плечами. Высунула руку из-под пижамы ладонью кверху.

— Дождь, кажется, прошел. Можно идти.

— Нет. Еще идет. — Николай прикрыл ее ладонь своей. — Так будешь?

Валя сделала движение, чтоб встать. Николай удержал.

— Будешь? Скажи...

Она молчала.

— Почему ты молчишь?

Валя сжала руки в кулаки и уткнула в них лицо.

— Господи... Почему я ничего не понимаю? Почему?

Она повернулась к Николаю, посмотрела ему в лицо. И совсем вдруг тихо и просто сказала:

— Я не хочу, чтобы ты уходил, не хочу... Вот и все...

Николаю показалось, что у него вдруг остановилось сердце. Потом оно застучало, во всем теле застучало — в руках, в груди, в голове. Захотелось вдруг обнять Валю, всю целиком, с головы до ног.

Но Вали уже не было. И портфельчика ее не было. И грозы не было.

Где-то вдалеке еще гремел гром, вспыхивали молнии. И небо было уже чистое.

13

Парадная дверь в отделение, как того и следовало ожидать, была закрыта. Николай, как обычно, обогнул корпус и, взобравшись на стоявшую под водосточной трубой бочку, подтянулся к окну. Оно открывалось легко и почти беззвучно. Несмотря на больную руку, Николай за последние дни так наловчился, что влезал в окно без всяких осложнений. Один только раз, зацепившись за гвоздь, слегка разодрал рукав на пижаме.

Сегодня ему не повезло. Только успел он бесшумно соскочить на пол и, стоя на цыпочках, стал закрывать верхнюю щеколду, как за спиной его послышались шаги. Николай обернулся. Прямо на него по коридору шел дежурный врач Лобанов. Лобанов был самый молодой, а потому и самый строгий врач в отделении. Все знали, что он ухаживает за хорошенькой, веселой блондиночкой Катюшей, сестрой со второго этажа, и свои дежурства всегда старается приурочить к дежурствам Катюши. Сегодня это, очевидно, ему не удалось, поэтому он был зол. К тому же в отделение только что привезли двух больных, чего он тоже не любил, и он с радостью выместил свою злобу на Николае.

— Завтра же доложу начальнику отделения. Безобразие какое! Капитан называется, офицер!..

Он стоял, расставив короткие толстые ноги, красный, возмущенный, а Николай весело улыбался и пожимал плечами.

— Что поделаешь, товарищ майор, бывает...

— Так вот, больше этого не будет. Понятно? Безобразие какое, в окна лазить! Завтра же доложу начальнику отделения... Извольте идти в свою палату.

Лобанов сдержал свое обещание. На следующее же утро он доложил обо всем случившемся подполковнику Рисуеву. Рисуев, мягкий, добрый, но бесхарактерный и больше всего боявшийся неприятностей, только развел руками и, чтобы снять с себя ответственность, обратился к Гоглидзе, главному хирургу и фактическому хозяину отделения.

— Что ж! После фронта и через трубу из госпиталя удерешь, — сказал Гоглидзе. — Понимаю, понимаю. Но окна все-таки придется замазать, — и взглянул на Николая. — А вам, молодой человек, делать у нас больше нечего. Рана зажила, а с нервом провозитесь еще порядком. Переведем-ка вас к Шевелю, в невропатологию. Не возражаете?

Но у Шевеля не оказалось свободных мест, и в один прекрасный вечер Николай, вытащив из-под кровати спортивный чемоданчик, стал складывать в него свое имущество: два носовых платка, бритвенный прибор и маленькие трофейные ножнички для ногтей.

— Куда же это вы, Митясов? — удивился Зилеранский.

— На волю, товарищ полковник. Залежался.

— То есть как это на волю? — Полковник собрал лоб в морщины. — А рука? А пальцы?

— И руки и пальцы — все будет в порядке. Заживе, як на собаци.

— Простите, но я все-таки не понимаю. Как же все-таки...

— А очень просто. Это называется лечиться амбулаторным способом. Буду приходить каждый день на лечение.

— А жить?

— Найдется где. Мир не без добрых людей. Давайте-ка ваш стаканчик для бритья...

В самый разгар прощального торжества, когда покрасневший и несколько уже возбужденный полковник Зилеранский провозглашал какой-то тост о дружбе, рожденной в госпитальных стенах, появился Лобанов.

— Кабак устраиваете, да? — произнес он, не повышая голоса, но достаточно громко, чтобы было слышно в коридоре.

Стоявшая за его спиной дежурная сестра глазами показала Николаю, чтобы он убрал стоявшую на тумбочке бутылку.

— Кабак в госпитале устраиваете, — не находя других слов, повторил Лобанов, уставившись маленькими глазами

на Николая. — Сначала цирк, а теперь кабак? Немедленно прекратить!

Маленький, в халате не по росту, с завернутыми рукавами, он стоял в дверях, расставив, по обыкновению, свои коротенькие ножки, и чего-то ждал. Николаю стало вдруг смешно.

— Слушайте, товарищ майор, — сказал он, вставая с кровати и протягивая Лобанову свой стаканчик. — Зачем сердиться? Выпьем-ка лучше по «маленькой».

Дежурная сестра не выдержала и прыснула в рукав. Это окончательно вывело Лобанова из себя.

— Ладно, — сказал он. — Завтра поговорим! — И, круто повернувшись, вышел.

— Интересно, где? — подмигнул своему соседу Николай. — Очевидно, опять с Катюшей не получилось. Ну, да ладно... Не мне на него сердиться. Не будь его, черт его знает сколько бы еще проторчал здесь. За его здоровье, чтоб веселее ему на свете жилось!

Через полчаса в своем старом, измятом от дезинфекции обмундировании он уже весело сбегал по знакомой дорожке к стадиону.

Сначала Николай думал обосноваться у Сергея, но шестнадцатая квартира, узнав об этом, энергично запротестовала. Николай был тронут. Несмотря на тесноту и общую неблагоустроенность, каждый предлагал угол у себя. Ковровы, Яшка и Валерьян Сергеевич долго спорили, пытаясь доказать, что именно у них Николаю будет лучше всего.

— Ну, где ты у Ковровых поместишься? — возмущался Яшка, таща Николая за рукав. — На верстаке, что ли? Четыре человека на шестнадцати метрах — с ума спятить!

— Зачем на верстаке? — Никита Матвеевич вытягивал из-под кровати какие-то доски. — Через два часа и козлы готовы. И не шестнадцать у нас, а восемнадцать.

— Ну, восемнадцать, не все ли равно? А я один в десяти.

— Один? Вы слышите? — Старик весело подмигивал, потирая лысину. — Он, оказывается, один живет.

Валерьян Сергеевич отводил Николая в сторону и, доверительно понизив голос, говорил ему:

— О чем тут спорить? Даже младенцу ясно, что если выбирать между тремя людьми на восемнадцати и...

— И пятью кошками на двенадцати, — перебивал Яшка, — да ты просто задохнешься там!

Николай только смеялся, а вечером, несмотря на мрачные Яшкины пророчества, въехал со всем своим багажом на двенадцатиметровую Валерьян Сергеевичеву жилплощадь и стал седьмым ее жильцом.

Так началось мирное квартирное житье-бытье Николая.

На первых порах все шло хорошо. Вставал рано, на кухне завтракал (Острогорские в это время еще спали), потом отправлялся в госпиталь на свои процедуры. Часам к двенадцати возвращался.

Отвыкший за последние годы от полезной и созидательной, как говорил Валерьян Сергеевич, деятельности, Николай с азартом принялся за работу. Начал с крыши. О ней давно уже все говорили, но как-то при всеобщей занятости ни у кого до нее руки не дотягивались. Насквозь проржавевшая и побитая осколками, она не спасала ни от какого самого ничтожного дождя. Как только дождь начинался, все бросались на чердак и лихорадочно подставляли под струи старые корыта, тазы и банки от свиной тушенки. Яшка достал три рулона толя, и Николай с Петей растянули его с грехом пополам над самыми аварийными местами. Там, где не хватало толя, заткнули дырки тряпками и замазали суриком.

Потом Николай принялся за комнату Валерьяна Сергеевича, несмотря на отчаянное сопротивление хозяина. Это было, пожалуй, труднее, чем крыша. Комната утопала в ворохе газет, пустых консервных банок, бутылок, каких-то никому не нужных брошюр, старого белья и разбросанных по всей комнате одиноких носков.

Николай действовал решительно и энергично:

— Газеты собрать в кучу и на кухню — для общего пользования! Кефирную тару сдать! Носки — в печку!

С боем, шаг за шагом, завоевывал Николай новые позиции, а Валерьян Сергеевич, мечась по комнате, цепляясь халатом за все гвоздики и опрокидывая кошачьи блюдечки с молоком, грудью защищал каждый сантиметр своей комнаты. Но силы были неравные — он сдался. Пол и окна были вымыты, носки сожжены, банки и бутылки доведены до самого необходимого минимума.

И случилось чудо: Валерьян Сергеевич, вначале проклинавший тот день и час, когда появился Николай, на второй день после окончания боев, сидя на своей койке и с удивлением озираясь по сторонам, вдруг сказал:

— А вы знаете, как будто даже лучше стало. Честное слово! А? — И в знак высокой оценки проделанной Николаем работы угостил его своим спирающим дух, дерущим глотку табаком.

Такую же чистку Николай попытался организовать и у Острогорских, но здесь запротестовала Анна Пантелеймоновна. «Это дело подождет до весны», — заявила она и разрешила Николаю только подремонтировать книжные полки. Николай принялся за полки со всем рвением, но подвигался вперед очень медленно: он рассматривал почти каждую книгу, а их были тысячи.

Он хватал все — Брема, Энциклопедический словарь, «Всемирный следопыт», пудовые комплекты старой «Нивы». Как ребенок, с увлечением рассматривал он картинки и фотографии прошлой войны.

Валя, сдерживая улыбку, поглядывала то на него, то на мать. Она прекрасно понимала, что вся эта канитель с полками затеяна матерью главным образом для того, чтобы приблизить Николая к книгам. И Николая уже нельзя было оторвать от них.

— Вы только посмотрите, из каких пушек шпарили немцы по Парижу в четырнадцатом году. Нет, вы только гляньте, Анна Пантелеймоновна! За сто двадцать километров! Бред. А после трех-четырех выстрелов выходила из строя.

Анна Пантелеймоновна подсаживалась к Николаю и вместе с ним рассматривала фотографию знаменитой

«Большой Берты». Валя, сидевшая над своими тетрадками, пыталась прекратить эти мешающие ей разговоры, но в этот самый момент Анна Пантелеймоновна находила вдруг пропавшую папку с зарисовками ее покойного мужа, и тогда уже все трое, усевшись на полу, начинали рассматривать эти рисунки, и суп на печурке выкипал, а книги до вечера так и оставались неубранными.

14

Но всему приходит конец. Настало время, когда все возможное оказалось сделанным: полки отремонтированы, книги расставлены, окна вымыты и замазаны на зиму, дымоходы прочищены — Николай добился все-таки и этого, — а стол и четыре колченогих стула, с помощью Никиты Матвеевича, починены и даже отлакированы. Делать больше было нечего. Да и вообще, откровенно говоря, вся эта ремонтно-квартирная возня в конце концов тоже приелась.

Чем заняться? Куда себя деть?

Возвращаясь из госпиталя, Николай заставал пустой дом. Кроме спящего после дежурства Валерьяна Сергеевича и Блейбманов, вечно занятых своими плакатами и обложками, никого не было.

Заглянет к Блейбманам, посидит там с полчасика (дольше не получалось: Бэлочка не переносила махорочного дыма, да и вообще у них было скучно), потом завернет к Ковровым — не вернулся ли Петька из школы? — и, так как обычно его не было (возвращался он только к четырем), сидел с Марфой Даниловной, пришедшей только что с базара, и выслушивал ее рассказы о том, что где дают и как трудно на какие-нибудь тысячи полторы прокормить семью из трех человек. Потом начинался разговор о Дмитрии, о том, почему он так редко пишет. Николай успокаивал, доказывал, что на фронте во время затишья как раз и не хватает времени: всякие там занятия, поверки, инспекции, — дохнуть некогда.

Марфа Даниловна только качала головой.

— Все это мы знаем, Коленька, но какое ж там затишье? Газет вы не читаете. Вот пишут, опять они из Румынии какую-то границу перешли, опять сколько-то там населенных пунктов захватили. Никакого там затишья нет. — И вздыхала: — Господи, когда ж этому конец будет!

Потом приходил Петька, но, как назло, оказывалось, что завтра у него какая-нибудь контрольная и надо готовиться, и Николай от нечего делать плелся к Острогорским и в десятый раз рассматривал надоевшую уже «Ниву» за 1914 год.

К тому же и с Валей вдруг разладилось. Разладилось после того, как он однажды подбил Яшку (это было не очень трудно) пойти к Сергею. Сергея они, правда, не застали, но зашли в какое-то другое место и вернулись домой в четвертом часу ночи.

Дверь отворила им Валя. С места в карьер набросилась:

— Вы что, с ума сошли? Мать до сих пор заснуть не может. Сказали — до двенадцати, а сейчас...

Николай с Яшкой стали весело оправдываться, но Валя не пожелала разговаривать и хлопнула дверью перед самым их носом.

На следующий день, когда Николай, как обычно, зашел за ней в институт, Валя сказала ему, что сейчас она не может идти и что вообще ему беспокоиться нечего: преподаватель марксизма-ленинизма живет в соседнем доме, она пойдет с ним.

Николай обиделся. Ну и черт с ними со всеми! Через неделю комиссия, выпишут наконец и отправят на фронт. Хватит. Повалялся на диване, попил чайку с вареньем — и хватит. Пора и честь знать...

Но мечтам этим не суждено было сбыться. Через неделю Николая действительно вызвали на медкомиссию. Шестеро врачей специальной электрической машинкой проверили работоспособность его пальцев на правой руке, покачали головами и на выписке из истории болезни поставили штамп: «К военной службе не годен. Подлежит переосвидетельствованию через шесть месяцев».

Николай понял — фактически это была демобилизация. Ему выдали два аттестата, вещевой и продовольственный, справку о том, что с такого-то по такое-то капитан Митясов находился на излечении в таком-то госпитале, и велели 15 апреля будущего года явиться в военкомат на комиссию.

Николай сунул бумажки в карман и, не заходя в отделение, медленно стал спускаться по знакомой дорожке. У входа на стадион он остановился, посмотрел в ту сторону, где было Фимкино заведение, подумал, не зайти ли, но не зашел, а пошел домой.

Дома никого не было: Острогорские еще не вернулись, Валерьян Сергеевич был на дежурстве, Ковровы куда-то ушли. Николай заглянул в Яшкину каморку. Яшка спал на животе, раскинув ноги и засунув голову под подушку.

Николаю хотелось говорить. Он сделал последнюю попытку — постучался к Муне. Нагнувшись над столом, Муня дорисовывал ноги очередного красноармейца.

— Я вам не помешал? — спросил Николай.

— Нет, что вы, что вы... Пожалуйста.

Муня поднял голову и, как обычно, приветливо улыбнулся.

Было совершенно ясно, что Николай ему помешал.

— Работаете? — спросил Николай.

— Работаю.

— И как всегда, завтра утром сдавать?

— Завтра утром.

— Жаль, а то бы... — Николай огляделся по сторонам. — Бэлочки нет, мы бы с вами... Впрочем, вам нельзя, вам завтра сдавать.

— Да, завтра сдавать, — Муня почесал линейкой затылок. — Такие сроки, такие сроки, просто ужас!

Николай сел на кровать — более подходящей мебели не было.

— А я вот только что с комиссии вернулся.

— С комиссии? Ну-ну, и что же?

— Шесть месяцев дали.

— Поздравляю. Чудесно! — Муня сделал какое-то движение — очевидно, хотел пожать Николаю руку, но тот удивленно на него посмотрел.

— Что ж тут чудесного?

Муня, как всегда, смутился, боясь, что сказал какую-то бестактность.

— Как что? Отдохнете, поправитесь, ну и вообще...

— Муня, дорогой, простите, но вы ничего не понимаете. Это только называется шесть месяцев, а на самом деле... — Николай хлопнул себя по плечу. — Посыпай погоны нафталином — и в комод.

— Ах, так... Ну, тогда, конечно...

— Что — конечно?

— Ну... — Муня стал опять чесать линейкой свою голову. — Я понял вас так, что вам не хочется демобилизовываться?

Николай встал.

— Слушайте, плюньте на свой плакат, давайте выпьем.

Муня зачем-то посмотрел на часы.

— Ну чего вы на часы смотрите? У меня сегодня такой день чертов, а вы... У вас есть деньги?

Муня торопливо стал искать в карманах, потом заглянул в какую-то книгу, коробочку на окне. Общими усилиями наскребли рублей двадцать. Николай вздохнул.

— Плохо дело.

— А может, Яшка? — робко сказал Муня.

Николай весело рассмеялся.

— Муня, вы определенно подаете надежды.

Яшка сначала недовольно что-то бурчал из-под своей подушки, но потом, узнав в чем дело, мигом натянул сапоги, хлопнул дверью, а через десять минут явился с бутылкой.

Муня скоро увял, а Николай с Яшкой завели спор.

Собственно говоря, это был даже не спор, — просто обоим хотелось говорить и не хотелось слушать. Поминутно друг друга перебивая, они упорно возвращались каждый к своему. Яшке, как и всегда, когда он выпьет, начинало казаться, что все недооценивают его службу в армии (до конца

прошлого года он был шофером — сначала в дивизии, потом в армии и, наконец, в штабе фронта, откуда его демобилизовали, как бывшего железнодорожника). Работа шофера, по его словам, была наиболее ответственна и опасна, и он весьма энергично доказывал это, приводя бесчисленное количество примеров. Николай соглашался, но довольно вяло. Ему самому хотелось говорить — о сегодняшней комиссии, о какой-то несправедливости, о том, что вот он три года провоевал, а теперь, когда Берлин уже не за горами, приходится — ему очень понравилось это выражение, и он несколько раз его повторил — посыпать погоны нафталином и прятать их в комод.

— В сорок первом, когда меня в первый раз ранило, — Николай расстегивал рубашку и показывал какие-то рубцы на плече, — черта с два, не демобилизовали. Тогда люди нужны были. А теперь? Теперь, я тебя спрашиваю? Уже не нужны? Как Берлин брать — так спасибо, товарищ, можете отдохнуть. А если я не хочу? А? Не хочу еще отдыхать?..

Яшка ждал только паузы.

— Ты говоришь — ты. А я? Вот вы все думаете, что шофер на войне — это просто так, задницу на мягоньком отсиживали. Говорить легко. А ты вот сядь за баранку, сядь! Интересуюсь, что ты запоешь.

— Да я ж ничего...

— Постой, постой, не перебивай! Ну, не ты, так другие... которые языками мелют. Посадил бы я их всех на «зиса» и спросил бы. А кто связь с Ленинградом по льду поддерживал? А? Кто с «катюшами» по всему фронту мотался? А? Молчат, сукины сыны. Так какого же дьявола они мне голову морочат?

Кого Яшка подразумевал, когда говорил «они», было не совсем ясно, но, так или иначе, на «их» голову сыпались проклятия, а роль Яшки в разгроме гитлеровских полчищ принимала поистине грандиозные размеры.

Оба доказывали свою правоту с таким азартом и так громогласно, что не заметили, как приоткрылась дверь и в щель просунулась Валина голова.

— Слушайте, товарищи, ведь вас на лестнице даже слышно.

Яшка стукнул кулаком по столу.

— Валя! Молодчина. Старший сержант! К нам!

Валя сморщила нос:

— Не пью.

— А если попросим? — Яшка попытался придать своему лицу трогательно-просительное выражение.

Валя не выдержала и рассмеялась.

— Ладно. Переоденусь только. На дворе такой дождь, до нитки промокла, — и убежала.

Яшка подмигнул.

— Бабец что надо, а?

Николай ничего не ответил.

— Чего жмешься? Взял бы и женился. Ей-богу, пара. Фронтовичка, своя в доску.

— Чего ж ты не женишься? Взял бы и женился.

— Я? Я совсем другое дело. Во-первых, она на меня даже и не смотрит. А потом, куда мне торопиться? Мне и так хорошо.

— Ну и мне хорошо.

— Врешь!

— Почему вру?

— Потому что врешь. Думаешь, я не вижу? У Яшки глаз, дай боже. Женись, не пожалеешь. Она и варить, и стирать...

Окончить ему не удалось. Заснувший Муня вдруг с грохотом свалился со стула. Лежа на полу, испуганно моргал глазами. Яшка ловко его подхватил и уложил на кровать.

— Бывает. Спи, Муня. Мы Бэлочке ничего не расскажем.

Муня свернулся комочком и, подложив по-детски руки под щеку, моментально заснул.

Вошла Валя. На ней было синее, с какими-то складками на груди и белым воротничком платье. Оно ей не шло, было узко в груди, и по всему видно было, что она чувствует себя в нем неловко.

Яшка с Николаем, привыкшие видеть ее всегда в гимнастерке или лыжной курточке, тоже слегка опешили.

— Вот это да! — Яшка даже сощурился, будто не мог выдержать такого ослепительного зрелища.

Потом он повторил все то, что говорил Николаю о роли шоферов на войне, и начал было рассказывать какой-то фронтовой эпизод, в котором шофер спас чуть ли не целую дивизию, но в середине рассказа вдруг спохватился, сказал, что ему куда-то еще надо, и, выходя, весьма выразительно подмигнул Николаю.

После Яшкиного ухода несколько минут молчали. Валя старательно смывала какое-то пятно на клеенке.

Первым заговорил Николай:

— Ну так как же? Сменила наконец гнев на милость?

Валя, до сих пор делавшая вид, что разговаривает главным образом с Яшкой, подняла голову.

— Просто интересуюсь, чем у тебя комиссия кончилась.

— И только?

— И только.

— И в институт за тобой по-прежнему не заходить?

— Там видно будет. — Она чуть-чуть, краешком губ, улыбнулась и посмотрела на Николая. — Ты был на комиссии?

— Был. — Николай указал на пустую бутылку. — Потому и пьем.

— Что сказали?

— Нафталин есть?

— Какой нафталин?

— Погоны посыпать — и в комод. Понятно? — Николай встал и прошелся по комнате. — Нет больше капитана Митясова. Есть гражданин Митясов Н.И. — Он искусственно рассмеялся. — Отвоевался, голубчик. Разведчик в отставке. Квартирант на продавленном диване.

Валя помолчала, потом сказала:

— Ну что ж, я очень рада.

— Чему?

— Тому, что нет больше капитана Митясова.

— Ты это серьезно?

— Абсолютно.

Николай остановился.

— Чепуха! Ты говоришь чепуху. — Он даже покраснел. — Понимаешь, чепуху!

Валя ничего не ответила. Николай прошелся по комнате, постоял над плакатом, который Муне так и не суждено было сегодня докончить, — солдат с открытым ртом указывал на что-то еще не нарисованное, — потом зло, раздраженно заговорил опять о трех годах войны, о Берлине, о своем первом ранении, о том, что теперь он никому не нужен. Валя слушала молча, с таким видом, с каким слушают давно известные вещи. Николай сел рядом с ней на кровать.

— Ну, чего ты молчишь?

— А о чем мне говорить? Я уже сказала. И Муня вот спит. Мы его разбудим.

— Ну и черт с ним, с Муней! Ему завтра работу сдавать. Нечего ему спать. Вставай, Муня!

Николай повернулся на кровати и хлопнул Муню между лопаток. Муня даже не шелохнулся, только почмокал губами. Валя поднялась. Николай схватил ее за руку.

— Куда?

Валя спокойно высвободила руку.

— Чай ставить. Скоро мама придет.

— Ну, погоди! Куда ты торопишься? — Он опять взял ее за руку и, потянув, посадил на кровать. — Ну, я выпил немножко. Что ж тут такого? Ну, выпил, и говорить хочется, а ты... Неужели ты не понимаешь?

— Понимаю. Только давай в другой раз, не сейчас.

— Ладно, — сухо сказал Николай и сделал движение, чтобы встать. Но не встал, а взял лежавшую на столе Валину руку и поцеловал ее. Валя на этот раз не выдернула руку.

— Ох, Николай, Николай. Почему все мужчины такие глупые? Ужасно глупые, ей-богу! Думаешь, я не поняла, что означало твое «ладно».

— Ну?

— Ладно. Не хотите меня слушать, буду тогда действовать. Пойду завтра в военкомат и подам заявление, чтобы

на фронт послали. А не разрешат — плюну на все, сяду на поезд и поеду в свою часть. Там меня всегда примут. Угадала?

Николай дунул Вале в лицо и рассмеялся.

— А что, не примут, скажешь?

— Конечно, примут. Я ж и говорила. — Валя встала. — Пошли примус разведем. Придет мать, достанется нам.

Они вышли в кухню. Валя сняла с полки примус и налила в него бензин. Николай сел на подоконник, закурил.

— У тебя есть спички? — спросила Валя.

Николай молча подал коробку. Валя зажгла примус и, прищурившись, смотрела на тихое голубое пламя.

— А в общем, все мы одинаковые, — сказала она, оторвавшись наконец от пламени. — Думаешь, я не бегала в военкомат, не подавала рапорты? А у меня ведь мать. И я ее почти три года не видела. А вот бегала...

Пламя стало гаснуть. Валя покачала примус и поставила на него большой жестяной чайник. Николай, сидя на подоконнике, смотрел на нее, на ее быстрые, ловкие движения, на стройную фигуру с немного слишком широкими плечами и невольно улыбнулся, вспомнив Яшкино — «фронтовичка, своя в доску».

Валя подошла к окну, вытирая руки полотенцем. На дворе шел дождь, противный, серый, осенний дождь. У самого окна проходила сломанная водосточная труба, и струя воды с шумом била о карниз.

— Да. Странно все это... — сказала Валя.

— Что это?

— Да все... — Валя пальцем нарисовала какую-то фигуру на запотевшем окне, потом стерла. — А ведь на фронт-то тебе хочется не только потому, что тебе воевать хочется. Я говорю — не только, понимаешь?

— Нет, не понимаю.

— Тебе в тыл не хочется. Вот в чем вся заковыка.

Николай посмотрел в окно, на мокрые крыши и тротуары, на перебегавшего улицу человека в коротеньком пальто с поднятым воротником.

— Да... — неопределенно сказал он и с силой раздавил остаток цигарки о подоконник. В коридоре хлопнула дверь. Вернулась Анна Пантелеймоновна.

За чаем все молчали. Анна Пантелеймоновна после долгого, утомительного собрания пришла усталая, бледная. Разговор не клеился. Николай, против обыкновения, выпил только один стакан чаю и пошел спать, хотя не было и десяти часов.

Валерьян Сергеевич был на дежурстве. Не зажигая света, Николай вытянулся на диване и натянул на себя шинель. В углу, в ящике из-под консервированного молока, на остатках старого стеганого одеяла, копошились родившиеся сегодня утром котята, и старая серая Грильда о чем-то тихо и ласково с ними разговаривала.

Николай лежал на спине, глядел в черный потолок и думал о том, почему так глупо устроен мир, почему человек, имеющий возможность спать под железной крышей после трех лет бездомной солдатской жизни, не только не радуется этому, а, наоборот, хочет вернуться туда, где, как о чем-то несбыточном, мечтаешь о сне, а спать нельзя.

И, может быть, только сейчас, лежа на этом продавленном диване и глядя в потолок, он впервые понял и ощутил то, о чем говорила сегодня Валя. Да, он отвык от мирной жизни. Он привык к фронту, привык к людям, к своим обязанностям, своему положению. Фронт стал его домом. Больше домом, чем эта комната с четырьмя стенами, потолком, пролежанным диваном. Там, на фронте, он был своим, там он знал, что делать, здесь, даже здесь, где к нему все так хорошо относятся, — нет.

Кому нужно теперь его умение бесшумно подползти к немецкому часовому и снять его с поста, мастерить из набитых соломой плащ-палаток плотики, выкручивать взрыватели из мин, ходить по сорок-пятьдесят километров, не натирая ног, умение сплотить различных, не похожих друг на друга людей в маленькую семью разведчиков, веселых, озорных, часто, может быть, и грубых, но всегда готовых

так же весело и бодро выполнить любую самую сложную задачу. Кому теперь все это нужно?

Ну хорошо, завтра или послезавтра он сдаст свое офицерское удостоверение с фотокарточкой, где он еще с усами и с бачками, потом пойдет в милицию, получит паспорт, а потом... Что же потом?

Старая Грильда вылезла из своего ящика, подошла к Николаю и тихо мяукнула. Николай понял. Встал, налил в блюдечко молока, купленного сегодня специально для нее, как для кормящей матери. Сел рядом на корточки.

Как-то в Сталинграде к ним в блиндаж бог весть откуда забрела кошка. Худущая, кожа да кости. Бойцы весь вечер провозились с ней. Накормили, сделали ей возле печки гнездышко из старых телогреек, прикрыли суконной портянкой. Прожила она на передовой что-то около месяца. Поправилась, похорошела, бегала, задравши хвост, по окопам, когда было затишье. Потом ее ранило осколком. За ней ухаживали, но через три дня она умерла. Бойцы выкопали ямку и похоронили ее.

Милое, уютное, домашнее... Как его не хватало на фронте! Как часто о нем говорили, вспоминали, сидя на корточках вокруг раскаленной печурки в тесной накуренной землянке! Как радовались сталинградцы, услыхав в одно ясное февральское утро крик петуха! Его везли на подводе, он хлопал крыльями и кукарекал — красивый, черный, возвращавшийся их эвакуации петух.

Милое, уютное, домашнее...

С сегодняшнего дня Николай тоже мирный человек. Скоро он получит паспорт. И будет здесь жить и где-то работать, а по вечерам сидеть за столом, пить чай, разговаривать. И придет Валерьян Сергеевич со своим вонючим табаком и начнет о чем-то спорить с Валей. А Валя будет что-то доказывать, а Валерьян Сергеевич опровергать. А Муня сидеть на том вот конце стола, с измазанным краской носом, и молча помешивать ложкой свой чай. А потом встанет, посмотрит на свою Бэлочку и скажет: «Ну что ж, нам пора...»

И так будет каждый день. Каждый день.

В коридоре послышался веселый Яшкин голос. Николай слышал, как Яшка о чем-то оживленно говорил со «старухой» Ковровой, потом прошел к Острогорским, вернулся, постучал к нему в комнату и сказал: «Алло, старик, ты спишь?» — и еще два или три раза повторил это. Но Николай, закрыв зачем-то в темноте глаза, сделал вид, что спит, и даже немного всхрапнул. Вскоре он на самом деле заснул.

15

Так началась новая полоса в жизни Николая.

Началась с беготни по учреждениям. В военкомате надо было стать на учет, получить пенсионную книжку, в милиции сдать какие-то анкеты и фотографии для оформления паспорта, получить продуктовые карточки. Везде были очереди, и надо было кого-то дожидаться, или не хватало какой-то справки, или надо было ее заверить у нотариуса, а там тоже была очередь, или опять надо было кого-то дожидаться, — одним словом, Николай столкнулся с той жизнью, тяжелой, непонятной ему и часто раздражающей жизнью тылового города, о которой он в армии как-то даже не задумывался.

Он, правда, знал, что гражданскому населению во время войны нелегко и что за килограммом крупы или макарон надо несколько часов простоять в очереди. Знал, что существует слово «отоваривать» (оно его очень смешило), что есть «стандартная справка», без которой не давали карточек на следующий месяц. Знал, что стакан махорки на базаре стоит десять рублей, а литр керосина шестьдесят-семьдесят, а то и восемьдесят рублей, и что поэтому нельзя пользоваться лампами, а приходится довольствоваться коптилками; знал, что выгоднее всего сейчас торговать пивом и газированной водой, что девяносто девять процентов судебных заседаний посвящены квартирным конфликтам — население города увеличивалось с каждым днем, а город был разрушен и квартир не хватало, — что для многих ордена, которые они честно заработали на фронте, и нашивки о ранении превра-

тились в средство без очереди проходить к начальству, стучать там кулаком по столу и требовать различных законных и незаконных льгот и выдач.

Все это Николай знал, и на фронте, и особенно в госпитале, об этом говорили достаточно. Сейчас он с этим столкнулся лицом к лицу. И так же, как человек, впервые попавший на фронт, хотя и много слыхавший о нем, долго не может свыкнуться со всем происходящим вокруг него, так и Николай, очутившийся в этом большом, удаленном на сотни километров от фронта городе, именуемом коротким словом — тыл, никак не мог к этому тылу привыкнуть.

— Ну что это такое в конце концов, — возмущался он, вернувшись домой злой и усталый после целого дня стояния в очереди, — куда ни ткнись, всюду хвосты, везде все с бою добывай. Паршивую справку получить, и то до хрипоты кричать надо. Бред собачий!

Слушатели только переглядывались.

— С непривычки, Николай Иванович. Скоро привыкнете. Сами рассказывали, как спят у вас солдаты под любой бомбежкой и обстрелами, ничем не разбудишь.

— Так то фронт...

— А то тыл...

И опять переглядывались.

Николай только удивлялся. Странные они люди... Он не понимал, что для этих странных людей, перенесших три года войны кто в оккупации, как Анна Пантелеймоновна, а кто, как Ковровы, в далеком холодном и жарком Казахстане, нынешний 1944 год — здесь дома, за каменными стенами, с дровами на кухне — казался если не сказкой, то, во всяком случае, чем-то очень и очень неплохим. Одно уже то, что жили они в своем родном, пусть разрушенном, искалеченном, но избавленном от оккупантов городе, помогало переносить любые, связанные с войной лишения.

Год тому назад Анна Пантелеймоновна жила в этой самой заваленной книгами, пустой, без Вали, комнате, одна-одинешенька, никому во всем городе не нужная, потерявшая мужа, лишившаяся работы, друзей. Почти все ее знакомые

и друзья эвакуировались. Остался только один, бывший сослуживец ее мужа. До войны он довольно часто приходил. При немцах он тоже как-то зашел, чистенький, выбритый, пахнущий одеколоном. Принес какие-то продукты, селедку. Анна Пантелеймоновна его выгнала. Он работал на немцев. Для Анны Пантелеймоновны этого было достаточно — такие люди для нее не существовали. И вот она осталась совсем одна. Сидела на базаре перед двумя стопками никому не нужных книг, стараясь не видеть ненавистных ей, чужих людей в серо-зеленых шинелях, и считала праздником тот день, когда за полупудовый географический атлас в тисненом золотом переплете получала стакан пшена или когда отогрели водопроводную колонку возле стадиона и можно было уже не таскать воду за четыре квартала, с Жилянской улицы.

И вот все это уже позади. По-прежнему работа, по-прежнему рядом Валя, и все чаще слышишь, что такой-то вот вернулся с фронта, пусть даже раненый, но голова все-таки на плечах, и скоро, говорят, выпишут уже из госпиталя. Правда, бывало и другое. У Сушкевичей погибли оба сына — Анна Пантелеймоновна хорошо их помнит, как они, всегда опаздывая в школу, скатывались по лестнице, сбивая прохожих. Саша и Котик — два близнеца. А Крыловы, такие славные старичок и старушка из четырнадцатой квартиры, вчера только получили похоронную откуда-то из Польши. А ведь на прошлой еще неделе старушка Крылова остановила Анну Пантелеймоновну на лестнице и долго рылась в своей сумке, чтоб показать карточку своего внука. «Красивый какой стал, а? Совсем мужчина». А бедная Марфа Даниловна? Как только постучит почтальонша Клава (она уже знает ее стук), сразу меняется в лице: «Пойди, Петя, открой», — сама боится, вдруг по курносому личику Клавы все поймет. А потом, когда письмо оказывается от Мити (все те же «воюем помаленьку»), угощает Клаву чаем и без конца расспрашивает о Ване, Клавином кавалере, который где-то там на фронте, у черта в зубах, в Баренцевом море...

Бог ты мой, бог ты мой!.. Четвертый год пошел, подумать только — четвертый год!.. И четвертый год только и слышишь; убили, разрушили, уничтожили, потопили, взорвали... В газетах, по радио, на улицах, везде...

И Анна Пантелеймоновна не на шутку сердилась, когда Николай начинал сравнивать фронтовую жизнь с тыловой, отдавая иногда предпочтение фронту.

— Замолчите! Слышать не хочу! Как можно такое говорить? Дурно или хорошо у нас здесь, но люди все-таки ходят по улицам во весь рост и не боятся, что их убьют. Очереди надоели? Без работы скучно? Так ищите работу, а не расхваливайте мне войну. И не поддерживай его, Валя, пожалуйста... Пусть работает. Или учится. Вот что вам надо. Учиться вам надо.

Николай почесал затылок.

— Вот получу на днях паспорт, и тогда...

А что «тогда», Николай и сам толком не знал.

Выхода было два. Вернее — три. Но третий, хотя он был, пожалуй, самым легким и выгодным, Николай в конце концов отбрасывал.

Первый выход — закончив все свои дела, отправиться в райком и сказать там: «Вот я такой-то и такой-то, вернулся с фронта, специальности не имею — назначайте куда хотите, вам виднее». Это был выход самый простой.

Второй — тот самый, на котором настаивала Анна Пантелеймоновна — пойти учиться. Поступить в какой-нибудь техникум или институт, любой — строительный, индустриальный, горный, и, помучившись над книгой столько-то там лет, получить специальность. Этот вариант был сложнее: за время войны Николай перезабыл все то немногое, чему когда-то учился, и, откровенно говоря, без особого восторга думал о парте и книге. Но с точки зрения здравого смысла, как говорил Валерьян Сергеевич, этот выход был наиболее правилен: раньше или позже специальность получить надо было.

Но первый вариант пугал неясностью перспективы, второй — относительно далекой перспективой, и оба, чего гре-

ха таить, — скудостью заработка. На первых порах, правда, была пенсия, но рука заживает, и пенсию снимут, — сиди тогда на стипендии или каких-нибудь четырехстах-пятистах рублях.

И вот тут-то всплывал третий, самый соблазнительный вариант, автором которого был дьявол-искуситель в лице Яшки.

Яшка был человеком дела. Он не любил разговоров впустую, которыми занимались, на его взгляд, остальные жильцы квартиры. Все разговоры об учении он называл разговорами «до лампочки» и ни одной минуты не сомневался, что в первых же экзаменах Николай «засыплется». В то, что райком сможет найти для Николая хорошую работу, он тоже не верил.

— Это не для тебя, брат. Физическим трудом заниматься ты пока не можешь, вот и предложат тебе что-нибудь бумажное.

А это по нынешним временам Яшка считал самым неподходящим.

— Это тебе не фронт — винтовку в руки и «ура, вперед!» Тут на таких можешь нарваться — раз-два! — обведут вокруг пальца. Пикнуть не успеешь, и будьте любезны — ты меня видишь, я тебя нет! — Яшка четырьмя пальцами изображал решетку. — Нужно это тебе?

Нет, Яшкин план был прост и ясен. Время сейчас нелегкое, Николаю надо содержать семью (крутись, не крутись, все равно женишься на Вале). А кто больше всех сейчас зарабатывает? Конечно, шофер. Значит, надо становиться шофером.

— За две недели я из тебя такого водителя сделаю — закачаешься. Что пальцы плохо работают — это ерунда, важен локоть, плечо и вот это вот место, — Яшка показывал на свое широкое костистое запястье, не зная, как его назвать. — Права получишь в два счета. На работу устрою к нам в гараж, в субботу как раз новые машины получаем, — одним словом, заживем мы с тобой, Николай Иванович, ты даже не представляешь, что это за жизнь будет.

Яшка хлопал себя по коленке и прищелкивал языком.

— Скажи, что Яшка неумный. А? В этих вопросах я всех твоих Валерьянов за пояс заткну. Согласен?

Николай смотрел в окно и рассеянно отвечал:

— Согласен.

— А раз согласен, завтра же и начнем.

— Нет, завтра я еще не могу.

— Тогда послезавтра.

— И послезавтра не смогу — в райком надо.

Яшка начинал злиться:

— Вот заладил одно и то же: не могу да не могу. Ты не юли. Говори прямо: хочешь или не хочешь?

Яшка был парень напористый, но ответа он так и не получил, — другие, совершенно неожиданные события не дали Николаю возможности принять окончательное решение.

16

В самый канун Октябрьских праздников Николай получил паспорт.

— Пока что временный, — сказал сидевший за окошком румяный, похожий на девушку сержант милиции. — Распишитесь. Через шесть месяцев выдадим постоянный. И здесь тоже.

Николай с трудом расписался, держа перо между большим и указательным пальцем, посмотрел на фотокарточку, — до чего ж унылое лицо! — сунул паспорт в карман и пошел в райком: он находился напротив.

Райком занял около часу. В шесть Николай вернулся домой.

На лестнице столкнулся с управдомшей — энергичной, хриплоголосой женщиной в стеганой военной телогрейке. В последние дни, встречаясь с ним, она как-то странно на него поглядывала. Сегодня она просто подошла и сказала:

— Простите, вы, кажется, в шестнадцатой квартире живете?

— В шестнадцатой, — ответил Николай.

— И, если не ошибаюсь, вы сейчас уже не военнослужащий?

Николай, до сих пор ходивший в погонах (как Яшка говорил, для облегчения жизни), немного смутился.

— Да, вроде как уже не военнослужащий.

— И живете на жилплощади Гиреева?

— Так точно.

— И не прописаны?

— Совершенно верно.

Управдомша многозначительно помолчала, глядя на Николая недружелюбным взглядом, потом сказала:

— Но вам должно быть известно, что непрописанными на чужой площади могут жить только военнослужащие.

— Нет, это как раз мне и неизвестно, — ответил Николай. — Но если это необходимо, я, конечно, сейчас же пропишусь. Паспорт у меня в кармане, только что получил.

На управдомшу это не произвело никакого впечатления.

— Вашего желания недостаточно, — сухо сказала она. — Вам придется сходить в райжилуправление к товарищу Кочкину.

— А зачем мне нужно идти в райжилуправление к товарищу Кочкину? — Николай почувствовал, что начинает раздражаться.

— А затем, что без его разрешения я не имею права выдать вам форму номер один.

— Что это еще за форма?

— Справка о том, что санминимум разрешает вам поселиться на данной площади. У Гиреева сколько метров?

Николай на минуту задумался.

— По-моему, двенадцать.

— А по-моему — одиннадцать, — так же сухо и недружелюбно сказала управдомша. — Вряд ли Кочкин разрешит. На человека полагается шесть метров.

— Ну, это уж я с ним буду решать! — резко сказал Николай и стал подниматься по лестнице.

Управдомша крикнула ему вдогонку:

— Прошу только не задерживать решения. Я вовсе не намерена иметь из-за вас неприятности от участкового.

Николай ничего не ответил, но, открывая дверь, подумал, что, очевидно, с этой дамой надо разговаривать на другом языке.

В коридоре, стоя на табуретке, возился со счетчиком Яшка. Николай чуть не сшиб его.

— Чего это ты там возишься?

— Обещают свет на праздники дать. Такую иллюминацию запустим — держись только.

— Ну, а меня можешь поздравить — получил паспорт наконец.

Яшка соскочил с табуретки.

— Ого! Празднички, значит, погуляем, а девятого — ко мне. Идет?

— Черта с два. Встретил сейчас эту мымру на лестнице. Не хочет прописывать.

— Кто? Управдомша?

— Ага. Говорит, не хватает какого-то санминимума у Валерьяна Сергеевича.

Яшка свистнул.

— Это все Кочкин. Из райжилуправления. С ним надо... — Яшка ткнул вдруг Николая пальцем в грудь. — Ничего с ним не надо. Пропишешься у Острогорских. Ну, чего смотришь? Муж имеет право прописываться на площадь жены. Такой закон есть, — весело подмигнул. — Понял теперь? Подай-ка мне плоскогубцы. Вон там, на полу лежат.

Анна Пантелеймоновна второй день не ходила на службу. У нее был грипп. Температура подскочила до тридцати девяти, и Валя с великим трудом — Анна Пантелеймоновна отчаянно сопротивлялась — уложила ее в постель. Собственно говоря, даже не в постель, а на диван, так как, по теории Анны Пантелеймоновны, ни в коем случае нельзя показывать болезни, что ее боишься, иными словами, нельзя лежать в кровати, а надо целый день слоняться по комнате или, в крайнем случае, лежать на диване, укрывшись, упаси

бог, только не одеялом, а обязательно стареньким изъеденным молью пальто.

Когда Николай вошел, Анна Пантелеймоновна лежала на диване и спала. Рядом на стуле стоял стакан воды, а на полу валялась выпавшая из рук книга.

Николай поднял книгу и поправил сползшее пальто. В комнате было холодно. Он вышел на кухню, нарубил дров, затем вернулся и принялся растапливать печурку.

Анна Пантелеймоновна заворочалась. Скрипнули пружины — повернулась, очевидно, на другой бок. Слышно было, как она шарила рукой по стулу, ища стакан. Николай обернулся.

— Может, вам свеженькой принести?

— Ах, это вы? Я и не заметила. Нет, нет, не надо. — Она сделала несколько глотков. — Валя дома?

— Нет, не приходила еще. Зажечь коптилку?

— Нет, спасибо, не надо. Я так полежу.

Николай удивился. Анна Пантелеймоновна не умела просто так лежать. Она всегда находилась в действии, а если уж лежала, то обязательно что-нибудь читала. Очевидно, она сейчас себя по-настоящему плохо чувствовала. Но Николай ничего не спросил: он знал, что Анна Пантелеймоновна не любит этих расспросов. На цыпочках вышел в кухню, наполнил чайник, вернулся, поставил его на печку и опять сел возле нее, подбрасывая время от времени чурки.

Он долго так сидел и смотрел на весело потрескивавшие в огне дрова, Вот так вот сидел он и в Сталинграде, в своей землянке. И такая же была у него печурка, и так же весело горел огонь, а забавный курносый Тимошка старательно всовывал в нее кирпичи. В Сталинграде топили кирпичами, пропитанными керосином. Керосина было много, целый состав, и битого кирпича тоже хватало — вот и мочили его в ведре с керосином, а потом топили им. Очень хорошо горело.

Эх, Сталинград, Сталинград... Как часто о нем вспоминаешь! Об этом городе, стертом на твоих глазах с лица земли и все-таки оставшемся живым. Как хочется посмотреть на

него сейчас! Как радуешься каждому человеку, для которого такие слова, как Мамаев курган, Банный овраг, Соляная пристань, не только слова, названия, а часть жизни, — может быть, самая значительная часть ее.

И, может быть, именно потому Николай просидел в кабинете секретаря райкома дольше, чем положено сидеть у занятого человека, что секретарь тоже оказался сталинградцем. Немолодой уже, грузный человек, с розоватым шрамом на усталом небритом лице. Оказывается, воевал совсем рядом, у Родимцева, начальником артиллерии дивизии. Его НП на кургане находился в каких-нибудь ста метрах от НП Николая. Может, они и встречались там. Может, даже и переругнулись когда-нибудь.

Секретаря поминутно отрывал телефон, несколько раз кто-то заглядывал, в приемной сидели люди, — но как не вспомнить о прошлом?

А потом обычный, звучащий всегда немного иронически вопрос:

— Ну, где легче, здесь или там?

И за ним уже деловой:

— Так что же мне тебе, друг, предложить? А?

Повертел пальцами самопишущую ручку — «понимаю тебя, разведчика, но что поделаешь, жизнь того требует», — и предложил должность инспектора райжилуправления.

— Это у нас сейчас самый тяжелый участок. Людям жить негде, а с каждым днем их прибывает. — И, подумав, почесав ручкой лоб, добавил: — Место скользкое, знаю, не всякий на нем усидит. Тут рта не разевай. Присматривайся к людям, кому можно доверять, кому нет. Попадаются у нас еще людишки, которые и на немцев работали, и на нас хотят заработать. А есть и просто жулики. Смотри, не попадись им на удочку. А главное, в деле разберись. Придется тебе там и со строительством столкнуться. Не Днепрострой, конечно, но дома в большинстве все-таки аварийные, еле-еле дышат. Завалится какой-нибудь — кому отвечать придется? Тебе придется. А коммунист ты молодой, опыта нет, знаний нет.

Небось, кроме как стрелять, да гранаты бросать, да на брюхе ползать, ничего не умеешь? Так ведь?

Николай молча кивает головой. На этот вопрос не ответишь.

Кем, в сущности, он был до войны?

Обыкновенный малый. В детстве гонял голубей, не очень усердно ходил в школу, не любил математику, любил физкультуру, не пропускал ни одной кинокартины, бегал «зайцем» в цирк на чемпионаты французской борьбы, летом пропадал на пляже.

Родители мало им интересовались. Мать умерла, когда ему не было еще шести лет. Отец женился на другой, потом разошелся, опять женился. Был он слесарем, работал в артели, чинил примусы, замки, изрядно пил. В маленьком домике их, на Лукьяновке, на самой окраине города, всегда толкались какие-то люди, что-то покупали, продавали. Николай ушел. Сначала думал поступить в морской техникум, послал даже заявление в Одессу, но его не приняли из-за отца-кустаря.

Пятнадцати лет он уже неплохо крутил сальто. Какие-то циркачи на пляже предложили ему поступить к ним в труппу. Но циркачей вскоре почему-то арестовали, и Николай (все благодаря тому же пляжу) устроился матросом на спасательной станции. Потом был мотористом на переправе через Днепр. Потом опять же матросом на пароходе «Котовский», ходившем в Херсон. В тридцать седьмом году поступил в физкультурный техникум, в тридцать девятом в институт. Окончить его помешала война.

Для полноты биографии добавим еще, что перед самой войной он женился. Женился на Шуре Вахрушевой, которую знал, когда еще был мальчишкой (она с мамой жила через три дома от них, на Лукьяновке), а потом встретился опять на городских легкоатлетических соревнованиях, в которых завоевал второе место по прыжкам с шестом.

По натуре своей человек он был тихий, не любил скандалов и так называемых «заводиловок», но если уж разозлят или заденут, в долгу не оставался. За один из таких случаев

его раз чуть не исключили из комсомола, и только потому, что на пароходе он был одним из самых дисциплинированных матросов, дело ограничилось замечанием.

Вообще же парень он был хороший, компанейский, и, может, именно поэтому Шура на него иногда и обижалась. Как и большинство женщин, она не всегда понимала, что мужчинам иногда хочется побыть вместе, без жен, что куда интереснее и веселее, например, в субботу вечером взять лодку и поехать на ночь и на воскресенье с ребятами на Десну, чем напяливать на себя рубашку с воротничком и галстук, которого он терпеть не мог, идти с ней в театр, ходить под руку по фойе и, толкаясь у прилавка, покупать теплый клюквенный напиток.

Иногда Николаю даже казалось — это бывало, правда, не часто, обычно когда он возвращался откуда-нибудь навеселе и Шура с обиженным видом сидела что-нибудь чертила (она работала чертежницей на Кабельном заводе) и ничего не спрашивала, — иногда ему казалось, что не стоило так рано жениться и что вообще, быть может, жениться совсем не надо или, в крайнем случае, лет до сорока. А через час они уже бежали куда-нибудь в кино, и Николай не без гордости замечал, что в фойе на его Шуру все оборачиваются. Оборачиваются, хотя она вовсе не считалась хорошенькой, и у нее много было подруг, которые были куда красивее ее, и делали себе перманент, и брови выщипывали, а вот оборачивались больше на Шуру. А она не обращала на это никакого внимания — только смеялась. «Я вообще мужчин не люблю, — говорила она, — от них табаком пахнет, и бриться почему-то не любят. Я б и за Николая не пошла, если б не мама. Только для нее и вышла замуж...»

Но это было, конечно, неправдой. Шура любила его. И он Шуру. И вообще жили они хорошо и дружно и, может быть, не случись война, жили бы так и до сегодняшнего дня...

Вот, собственно говоря, и все, что можно рассказать о довоенном Николае. Хороший парень — вот и все. Если вы зайдете к нему, он всегда будет вам рад. Быстренько сбегает на угол, купит все что полагается. Через полчаса будет уже

петь песни, стараясь перекричать вас, потом выжмет стойку на стуле и, посмотрев на пустой стол, предложит опять сбегать на угол. Тут запротестует Шура, а он, весело подмигнув вам, скажет: «А что, если мы мотнем на Днепр?» Это в случае, если вы зашли к нему летом и в воскресенье. И вы не пожалеете, если поедете с ним. У него и удочки, и червяки, и лодку он выберет самую легкую, и места он знает на Днепре самые хорошие, — одним словом, время вы проведете с ним неплохо. Только не заводите с ним разговора на международные темы: в этом он мало разбирается. Правда, если б вы в свое время заговорили с ним об испанских событиях, он вздохнул бы и сказал: «Эх, вот куда бы я поехал! Хороший народ. И воюет хорошо. Наших вот только там маловато». И тут, может быть, даже выругался бы.

Но в Испанию поехать ему не довелось, воевать пришлось гораздо ближе. Провоевал он три года — с 22 июня по 24 июля. Тяжелые три года. Но именно в эти три тяжелые года Николай узнал то важное и нужное, чего не знал раньше.

До войны у него были товарищи — и на пароходе, и в техникуме, и в институте, — со многими из них он по-настоящему дружил. Но это было только товариществом, не больше. Дружба людей, рожденная общностью работы, учения, а может быть, и просто молодостью.

На фронте все это стало другим. Именно на фронте Николай понял, что товарищи — это не просто твои товарищи, к которым ты привязан потому, что они тебе нравятся, а что это и есть народ, то самое, что для Николая было до войны большим, но все-таки до какой-то степени отвлеченным понятием. На фронте Николай узнал народ. Узнал и оценил.

Узнал он там и другое — чувство ответственности. Ответственности перед людьми, перед самим собой, ответственности за их жизнь, за правильно принятое решение, за выполненную задачу. Без этого нельзя воевать. Об этом надо помнить каждую минуту, каждую секунду, всегда, везде, при любых обстоятельствах. Помнить, когда посылаешь людей в разведку, когда ведешь их в бой, когда приказы-

ваешь отступать или окопаться перед противником, который впятеро сильней тебя. Помнить, что приказ свят, что не выполнить его нельзя, что, взяв эту высоту, ты, может быть, на день, на час, на минуту приблизишь день победы. И помнить, что выполнять приказ будут люди, жизнь которых зависит от твоей находчивости, сообразительности, ума и опыта и у которых больше дней впереди, чем позади, у которых матери, сестры, жены, дети.

Помни об этом. Каждую минуту помни. Помни, потому что именно это великое чувство ответственности рождает другое, не менее важное на войне чувство — чувство доверия солдат к тебе, своему командиру; именно оно — великое и трудное чувство ответственности — убивает страх перед смертью, рождает стойкость, упорство, волю, рождает победу, и именно оно превращает веселого, беспечного, живущего своей молодостью малого в человека.

И Николай понял это.

17

Николай сидит, смотрит на прыгающий по щепкам огонь и думает.

Секретарь со шрамом на лице сказал: «Это очень тяжелый участок».

Тяжелый участок. Николай три дня сидел с группой разведчиков в отрезанном от своих блиндаже. Дважды пересекал днем Волгу под обстрелом двух пулеметов и минометной батареи. Отражал со своим взводом атаку танков. Дай бог, чтоб этого никогда больше не было. Даже сейчас, как вспомнишь...

И вот опять тяжелый участок. Не окоп, нет, — колченогий стол с ящиками, бумагами, шкаф, набитый папками, протоколы обследований, акты... «Я, инспектор такой-то, обследовал квартиру такую-то...»

Тяжелый участок... На фронте нелегко, но там сознание, что ты делаешь самое главное. А здесь? «Место скользкое, не всякий усидит».

Заявления, жалобы, протесты. Десятки, сотни, тысячи. Мать с двумя детьми, муж погиб, жить негде... Стоит и смотрит на тебя. Жить негде. На руках дети. Плачут.

А может, это так же важно, как захватить сопку, отбить атаку? Подумай хорошенько.

И Николай думает. Смотрит, сощурившись, на огонь и думает.

В печке что-то зашипело и треснуло. Вывалился на пол уголек — маленький, красный. Николай бросил его обратно, подкинул еще несколько полешек. Одно смешное, какое-то изогнутое, с кривым сучком, похожее не то на собаку с хвостом-бубликом, не то на лицо старика с крючковатым носом. В комнате совсем тихо, только потрескивают дрова и равномерно тикают над головой часы с подвешенным вместо гири замком.

Как трудно принять решение! Ох, как трудно! И если б одно, а то ведь не одно. Все навалилось сразу... На фронте, там приказ. Он усложняет жизнь, но и упрощает ее. О многом можно не думать. Здесь приказа нет. Здесь ты сам себе должен приказать. Приказать и выполнить.

...Сегодня по дороге в милицию Николаю показалось, что он увидел Шуру. Он даже вздрогнул, Шура или похожая на нее женщина, — Николай видел ее со спины, — стояла в очереди у самого входа в распределитель. Когда он подошел, часть очереди впустили внутрь, и ему так и не удалось увидеть лица.

А ведь прошло уже два месяца, даже больше, с тех пор, как они виделись в последний раз. В первый и последний. Возможно, если б они встретились еще... Но зачем об этом думать? Ведь он принял решение еще там, на своей лужайке, и это правильное решение. Надо только, чтобы все стало на свое место, стало так прочно, чтобы уже не сдвинуть.

Часы вдруг остановились. Крак — и стали. Опять этот чертов замок — все время цепляется за маятник. Сколько раз повторял себе: надо заменить его, повесить настоящую гирю. Завтра же он это сделает. Валя раз пять уже опаздывала из-за этих часов на работу.

Николай встает, на цыпочках подходит к часам, подталкивает пальцем маятник — опять пошли.

Восемь часов. Без пяти восемь. Через полчаса придет Валя. Сегодня пятница, по пятницам она всегда приходит раньше. Нет, сегодня у нее вечер, он совсем забыл, — предпраздничный вечер в институте. Раньше двенадцати часов она не вернется.

А может, пойти ей навстречу? Пройтись опять по Ботаническому саду — сейчас там так хорошо, последние осенние дни. Дубы и тополя еще зеленые, еще осыпаются клены — в этом году все как-то запоздало. Валя насобирает листьев — красных, желтых, золотистых, заполнит ими всю квартиру. Набьет ему все карманы каштанами. Милый, забавный, рыжий сержант... Сколько еще детского в этом солдате. Смешная... Убежала тогда. А потом три дня ходила с таким лицом — страх, — не подходи. Вот тебе и сержант...

Анна Пантелеймоновна зашевелилась на своем диване. Потянулась за стаканом.

— Может, вам чайку налить? — спрашивает Николай.

— Чайку? — Анна Пантелеймоновна отвечает тихо и как-то неопределенно, точно сама не знает, хочет она чаю или нет. — Ну что ж, налейте.

Николай достает старую фаянсовую кружку Анны Пантелеймоновны, с которой она не расстается последние тридцать лет, — большую кружку с охотником и бегущим зайцем такого же роста, как охотник.

— А я сегодня паспорт получил, — говорит Николай, ставя чашку совершенно черного, как любит Анна Пантелеймоновна, чаю на стул. — Можете меня поздравить.

— О! Знаменательное событие.

— И в райкоме был. Работу предложили.

— Хорошую?

— Как сказать! Бывает, конечно, и лучше.

Прикрыв чайник подушкой, Николай садится в ногах у Анны Пантелеймоновны верхом на валик.

— А с паспортом... смешно. Получить-то получил, а вот прописать не хотят. Говорят, санминимума у Валерьяна Сер-

геевича не хватает. Шесть метров, говорят, на человека надо, а у него одиннадцать.

Анна Пантелеймоновна мешает ложечкой чай, наливает его в блюдечко — она не любит горячего чая.

— Да, — Николай смеется, но смех какой-то невеселый. — Ввалишься, бывало, после похода в хату, хозяйка о санминимуме ничего не говорит. А здесь вот пожалуйста, — шесть метров на человека. В вашей, например, комнате могла бы рота расположиться. И еще считалось бы, что свободно.

Анна Пантелеймоновна ничего не отвечает. Неловко. Получилось, будто он напрашивается в эту комнату. Он этого вовсе не хотел, сказал просто так, к слову, а получилось вроде напрашивается.

Анна Пантелеймоновна молчит. Держит в руках кружку и машинально размешивает сахар, глядя куда-то в сторону. Потом ставит кружку на стул.

— Добавочку? — спрашивает Николай.

— Спасибо, Коля, не хочется.

Николай идет на кухню, приносит еще несколько поленьев. Вернувшись, застает Анну Пантелеймоновну уже сидящей на диване, в накинутом на плечи пальто. Ее, очевидно, все еще знобит.

— Коля, я поговорить с вами хотела, — тихо говорит она.

— Сейчас, одну минуту!

Николай накладывает дрова, раздувает начавшую уже потухать печку, потом садится верхом на валик, на свое любимое место.

— Я хотела поговорить с вами, Николай, — говорит Анна Пантелеймоновна, и голос ее слегка дрогнул. — Давно хотела. Но все как-то... То времени нет, то... Об этом трудно говорить. Может, вы меня и не поймете. Вы молоды, у вас все это как-то по-иному, а для нас, для людей, — она подыскивает подходящее слово, — ну, не вашего поколения, скажем стариков...

— Ну, какой же вы старик, Анна Пантелеймоновна! — смеясь, перебивает Николай и тут же видит, что не надо было этого делать, — слова прозвучали развязно, фальшиво.

Анна Пантелеймоновна как-то необычно, с несвойственной ей серьезностью, взглядывает на Николая и сразу же отводит глаза.

— Я хотела вас спросить... Вы как-то никогда об этом не говорили. И вы не будете сердиться на меня. Но... — Она немного растерянно улыбается. — Скажите мне, Николай, у вас есть жена?

Она говорит это так тихо, что Николай скорее догадывается, чем слышит ее.

— Есть, — не поднимая головы, говорит Николай и, помолчав, добавляет: — Мы не встречаемся.

По коридору кто-то прошел. Не то Валерьян Сергеевич, не то Муня, — оба они дома ходят в шлепанцах, и Николай никогда не может угадать, кто же из них прошел. Когда хлопнула дверь в ванну, Анна Пантелеймоновна спросила так же тихо, как и раньше, — ей трудно говорить.

— Вы развелись?

— Нет.

— Тогда... Как же?

— Да так... — Николай не знает, что ответить. Об этом трудно говорить. — Так получилось...

Сидя на валике дивана, он перебирает бахрому свисающей с него кисти.

— Ну, вот и все, — говорит Анна Пантелеймоновна. — Спасибо. Я знала, что вы прямо все скажете.

Молчание. Оно длится довольно долго. Как громко тикают эти проклятые ходики! Анна Пантелеймоновна положила руку на колено Николая — маленькую худую руку, когда-то, видно, красивую, а сейчас потрескавшуюся от старости, черную от кухни и картошки.

— Сейчас война, Коля. И на войне многое очень просто. Я знаю. И, может быть, даже понимаю. Но это страшная простота. Не надо ее. — Она смотрит на Николая своими молодыми, живыми, сейчас чуть-чуть как будто извиняющимися глазами. — Вы понимаете меня?

Николай молча кивает головой. Он понимает, о чем говорит Анна Пантелеймоновна. Он понимает, что для этой

доброй, хорошей, перенесшей такую тяжелую жизнь женщины все счастье заключено сейчас только в одном — в ее дочери. Он понимает, о чем говорит Анна Пантелеймоновна. Это не требование соблюдения формы, это требование быть честным. Он встает и молча выходит из комнаты.

18

Снег. Первый в этом году снег. Николай идет по улице, все с тем же чемоданчиком в руке, в непригнанной госпитальной шинели, в ушанке на затылке — все-таки жарко еще в ней.

Завтра праздник. На фасадах домов вешают портреты, лозунги, пятиконечные звезды с выкрашенными красной краской лампочками.

— Эй, друг! — кричит Николаю кто-то, стоящий на приставленной к стенке лестнице. — Поддержи, пожалуйста, скользит проклятая лестница.

Парень в расстегнутой телогрейке, с папиросой за ухом, старательно вбивает костыль в стенку. Внизу, возле лестницы, стоит портрет.

— Теперь подай портрет. Осторожно только, тяжелый.

Николай подает портрет. Парень пристраивает его, потом соскакивает с лестницы и отходит на мостовую.

— А ну глянь! По-моему, хорошо.

Николай соглашается — немного криво, но хорошо.

Парень вытирает лоб.

— Это мы поправим. Это нам раз-два, и все. Но вообще неплохо. Правда?

— Неплохо.

— Ну, а теперь давай лозунг.

После лозунга еще один портрет. Потом герб и флаг над самым подъездом. Становится жарко. Шинель и телогрейку приходится скинуть. Флаг пристраивают к балкону, для чего надо зайти в чью-то квартиру. Там уже празднуют. Никто не удивляется их приходу. Без всяких возражений открывают заклеенный балкон, и каждый дает совет, как лучше

пристроить флаг. Потом подносят обоим по рюмочке и суют в руку бутерброды с колбасой.

— Ну, спасибо. Простите, что помешали.

Парень порывается еще куда-то идти с Николаем, но денег нет ни у того, ни у другого. Они прощаются.

— Заходи, — говорит почему-то парень, неистово тряся Николаю руку. — Во дворе, лестница направо, шестая квартира. Колесниченко. Юрий Колесниченко.

А снег все идет. Ватага школьников уже перебрасывается снежками. Хохочут. Твердый, холодный снежок угодил Николаю прямо в ухо.

— Ох, простите! Мы не нарочно, простите! — и опять хохочут.

— Черта с два!

Николай ставит свой чемоданчик на землю, лепит снежок и ловко попадает в засыпанного снегом парнишку. Ничего, не разучился еще...

В зоне обстрела какой-то прохожий с поднятым воротником.

— Безобразие! — ворчит он. — Ну просто безобразие...

Ватага разбегается.

Снег вдруг перестал. Уже начинает таять. Жаль. Николай сгребает его с какого-то подоконника и с удовольствием глотает — мягкий, холодный, сразу тающий во рту.

Только часам к двенадцати Николай попадает к Сергею. Тот лежит на своей скрипучей железной койке, положив ногу на спинку, и курит. Протез стоит рядом, прислоненный к стенке.

Николай ставит чемоданчик в угол.

— Принимаешь?

Сергей свистнул.

— Вот это да! Пропавшая грамота! — И тут же, с грустной уже интонацией: — А встретить-то и нечем! — Наклонившись, он долго шарит рукой под кроватью. — Вот всегда так: когда надо — нету, а когда не надо — есть.

— Ну и бог с ней.

— Ладно. Рассказывай. Где пропадал?

— Пропадал или не пропадал, а вот нашелся. Где спать положишь?

— Из госпиталя, что ли? Прогнали?

— Нет, не из госпиталя.

— Шура?

— И не Шура.

Сергей смотрит на шинель без погон.

— Демобилизовали?

— Шесть месяцев. Один черт! Паспорт уже в кармане. — Николай хлопает себя по боковому карману. — С сегодняшнего дня новую жизнь начинаю.

Сергей криво улыбается.

— Вот и мне предлагают...

— Что предлагают?

— Новую жизнь начинать. А я не хочу.

— Почему?

— А потому. Не хочу, и все. Старая нравится.

— Не говори ерунды. Противно слушать.

— Не слушай, раз противно.

— Ну, на кой черт тебе все это надо? Ей-богу. Плюнь ты на них, брось ты эту лавочку, пока не поздно. Паспорт есть у тебя?

— Есть.

— Ну вот и давай вместе начинать. Вдвоем легче.

— Что? Работу искать? Да подавись она... Разучился я работать. Да и платят мало. А я деньги люблю.

— Врешь — не любишь! Вид только делаешь.

— А зачем мне делать? И вообще хватит об этом. Надоело. — Он сердито смотрит на Николая, небритый, обросший. — У Шуры был?

— Нет.

— Почему?

— Завтра собираюсь.

— Вот это да! — Он весело смеется, хлопая Николая по плечу.

— Развестись решил, — мрачно говорит Николай.

Сергей перестал смеяться, смотрит на Николая — глаза уже злые, — потом говорит одно только слово:

— Дурак!

Николай молчит.

— Нет, видали дурака... Сам себе жизнь портит.

— Не знаешь, не говори.

— А я ничего и знать не хочу. Дурак, и все. Безмозглая башка. Ну, я, дрянь, пьяница, бузотер, безногий инвалид, кому я нужен? А ты! Красавец парень — ну, немножко там нос подгулял, бывает, — но, в общем, парень гвоздь. Капитан, гвардеец, член партии, ноги на месте, что еще надо? — Он долго, точно проверяя сказанное, смотрит на Николая. — И чего я только полюбил тебя, подлеца? Пес его знает почему. И видал-то всего три-четыре раза, а люблю, и хочется мне, чтобы все у тебя хорошо было. А ты вот не хочешь. Не хочешь, и все. Вбил себе в голову какую-то ерунду... — Он хватает Николая за голову и смотрит ему в глаза. — Ведь Шура ждет тебя, понимаешь? Ждет.

— Так не ждут, — говорит Николай.

— Ждут, ждут... Ты ничего не понимаешь. Ждут!

Они долго спорят. Сергей убеждает. Николай упорствует. Никаких жен. Это он твердо решил. И завтра же пойдет к Шуре. Тянуть нечего. А то ерунда какая-то — муж не муж, жена не жена. Надо точку поставить. И он свободен, и она свободна. Сядет в поезд, и — ту-ту! — подальше отсюда. В Сибирь куда-нибудь? А? Поехали в Сибирь.

— Там холодно, не хочу. И вообще — ну тебя в болото!

— Тогда на юг, на Кавказ, в Баку. Я там четыре месяца в госпитале провалялся. Хороший город. И винограду — завались! И вина. И рыбы. Устроимся где-нибудь на рыбном промысле, как боги. И корешок у меня там есть. Хороший парень. В госпитале сдружились. И сестра у него красавица. В самый раз тебе. Чернобровая азербайджаночка. А глазищи — во! Женим вас, и родится у вас черноглазый такой пацан, и будешь ты его качать на коленке, а я сидеть рядышком и улыбаться, винцо попивать...

Сергей качает головой:

— Красиво все это, брат, да не про меня. Не умею я этого. А учиться поздно. — Он шумно вздыхает.

Стол полон окурков. Накурено так, что приходится открывать окно.

Часам к пяти Сергей говорит:

— Точка. Пора спать. Тикай на свой тюфяк.

Николай вытягивается на тюфяке, прикрывается шинелью. Рядом ставит голубенький трофейный будильничек. Устанавливает его на одиннадцати. Пусть в одиннадцать разбудит. Он твердо решил пойти сегодня к Шуре. Кончать так кончать...

Только подходя к Шуриному дому, Николай подумал, что может ее не застать. Сегодня ведь демонстрация. Ну, ничего, подождет. Сядет в той же самой кухне, где уже сидел когда-то, и дождется в конце концов. Торопиться ему некуда.

Он поднялся на третий этаж и постучал. Шура была дома. Он застал ее моющей пол. В подоткнутой юбке, стоя на коленях, она скребла ножом пол возле печки.

Николай вошел молча. За него громко постучала в дверь какая-то соседка и крикнула: «Шура, к вам!» Шура, не подымаясь, через плечо взглянула на вошедшего. Потом медленно встала, держа в одной руке нож, в другой тряпку, сделала несколько шагов, и тут произошло то, что должно было произойти еще тогда, два месяца тому назад, в госпитале, — она заплакала.

Она ничего не сказала, она стояла посреди комнаты, с тряпкой и ножом в руках, с испачканным носом, и по щекам ее, совсем как у ребенка, катились большие прозрачные слезы.

Николай почувствовал, что у него щекочет в горле. Он шагнул вперед, притянул Шуру к себе и несколько минут смотрел ей в глаза — большие, сияющие радостью глаза, потом поцеловал их, по очереди, сначала один, потом другой...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Самое необходимое в жизни человека, без чего ее никак нельзя назвать счастливой, — это мир и благополучие в семье и удовлетворение работой. Во всяком случае, в известном возрасте оба эти жизненные условия необходимы.

Так говорил Валерьян Сергеевич, любивший всякого рода определения, касающиеся жизни. И, как казалось Николаю, он этого всего достиг.

Шел тысяча девятьсот сорок пятый год. Война еще не кончилась. Но гремела она уже далеко, в Германии. Жизнь мало-помалу начинала входить в колею. С окон исчезла маскировка, на улицах появился свет, сначала робкий, приглушенный, потом уж настоящий, почти довоенный. Появилось, хотя еще и с перебоями, электричество в квартирах. Разбирали и взрывали развалины. Выросли первые строительные заборы с таинственными буквами «Ж.С.» — Жилстрой. В газетах появились фотографии новых домов, запроектированных на месте старых, разрушенных. Поговаривали даже о полной реконструкции центральной части города. Архитекторы и строители были нарасхват.

Кривая жизни ползла вверх.

Шла вверх она и у Митясовых. Они переселились в другую комнату: Шура не хотела оставаться в этой, с ненавистными ей соседями и сложными воспоминаниями. Обменяли они свою комнату на меньшую, и не на третьем, а на пятом этаже, но оба были молоды, лестниц не боялись, а комнатка была светлая, с балконом, с чудным видом на Печерск, Черепанову гору и, как утверждал Николай, на ту самую лужайку, где они сидели когда-то с Шурой.

Шура перетащила свои цветы, и оттого, что комната была маленькая, казалось, что их стало больше. Соседи были славные, тихие, незаметные и очень были довольны новой парой; у предыдущих жильцов было трое детей, по рассказам, довольно беспокойных.

Жизнь текла мирно и тихо. О Феде никогда не говорили. Он, еще до прихода Николая, уехал в Ригу, как только ее освободили. Он понял, что ему надо уехать. Понял с того самого дня, как пришел Сергей. Шура замкнулась, стала молчалива, — она ждала Николая. Федя понял это. И уехал. Как-то от него пришло письмо. Коротенькое, на двух страничках. Отец и мать его оказались живы, брат погиб на фронте. Сам он устроился на завод ВЭФ, тот самый, где когда-то слесарничал и сейчас продолжал слесарничать его отец. Вот и все. О Шуре очень скучает. Шура прочитала письмо на кухне, хотела порвать, потом раздумала, положила в сумочку и пошла на службу. Больше от Феди писем не было.

С октября прошлого года Шура работала в крупной проектной организации чертежницей. Николай прошел комиссию, получил третью группу и работал сейчас физруком в школе.

В школу эту он попал совершенно случайно. До этого работал в райжилуправлении.

Это были тяжелые три месяца — ноябрь, декабрь и январь. Ленинский район был самый разрушенный в городе. Квартир не хватало. Дома на девяносто процентов были аварийными. Люди жили в кухнях, в ванных комнатках, в каких-то коридорах и кладовках.

Николай был инспектором. Ходил по квартирам, проверял заявления, выслушивал жалобы, составлял акты, присутствовал при страшных квартирных ссорах. Везде — на улицах, в магазинах, в кино, на темных лестницах, в еще более темных коридорах — его останавливали и, приперев к стенке, просили, угрожали, плакали, совали ему деньги, а у кого их не было, смотрели жалобными глазами и говорили: «Мы поблагодарим вас, товарищ Митясов, поблагодарим». Ему приносили прямо на службу и старались навязать завернутых в газету кур, кошелки с яйцами и творогом, а один раз даже живого поросенка.

Одним словом, дело было нелегкое. И все-таки первые недели Николай работал с увлечением. Целый день вокруг

были люди — демобилизованные, реэвакуированные, погорельцы, — люди, которым нужна была помощь и которым по мере сил и возможности он пытался ее оказывать.

Но вскоре оказалось, что взгляды на эту помощь у Николая и его начальника Кочкина не совсем совпадают. Начались трения, мелкие, а потом и крупные стычки. Чем бы все это кончилось, трудно сказать, Кочкин был хитер и оборотист, чего, к сожалению, о Николае никак нельзя было сказать. Но тут, на счастье его, подвернулся Ромочка Видкуп.

Пришел он к нему с кучей бумажек и отношений, с желтыми от тола пятнами на шинели и долго доказывал свои, к сожалению, совершенно несостоятельные права на какую-то пятиметровую комнату без окна. Они даже поспорили тогда. Видкуп грозился, что пойдет куда-то жаловаться и напишет письмо Михаилу Ивановичу Калинину, и говорил об этом настолько несдержанно, что Николай вынужден был попросить его выйти из комнаты и не мешать работать. Потом они совершенно случайно встретились не то в прокуратуре, не то в горсовете, и тут вдруг выяснилось, что оба они лежали в Баку, в одном отделении, у одних и тех же врачей. Начались воспоминания, потом кружка пива, и кончилось тем, что Видкуп затащил Николая в 43-ю школу, где работал сначала истопником, потом комендантом, а сейчас, по совместительству, и старшим пионервожатым.

— Слушай, — сказал на прощание Ромочка, — переходил бы ты к нам, ей-богу. Нам как раз физрук нужен, третий месяц ищем. А там тебя слопают, это ясно. И если свернут когда-нибудь твоему Кочкину шею, — а от этого ему не уйти, — то, поверь мне, до этого он раз двадцать успеет тебе свернуть.

Николай вздохнул, почесал затылок, а через неделю между ним и Кочкиным произошла стычка, чуть не кончившаяся скандалом. К счастью, все обошлось относительно мирно, — Николай только обозвал его жуликом и взяточником, хлопнул дверью и пошел в райком.

— Если хотите, чтоб вышло дело, — сказал он там секретарю, тому самому, который послал его в РЖУ, — направьте в эту шарашкину контору человека поопытнее во всех этих делах, чем я. А мне разрешите вернуться к моей довоенной специальности. Вот в школе, говорят, физрук нужен. А у меня все-таки два года института...

Секретарь отчитал его, сказал, что для того и послал в эту «шарашкину контору», чтобы он там порядок навел. Но, по-видимому, секретарь нотацию свою прочел главным образом из воспитательных соображений. Дней через десять в РЖУ появился новый инспектор — демобилизованный инженер-сапер.

Так началась педагогическая деятельность Николая.

После РЖУ школа показалась Николаю раем. То ли потому, что дети вообще больше любят учителя физкультуры, чем, скажем, учителя немецкого языка, то ли потому, что в самом Николае, опять столкнувшемся после такого перерыва со спортивными снарядами, проснулось что-то довоенное, физкультурное, а может, и потому, что в Николае таилась какая-то не обнаруженная до сих пор педагогическая жилка, — так или иначе, но уже на второй день с полдюжины ребят провожали его домой.

Было это в январе.

С тех пор прошло три месяца. Тихие, спокойные, занятые работой и обычными, не очень сложными житейскими событиями.

Забежит Ромочка Видкуп — веселый, шумливый парень, мастер на все руки, инициатор всех школьных вылазок, экскурсий и походов.

Реже — раза три-четыре в месяц — появляется Сергей.

В его жизни тоже произошли перемены. Пришлось и ему начать «новую жизнь».

— Инструктор Осоавиахима. Удавиться! Шестьсот пятьдесят рублей. Ну что за работа, я тебя спрашиваю? Ни уму, ни сердцу, ни, главное, карману...

Почему и как это произошло — на эту тему Сергей особенно не распространялся. Разругались и все, ну их в баню...

Он действительно разругался. Разругался со Славкой Игнатюком, в прошлом старшиной, демобилизованным по какой-то никому не известной болезни, а сейчас организатором и главой «тапочного дела».

С чего ссора началась, бог его знает; кажется, с того, что Сергей привез не те тапочки, какие надо было. Славка ругался, говорил, что не хочет докладывать своих денег. Потом сказал, стукнув себя согнутым пальцем по лбу:

— Вот что в нашем деле главное. Понял? А не только это, — он щелкнул Сергея по протезу. — И намотай это себе на ус. Перевозить мало, надо думать!

Сергей еле сдержался, чтобы не отхлестать Игнатюка этими самыми тапочками по его жирной морде, но как подумал, что их обоих могут сейчас заграбастать — дело было на вокзале — и что ему вместе с ним придется отвечать, — плюнул, швырнул тапочки и ушел.

На этом кончилась «старая» и началась «новая» жизнь Сергея.

Приходил он мрачный, но водкой от него пахло реже. Садился на кровать и начинал поносить свою новую работу. Николай и Шура пытались его переубедить, но он вынимал из кармана маленькую черненькую коробочку, говорил: «Давай-ка лучше в козла постучим, скорее время пройдет», — и Николай, чтобы не обижать Сергея, играл с ним в домино, которым даже в скучные госпитальные дни никогда не увлекался.

На полях Германии по-прежнему еще гремели пушки, солдаты ходили в атаки, санитарные эшелоны отвозили раненых в тыл — война еще шла, — но здесь, в маленькой комнате на пятом этаже, все было тихо и мирно. И если б все так продолжалось и дальше, тогда, пожалуй, и писать бы не о чем было. Но дальше пошло не так. И пошло с того самого дня, когда в этой самой уставленной цветами комнатке на пятом этаже появился, кроме Николая и Шуры, еще один человек, которому суждено было сыграть весьма существенную роль в жизни Николая.

Человеком, сыгравшим такую роль в жизни Николая, оказался средних лет капитан, в габардиновой гимнастерке с двумя рядами орденских планок, невысокий, плотный, слегка лысеющий. Явился он как-то ясным весенним утром, позвонил в маленький звоночек, совсем недавно проведенный Николаем, и осведомился у открывшей ему дверь Ксении Петровны — учительницы русского языка, жившей в конце коридора направо, — может ли он видеть ответственного съемщика квартиры.

— Я ответственный съемщик, — упавшим голосом ответила Ксения Петровна.

— Моя фамилия Чекмень. До войны я жил в той вот комнате. — Капитан указал на дверь Митясовых.

Ксения Петровна ничего не ответила, — она не знала, что в таких случаях надо отвечать. Тогда капитан поинтересовался, дома ли нынешние хозяева этой комнаты, и, узнав, что нет, слегка свистнул.

— Жаль. Тогда я попрошу передать им, что в девять часов я опять приду. Мне очень хотелось бы их видеть.

В дверях он на минуту задержался.

— А старых жильцов никого не осталось?

— Нет, никого.

Он козырнул и ушел.

Весь день Ксения Петровна со страхом ждала наступления девяти часов. Рассказывали, что в соседнем доме, когда вселялся какой-то майор, разыгралось чуть ли не настоящее сражение. Майор явился с солдатами, его не впустили, вызвали милицию...

Но на этот раз ничего подобного не произошло. Капитан пришел ровно в девять часов, но без всяких солдат.

Впустил его Николай. Сразу же проводил в свою комнату. Капитан вошел, поздоровался с Шурой и, взглянув при свете на Николая, сказал, чуть-чуть прищурив глаза:

— Хо-хо, дело плохо, — и протянул руку. — Чекмень. Капитан Чекмень.

— Вижу, что капитан, — без улыбки ответил Николай. — Моя фамилия Митясов. Садитесь.

Капитан сел.

— Демобилизованный, да? — Он посмотрел своими чуть-чуть смеющимися глазами на Николая. Тот до сих пор ходил в гимнастерке и сапогах.

— Как видите.

— Дело, безусловно, осложняется.

— Какое, интересно?

— Мирного устройства отвоевавшегося воина, который когда-то жил в этой комнате.

— Боюсь, что осложняется.

Капитан улыбнулся.

— Придется подавать в прокуратуру. Ничего не поделаешь.

— Подавайте. Если есть основания, конечно, надо подавать. — И, помолчав, добавил, точно между делом: — Кстати, вас именно из этой комнаты в армию взяли?

Капитан искоса взглянул на Николая.

— А вы что, все законы уже знаете?

— Кое-какие знаю.

Капитан промолчал. Потом встал, прошелся по комнате.

— Забавно. Ей-богу, забавно.

— По-моему, скорее грустно.

— Нет, все-таки забавно.

Он подошел к балконной двери и, наклонившись, стал рассматривать что-то рядом на обоях.

— Так и есть. 4-78-16 — Михеев. Смешно! Здесь когда-то телефон висел, понимаете?

Он опять подошел к столу, сел и посмотрел на потолок.

— Все-таки вам надо было ремонт сделать. Сменить обои, побелить потолок. Впрочем, этим уж я сам займусь.

Николай и Шура переглянулись. Шура стояла возле маленького столика, вытирала тарелки, изредка поглядывая встревоженным взглядом на пришельца. По всему видно было, что сочувствия он в ней не вызывал. Николаю же, как ни странно, капитан этот чем-то даже понравился. Трудно даже сказать чем: то ли спокойствием, то ли чуть-чуть ленивой манерой говорить, а может, и просто взглядом:

в маленьких, очень черных, широко расставленных глазах его где-то на дне все время светилась не то насмешка, не то ирония.

— Ну, так как же? — Капитан повернулся в сторону Николая.

— А никак. Будете ли вы подавать в прокуратуру или не будете, дело от этого не изменится. Комнаты вы этой не получите.

— Не получу? — Капитан приподнял брови.

— Не получите.

— Вы в этом уверены?

— Как дважды два — четыре. — Николай вынул портсигар и протянул капитану, тот отказался. — Вы где остановились?

— Нигде. Между небом и землей. На вокзале.

— Вещи есть?

— У каждого, приехавшего из-за границы, есть вещи.

— Тогда сделаем так. Тащите их сюда, переночуете у нас, а завтра, в девять утра, пойдем с вами в райисполком.

— И...

— Там увидим. Может, что-нибудь и получится.

Капитан пожевал губами, сощурился.

— Яволь! Иду на компромисс. Прокуратура временно откладывается.

На этом разговор кончился. Капитан пошел на вокзал за вещами.

Так началось знакомство Николая Митясова с Алексеем Чекменем, офицером штаба инженерных войск армии, прибывшим из Австрии с направлением в Округ для демобилизации.

3

Прожил Алексей Чекмень у Митясовых не день и не два, как предполагалось, а добрых две недели. Спал на балконе, на совершенно плоском волосяном тюфяке, вставал рано, раньше всех, делал зарядку, сворачивал и засовывал за шкаф

свой тюфяк, выпивал стакан чаю из термоса и исчезал. Приходил поздно вечером.

Где он пропадал, никто толком не знал. Кажется, в штабе Округа или инженерном отделе — он мельком об этом упоминал, но никогда не вдавался в подробности.

Как жилец он был идеален. Он не требовал за собой никакого ухода, был аккуратен, не тыкал, как Сергей, во все углы свои окурки, не ходил, подобно Николаю, по комнате в одной майке и не разбрасывал повсюду свои ремни, планшетки и подворотнички. Моясь на кухне, всегда вытирал после себя пол и перебрасывался с соседями двумя-тремя ничего не значащими, но любезными фразами, что те очень ценили.

Одному Сергею он не понравился.

— Не люблю я таких типов. Планки нацепил и думает, что герой. Знаем мы этих героев. И потом: чего он всегда спрашивает, можно ли закурить?

— Просто воспитанный человек, — улыбалась Шура.

— Да кому она нужна, эта воспитанность? В Европе, мол, побывал. Интеллигенция. Дал бы я ему по этой Европе, да вас, хозяев, жалею. И вообще, Николай, — это уж Сергей говорил в отсутствие Шуры, — смотри, как бы это гостеприимство тебе боком не вышло. Что-то мне глаза его не нравятся. Больно хитры.

Предположение это было неосновательным. Шура, правда, немного побаивалась и стеснялась Алексея. Он был остер на язык, и никогда нельзя было понять, говорит ли он в шутку или всерьез. Шуру это всегда смущало. Поэтому, как только он появлялся, она сразу же умолкала, боясь сказать какую-нибудь глупость. Вот и все. При всем желании Сергей не мог обнаружить в их отношениях ничего предосудительного.

Не в пример многим фронтовикам, любящим поговорить о своих успехах и на женском фронте, Алексей был сдержан и никогда об этом не говорил. Вообще о себе и своем прошлом говорил мало и неохотно. Если его спросить — ответит кратко, без лишних подробностей, даже почти со-

всем без них. Было известно только, что по образованию он инженер — незадолго до войны кончил здешний строительный институт и оставлен был при какой-то кафедре. На войну попал в начале сорок второго года. Воевал на юге, потом в Польше, Австрии.

Вот, собственно говоря, и все, что было о нем известно. О родителях своих никогда не говорил. Семейное положение тоже было неясно. Шуру, как всякую женщину, этот вопрос, конечно, интересовал, но вразумительного ответа, как она ни старалась, добиться ей не удалось.

— Я убежденный холостяк, Шурочка. Штопать носки я и сам умею. И стирать тоже.

— Не говорите так, Алексей. Так говорят только легкомысленные люди, которые...

— Которые что?

— Вы знаете что. А вы ведь не такой. Неужели вам не хочется...

— Нет, не хочется.

— Постойте, ведь вы же не знаете, что я хотела сказать.

— Знаю. Неужели вам не хочется, чтобы рядом с вами был человек, который... Ну и тому подобное. Так вот, Шурочка, мне не хочется. Понимаете — не хочется. Любовь кончается тогда, когда в паспорте появляется штамп.

— Алексей...

Он чуть-чуть улыбался одними глазами, но лицо оставалось серьезным.

— А вы уже и поверили? Нет, Шурочка, дело не в этом. Дело куда хуже. Ведь мне тридцать четыре года, а чувствую я себя на целых сорок. В этом возрасте уже трудно влюбляться. А жениться без любви — вы бы меня сами осудили.

— Ну, вы еще найдете.

— Найду? — Все та же улыбка на дне глаз. — Нет, Шурочка, искать мне уже нечего. Давно уже нечего.

— Почему?

— Почему? Да по очень простой причине. В этом году будет ровно десять лет, как я уже нашел то, о чем вы говорите. — Тут он вдруг начинал смеяться, и Шура, как всегда,

разговаривая с ним, становилась в тупик. — Десять лет. Ровно десять лет. А вы и не знаете? Ай-ай-ай! У меня ведь даже двое детей — Ваня и Маша. Ваня — черненький, Маша — беленькая. Они письма мне пишут вот такими буквами.

— А ну вас! С вами разговаривать...

Так Шуре и не удалось ничего выяснить.

Любимым изречением Алексея было — «все подвергай сомнению».

— Все подвергай сомнению, вот лозунг мой и Маркса, — говорил он совершенно серьезно, а глаза его, как всегда, чуть-чуть смеялись. — И не делайте, пожалуйста, удивленного вида. Старик действительно так сказал. Прочитайте-ка его «Исповедь».

Николай читал «Исповедь» и приходил в восторг от ответов на шуточные вопросы, поставленные Марксу его дочерьми. Особенно нравилось ему, что любимое занятие Маркса было рыться в книгах («и мое тоже...»), а любимое изречение — «ничто человеческое мне не чуждо».

Алексей только улыбался. Он был трезв и скептичен. Он много читал, многое видел. Он исколесил на фронтовых машинах пол-Европы и очень интересно умел рассказывать о людях, подмечая, правда, преимущественно забавные, комические черточки. Он был не прочь подтрунить и над Николаем. Особенно над его увлечением своими школьниками или над слишком идиллическими порой воспоминаниями о фронтовой жизни и дружбе.

— Это, брат, дело скользкое, фронтовая дружба. Окопное братство и тому подобное, фашисты здорово сумели все эти шуточки обыграть. Ну их...

— То есть как это «ну их»? — горячился Николай. — Самое святое, что есть в жизни...

— Святое-то оно святое, а обыграть сумели. И это один из важнейших пунктов гитлеровского культа войны. Перед смертью все равны, говорят они. Пуля не считается с тем, что ты фабрикант или рабочий, солдат или генерал. Война, мол, объединяет и уравнивает всех, и в этом ее величие. А отсюда и культ всевозможных окопных братств и товари-

ществ по оружию, «кампфкамерадшафт» по-немецки. Вот так-то, брат, а ты говоришь...

Николай с интересом слушал все эти новые и неожиданные для него вещи, иногда соглашался, чаще спорил, вернее пытался спорить — с Алексеем это было нелегко.

Происходило это обычно ночью, перед сном, на балконе. Комната Митясовых выходила на юг, за день нагревалась — весна в этом году была на редкость жаркая, — и к вечеру в ней нечем было дышать. Николай вытащил на балкон и свой тюфяк, и вот тут-то, погасив огонь, они с Алексеем лежали, смотрели в небо и подолгу разговаривали.

Николай полюбил эти ночные разговоры. Кругом тихо. Позванивают редкие ночные трамваи, гудят на станции паровозы, пробуждая желание куда-то ехать. Изредка упадет звезда. Пройдет кто-то с баяном. Проедет машина. И опять тишина.

Набегавшийся за день Алексей вскоре засыпал, а Николай долго еще лежал и, прожигая махоркой простыни, обдумывал все, о чем они говорили.

Один из таких ночных разговоров особенно озадачил Николая.

Начался он, собственно говоря, еще с прихода Сергея. Весь вечер он был мрачен, мрачнее обычного. Скинув гимнастерку и развалившись в плетеном кресле на балконе, он ругал свою службу, начальника. Потом, когда Шура, разливая чай, предложила ему для приличия одеться и привела в пример всегда подтянутого и опрятного Алексея, он вдруг обиделся, от чая отказался и ушел.

Шура заговорила о том, что надо было бы Сергея женить, больно уж он одинок. Николай не согласился: дело, мол, не в одиночестве, а в том, что Сергей потерял жизненную цель.

— Как сел в кабину своего самолета, так и не выберется из нее до сих пор. Сидит и сидит.

Алексей задумчиво катал хлебные шарики. Потом спросил вдруг:

— А у тебя она есть?

— Кто?

— Цель.

Николай пожал плечами.

— Глупый вопрос.

— Почему глупый?

— Потому что глупый.

Алексей улыбнулся.

— Возразить, конечно, нечего. Сдаюсь.

Шура, как всякая хорошая жена, заступилась за мужа.

— А школа? Разве это не цель? По-моему, воспитание молодежи — это ничуть не менее важно, чем... ну, хотя бы... — она запнулась, не зная, с чем бы сравнить, — ну, чем что-нибудь другое.

Алексей с улыбкой смотрел на нее.

— Ну, конечно же, ничуть не менее важно... Кто же спорит? Но я ведь ничего не утверждал, я только задал вопрос.

— Ну, а я ответила.

— И хорошо ответили. Разве я говорю, что плохо? Я сам великий поклонник Ушинского и Макаренко. Только мечтаю о том дне, когда с меня снимут погоны и разрешат вернуться к педагогической деятельности. Но это я. А вот ваш супруг. — Он подмигнул в сторону Николая, молча вынимавшего из дивана тюфяки. — Для него, боюсь, школа скорее средство, чем цель.

Шура ничего не ответила, старательно вытирала тряпкой клеенку.

— Не цель, а средство, — повторил Алексей, — средство заполнить некую, образовавшуюся после фронта пустоту.

Шура продолжала вытирать клеенку.

— Не понятно? Могу объяснить. На фронте были разведчики. Здесь их нет. Они далеко. Здесь школьники. Вот вам и замена. Своеобразный эрзац разведчиков. А походы, вылазки, всякие там «маневры» — эрзац войны. Игра в войну... Иными словами, все тот же самолет Сергея.

Он посмотрел на спину Николая, все еще возившегося с тюфяками, потом на Шуру.

— Не согласны?

Шура сосредоточенно счищала что-то. Как всегда, она не умела сразу ответить.

— Не знаю, — сказала она. — Так или не так, но что касается меня, так я только рада этой школе. Все-таки школа, а не это чертово РЖУ.

— Ну, это уж другой разговор, — сказал Алексей.

Николай приостановился у балконной двери, держа в руках тюфяки.

— Почему другой?

— Да потому, что там, в РЖУ, у тебя была одна цель: поскорее убраться, и все. — Алексей встал из-за стола и потянулся. — В каком это фильме было? Самое важное в жизни — вовремя смыться...

Все еще стоя в дверях, Николай сказал:

— Если б это не ты, а кто-нибудь другой, я бы дал ему за такие слова в морду. Понятно? — и вышел на балкон.

Шура взглянула на Алексея, приложила палец к губам. Алексей понимающе кивнул, взял полотенце и вышел на кухню.

Когда он вернулся, Николай уже лежал в одних трусах на балконе и курил.

— Так, по-твоему, я все еще в «самолете» сижу?

— По-моему, да, — ответил Алексей.

Николай помолчал, потом спросил:

— А из РЖУ, значит, смылся?

— На эту тему я говорить не буду. После твоих угроз остерегаюсь.

— И правильно. Остерегайся. Не знаешь, не суди...

Алексей промолчал. Николай мигал папиросой.

— Смылся... Все вы так о других. Посмотрел бы я, что бы ты на моем месте запел. А то — смылся... Уютного местечка, по-твоему, искал, да? Так если хочешь знать, именно таким, как ты, надо там работать. Чтоб во всех этих балках чертовых и перекрытиях разбирался. Чтоб вокруг пальца не обкрутили, как меня хотели.

— Не понял.

— Поработал бы, понял, — Николай зло усмехнулся, — на второй день понял бы. Подсунули бы аварийный домик, составить акт на ремонт — сразу бы понял. Особенно когда спросят потом, сколько тебе жильцы за это дали. Тихонько так спросят, с улыбочкой, между делом будто...

— Кто это спросит?

— Тот же Кочкин хотя бы, начальничек. А потом подсунет другой домик, почище этого. Ты, мол, испугаешься, под немедленный ремонт не подведешь, а он в один прекрасный день возьми да обвались. Вот тебе и подсудное дело. А ты баран бараном, глазами только хлопаешь — иди разберись, какая там балка гнилая, какая нет.

Николай выругался, щелкнул окурком о стену.

— Эх, будь у меня знания!.. Нету вот, нету... Ну, хоть десятая часть, что у тебя. Разогнал бы, к чертовой матери всю эту шпану разогнал бы...

Алексей улыбнулся в темноте.

— Иди учись тогда. За чем же дело стало?

— Иди учись... — Николай перевернулся на спину, уставился в небо.

Из комнаты донесся звук заводимого будильника. Очевидно, Шура забыла завести его с вечера и заводила сейчас.

— Не спится что-то твоей жене, — сказал Алексей.

— Жарко в комнате, потому и не спится.

— Жарко, конечно, — Алексей помолчал, потом добавил тихо: — Грустная она у тебя почему-то. Всегда такая была?

— У нее умерла мать. При немцах еще.

Опять помолчали.

— А ты давно женат? — спросил Алексей.

— С сорокового. Пятый год уже. А что?

— Да так просто. Я тоже был женат. И тоже ничего не получилось.

Николай повернул голову.

— Почему «тоже»?

— А ты считаешь, не тоже?

— Я ничего не считаю. Просто не понимаю, о чем ты говоришь.

— О жизни, вот о чем. Сложная она штука... Как это твой старик говорил? Самое важное в жизни — это... Что-то там в семье, что-то на работе...

— Мир и благополучие в семье и удовлетворение работой.

Алексей зевнул и натянул на себя простыню.

— А как этого достичь, он не говорил? Спроси при случае. Обязательно спроси, — он повернулся спиной к Николаю. — Давай спать, завтра вставать рано.

4

Мир и благополучие в семье? А что это такое?

Вот у Николая мир и благополучие в семье. Он вернулся к Шуре. Она вернулась к нему. Они живут тихо и спокойно. Они никогда не ссорятся. Утром они встают, завтракают. Шура кладет в его спортивный чемоданчик чистые трусы и майку, завернутый в газету завтрак. Они уходят каждый на свою работу. Вечером встречаются, пьют чай. «Ну, как твои ребята сегодня? Как Вадик Суханов?» Николай рассказывает о Вадике Суханове, о волейбольном матче, о предполагаемом походе за город. «Ну, а у тебя как? Кончили этот злополучный лист, о котором ты говорила?» — «Кончили. Беленький даже похвалил. В этом месяце, говорят, премиальные получу».

Мир и благополучие в семье? Конечно, мир и благополучие.

Николай никогда не говорит о Феде. Он нисколько не ревнует к нему и вспоминает о нем, только когда подходит к оставшейся от него в наследство карте, чтоб отметить продвижение наших войск. Федя, кажется, живет сейчас в Риге, работает. Николай рад за него. Шура никогда не спрашивает Николая, увлекался ли он кем-нибудь на фронте. Она вообще не расспрашивает его о фронте. А он ее об оккупации. Они не говорят о прошлом. Как будто его никогда и не было. «Ну, как твои ребята сегодня?» — «Как твой чертеж?»

По субботам и воскресеньям они ходят в кино. Они видели много хороших картин. Видели «Кутузова», «Сражающуюся Францию», «Леди Гамильтон». Возвращаясь домой, они говорят о том, что понравилось. Мужчины по-прежнему оборачиваются на Шуру: за последнее время она поправилась, стала лучше выглядеть, почти совсем разгладились складки у рта, которые так поразили в первый раз Николая. Да, мужчины оборачиваются и смотрят на Шуру, и ему, как мужу, это должно быть даже приятно. Один раз на улице он слыхал, как кто-то сказал: «Смотрите, какая хорошая пара». Это про него и Шуру.

Ну, конечно же, мир и благополучие... И что б там ни говорил Алексей — «тоже не получилось», все это чепуха. У него, может, и не получилось, а у Николая получилось. А то, что он иногда вспоминает о Вале и как-то даже зашел в Ботанический сад, разыскал ту самую пещеру, где они сидели с ней, и посидел там немного, повспоминал прошлое — что ж тут удивительного? Да, ему с ней было хорошо, он и не собирается скрывать это от себя. Но это было. И все это уже позади. И хотя, может, это и некрасиво, что он ни разу с тех пор не был в шестнадцатой квартире, но пусть пройдет время... Сейчас у него Шура, и в семье у него мир и благополучие, и никуда он не будет ходить.

Теперь другой вопрос. Работа. Удовлетворен ли он своей работой?

Удовлетворен. У него не действовала рука — теперь она действует. Он занимается с ребятами. Он готов круглые сутки возиться с ними, ходить на Днепр, красить лодку, составлять по карте маршруты походов. И, ей-богу же, он приносит им какую-то пользу, сколько бы там ни иронизировал Алексей.

Что же еще надо?

А может, дело не только в том, доволен ли ты сам своей работой? Подумай-ка хорошенько. Проще всего ухватиться за что-то хорошее, что ты уже имеешь, и убеждать себя, что это именно и есть то, что нужно. Сделал какую-то работу, тебя похвалили, вот ты и доволен: видите, нас даже похвалили.

Нет, очевидно, важно не только это. Важно и другое: а то ли ты делаешь, что нужно? И если то, в полную ли силу ты это делаешь, все ли отдаешь, что у тебя есть?

На фронте, например, Николай знал, что он делает самое нужное и отдает все, что у него было. И задача была ясна. Она была крохотная и в то же время громадная. Он получал приказ захватить «языка». Это бывало очень трудно, иногда просто невозможно. В Сталинграде он целый месяц не мог достать «языка» и взял его с величайшими трудами только к концу месяца. Задача была захватить «языка», его задача была разведать нейтральную полосу, обнаружить минные поля, определить, сколько у немцев пулеметов — тяжелых и легких. И его цель была — изгнать немцев из России, Украины, Белоруссии, уничтожить фашизм. И он это делал. Один из многих миллионов, таких же как он, людей, сидящих в окопах, работающих в Сибири на заводе, взрывающих поезда в тылу у противника. Он это делал и сделал.

Но это фронт. А до фронта? До фронта у него тоже была своя задача. Не такая большая и важная, как на войне, но была. Он любил спорт и знал, что в этой области может неплохо работать. На втором курсе он завоевал уже второе место на городских соревнованиях и мечтал о первом. Сам Синцов, никогда и никого не хваливший, одобрил его прыжки с шестом...

А сейчас? Что должен делать он сейчас? В каком деле он может принести настоящую пользу, отдать себя целиком, как делал это на фронте? Ведь товарищи его, оставшиеся там, делая самое нужное сейчас, работают для будущего, для той мирной жизни, которая начнется после войны и должна быть еще лучше, чем довоенная. Что же делать ему сейчас?

О спорте можно уже не думать. Сделаешь два-три самых легких упражнения на перекладине и минут пять потом не можешь отдышаться. Врачи, правда, говорили, что раньше чем через год можно и не мечтать о перекладине, а он вот работает, и, говорят, даже неплохо. А разве в руке дело? Не в руке — в сердце, а оно-то уже не прежнее. Значит, точка. Примирись.

РЖУ? Вот где, казалось, можно было поработать, пользу принести. Город разрушен, людям жить негде, — помогай им, что может быть лучше? Но не вышло. Подготовки не хватило, знаний, черт бы их побрал! А без них и не суйся — в два счета блин сделают. Опять осечка...

Школа?

Вот это сложный вопрос. Когда тебя спрашивают, доволен ли ты своей новой работой, ты всегда отвечаешь: «Доволен. Ребята мировые. Веселые, азартные. И сдружились мы крепко». Ну, а если сам себя спросишь? Вот так вот, честно, положа руку на сердце, — доволен?

Алексей смеется, говорит: «Все тот же «самолет». Нет, не «самолет». Не прав Алексей. Не в воспоминаниях, не в разведчиках дело — хотя, может быть, немного и это есть, — нет, дело тут посложнее. Школа не райжилуправление, это правда. Здесь мило, весело, ребята хорошие, и директор тебе обрадовался: все-таки пришел фронтовик, член партии, а в школе почти все преподаватели беспартийные. А что толку, оказалось? Сидишь на педсовете и чувствуешь себя, как в первый раз у Острогорских. Любите ли вы Андрея Болконского, Николая Ростова? А ты впервые о них слышишь. Может, и проходили когда-нибудь в школе, да разве все запомнишь?

И вообще, какой ты, к черту, педагог? Учишь ребят гимнастике, а сам думаешь: вот этого ты уже не сделаешь, и этого тоже. Повел как-то раз ребят поглядеть на соревнования и еле до конца досидел, обидно стало... Двадцать пять лет человеку, а что впереди? Топчись на одном месте и радуйся, что хоть что-то от прежнего осталось. И так всю жизнь? Как старик певец какой-нибудь отпел свое, вот и принимайся за молодежь. Но тот хоть пел раньше хорошо, а ты?

Нет, не то все это... Не то.

5

В конце апреля Шура уехала в Харьков. Поехала их целая бригада — человек пять инженеров и две чертежницы: предстояла какая-то срочная работа на восстанавливаемом

тракторном заводе, которую надо было выполнить на месте. Предполагалось, что к празднику они вернутся, но, как это всегда бывает, что-то не утвердили, что-то надо было еще переделывать, и только восьмого вечером пришла от Шуры телеграмма, что она приедет девятого вечерним поездом.

Николай, как и все в эти дни, ходил возбужденный и радостный. По городу распространился слух, что подписан мир. У громкоговорителей стояли толпы, во всех очередях говорили только об одном — о мире, кто-то даже сам слышал по радио, что он где-то уже подписан. Но официальных сообщений не было. Репродукторы передавали легкую музыку, беседу о лауреатах, оперу «Иван Сусанин» из Большого театра.

Восьмого вечером Николай вернулся домой поздно — педагогический совет затянулся и кончился только в начале одиннадцатого, Николай окинул взглядом комнату, подумав без особой радости, что к Шуриному приезду надо будет ее прибрать, и, не ужиная — лень возиться, завтра позавтракаю, — лег спать. Алексей уже храпел на своем балконе.

Посреди ночи Николай проснулся от того, что его кто-то тряс за плечо.

— Подъем! Подъем!

Спросонья стал шарить вокруг себя, ища спички.

— Подъем! Подъем! — с веселой настойчивостью повторял над ним все тот же голос, голос Ромки Видкупа. — И как у вас тут свет зажечь, черт вас забери?

Николай наконец нашел спички, чиркнул, зажег коптилку. Посреди комнаты стоял Ромка — рыжий, веснушчатый, сияющий.

— Выходи строиться! Живо!

Николай и Алексей, ничего не понимая, сидели на своих тюфяках, хлопали глазами.

— Война кончилась! Понимаете — кончилась! Кончилась, кончилась, кончилась...

Четвертый час ночи. На дворе еще темно.

Прошел дождик — теплый, весенний, оставив на тротуарах под деревьями светлые серые круги. С мокрых каштанов

еще каплет. Точно на глазах распустились их зеленые гусиные лапки. Вчера еще были почками, а сегодня уже стали листьями. В воздухе пахнет свежим — опрыснутой дождем землей, молоденькой зеленой травкой.

Они идут по улице, прямо по мостовой, по трамвайным путям, куда глаза глядят.

Откуда-то — то ли из раскрытого окна, то ли из далекого уличного репродуктора — доносится голос Левитана. Где-то поют. Нестройно, вразнобой, стараясь друг друга перекричать: «Ой, Днипро, Днипро, ты силен, могуч...»

Сквозь молоденькую зелень сада виден университет — большой, печальный, с дырявыми закопченными окнами, облупившимися колоннами. Ему грустно. Всем весело, а ему грустно. Ничего, старина, скоро и за тебя примутся. Не грусти! Смотри, как хорошо разрослись вокруг тебя каштаны — уже касаются друг друга своими ветками, а ведь до войны совсем малютками были.

Взвилась ракета. Осветила улицу, сад, колонны сожженного здания и погасла. Метнулся по небу луч прожектора. Раз-два, туда-сюда, расширился, сузился и тоже погас. Каждому хочется как-то отметить сегодняшний день.

Молоденький безбровый милиционер в белой гимнастерке стоит на углу, скучает. Ему, бедняжке, тоже, вероятно, до смерти хочется вот так вот пройтись по улице, в обнимку, по мостовой, петь песни.

— С праздничком тебя, старший сержант, с победой!

— И вас также, — и улыбается.

Визжа тормозами, подкатил «виллис».

— Как к вокзалу проехать, друг?

— Прямо, потом налево, до бульвара, а дальше увидите.

— Ну, спасибо. И за твое здоровье по маленькой выпьем...

Опять улыбается. Ничего другого ему не остается.

Пошли дальше...

Восток уже порозовел. На небе четко рисуется уступчатая колокольня Софии. Повезло тебе, очень повезло. Пережила войну, и какую! Не тронули тебя. Не успели —

убежали. Дай бог тебе столько же еще стоять, сколько ты простояла. И еще столько же.

Пошли, пошли дальше... Пошли к Андреевской. Смотри, как хороша она сейчас, стройная, легкая, с тоненькими своими колоколенками. И почему мы, дураки, не приходили сюда по утрам, именно по утрам, когда она так красива на золотистом утреннем небе? Теперь мы всегда будем приходить сюда по утрам, обязательно по утрам...

Как гулко звенят твои чугунные ступени! Как хорошо стоять возле тебя, облокотившись о парапет, и смотреть на Днепр — широкий, разлившийся до самого горизонта. Он сейчас совсем розовый, как и небо на востоке. Только там, у Никольской слободы, осталось еще немного синего и фиолетового. Тихо-тихо кругом...

И даже не верится, что были другие утра. С таким же прозрачным, как сейчас, небом, с капельками росы на траве и первыми появлявшимися в воздухе самолетами. А потом всходило солнце и начинался страшный, насквозь пронизанный ревом моторов и разрывами бомб, нескончаемый, мучительно длинный день.

Тяжелые дни войны. Тяжелые, ох, какие тяжелые... Июнь, июль сорок первого года. Немецкие листовки — «Сдавайтесь! Вы окружены! Штык в землю!» Горящие села, горящие города, осыпающиеся хлеба — какие хлеба! — ползущие в них, обросшие бородами люди, прошедшие уже сотни километров, чтоб прорваться к своим... Сентябрь, октябрь. Страшная сводка Информбюро, когда бои шли уже на самых подступах к Москве: «Положение угрожающее...» Казалось, еще шаг, еще один только шаг... И вдруг... Брошенные в снег машины, подбитые танки, первые пленные — замерзшие, закутанные в одеяла. «Зимний фриц...» И в эти дни парад на Красной площади, в нескольких десятках километров от передовой. И потом прямо с парада — на фронт. Мимо Василия Блаженного, по набережной, через Бородинский мост, на Можайское шоссе.

«Не так страшен черт, как его малюют», — сказал тогда Сталин.

Он стоял на Мавзолее в хмурый ноябрьский день, и перед ним проходили войска — пехота, танки, артиллерия, — войска, пришедшие с фронта и уходившие на фронт.

Кто знает, может, это были самые счастливые минуты за все время войны. Значит, умеем еще воевать! Умеем, черт возьми!

А потом Сталинград, Курская дуга, Польша, Германия, Берлин...

И вот — все!

Странное чувство. Вот так до войны никак нельзя было себе представить: а как же это будет, когда она начнется? Так и сейчас. Все, чем люди жили все эти годы — страшное, тяжелое и ставшее в этой тяжести чем-то даже привычным, — кончилось.

В Сталинграде было не так. Там тоже было странное чувство: только что ты еще стрелял, согнувшись, перебегал по окопам, с опаской поглядывал на небо — и вдруг конец! Тишина. Непонятная, незнакомая тишина. Только какой-нибудь веселый сержант, не зная, куда девать патроны, пустит в воздух очередь из автомата.

Но там было другое. Там ты, после пяти месяцев войны оказался вдруг в тылу. Но фронт еще был. Далеко, за десятки километров, но был. И ты знал, что еще попадешь туда. А сейчас его нет. Совсем нет. Возьмешь завтра газету, посмотришь в то место, где была сводка Информбюро, а вместо нее уже про комбайнеров пишут.

И все-таки война кончилась. Кончилась в Берлине. Не на Волге, не на Урале, а в Берлине. В том самом Берлине, о котором мечтал каждый солдат. Все мечтали: вот придем в Берлин, разыщем среди развалин имперскую канцелярию, доберемся до Гитлера...

Стало совсем светло. Подул ветерок. Откуда-то появились две девушки, какой-то танкист в шлеме, парень с баяном. Поеживаясь, тихо наигрывает что-то. Что ты стесняешься? Смелей, смелей! Что-нибудь фронтовое. «Землянку» или «Темную ночь». Давай, не стесняйся. «Те-е-емная но-о-очь...»

Как любил эту песню Веточкин, славный, в кубаночке своей набекрень, лейтенант Веточкин. И пел ее хорошо. У него был чистый высокий голос, и бойцы часто просили его спеть что-нибудь. И он пел. Последний раз это было недалеко от Ковеля, в лесу, на лужайке, за день до наступления. Он много пел в тот вечер. А на следующий день он подорвался на противотанковой мине. Никто не мог понять, как это произошло. Нашли только его пилотку и полевую сумку.

Нет его больше. И Кадочкина, замполита Кадочкина тоже нет. В последнем письме, откуда-то уже из Германии, Леля писала, что он погиб во время бомбежки. Похоронили в небольшом разрушенном селе на берегу Одера, недалеко от Франкфурта.

Многих уже нет. Не дожили. Казаков, Трофимов, Майборода, медсестра Наташа, которую, как говорили, даже пуля жалела...

А ты вот жив...

Прозвенел где-то внизу, на Подоле, первый трамвай. Зажегся кое-где уже свет в окнах. Люди собираются на работу. И может, даже не знают, что уже мир.

Лейтенант-танкист разложил на коленях карту, что-то показывает Алексею и Ромке. Должно быть, пройденный путь. Склонили головы, разглядывают.

Николай смотрит на лейтенанта. Немолодой уже, со следами ожогов на руке. Горел, должно быть. Повидал войну.

Николай смотрит на него и думает... Вот встреться они недели две-три тому назад, и он не то что позавидовал бы лейтенанту, но что-то екнуло бы в груди. Парень, может, из госпиталя выписался, на фронт едет. А Николай уже не поедет, отвоевался.

Но это было бы две-три недели тому назад. А сегодня? Парень вот уже тоже вспоминает войну, карту показывает. Для него война уже кончилась, как и для Николая, как для всех. И скоро он скинет свои погоны и, может быть, так же, как и Николай, задумается: а что ж дальше?

Но ему будет легче. Война уже кончилась. Самое главное в нашей жизни уже другое — не война.

И Николаю вдруг от этой мысли стало легко и весело. Именно здесь, в это свежее радостное утро ему вдруг стало ясно, что все то, что его так мучило последнее время, — сознание, что ты делаешь не самое важное, не самое нужное, что ты — пусть не по своей вине, но отстранился от самого важного и нужного, — что этого больше нет.

6

Как-то, укладывая в чемоданчик Николая завтрак, Шура обнаружила на дне его серенькую тоненькую книжицу — программу для поступающих в средние и высшие учебные заведения.

— Это что, твое? — удивилась она.

— Мое, — ответил Николай.

— Зачем?

— Да так. Решил посмотреть.

Ответ был по меньшей мере уклончивый, но в тот же вечер Шура, при содействии, правда, Алексея, добилась более ясного.

Да, Николай решил попробовать силы. Дело, конечно, не легкое, — за каких-нибудь два с половиной месяца надо подготовиться и по математике (в объеме десяти классов!), и по русскому, и по истории СССР, и по иностранному языку, — но в конце концов у него скоро начнутся каникулы, и почему бы не попробовать...

Встал вопрос — куда?

Шура считала самым подходящим геолого-разведочный («был на войне разведчиком, вот и сейчас им будешь»), но Алексей запротестовал:

— Только в строительный. Строительный — и никаких разговоров.

Во-первых, строители сейчас очень нужны, во-вторых (тут Алексей подмигивал Шуре), окончив институт, Николай сможет вернуться в свое РЖУ («будешь уже знать,

какая балка гнилая, а какая нет»), а в-третьих, и в самых важных, в начале будущего месяца Алексея демобилизуют (это почти факт), а в институте он уже договорился относительно места декана факультета ПГС (промышленно-гражданского строительства), — иными словами, протекция обеспечена.

Какой именно из этих аргументов подействовал на Николая, трудно сказать. Возможно, что все три, а может, и еще какие-нибудь. Много времени спустя Николай в шутку говорил, что поступил в строительный институт просто потому, что ему была знакома туда дорога. А может, и не только дорога, бог его знает... Так или иначе, по этим или другим причинам, но выбран был именно строительный институт.

Экзамены должны были быть в августе. Николай сел за книги.

Сергей, глядя на него, только посмеивался.

— Учишься? Ну, учись, учись, авось и в академики выберешься. Возьмешь меня тогда к себе шофером, а?

Николай отмалчивался.

Не одобрил Николая и Яшка. Встретились они как-то на улице. Яшка ехал на своем «студебеккере» и, увидев переходившего улицу Николая, заорал во всю глотку:

— Э-э, капитан!

Николай обернулся. Яшка круто подрулил к тротуару.

— Куда ж ты провалился, друг, а?

Николай посмотрел в сторону.

— Да так как-то все... Работы много, и вообще... — он повернул ручку дверцы. — В институт вот надумал поступать.

— Уговорили-таки? — Яшка иронически улыбнулся. — Ну, а друзей почему забыл?

— Что поделаешь, женатый человек! А жены, знаешь, теперь какие — никуда не пускают.

Яшка раскрыл рот.

— Постой, постой! Какая еще жена?

— Обыкновенная, довоенная.

— Нашел, что ли?

— Нашел.

Яшка протяжно свистнул.

— Вот это да, — почесал свою лохматую голову. — А ведь такая парочка была, такая парочка...

Он стал рассказывать о шестнадцатой квартире. Анна Пантелеймоновна все еще болеет. Два раза было воспаление легких. Совсем сдала старуха, а ведь какая бойкая была. Зашел бы все-таки, навестил. Неловко как-то получается. Бэлочка в этом месяце, вероятно, родит. Муня работает как вол, — на пеленки зарабатывает. Старики Ковровы как всегда. У Валерьяна Сергеевича опять кабак в комнате, еще одну кошку завел. Сам Яшка работает все там же, в «Союзтрансе».

— Напрасно ты тогда не согласился. Давали бы дрозда на пару. Жить все-таки можно. Надоест учиться — приходи, всегда устрою.

На этом разговор кончился: подошел милиционер и велел Яшке следовать дальше, если он не хочет уплатить штраф.

— Есть, товарищ начальник! — весело козырнул Яшка и помахал Николаю рукой. — А зайти все-таки надо. Нехорошо друзей забывать, ей-богу нехорошо!

— Зайду, обязательно зайду! — крикнул вдогонку Николай.

Но прошел июнь, июль, а он так и не зашел.

7

Всю ночь с тридцать первого июля на первое августа Николай не спал. В голову лезли какие-то формулы, длиннущая фраза из диктанта: «Большая, без единого деревца и кустика, освещенная красным, лишенным лучей солнцем, выжженная, сухая степь казалась сейчас вымершей и пустынной на всем своем протяжении с севера на юг, от того места, где стоял офицер, до крохотного, почти незаметного курганчика на горизонте».

Проклятая фраза! Николай сделал в ней десять ошибок и надолго запомнил эту идиотскую степь с курганчиком, солнцем и офицером... Потом вспомнилось почему-то, что три года тому назад, в эту самую ночь, с июля на август, он лежал где-то в степи, под Сталинградом. Лежал вот так же, как и сейчас, закинув руки за голову, смотрел на крупные немигающие звезды и думал о том, что творится сейчас на правом берегу Дона, у Калача, и что ожидает его с товарищами в Сталинграде.

И вот прошло три года, ровно три года, и он так же лежит и опять никак не может заснуть. И отчего? Оттого, что завтра долговязый желтолицый математик будет спрашивать его, что такое бином Ньютона или еще что-нибудь похуже. Смешно. Ей-богу, смешно...

В семь он уже был на ногах. Есть не хотелось — выпил стакан чаю, с трудом впихнул в себя кусок хлеба с колбасой. Шура пожелала «ни пуха ни пера», велела обязательно позвонить после экзамена к ней на работу. Он сказал, что непременно позвонит, чмокнул ее в лоб и ушел задолго до назначенного часа.

К двенадцати часам он был уже свободен. Ему повезло. Желтолицый математик оказался вовсе не таким несимпатичным, как показалось вначале. Прежде чем дать пример, он спросил Николая, не родственник ли ему известный академик Митясов, Сергей Гаврилович (вопрос этот вызвал неожиданное веселье у экзаменующихся), а после того как Николай с грехом пополам решил пример, подмигнул и сказал:

— Ну как, на фронте легче?

В письменной Николаю помог его сосед, молоденький паренек с торчащими ежиком волосами: сунул шпаргалку с решением не получавшейся у Николая задачи.

По телефону Николай сообщил Шуре:

— Все в порядке. Троечка обеспечена.

Привычным жестом проверив, не выскочил ли обратно пятиалтынный из автомата, он направился к выходу. В две-

рях его задержал паренек с торчащими ежиком волосами. Спросил, не знает ли он, где можно пообедать подешевле: он, мол, приезжий и ничего еще здесь не знает. Николай хотел ему сказать, что лучше всего в университетской столовой, что там даже пиво есть и не грех после экзамена пропустить по кружечке, но сказать это ему так и не удалось, — из профессорской вышла Валя.

Она вышла с каким-то низеньким, очень толстым, лысым человеком — очевидно, тоже педагогом, — держа в руках большой лист бумаги и о чем-то оживленно с ним разговаривая. На ней была обычная ее, только еще более выцветшая гимнастерка и полевая сумка через плечо.

Парень с ежиком продолжал что-то говорить, но Николай не слышал его. Он прошел через вестибюль и остановился возле профессорской. Валя стояла к нему спиной. Потом обернулась. И тут Николай, совсем неожиданно для самого себя, сказал:

— Здравствуй, Валя!

Лысый толстяк обернулся.

— Одну минуту! Неужели нельзя подождать одну минуту? Видите, мы заняты.

Валя спокойно, слишком даже спокойно, как показалось Николаю, посмотрела на него и сказала:

— Сейчас я кончу. Подожди.

Толстый и Валя еще минут пять говорили о каком-то расписании: толстый говорил, что ему что-то неудобно в четверг, а что-то в пятницу, в конце концов выхватил у Вали из рук лист и с неожиданной быстротой побежал вверх по лестнице.

— Я сейчас, — сказала Валя Николаю и опять зашла в профессорскую.

Она похудела, осунулась, еще больше стала похожа на Анну Пантелеймоновну. Он не видел ее десять месяцев. И как спокойно она на него смотрела! Как на любого другого студента. Как будто они виделись только вчера и между ними ничего не произошло. Но как бы там ни было, хочет этого Валя или нет он пойдет сейчас к ней, пойдет к Анне

Пантелеймоновне, а если ее сейчас нет, она на работе, придет к ней вечером Он не будет придумывать никаких предлогов, он скажет Анне Пантелеймоновне все как есть. В конце концов, последний разговор у него был именно с ней, и никто, кроме нее, не поймет его по-настоящему, — не поймет, как трудно после такого разговора приходить...

Валя вышла из профессорской и, кивнув Николаю, быстро пошла к выходу.

— Ты домой? — спросил Николай.

— Домой.

— Я с тобой пойду. Можно?

Валя ничего не ответила. Они прошли несколько шагов молча. Да, она похудела, под глазами появились синяки. Неужели она не отдыхала все лето? Рядом с загорелым, обветренным в своих школьных походах Николаем она казалась неестественно, болезненно бледной.

— Анна Пантелеймоновна сейчас дома или в библиотеке? — спросил Николай.

Валя, не поворачивая головы, сказала:

— В позапрошлое воскресенье мама умерла.

Николай остановился.

— Сердце не выдержало, — сказала Валя.

Они шли через пустырь, по которому столько раз ходили. Невдалеке от них группа саперов привязывала веревку к высокой одинокой стене, которую, очевидно, собирались валить. Один из них сидел на самом верху, — бог его знает, как он туда забрался. Николай и Валя сели на груду кирпичей. Со стороны могло показаться, что они с интересом следят за этим сапером.

— За два часа до смерти мама говорила о тебе. Она ни на минуту не теряла сознания... Она лежала лицом к окну и за два часа до смерти сказала: «Все-таки как хорошо Коля полки починил, того пятна совсем не видно». Знаешь, какого? Которое выглядывало из-за той полки с толстыми журналами. Потом она сказала, тоже про тебя: «Так и не прочел «Обломова». А я все забываю вернуть. Напомнишь мне, когда я на работу пойду». А через два часа она умерла.

Умерла... Какая она была тогда маленькая на этом большом удобном диване! Он предложил ей зажечь коптилку. Она отказалась. «Не надо, Коля, я и так полежу». Он удивился — это было так не похоже на нее. Он вспомнил ее глаза: в тот вечер они не были веселыми, они были серьезны, непривычно серьезны и какие-то смущенно-извиняющиеся. «На войне многое очень просто. Я знаю. Но это страшная простота. Не надо ее...» Николай на всю жизнь запомнил эти слова, эти глаза. Она положила ему тогда на колено руку, маленькую худую руку, и ему хотелось поцеловать эту руку, руку человека, прожившего долгую, хорошую и такую тяжелую жизнь.

...К ним подошел очень молоденький румяный лейтенантик в кокетливо сдвинутой на левое ухо пилотке и, козырнув, сказал:

— Придется вас попросить. Сейчас рушить будем. — Он улыбнулся, сверкнув зубами. — Оттуда, с улицы, даже лучше видно будет.

Он не сомневался, что Валю и Николая больше всего интересует сейчас, как будет рушиться его стена.

— Филонов, погоди! — звонко крикнул он и побежал в сторону своих саперов.

Валя и Николай встали и, миновав стену, начали спускаться с горы.

Николай видел много смертей. Он видел, как убивали юношей, почти мальчиков, самых дорогих ему людей. Но сейчас, когда ему сказали, что умерла немолодая женщина, которую он знал всего каких-нибудь три-четыре месяца, он почувствовал такой прилив горя, что, не подойди к ним лейтенант, он, может быть, даже заплакал бы. Возможно, в Анне Пантелеймоновне он почувствовал то, чего он не знал в своей жизни — любовь старого человека, любовь матери.

Он проводил Валю до самого дома. Дальше он не пошел, ему не хотелось никого сейчас видеть — ни Валерьяна Сергеевича, ни Ковровых, ни Яшку, ни Муню с Бэлочкой.

— Так ты, значит, в наш институт поступаешь? — спросила Валя.

— Да, — ответил Николай.

— Ну что ж, пожалуй, это самое правильное.

Она протянула руку — он крепко ее пожал, — повернулась и вошла в подъезд.

8

Валя еще долго стояла на лестнице. Поднялась на самый верхний этаж и, облокотясь на подоконник, смотрела на улицу. Когда Валя была маленькой, она тоже приходила сюда. Тогда стекла в окне были разноцветными — красными, зелеными, желтыми, и очень забавно было сквозь них смотреть на город. Сейчас стекла были обыкновенными, грязными и немытыми, но Валя по-прежнему сюда приходила, если хотелось побыть одной.

Когда она услышала голос Николая, его «Здравствуй, Валя», ей показалось, что сейчас обрушится потолок или провалится пол. Что она ему ответила и ответила ли вообще? Кажется, ответил Игнатий Петрович. Потом она еще долго говорила с Игнатием Петровичем и все время чувствовала Николая за своей спиной, даже слышала, как он чиркал спичками. О чем она говорила, что ей отвечал Игнатий Петрович, она не помнит. Потом эти проводы домой, сидение в развалинах...

У Вали странно сложилась жизнь. До двадцати лет она училась. В двадцать лет попала в армию. У многих в этом возрасте уже муж, дети. У Вали не было ни мужа, ни детей. Она вбила себе в голову, что семья — это конец свободной жизни, и хотя мужское общество всегда предпочитала женскому, но это главным образом потому, что она считала себя скорей «мальчишкой», чем «девчонкой».

В армии не все разделяли эту точку зрения, что, безусловно, осложнило и без того не слишком легкую жизнь сержанта 34-го зенитного полка. Но Валя была девушкой сильной, и кое-кто из веселых лейтенантов почувствовал это на собственной шкуре, хотя об одном из них, о Толе Калашникове, командире артвзвода противотанкового ди-

визиона, никак нельзя сказать, чтоб он был так уж противен Вале. Но что поделаешь, фронт остается фронтом, другого выхода у нее не было. В полку скоро свыклись с мыслью, что она «парень» и что держаться от нее надо подальше.

Когда в шестнадцатой квартире появился Николай Митясов, Валя подумала: «Ну, этот тоже...», и в силу сложившейся за годы войны привычки сразу заняла активно-оборонительную позицию. Но Николай приходил, пил чай, рассматривал книги. Потом начались уроки английского языка, вечерние проводы... Николай одинок — Валя понимала это. У него в жизни что-то не получилось. Но и у нее-то самой после фронта тоже не было настоящих друзей. Любимая мать, хорошие соседи, институт? Нет, очевидно, в двадцать четыре года этого мало.

Потом Николай исчез. Это было настолько неожиданно, что Валя сначала подумала, не произошло ли какое-нибудь недоразумение. В ее голове никак не укладывалось, что человек, в которого она поверила, который за каких-нибудь два-три месяца стал членом их семьи, человек, с которым ей было так легко и просто, который понимал ее с полуслова и которого — чего уж тут скрывать! — которого она полюбила, — она не могла поверить, чтобы он мог вот так вот просто повернуться и уйти. Но он ушел.

Когда мать ей обо всем рассказала, она только чуть пожала плечами. Они ни разу потом об этом не говорили. Анна Пантелеймоновна часто заговаривала о Николае — она любила его. Валя слушала, но не отвечала ни слова.

Мать и дочь любили друг друга. И вот одной из них нет. Пустая комната, пустое сердце.

Валя стоит, облокотясь о холодный каменный подоконник, и смотрит, как галки вьются вокруг старого сухого тополя. Когда-то он тоже был зеленым, и рядом с ним стоял другой. При немцах его срубили.

Завтра она опять пойдет в институт, и опять увидит Николая, и опять будет с ним разговаривать, и опять не сможет ему сказать, чтобы он не провожал ее домой.

9

В этот день Шура ушла с работы на час раньше. Ей захотелось отметить чем-нибудь первый Колин экзамен — купить вина, чего-нибудь сладкого. Но магазины закрывались в шесть, — тогда же, когда и Шурина контора, — поэтому, придумав какой-то предлог, Шура пошла к Беленькому. Против ожидания, Беленький — неисправимый формалист и педант — сразу же согласился, сказав, правда, что отпускает ее только в порядке исключения и только потому, что последние дни Шура много работает по вечерам.

Шура купила полбутылки портвейна, кекса с изюмом — единственная сладость, которую признавал Николай, — а на последние десять рублей два билета в кино на семичасовой сеанс. В шесть она была уже дома.

Николай лежал на кровати и смотрел в потолок.

— Я достала два билета в кино, — сказала Шура, — на «Крейсер «Варяг».

Николай рассеянно взглянул на нее и сказал, что в кино не пойдет: картину он эту видел, и она неинтересная. Где он мог ее видеть, было не совсем ясно, она только что вышла на экраны. Но потом выяснилось, что у него просто нет настроения, что он узнал о смерти близкого ему человека, Анны Пантелеймоновны: «Я тебе говорил о ней, наша госпитальная библиотекарша», и, чтоб не портить Шуре настроения, выйдет немножко прогуляться один.

Шура молча все выслушала. Не разворачивая покупки, положила в буфет, пошла на кухню, разогрела обед. Потом в одиночестве пообедала: Николай отказался — у него не было аппетита, — вымыла посуду.

По радио передавали музыку украинских композиторов. Козловский и еще кто-то, Шура не расслышала фамилии, пели любимый ее дуэт Лысенко — «Колы розлучаються двое». Николай попросил выключить или хотя бы сделать тише. Шура выключила репродуктор и вдруг расплакалась.

Николай удивленно на нее посмотрел.

— Ничего, ничего, — сквозь слезы сказала Шура. — Просто я очень люблю эту вещь.

— Тогда включи. Я не знал, что ты ее любишь. Включи, ради бога.

— Не надо, — сказала Шура.

Николай встал, вышел на балкон, постоял там, выкурил папиросу.

«Сейчас вернется и начнет искать свой ремень», — подумала Шура.

Николай действительно вскоре вошел в комнату и, застегивая воротник, взглянул на стул, куда он обычно вешал ремень. Его там не было.

— Ты не видела моего ремня, Шура?

Шура подала пояс, он упал под стул.

— Ты к Вале? — спросила она.

— К Вале, — ответил Николай. — Надо зайти все-таки. Ей сейчас, вероятно, очень одиноко.

Он стоял возле дверей, застегивая ремень и старательно расправляя складки. Несколько раз провел большим пальцем под ремнем, хотя все складки были уже расправлены.

Шура вышла на балкон.

Напротив, через улицу, строился дом — один из первых новых домов в городе. Шура любила на него смотреть, следить за каменщиками, за тем, как изо дня в день все выше становятся стены. Обычно, глядя на него, Шура гадала, сколько в нем будет этажей. Если четыре — хорошо, он не закроет собой Черепановой горы, если пять — закроет, и не будет уже видно лужайки, где они с Николаем сидели в первый раз.

Сейчас, выйдя на балкон, она увидела, что каменщики начали кладку пятого этажа, и подумала со злостью: «Ну и пусть, пусть будет пять, очень хорошо, пусть...»

То, что семейная жизнь у нее не получилась, Шура поняла не сразу.

Николай был заботлив и внимателен. Он старался помочь ей во всем. Бегал на базар, стоял в очередях за пайком. Когда она приходила по вечерам усталая и, сев на стул,

не могла уже с него подняться — работать ей приходилось главным образом стоя, — он всегда убирал со стола, мыл посуду. Соседи умилялись их дружбе, и на кухне, где женщины особенно любят поговорить на житейские семейные темы, Митясовых часто приводили в пример, как надо жить мужу и жене.

Но вскоре Шура поняла, что это не так. Нет, не то, что поняла, это не то слово. Умом, рассудком она пыталась убедить себя, что все идет хорошо. Но это умом, который всегда старается помочь, — старается, но, увы, не всегда удачно. А вот тут, где-то внутри, каким-то чутьем Шура понимала, что вовсе не так уж все и хорошо. Скованность, появившаяся еще при первой их встрече, когда они говорили о чем угодно, только не о том, что нужно было обоим, — эта скованность, как появилась тогда, так и осталась. Николай заботлив и вежлив, это верно. Даже слишком. До войны он был куда менее заботлив. Он не умел по-настоящему «ухаживать», ходил в кино на ее деньги, что было нарушением всех традиций, прибегал прямо с тренировки в спортивных шароварах и вылинявшей майке, иногда где-то пропадал с ребятами и потом ее же за что-то отчитывал. Теперь он никогда не раздражался, не повышал голоса. Иногда ей просто хотелось, чтобы он рассердился на нее, обиделся, пусть даже накричал, — что угодно, только не это сдержанное внимание, это не нужное благородство человека, любящего тебя только из жалости. Да, он ее любит только из жалости. Когда он пришел, она расплакалась, не выдержала и расплакалась. Вот он ее и пожалел. Несчастная, одинокая, пережившая оккупацию.

Оккупация... А может... Нет, Шура гнала от себя эту мысль. Не может этого быть! Есть еще, конечно, такие, которые смотрят на всех переживших оккупацию как на людей сомнительных, чуть ли не изменников. Но при чем тут Николай? И как она могла о нем подумать? Нет, нет, нет...

Потом появилось другое. Сначала она гнала и эту мысль, потом все чаще и чаще стала к ней возвращаться. Просто ему с ней скучно. Ему нужна совсем другая жена, не такая,

как Шура, ему нужна умная жена, с которой можно поговорить и о том, и о сем, и о всяких там прочитанных книжках. Вот такая, как та самая Валя. Она где-то там что-то преподает, и отец у нее, кажется, каким-то ученым был, и сама она, как и Николай, была на фронте, а не в оккупации (ох ты, господи, опять эта оккупация!), ну и вообще... Она хотела както спросить Николая, сколько ей лет, — вероятно, столько же, сколько и Шуре, — но потом не решилась: а вдруг подумает... Нет, просто ему с ней скучно. Она возвращается с работы, а он уже за книгой. Никогда раньше столько не читал. А теперь уткнется в книгу и молчит.

Однажды она пошла на хитрость: купила пол-литра, может, это подействует, развяжет язык. Но, как назло, явился Сергей — у него какое-то чутье на это дело, — и языки у них действительно развязались, но о чем они говорили? О своих солдатах, о всяких там танках, окружениях, Ваньках, Петьках, — как не надоело только!

Потом появился Алексей. Николай сразу оживился, стал много говорить, смеяться, совсем как до войны. Шура начала ревновать его к Алексею. Даже хотела, чтоб он скорее от них уехал. Но когда он, получив где-то каморку, действительно уехал, пожалела, — Николай опять уткнулся в книги.

Шура принялась старательно читать газеты. По вечерам рассуждала на международные темы и, как ей казалось, вовсе не так уж глупо. Но Николай только рассеянно подымал голову и говорил: «возможно», «право, не знаю», «да», «нет». Если бы то же самое сказал Алексей, он сразу оживился бы, и, кроме этих слов, у него нашлись бы и другие...

Шура стояла на балконе. Она слышала, как Николай все еще ходил по комнате, звеня мелочью в кармане. Потом вышел на балкон, стал за ее спиной.

— У тебя что, неприятности какие-нибудь? — спросил он.

Шура не ответила.

— По службе, что ли?

— Да... по службе...

— Опять твой Беленький?

— Нет, не Беленький.

— А кто же?

Он наклонился над ней, и Шура почувствовала на шее и затылке его дыхание.

— Кто же? Скажи мне.

Шура не выдержала.

— Ах, господи боже мой... Не все ли равно кто. Как будто это тебя интересует!

Николай взял ее обеими руками за голову и повернул к себе лицом.

— Шура, что это значит?

У нее дрожали губы.

— Уходи, — еле слышно сказала она. — Уходи... Уходи к своей Вале... — и опять расплакалась.

Николай несколько секунд стоял, держась рукой за перила, потом резко повернулся и вышел из комнаты.

10

Экзамены были сданы. Все оказалось совсем не так страшно. Николай получил по всем предметам четверки, а через несколько дней в вывешенном списке обнаружил свою фамилию.

По этому случаю был устроен небольшой пир «в самом тесном кругу друзей». Все держали себя свободно и весело; Ромка Видкуп, забавно перебирая плечами, пел цыганские романсы под гитару; Сергей показывал чудеса жонглирования, разбив всего лишь две бутылки; Алексей прочел «Оду на вступление Николая на учебную стезю».

Назавтра Николай уехал в Черкассы.

За день до того никто об этом даже не думал. План возник случайно, на вечеринке. Оказалось, что у Ромки есть родители — отец и мать, и совсем недалеко, в Черкассах, что до начала занятий осталось больше двух недель и что вообще какого черта, говорил Ромка, околачиваться в городе, когда можно чудесно провести время на Днепре, поправляясь на

родительских харчах. Шура и Алексей поддержали его, и на следующий день Николай с Ромкой выехали на старенькой, осипшей «Десне» в Черкассы.

За два дня до начала занятий Николай вернулся домой. Шура, увидев его, всплеснула руками.

— Ой! Какой толстый! — в голосе ее чувствовался даже испуг. — Никогда тебя таким не видела.

Николай рассмеялся.

— Картошка, сметана, спокойная жизнь.

— А почему телеграммы не прислал? Я бы тебе пирог с яблоками испекла. Сейчас столько яблок...

Она побежала на кухню, а Николай, посмотрев ей вслед, подумал: «Ну, вот и все в порядке! Веселая, собирается пирог печь».

Весь вечер они провели вместе. Николай рассказывал о полуметровых сазанах, которых они ловили, о старике Кононовиче — Ромкином отце, по вечерам заводившем бесконечные разговоры с Николаем. Шура делилась своими служебными новостями.

Следующий день было воскресенье. Привыкший к реке, Николай вытащил Шуру на пляж, и хотя был конец августа, Шура даже обожглась. Провели они на пляже целый день. Лежали под грибком, немножко поиграли в волейбол. Потом Николай демонстрировал Шуре прыжки в воду с вышки. Прыгал он хорошо — всякими щучками и ласточками. Шура с удовольствием слушала, как опытные пловцы хвалят ее Николая.

Вернулись последним катером, прошлись по тихому вечернему городу, рано легли спать, усталые от воздуха, солнца, воды, — совсем как в старое доброе время.

На следующий день Николай пошел в институт.

Но, как это всегда бывает, оказалось, что аудитории для первого курса еще не подготовлены и занятия перенесены на завтра, на вторник. Николай списал расписание, потолкался между ребятами в вестибюле. Потом зашел в библиотеку — надо было захватить учебники, пока не поздно.

За столом, у самой стойки, сидела Валя. Наклонившись над книгой, она что-то выписывала из нее в блокнот. Николай прошел мимо (она не подняла головы), попросил нужную ему книгу, полистал ее, потом подошел к Вале. Он не видел ее целый месяц.

— Можешь меня поздравить, Валя, — сказал он негромко, перегнувшись через стойку.

Валя вздрогнула и подняла голову.

— Можешь меня поздравить, — повторил он. — Приняли.

Валя продолжала смотреть на него, повернув голову и прикусив губу. Потом сказала:

— Поздравляю. Я очень рада.

— Я тоже. — Николай почему-то улыбнулся. — Вот я и студент, значит.

— Студент, — повторила за ним Валя и посмотрела куда-то в сторону.

По всему видно было, что она не очень склонна к разговору. Но Николай не отходил. Ему не хотелось уходить. Придвинув ногой стоявший у стойки стул и опершись о него коленом, смотрел на Валю.

— У тебя что, лекция сейчас?

— Да, через пять минут.

Николай помолчал, потом, чувствуя, что пауза затягивается, спросил почему-то о Бэлочке:

— Ну, как Бэлочка? Не родила еще?

— Родила. Двойню.

Он не выдержал и рассмеялся.

— Бедный Муня! И давно?

— Говори тише. Здесь все-таки библиотека.

Николай закрыл ладонью рот, потом вопросительно взглянул на Валю и спросил уже шепотом:

— Вероятно, надо подарить что-нибудь?

— Твое дело.

— Что же?

Валя ничего не ответила. Николай почесал затылок.

— Придется на толкучку сходить.

Он посмотрел на часы — было без пяти двенадцать. Отодвинул стул, выпрямился. Валя кончила писать и всовывала блокнот в полевую сумку.

— Так у тебя, значит, еще лекции? — спросил Николай.

— Да. До трех.

— А после трех?

Валя подняла голову.

— А тебе зачем?

— Просто так... Думал, может, вместе на толкучку сходим. Я ведь в этих вещах не очень...

— А я, по-твоему, очень? — Она чуть-чуть улыбнулась, и Николаю сразу стало хорошо, он не видел этой улыбки почти год.

В коридоре задребезжал звонок. Валя перекинула сумку через плечо и сказала:

— Прости, мне надо идти.

Николай до трех часов бродил по городу. Прошелся по садам вдоль Днепра, затем, от нечего делать, зашел на выставку проектов реконструкции города. Ему было весело и хотелось разговаривать. По выставке ходил недовольного вида старик с серебристой бородкой. Николай почему-то решил, что он художник, и завел с ним разговор. Старик оказался не художником, а капельдинером оперного театра, тем не менее критиковал проекты с апломбом старожила и знатока.

— Ну чего это они все придумывают? Удивить хотят. Строили бы, как оно было, и никто б их не ругал. Разве плохо было? Я вас спрашиваю: разве плохо?

Николай говорил, что не плохо, но сейчас все-таки другое время, и если уж строить заново, так зачем же строить так, как при царе Николае.

Старик качал головой.

— А зачем эти шпили? Не понимаю. Дом должен быть домом с окнами, крышей, честь честью. А они шпили какие-то.

Старик был рад собеседнику и попытался даже перейти с архитектуры на театр, но Николай понял, что это небез-

опасно, к тому же было уже без четверти три, и, распростившись со стариком, побежал за Валей.

Толкучка отняла у них часа полтора. Несмотря на поздний час, народу было так много, что к концу своего похода Николай с Валей чувствовали себя так, будто их полтора часа молотили цепами. Они долго стояли перед детской коляской на рессорах и резиновых шинах, но она была не по карману, и пришлось, уговорив себя, что младенцы все равно в ней не поместятся, ограничиться покупкой двух чепчиков.

Чепчики были бумазейные — в общем очень некрасивые, с какими-то голубыми бантиками неизвестно для чего, — но молодые родители пришли в восторг. Бэлочка утверждала, что чепчики очень даже к лицу младенцам. Николай, хотя никак и не мог понять, о каких лицах может быть речь, тоже соглашался и говорил, что очень мило. Муня держал обоих близнецов на руках и смотрел такими счастливо умоляющими глазами, что не хвалить Аркадия и Ларису было бы просто бесчеловечно. И Николай хвалил, и Валя тоже хвалила, и Бэлочка сияла, а Муня просил разрешения распеленать их, чтобы показать, какие у них аппетитные спинки и животики.

Потом пришел Яшка Бортник и стал совать им в рот папиросы. Муня пытался оттащить, Яшка хохотал. Тогда Бэлочка сказала, что она будет сейчас кормить, и все ушли.

Валя отправилась на кухню что-то готовить. Николай зашел к ней в комнату и с детской радостью начал рассматривать знакомые предметы — разбитое пресс-папье, под которым лежали квитанции за квартиру, куски кварца и горного хрусталя. Под чернильницу была засунута старая концертная программа.

Николай вспомнил этот концерт. Анна Пантелеймоновна с Валей заставили его как-то пойти вместе с ними послушать музыку.

— Слух у вас есть, а музыки вы не знаете, — сказала тогда Анна Пантелеймоновна. — Надо приучать себя к хорошей музыке. Идите на кухню почистите сапоги.

Он пошел на кухню, почистил сапоги, а потом битых три часа сидел и слушал какой-то Бранденбургский концерт и еще какие-то классические вещи. В одном месте он, кажется, даже всхрапнул, но ни Валя, ни Анна Пантелеймоновна, к счастью, не заметили.

Обе они были в восторге, — восхищались дирижером, бледным длинноруким человеком во фраке, страшно вспотевшим к концу вечера. Николай говорил, что ему тоже понравилось, но когда ему предложили через неделю пойти опять, он под каким-то предлогом уклонился: музыку он любил, но предпочитал все-таки ансамбль Александрова.

— Ладно, ладно, — говорила Анна Пантелеймоновна, не унимаясь. — Вот приедет Нейгауз, попробуйте тогда у меня отвертеться...

Николай засунул программу опять под чернильницу. Бедная Анна Пантелеймоновна! Так и не дождалась она своего Нейгауза.

В комнату вошла Валя и стала накрывать на стол. Постелила скатерть, расставила тарелочки точно так, как это делалось при Анне Пантелеймоновне, и то, что это было сделано именно Валей, которая этого никогда раньше не делала, особенно как-то тронуло Николая. Вообще Валя держалась спокойно. О матери говорила мало, а когда говорила, то просто и сдержанно. Незнакомый человек мог бы даже подумать, что мать умерла не месяц тому назад, а по крайней мере год. Но в каких-то мелочах — в еловой веточке над последним портретом Анны Пантелеймоновны, снятым перед самой войной, в приколотых булавкой к спинке дивана часах, которые всегда вешала туда Анна Пантелеймоновна, когда ложилась спать, — в этой скатерти и тарелочках чувствовалась вся любовь и большое, Настоящее горе дочери.

Она сказала Николаю:

— Ты знаешь, я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что мамы нет. Вчера, например, в восемь часов пошла на кухню чайник ставить, чтоб к половине девятого успел закипеть. Ведь мать обычно к половине девятого приходила.

Николай чувствовал себя почему-то виноватым. Весь сегодняшний день ему было как-то особенно радостно и хорошо, и именно поэтому, сидя в комнате, где все напоминало Анну Пантелеймоновну, он никак не мог отделаться от ощущения, что он держит себя не так, как надо, что у него глупосчастливое лицо и что Валя это видит и ей это неприятно. И все-таки ему было хорошо.

Вернувшись к себе, Николай сказал Шуре, что у него было шесть лекций, потом собрание, что он очень устал, ужинать не будет — он перекусил там с ребятами — и сразу же лег спать.

Это был первый случай, когда Николай солгал Шуре. Первый и последний.

11

Сергей Ерошик больше всего в жизни ненавидел свою службу в Осоавиахиме. Он был, что называется, широкой натурой. Если гулять, так уж так, чтоб чертям тошно было, — с музыкой, песнями, танцами; если работать, так уж работать по-молодецки, с присвистом, чтоб пальцами на тебя указывали: вот, мол, он какой.

О том, что он станет летчиком, Сергей мечтал чуть ли не с семилетнего возраста. Мастерил какие-то модели, вырезал из книг и наклеивал в тетрадку фотографии самолетов и знаменитых летчиков, с одним из них даже познакомился, правда, не знаменитым и не военным, а гражданским, что было, конечно, не то, но знакомством этим горд был невероятно. Увлечение это кончилось тем, что, не закончив десятилетки, он поступил в школу мотористов, а перед самой войной — в летное училище.

Занимался он хорошо, с увлечением, но образцом дисциплины не был никогда. Еще в училище занимал далеко не последнее место по количеству часов, проведенных на гауптвахте, а в полку чаще других имел не слишком уютные беседы с замполитом. Зато если уж речь заходила о воздушных боях, то чаще и больше всего говорили о паре Шелест —

Ерошик. Дрались они оба действительно хорошо. Шелест спокойнее, увереннее. Сергей азартно, отчаянно, и, может, именно поэтому прибывшая из училищ желторотая молодежь не сводила с него влюбленных глаз: «Вот это пилотяга так пилотяга!» Сергей снисходительно улыбался и, рискуя быть опять приглашенным на беседу к замполиту, выкамаривал в небе черт знает что — воевать, так с шиком! Молодежь, не имея возможности походить на него в бою, подбривала на его манер затылки, ходила слегка вразвалочку, сдвинув шлем на макушку.

Но все это было позади. И это и вольная, хотя и тошная, по правде сказать, «доосоавиахимовская» жизнь с деньгами, гульбой. Сиди теперь на колченогом стуле, смотри в чернильницу, вспоминай о прошлом. И Сергей сидел, курил, швырял окурки под стол и ненавидел этот стол, ненавидел бумаги, отчетность, ненавидел своего начальника, подполковника в отставке, приносившего с собой на службу кефир и курившего махорку только потому, что в ней якобы меньше никотина.

— Мухи дохнут от скуки, как только зайдет. Вот так вот, кверху лапками...

Чего он хотел, Сергей и сам не знал. Но только не этого.

Как-то на футбольном матче он встретил майора Анциферова, помпохоза полка, в котором они вместе служили в сорок первом году. Сейчас Анциферов работал в штабе Округа. Тут же, с матча, зашли в ресторан «Динамо». Сергей стал ругать жизнь, работу, начальника с кефиром, Анциферов пил мало — у него было что-то с почками, — сочувственно и немного смущенно смотрел на Сергея, постукивая ножом о стакан, потом сказал:

— А почему бы мне не свести тебя с капитаном Сененко, а?

— Это что еще за капитан?

— Хороший парень. Начальник аэроклуба. На той неделе встретил — говорит, ему люди нужны.

— Куда? В аэроклуб? Чего я там не видел? Пацанов? «Удвешки»?

Анциферов улыбнулся.

— Все-таки свежий воздух, молодежь...

— К чертовой матери! Не хочу. Нашли педагога.

Анциферов все-таки вырвал из блокнота листок и записал на нем свой телефон.

— Заходи. У меня жена хорошая. Вареники с вишнями любишь? Так делает, что пальчики оближешь, — и посмотрел на часы: к девяти ему надо было в штаб.

Сергей проводил его до трамвая.

Аэроклуб?.. На кой дьявол он ему сдался. Смотреть, как другие летают? Анциферов всю жизнь протолокся помпохозом, фрицев только пленными видел... А он истребитель. Плевал он на эти аэроклубы.

Через полчаса он был уже у Славки Игнатюка.

Круглолицый, губастый, с ленивым взглядом из-под полуопущенных век, Славка, увидев Сергея, улыбнулся.

— Жив?

— Как видишь.

— А морда кислая.

— Горькой хочется, потому и кислая.

Славка почесал свою жирную грудь.

— Что ж, можно... Давно тебя не видел.

— Давно.

В прошлом году, разругавшись из-за тапочек, они расстались и не виделись что-то около года. Сейчас Славка работал в райпотребсоюзе.

— Не то, что в прошлом году, но жить можно. А ты? Сколько имеешь?

— Шестьсот пятьдесят.

— Тю-ю... Женился, что ли?

— Нечего мне делать!

— Сдрейфил?

— Вроде.

Игнатюк криво усмехнулся:

— Твое дело... А то мог бы устроить.

Они сидели в подвальчике. Игнатюк лениво поглядывал по сторонам.

— Жизнь, конечно, не фонтан, масштабы другие, но умеючи — можно. На хлеб с маслом и эту штуку, — он щелкал пальцами по бутылке, — хватает.

Сергей молчал.

— Да ты рубай, не стесняйся, — Игнатюк вилкой подвигал тарелку с селедкой и вялыми, серыми огурцами. — Надоело, вижу, бумажки свои писать? Спокойнее, что и говорить, а все-таки... Как это Валька Костюк говорил? Десять тысяч всегда лучше одной. А ну, отец, дай-ка нам еще.

Сергей ковырял вилкой огурцы.

Десять тысяч всегда лучше одной. Смешной парень был этот Валька. Посадили. А Игнатюк — дрянь. Умный, хитрый, но дрянь. Да и он сам, Сергей, тоже дрянь. Разве не дрянь? Хорошо Николаю: Шура, семья, две ноги... У Анциферова тоже жена, вареники с вишнями. Хорошо им...

Вернулся Сергей домой уже ночью. Спал как убитый. На работу опоздал — пришел к двенадцати. Начальник ел кефир и мрачно поглядел на Сергея. Потом спросил:

— Заболели, что ли?

— Да.

В четыре часа Сергей ушел. В пять он условился встретиться с Игнатюком. Надо было только предварительно позвонить по телефону. Стоя в тесной, исписанной со всех сторон будке, долго искал листок с номером телефона. Наконец нашел. Набрал номер.

— Вас слушают, — ответил знакомый, чуть-чуть хрипловатый голос. — Кто говорит?

— Это я, Сергей.

— Алло! Кто говорит? Алло! Да нажмите вы кнопку!

Сергей нажал — какой дурак их только придумал!

— Говорит Ерошик. Мне надо...

— А, Сергей? Привет. Ты сейчас свободен? Заезжай, Чкалова, пятьдесят восемь. Желтый дом с белыми колоннами. Я тебя буду ждать на углу. У меня как раз перерыв.

Сергей повесил трубку. Что за черт? Голос был явно не Славкин... Он стал рыться в бумажках. Ну конечно же,

он позвонил Анциферову. Балда! Перерыл все карманы — Славкиного телефона не было.

В стекло уже кто-то стучал монетой. Сергей вышел, порылся опять в карманах, плюнул и пошел на улицу Чкалова, 58. Через час Анциферов знакомил его с капитаном Сененко.

Капитан оказался штурманом бомбардировочной авиации, сбитым в апреле сорок пятого года над Берлином, потерявшим одно ухо и приобретшим шрам от того места, где было это ухо, до самого подбородка. В синем комбинезоне с засученными рукавами и в сдвинутой на затылок фуражке он водил гостей по полю и говорил:

— А вот то ангар. — Он указывал на какой-то полуразвалившийся сарайчик. — А вон там вот, отсюда не видно, за ангаром, наша техника. На прошлой неделе получили.

Из-за сарая выглядывала видавшая виды, насквозь простреленная «удвешка» — самолет У-2, без мотора. Сергей скептически посмотрел на него, заглянул в сарай, именовавшийся «ангаром», почесал затылок.

— М-да...

— Что поделаешь, война! — Капитан тоже почесал затылок, сдвинув фуражку на лоб. — Обещают помочь.

— Обещают...

Зашли в «ангар». С десяток хлопцев, лет семнадцати-восемнадцати, в одних трусах возились вокруг распиленного на части мотора.

— Учебные пособия, — пояснил капитан.

Ребята, оказывается, разыскали где-то на свалке два старых мотора, притащили их сюда, промыли в бензине, распилили пополам цилиндры, картеры, поршни и теперь красили разрезы красным.

— Все собственными руками, что поделаешь!

Загорелый паренек в изорванной и измазанной суриком майке подошел к Сененко.

— Ездил в горсовет сегодня, товарищ капитан. Опять отказали.

— Опять?

— Опять. Без проекта, говорят, нельзя.

Капитан выругался.

— А ты им говорил...

— Все говорил, товарищ капитан. — Парень кивнул в сторону другого, цыганского типа парнишки, старательно, высунув язык, водившего кистью по разрезу. — Мы вот с Малым вместе ездили. И слушать не хотят.

— А ну их!.. — Капитан в сердцах плюнул, глянул на Сергея. — При ребятах не хочется, а то я тебе сказал бы, что за люди там попадаются. Аудиторию надо построить, так проект им подавай. Кирпич достали, лес достали, теперь им проект подавай. Скоро на курятники проекты требовать начнут. — Он хлопнул хлопца по загорелой спине. — Ладно, Костя, завтра вместе двинем.

Анциферов вскоре уехал — перерыв его кончился. Сергей остался. Скинув пиджак, засучив рукава, стал возиться с нераспиленным еще мотором с «Фокке-вульф-190». В воздухе он с этим самолетом сталкивался — эти «фокке-вульфы» появились впервые на Курской дуге, — с мотором же до сих пор не встречался.

Сененко с трудом оторвал его от этого занятия.

— Закругляйся, друг. Девятый час уже. Ребятам завтра на работу вставать.

С поля доносился смех. Ребята смывали с себя краску бензином. Сергей вышел. Помылся. Возился долго — запах бензина его возбуждал. Капитан крутился возле.

— Ну, так как? — спрашивал он уже в пятый или шестой раз.

— Что как?

— Пойдешь к нам?

— К вам?

— К нам.

— А кем?

— Да я же тебе сказал. Инструктором по теории пилотирования.

Сергей рассмеялся, бросил ветошь в стоявший у входа ящик с песком.

— На чем? На том корыте без мотора?

— Смейся. Поедем в Москву, добьемся и с мотором. Было бы желание и люди. Люди — это главное. А то ведь один, совсем один. Разрываешься на части. И то, и се, и пятое, и десятое. Ног не хватает.

— А сколько платить будете?

— Шестьсот. И литерная карточка.

— Сергей поморщился.

— Маловато.

— Товарищ капитан! — крикнул кто-то со двора. — Автобус гудит. Опоздаем.

До города было минут тридцать езды. Трясло немилосердно. Ребята хохотали, валясь друг на друга. Капитан сидел мрачный, смотрел в окно.

Прощаясь, протянул Сергею руку.

— Ну так как?

Вопрос был задан, кажется, в седьмой раз, и было ясно, что теперь уже просто для очистки совести.

Сергей искоса взглянул на капитана.

— А гроши е?

— На трамвай, что ли?

— Да при чем тут трамвай? Надо же смочить это дело, как по-твоему? У меня всего десятка. — И слегка толкнул капитана в плечо. — Где у вас тут заправочный пункт?

12

Как-то, вернувшись домой, Шура обнаружила на своей кровати спящего Сергея. Он давно уже не появлялся, чуть ли не с того дня, когда жонглировал бутылками, и сейчас эта распростертая на кровати фигура несколько удивила ее.

Сергей потянулся и зевнул.

— Привет!

Шура подошла к балконной двери и открыла ее. Уходя, она обычно закрывала ее, чтоб не наносило пыли.

— А накурил-то как! Не продохнешь. Ты где пропадал?

— Не пропадал, а работал.

— Рассказывай!..

— А чего мне рассказывать. Только что из Москвы вернулся.

Звучало не очень правдоподобно.

— А чего ты там делал?

— Не гулял, конечно. — Он сел на кровати и протер глаза. — Помыться у вас можно на кухне?

— Да погоди ты! Расскажи сначала толком.

Сергей встал, снял с гвоздя полотенце и перекинул его через плечо.

— Вот какие все женщины любопытные! Ну, сменил я профессию, вот и все.

Шура недоверчиво взглянула на него.

— Опять тапочки?

— Нет, на этот раз не тапочки.

— А жаль, — сказала Шура. — Мои совсем уже кончились. — Она кивнула головой в сторону валявшейся в углу совсем уже растоптанной пары белых тапочек.

Сергей посмотрел в угол. Потом молча подошел туда, наклонился, взял тапочки в руки, несколько секунд внимательно их рассматривал и вдруг, размахнувшись, вышвырнул их в балконную дверь.

— Чтоб больше я их никогда не видел...

Шура улыбнулась.

— Ну, ладно, ладно... — И, чтоб переменить разговор, спросила: — Так какую же ты профессию выбрал?

— Инструктор по теории пилотирования при аэроклубе, — мрачно сказал Сергей. — Хорошо звучит, а? — и вышел на кухню.

— Значит, опять летаешь? — спросила Шура, когда он вернулся из кухни чистенький, с невытертым в ушах мылом.

— Черта с два! Только название, что инструктор. Гоняю по учреждениям, выколачиваю доски, гвозди, цемент. Завхоз, в общем.

Он повесил полотенце на гвоздь, вышел на балкон и развалился в своем любимом плетеном кресле.

— Сидят там эти бюрократы, дюймового гвоздя из них не выколотишь. Животы себе поотращивали, канцелярские

души. Хлопцев жаль, хорошие подобрались, а то плюнул бы, ей-богу, и послал бы всех к такой-то матери... Лезешь за шестьсот рублей из кожи вон, а им, начальничкам этим, подавиться бы им на том свете, хоть бы хны...

Он стукнул кулаком по колену. Шура улыбнулась и, зная, что, если вовремя не перебить Сергея, он в своем гневе дойдет до нецензурных слов, спросила:

— А в Москву чего ездил?

— Как чего? Не гулять, я ж тебе сказал. Голоса там лишился, все кулаки о столы оббил, но дело сделал — к весне «удвешка» будет. Покричишь, всего добьешься.

Он стал рассказывать о Москве. До этого он был в ней только раз — в середине октября сорок первого года. Темная, тревожная, с висящими в небе аэростатами, она произвела тогда на него мрачное впечатление.

То были самые трудные дни в жизни Москвы. Учреждения эвакуировались. По пустынным улицам проезжали машины, груженные шкафами, стульями. На окраинах и на самых широких улицах строили баррикады и расставляли в несколько рядов железные ежи. Дома были раскрашены в нелепые яркие цвета. На некоторых нарисованы были деревья и целые рощи. У людей были напряженные лица.

Сейчас не то. Летчицкое сердце Сергея не могло нарадоваться обилию машин. Их было так много, столько их бегало теперь по улицам, что Сергей часами, забыв обо всем, спорил с шоферами о преимуществах тех или иных марок и с упоением возился, уткнувшись вместе с шофером в закапризничавший карбюратор. Ненавистный всем москвичам запах бензина только нравился ему.

Метро ему тоже понравилось. Но не красотой своей — все эти мраморы и граниты на Сергея мало действовали, — а чистотой — спичку даже не уронишь! — и четкостью работы. Сергей любил четкость и безотказность механизма, в метро он это нашел.

Кроме того, он был в планетарии и стереокино. Но ни то, ни другое ему не понравилось.

— Большой интерес на звезды смотреть. А в кино этом только шея болит. Ну его!..

Зато ресторан «Москва», куда по деловым соображениям надо было сводить одного товарища, произвел на него сильное впечатление.

— Сидишь себе на крыше, как пан, смотришь на Кремль, пьешь «Столичную» с салатиком оливье, а внизу люди бегают, как муравьи. И тарелки подогретые, придумают же только!

Поездкой своей Сергей остался доволен.

Зато когда он вернулся домой и ввалился в свою сырую, засыпанную окурками комнату, ему стало вдруг скучно.

— Берлога, одно слово — берлога. Решил к тебе зайти. — Сергей искоса посмотрел на Шуру. — Дай хоть картинку какую-нибудь на стенку или цветов горшочек.

— Бери, — сказала Шура.

— А тебе не жалко?

— Чего их жалеть? Музейная ценность, что ли?

Сергей посмотрел на Шуру.

— Что-то вид у тебя неважный. Работаешь все?

Шура ничего не ответила.

— Денежки все зарабатываешь? — Он прошелся по комнате. — Так я эту возьму, с волнами, она как будто побольше. — Он влез на стул и снял картину. Тяжело соскочил. — Проклятый протез, опять натирать стал. Газета есть? Старая какая-нибудь.

Шура указала на этажерку. Сергей взял и старательно завернул картину.

— А где благоверный? На занятиях, что ли?

— Очевидно...

— И утром и вечером? В хвост и в гриву? Держись только, попался парень... Кстати, скажешь — из Москвы ему привет от одного парня, с которым воевал. Скажешь — от Матвеева. Где-то они на Украине вместе грязь месили.

Шура кивнула головой.

— Ну, а цветы в другой раз! — Сергей посмотрел на стоящие на окне и балконе кактусы, фикусы, бегонии. —

Или к черту! Все равно завянут. Поливать не буду, солнца нет... — Он вздохнул. — Жаль все-таки, что супруг твой из той жилищной лавочки ушел. Надоела мне что-то моя дыра. Стареть, вероятно, стал. К уюту потянуло.

Он стоял у двери с картиной под мышкой и все почему-то не уходил.

— Пришла бы хоть, прибрала. И вообще, почему ты чаем не угощаешь?

— А ты хочешь? — Шура подняла голову.

— Хочу. Или, вернее, домой не хочу. Поставь-ка чайник.

Шура вышла на кухню, потом вернулась. Сергей опять удобно расположился в плетеном кресле и положил ногу на перила — последнее время она стала у него почему-то отекать.

— Помнишь, как ты меня тогда все обедом угощала? — сказал он смеясь. — А я все отказывался, говорил, что тороплюсь куда-то. А Федя твой все по карте мне показывал, какие города наши заняли. Помнишь?

Шура поставила на стол два стакана, баночку с повидлом. Подложив дощечку, стала резать хлеб.

— А где он сейчас? В Риге все?

— В Риге.

— Пишет?

— Нет.

— А в общем, неплохой парень. — Сергей рассмеялся и подмигнул одним глазом. — Чем он только тебя опутал, никак не пойму. Пацан ведь...

Шура серьезно посмотрела на Сергея.

— Ты знаешь, я не люблю, когда ты так разговариваешь. Мне это неприятно.

— Ладно, ладно, не буду, — он опять рассмеялся. — Нельзя уж и подразнить. При Кольке же я не говорю.

— Николай здесь ни при чем, — сказала Шура.

— То есть как это — ни при чем? Муж, и ни при чем? Вот это мне нравится.

Шура подошла к шкафу и, не поворачиваясь, сказала:

— Николай здесь больше не живет.

— Как не живет?

— Очень просто. Не живет, и все.

Сергей свистнул. Подошел к Шуре, потом к столу, опять вышел на балкон.

— Я ему переломаю все кости, — тихо сказал он. — Все до одной. Понятно?

Шура так же спокойно ответила:

— Нет. Ты ему ничего не сделаешь.

— Нет, сделаю.

— Тогда уходи домой. Если будешь так говорить, уходи домой. И не появляйся здесь!

Шура была совершенно спокойна. Немного побледнела, но спокойна.

— Пей чай, — сказала она. — Ты ведь чаю хотел. Сахару только нет. Придется с повидлом.

— А ну его!..

Сергей откинулся на спинку стула и долго смотрел в потолок: большая трещина, начинавшаяся около розетки, извиваясь, ползла от одного угла к другому.

13

Николай сидел в скверике против университета.

В институт он опоздал. Последние спешащие на работу служащие торопливо прошли через сквер. Появились первые няньки с младенцами. Вокруг памятника Шевченко пышно цвели какие-то цветы, ярко-красные и желтые, на длинных стеблях. В прошлом году их не было, тогда только жиденькая трава росла. Университет обносят забором — собираются восстанавливать. С деревьев тихо падают первые одинокие еще листья кленов — верный признак жаркого лета и близкой осени.

Николай на всю жизнь запомнит этот день. И эти цветы. И этого мальчика в штанах из плащ-палатки, старательно лепящего на песке городок возле фонтана. И самый фонтан — гипсовый карапуз с уткой в руках, а у утки отбита голова. И этого медленно бредущего старика с козлиной

бородкой — не капельдинер ли это из оперы? Нет, не он... И садовника, волочащего по дорожке кишку...

Второе сентября 1945 года... В этот день кончилось что-то очень большое, очень важное.

И сколько раз уже оно кончалось. Кончалось и начиналось. В сороковом, когда он женился на Шуре, и в сорок первом, когда вспыхнула война, и через три года, когда врачи испытывали его руку электрической машинкой. И потом, когда он вернулся к Шуре, когда стал инспектором, когда поступил в школу. И вот сейчас опять.

Николай сидит на скамейке и старательно ковыряет оторвавшийся кусок коленкора на чемодане. В чемодане белье, несколько книжек, бритвенный прибор и Шурина карточка, та самая, где они сидят вдвоем. Они снялись перед самой войной. В воскресенье, как раз за неделю до начала войны. И в этом же скверике. Только ближе к бульвару, там была фотография — голубенький павильон с замазанными белой краской окнами.

И все это позади...

Когда год тому назад он пришел к Шуре и увидел ее плачущей, с тряпкой в руках, ему вдруг показалось, что вернулось прошлое и что лучше этого прошлого — дружного, хорошего, о котором так мечталось всю войну, — нет ничего на свете.

Но не получилось это дружное, хорошее, прежнее. Ну вот, живут они в одной комнате, живут тихо и мирно, и Николай старается не думать о Вале. Но ведь все это не так, все это обман: и то, что они живут вместе, что это семья, и то, что он не думает о Вале...

Как трудно было об этом говорить! Шура допивала свой чай, сосредоточенно разглядывая стоящую на столе сахарницу с отбитой ручкой, и только кивала головой — она понимает, она все понимает. И лицо у нее было такое, как всегда, только губы плотно сжаты. И ни одного упрека, ни одной слезинки.

Он проводил ее до трамвая. Потом вернулся, поставил все на свое место, сложил Шурины чертежи на столе. Долго

писал записку — глупую записку со словами какой-то благодарности. Зачем? Зачем он ее написал? Разве можно об этом писать? Милая, сдержанная, замкнутая, все понимающая Шура, не читай ты этой записки, не читай слов! Пойми только...

Николай сидит, курит, смотрит на старика садовника, почтительно поливающего большие красные цветы вокруг памятника. Потом встает, берет чемодан и медленно направляется к выходу.

14

Если идти по Андреевскому спуску к Подолу, по правой стороне, чуть ниже Андреевской церкви, стоит дом. Мальчишки, которые приходят сюда со всех окрестных и даже далеких улиц, прозвали его «Замок Ричарда Львиное Сердце». Он действительно похож на замок. Он стоит над самым обрывом, весь в башенках, окруженный подпорными стенками с бойницами, несимметричный, с маленьким двориком, таинственными лестницами, какими-то ходами, переходами.

Одна из таких лестниц — кирпичная, перекрытая сводом — выводит на прилепившуюся к дому горку. С горки виден Подол со всеми его фабриками, элеваторами, церквушками, виден Днепр, железнодорожный мост, дальние вышгородские леса.

Еще в детстве, когда Острогорские жили неподалеку, на Рейтарской улице, Валя часто приходила сюда, играла здесь с мальчишками в «рыцарей и разбойников», пускала вместе с ними змеев.

Сегодня она тоже пришла сюда.

По расписанию у нее должно было быть четыре часа, но Игнатий Петрович, как всегда, что-то напутал, хотя сидел над расписанием целую неделю, и вторые два часа оказалось проводить не с кем.

Домой не хотелось. Вообще с того дня, как умерла мама, Валя разлюбила свою комнату. Она в ней только ночевала,

остальное время возилась с блейбмановскими младенцами, помогала Марфе Даниловне в хозяйстве, часто у Ковровых и обедала.

Но сегодня не захотелось ни к тем, ни к другим. Потянуло на свою горку — давно здесь не была.

День был ясный, чуть-чуть прохладный. Пожилая женщина в очках и накинутом на плечи платке сидела на табуретке и читала книгу. Маленькая девочка в беленькой шапочке на пуговках играла рядом в куклы. Мать, — а может быть, бабушка, — наклонясь, сказала ей что-то. Девочка подбежала к Вале и спросила, который час. Валя ответила, но девочка захотела сама посмотреть на часы. Ей очень не понравилось, что цифры на часах римские; дома у них есть часы, так там цифры настоящие, а сами часы в виде маленького домика, и вверху в домике сидит совсем уже маленькая кукушка, но сейчас она в отпуску и не кукует. Так они разговаривали, пока девочка вдруг не спохватилась и не убежала. Уже пробежав несколько шагов, вдруг обернулась и сказала «спасибо».

Валя подумала, что у нее могла быть такая же девочка, даже старше. Или мальчик. Бегал бы так же по горке и, как все мальчишки, не слушался бы ее. А может, и слушался бы. Толя Калашников, командир взвода противотанкового дивизиона, ее слушался. Он, гроза всех артиллеристов, при Вале смущался, сопел и, краснея, дарил ей какие-то особенные кинжалы с цветными ручками. Это было года три тому назад. Ей было тогда двадцать лет, она ходила в белой мохнатой ушанке, с «вальтером» на боку, и ей очень нравилось, что такой вот большой и сильный Толя при ней теряется и не знает, что сказать.

Это было три года тому назад. А теперь...

Десять месяцев она не видела Николая. И еще один месяц. Бесконечный месяц, когда она думала только о нем, — о нем и о Шуре. Она пыталась себе представить ее. Какая она? Сколько ей лет? Какие у нее глаза? Вале почему-то казалось, что она маленькая, с ямочками на щеках, хохотунья. Валя не выдержала и спросила. Это было вчера. Нико-

лай сидел на валике дивана, закинув руки за голову, и грыз мундштук. Она — рядом, поджав под себя ноги, смотрела на его круглую, коротко стриженную голову, на широкий, горьковский, как говорила мама, нос, на маленький мундштучок, который он перебрасывал из одного угла губ в другой. «Спросить или не спросить?» Она спросила.

Он, не поворачивая головы, протянул к ней руку и ощупью поймал ее ладонь.

— Не надо об этом говорить, — сказал он.

— Почему? — И, так как он ничего не ответил, повторила: — Почему не надо?

— А просто так, не надо...

Он повернулся и посмотрел на нее.

— А ты ее любишь?

Валя даже не уверена, спросила ли она его об этом, может быть, только подумала. Вместо ответа он положил свою круглую, колючую, теплую голову к ней на колени. Так ничего и не сказал.

Во дворе «Замка Ричарда» появились ребята с мячом. Сделав из двух кирпичей ворота, стали забивать голы. Мяч часто скатывался с горки вниз, и ребята, препираясь и обвиняя друг друга, спускались за ним и карабкались потом наверх, цепляясь за кусты.

Откуда-то донеслись радиосигналы — проверка времени. Валя встала, надо еще готовиться к вечерним лекциям.

На Владимирской у репродукторов стояли группы людей, ждали какого-то сообщения. Вероятно, о Японии. И, так же как в первые дни мая, когда на углах так же стояли и ждали сообщения о мире, никакого сообщения не было: передавали обзор «Комсомольской правды».

Валя постояла и пошла дальше.

Завтра она поговорит с Николаем. Она твердо это решила. Хотела вчера, перед его уходом, но не вышло, не смогла. Всю ночь лежала и думала. В институт он не пришел. Она даже в его аудиторию заглянула — его не было. Значит, завтра.

Она ни слова не скажет о его жене, — она только попросит, чтобы он к ней больше не приходил.

Войдя в квартиру, Валя, как обычно, сунула руку под шкаф, по старой привычке она там все еще оставляла ключ. Его не было. Валя почувствовала, как у нее вдруг забилось сердце. Она сделала несколько шагов и вошла в комнату — дверь была не заперта.

Николай сидел на балконе, на ящике из-под картошки, что-то читал. На полу стояла пепельница, набитая окурками. Он не слышал, как она вошла.

Господи, вот оно... Сейчас...

Валя вышла на балкон. Николай поднял голову. Захлопнул книгу, встал. Он приоткрыл рот, как будто хотел что-то сказать, но, увидев ее лицо, ничего не сказал. Молча, как будто спрашивая, смотрел на Валю.

— Ты из института? — спросил он наконец.

— Да, из института. — Вале показалось, что это сказала не она, а кто-то стоящий рядом с ней.

Она подошла к перилам. Виноград уже стал краснеть. Она сорвала листок и растерла его между ладонями. Николай тоже подошел и тоже сорвал листок. Год тому назад они так же стояли на этом балконе, и Валя так же срывала листья. Только тогда был вечер, недавно прошел дождик, пахло свежей землей и отцветающим табаком, и из комнаты доносился грохочущий Яшкин хохот. Сейчас кругом тихо. Только изредка доносится детский писк из Бэлочкиной комнаты.

— Мне надо с тобой поговорить, Николай, — сказала Валя. — Даже не поговорить, а попросить об одном одолжении.

Николай молчит. Может быть, он кивнул головой — Валя не смотрит в его сторону. Она вдруг чувствует, что не находит слов.

— Дай мне папиросу, — говорит она.

Николай вынимает из кармана пачку. Валя на ощупь берет папиросу, спички, закуривает, делает несколько затяжек. Опять закружилась голова, как в тот раз...

— Так вот, — говорит она. — Я думаю, лучше всего будет, если ты... В общем, не приходи больше. Не надо. — И помолчав: — Мне это неприятно.

— Неприятно?

— Да, неприятно.

Молчание. Валя срывает еще несколько листьев и бросает их вниз. Они падают на тротуар.

— Но это же неправда, — говорит Николай очень тихо и раздельно.

— Нет, правда. И если ты честный человек, ты должен сам понять.

Несколько секунд Николай еще стоит. Потом она слышит, как он проходит по комнате, как скрипят половицы. В глубине квартиры хлопает дверь.

Вот и все...

Валя возвращается в комнату, ложится на диван и долго лежит, уткнувшись лицом в подушку.

15

Первый курс любого института всегда самый трудный. Особенно для того, кто попал на него прямо с фронта или почти прямо с фронта.

Первое время кружится голова. В переносном и даже буквальном смысле. Необычная обстановка, непривычные люди — профессора и преподаватели, с которыми не знаешь, как держаться, книги, в которых ничего не понимаешь, логарифмы, интегралы, абсциссы, дифференциалы — сам черт ногу сломит! И многие бросают. Не выдерживают и бросают...

Николай не бросил. Но не потому, что ему было легче, чем другим. Напротив, ему было труднее, чем очень многим. Но, может быть, именно эта трудность и была как раз так необходима ему сейчас.

День загружен до предела. Вставать приходится в половине восьмого. В восемь начинаются лекции, в три кончаются. Вечером иногда бывают семинары, — правда, не часто:

два, а то и один раз в неделю. Кроме того, надо готовиться к следующему дню, еще три-четыре часа просидеть над книжкой и ложиться в два-три, иногда даже в четыре часа ночи. На первых лекциях Николай часто засыпал. Преподаватель о чем-то говорит, Николай слушает и дремлет; потом вдруг видит, что ребята над ним смеются. Впрочем, они тоже часто засыпают. Получается как на фронте — больше всего хочется спать.

Трудно. Трудно вставать в половине восьмого, когда ложишься под утро. Трудно сидеть за партой — в институте почему-то не столы, а узенькие школьные парты, ноги все время во что-то упираются. Трудно следить за тем, что говорит и пишет на доске преподаватель. Еще труднее все это записывать, а потом дома разбирать.

Особенно трудно с математикой. С математикой и начертательной геометрией. Николай до сих пор никогда не чертил и не рисовал (в армии ему всегда доставалось за плохо сделанные схемы), и все эти проекции и аксонометрии никак ему не даются. Но математика хуже всего, хуже «начерталки», хуже физики.

Читает ее профессор Корчагин — тихий, спокойный, никогда не раздражающийся. Он читает аналитическую геометрию. Возможно, это даже и интересно, но когда Николая вызывают к доске, он вдруг чувствует, что весь покрывается потом. Перед командующим армией так не волновался, как перед этим спокойным, с усталыми, никогда не улыбающимися глазами человеком, стоящим у доски.

— Ну что ж, садитесь, — говорит он, печально глядя на гвардейский значок Николая. — Понимаю, что трудно. Садитесь. Просмотрите к следующему разу еще раз материал.

И Николай всю ночь сидит в общежитии над книгой, просматривает к следующему разу еще раз материал, а голова как камень — ничего не понимает.

Кроме этого, приходится еще отвечать за всю группу.

Курс состоит из двух групп. В своей группе Николай самый старший, почти все остальные моложе двадцати четырех лет. К тому же он единственный коммунист, остальные

беспартийные, комсомольцы и только три кандидата партии, — поэтому его избирают старостой. Опять стал чем-то вроде командира, многие даже называют его капитаном.

Есть на курсе две девушки — Поступальская и Гарф, ходят всегда вместе, сидят рядом, стесняются. Да и все другие присматриваются друг к другу, держатся пока еще особняком.

Почти треть группы — девять человек из тридцати — не только учится, а еще где-то работает, а это, конечно, отзывается на успеваемости. Секретарь партбюро, не молодой уже, по-чапаевски усатый, спокойный и всех умеющий успокаивать, Хохряков говорит Николаю:

— Знаю, что у тебя многие работают, все знаю. Но те, которые не работают, могли бы получше заниматься. Фронтовички твои как? Не качают?

— Да ничего, — уклончиво отвечает Николай. — Трудновато, конечно, что и говорить, на троечках больше выезжаем.

— Подтяни их, Митясов, подтяни. Не к лицу тебе, чтоб твоя группа отставала. Подтяни!

И Николай подтягивает.

С фронтовиками, за исключением одного, действительно тяжелее всего. На курсе их, не считая Николая, пять человек: Казанцев, Григорчук, Антон Черевичный, комсорг группы Левка Хорол и Громобой. Настоящая его фамилия Громовой, но иначе как Громобой, на курсе его не зовут.

Казанцев и Григорчук к концу первого семестра «отсеялись» — один не выдержал нагрузки, ушел на работу, другой переехал с семьей в Харьков. Остались трое — Антон Черевичный, Левка Хорол и Громобой. С ними-то Николай и сблизился, сначала с первыми двумя, потом и с третьим.

Левка и Антон очень непохожи друг на друга. Левка то, что называется «интеллигентный мальчик», ходивший до войны в бархатных курточках, собиравший марки, учившийся на скрипке (отец его был довольно известным в кругу музыкантов скрипачом) и неожиданно для всех ушедший вдруг семнадцати лет добровольцем на фронт. Антон, шах-

тер и сын шахтера, почти всю войну, с сорок второго года, провел в плену и только благодаря своему здоровью смог перенести все то, что он перенес в Германии. Одному двадцать лет, а на вид и того меньше, и только перед самой войной он окончил десятилетку; другому же двадцать шесть, семилетку он кончил более десяти лет тому назад, потом год проучился в железнодорожном строительном техникуме, но вынужден был бросить по семейным обстоятельствам. Один совсем недавно, краснея, впервые побрился в парикмахерской; у другого уже семья и двое детей, которым он регулярно из своей стипендии высылает деньги куда-то в Донбасс. Один по-юношески легок, весел и шутя, не заглядывая в книги, сдает все зачеты; другой молчалив, застенчив, кривоплеч — у него отбито одно легкое, — молча на всех смотрит своими голубыми, ясными, чуть-чуть грустными глазами и с невероятным трудом одолевает премудрости науки.

И тем не менее у них есть что-то общее. На первый взгляд, даже трудно сказать что — очень уж они непохожи. Только потом, значительно позже, Николай понял, в чем было это сходство и почему его потянуло к ним. Оба они были именно такими, какими они были, и ничего не делали, чтоб казаться лучше, чем они есть, а это довольно редкая черта.

Левка Хорол всегда бодр и весел. Это не значит, что он все время смеется или шутит, — и то и другое он делает в меру, не больше и не меньше других. Но достаточно появиться ему, румяному, свежему, всегда почему-то растрепанному, с какими-то вихрами на затылке, в расстегнутой даже зимой рубашке, с забавной своей родинкой на самом подбородке, и сразу всем становится легко и весело. Он плохой рассказчик — после контузии он слегка заикается, но то, что он рассказывает, всегда интересно и, главное, весело. Даже когда рассказывает о войне, и то почему-то получается весело, как будто на войне, кроме забавного, ничего не случалось.

Левка много читал, но он не книжник. Он относится к тем счастливым натурам, у которых на все хватает време-

ни и желания. Он азартно и небезуспешно ухаживает за самой хорошенькой девушкой в институте, третьекурсницей Ксенечкой Антоновской, но если подворачивается веселая мальчишеская компания или чей-нибудь день рождения в общежитии, махнув рукой, идет на день рождения.

Николай смотрит на Левку Хорола и думает: «Вот кому легко в жизни будет! Всем интересуется, все умеет, все схватывает на лету, все его любят, и он всех любит. Станет прекрасным инженером или архитектором — Левка мечтал перевестись на архитектурный факультет, — и будет у него чудесная жена, чудные дети, и жить они будут дружно, весело...»

С Антоном Черевичным Николай сошелся не сразу. Сначала Антон показался ему сумрачным и замкнутым. Он молча приходил на лекции, молча садился за свой стол, молча ходил и курил по коридорам во время перерывов, и голоса его, за исключением тех случаев, когда его вызывали к доске, никто не слышал. Николаю была понятна эта замкнутость — как-никак столько лет провести в плену, — поэтому он считал неудобным заводить с ним разговоры. Да на первых порах он и сам по горло был занят всякими физиками и математиками — не до Черевичного было.

Потом он понемногу стал присматриваться к нему. Бросались в глаза поразительная трудоспособность и настойчивость Антона. Он мог восемь-десять часов сидеть над учебниками, и это (если не считать двух лет плена и побоев) доводило его иногда до обмороков. Ребята, скинув с него рубашку, растирали его, он вставал и опять садился за учебники.

Присмотревшись к Антону, Николай понял, что он вовсе не сумрачен и не замкнут, а просто очень застенчив. Антону всегда казалось, что он кому-то мешает, что с ним неинтересно, он очень стыдился своих обмороков. Но достаточно было его расшевелить, проявить интерес к нему, к его жизни, как он сразу становился другим.

Как-то, заполняя какую-то анкету или список, Николай спросил его, где он родился.

— В Нью-Йорке, — спокойно ответил Черевичный.

— Брось дурака валять! У меня времени нет. Где ты родился, я спрашиваю.

— В Нью-Йорке, я ж говорю, — и улыбнулся. — Это в Сталинской области. Поселок такой фабричный есть. В Дзержинском районе. Честное слово! Можешь в паспорте посмотреть.

— Неужели есть?

Оказалось, что действительно есть.

— Так, может, и Нью-йоркский райком партии есть?

— Нет, райкома нет. А поселковый совет Нью-йоркский есть. И председателем его был до войны человек по фамилии Дэвис.

Николай и стоявшие рядом ребята рассмеялись. Действительно, получалось очень смешно.

Антон много видел и пережил, но держал это в себе и высказывал только случайно, в ответ на какой-нибудь вопрос. Если его, например, спрашивали: «Ну, расскажи, Антон, как у вас в лагере было?» — он пожимал плечами и говорил: «Да как во всех. Не лучше и не хуже». — «Били вас?» — «Били». — «Сильно били?» — «Основательно». Больше из него ничего выжать не удавалось.

Но иногда, если это приходилось к слову, он вдруг начинал рассказывать, и вот тогда-то слушатели сидели молча, раскрыв рты.

Как-то на квартире у Левки Хорола — Левка подтягивал товарищей по математике — произошел такой случай.

Прозанимались весь вечер. В двенадцатом часу сели за стол. Левкин отец — маленький, подвижной, в теплой пижаме, с поблескивающими из-за пенсне глазами, великий любитель поговорить, — развернув газету, стал комментировать заявление нашего посла в Бельгии. В заявлении шла речь о том, что группу советских граждан, вместо того чтобы репатриировать, посадили в тюрьму.

Илья Львович возмущался:

— Подумать только, до чего обнаглели! И кто? Бельгийцы, которые и трех дней не воевали, им всех их генера-

лов вернули, а они, сукины сыны, людей в тюрьму сажают. И кого — людей, которые столько времени просидели в лагерях, в фашистских лагерях...

Он шуршал газетой и никак не мог успокоиться.

— Где это мы с тобой читали, Левик, о каком-то лагере в Бельгии? Возле Брюсселя, кажется...

— Бреендонк? — сказал вдруг Антон, обычно всегда молчавший и сосредоточенно пивший свой чай.

— Вот-вот, Бреендонк, совершенно, верно. Там ведь бог знает что творилось. Где это мы с тобой читали, Левик? — Он повернулся к Антону: — Вы тоже читали?

Тот смутился и поперхнулся чаем.

— Нет, не читал...

— Откуда же вы знаете?

Антон покраснел и, не отрываясь от скатерти, сказал:

— Я в нем сидел, в этом лагере. Это в тридцати километрах от Брюсселя. Потом я бежал оттуда.

Оказывается, он пробыл в этом, одном из самых страшных немецких лагерей около трех месяцев. Потом бежал во Францию, попал к партизанам в Савойе, воевал вместе с ними, потом их отряд накрыли, он через Альпы бежал в Италию, там попался, приговорен был к расстрелу, опять бежал, опять попался, но на этот раз ему повезло: его не расстреляли, а вернули в Германию и бросили в лагерь. Потом освободили наши.

— Вот черт! Так ты пол-Европы, выходит, исколесил?

— Исходил, скорее.

— И в Париже был?

— Был. И в Бельфоре был, и в Милане. Но вообще в городах не очень. Больше в горах и деревнях.

В этот вечер Антон был королем. Вначале он смущался — не привык к такому вниманию к своей особе — и вообще неловко себя чувствовал, но потом как-то окреп, развязался. В этот вечер ему пришлось рассказать о многом. О том, как попал в плен, тяжело раненный на Юго-Западном фронте, как собственными средствами лечился с помощью молоденького фельдшера-казаха, как в первый раз бежал из

лагеря (а бежал он шесть раз), как сдружился с французскими партизанами — жителями Савойи, гористой местности на границе Швейцарии и Италии, одной из самых бедных провинций Франции.

В довершение всего оказалось, что он неплохо говорит по-французски.

Софья Петровна, маленькая, живая, говорливая дама, улыбаясь и красиво картавя, задала ему несколько вопросов. И — о чудо! — Антон стал отвечать, не так быстро и не так красиво картавя, но стал отвечать. И так несколько минут они разговаривали и как будто даже понимали друг друга.

— Ну и парень же ты! — говорил по дороге Николай, когда они наконец вырвались от Хоролов. — Могила, а не человек. Я бы на третий день обо всем этом уже рассказал, а ты... Странный парень, ей-богу...

Антон ничего не ответил, — за один сегодняшний вечер он сказал больше, чем за все время своего пребывания в институте.

16

С Громобоем дружба завелась тоже не сразу.

Очень большой, с кажущейся маленькой на его широченных плечах, красивой головой донского казака — коротконосой и чубатой, он всегда ходил, звеня орденами на весь коридор. По натуре своей человек добрый и отзывчивый, он был вспыльчив и крайне обидчив. Ему все время казалось, что чем-то унижается его фронтовое достоинство, что к нему не так относятся, как того требуют его заслуги и ордена, и каждую минуту он готов был любыми средствами защищать свою честь.

Громобой был сталинградцем. В Сталинграде же был ранен, потом воевал в Польше, Германии, Чехословакии, награжден был шестью орденами, из них двумя польскими и одним чехословацким. Поэтому считал, что многое ему дозволено.

Чуть ли не в первый день занятий у него произошел конфликт с маленьким, тщедушным Куныком из-за того, где кто будет сидеть. Он швырнул книги Куныка в угол, самого его чуть-чуть двинул плечом, так что Кунык полетел вслед за книгами, а сам преспокойно уселся на его место, вытянув чуть ли не до середины комнаты красивые, обтянутые хромовыми низкими сапожками ноги.

Николай подошел к нему и спокойно сказал:

— Подбери книги, извинись перед Куныком, а сам перебирайся туда, к окну.

Громобой взглянул исподлобья.

— А ты кто такой, интересно мне знать?

— Моя фамилия Митясов. С сегодняшнего дня я староста группы и предлагаю тебе сделать то, что я сказал.

Громобой смерил Николая с ног до головы презрительным взглядом и, ничего не сказав, повернул к нему свою могучую, перетянутую портупеей — он до сих пор носил портупею — спину.

Николай молча поднял край скамейки, на которой сидел Громобой, и тот с грохотом, звеня орденами, полетел на пол. Николай положил брошенные книги на стол и сказал Куныку:

— Твое место будет здесь. Ясно? Садись.

В этот момент вошел преподаватель. Громобою пришлось сесть к окну.

В перерыве он подошел к Николаю и, не глядя в глаза, мрачно сказал:

— Хоть ты и староста, а блин я из тебя сделаю. Понял?

— Что ж, — сказал Николай, — можно после лекций выйти прогуляться. Я не возражаю.

Но после лекций Громобой куда-то исчез, а на следующий день подошел как ни в чем не бывало:

— А ты, друг, оказывается, тоже сталинградец. Я и не знал. У кого воевал?

После этого случая некоторое время все шло более или менее нормально. Однажды, правда, Громобой опять завелся с кем-то, но после вмешательства Николая дальнейшие не-

доразумения, в общем, прекратились. Вообще, как ни странно, Громобой слушался Николая.

Заниматься ему было трудно. Как и Николаю, труднее всего давались математика и физика.

— Не моих мозгов дело. Не переваривают, что поделаешь? Туп.

Николай, по правде говоря, тоже не совсем понимал, почему Громобой не поступил, например, в физкультурный институт, где его мышцы были бы более уместны. Он как-то даже спросил его об этом.

Тот немного удивленно посмотрел на Николая.

— А я знаю? Получилось так, и все. Когда демобилизовался, спросили — хочешь учиться? Хочу, говорю. В военное какое-нибудь техническое училище хочешь? Нет, говорю, не хочу. А куда ж ты хочешь? А бог его знает, вам виднее, в механический, что ли? В механический, говорят, мест нет. Хочешь в строительный? Строительный так строительный, один дьявол. Вот и попал в строительный. Перевестись всегда успею, если надоест.

— А в физкультурный не пробовал?

— Улыбнулся мне физкультурный. Доктора говорят, сердце ни к черту. Война испортила.

— А в военную школу почему не захотел?

— Э-э... Пусть молодежь идет. С меня хватит. Осколков нахватался. — И, засовывая книги за шинель, добавил: — Да, брат, это тебе не фронт, не Сталинград...

А вскоре, на зачете по физике, Громобой опять отличился. Правда, физик был тоже не прав, и, может быть, только это дало Николаю возможность замять поступок Громобоя, который вряд ли закончился бы так благополучно.

Громобой напутал что-то в ответе. Физик, усталый после пятичасового сидения за столом, зевая, посмотрел на его листок и велел подумать еще. Громобой стал думать, но у него ничего не получалось. Тогда физик подошел к нему и, взглянув на его грудь, украшенную орденами, сказал:

— Я бы на вашем месте, молодой человек, имея столько орденов, из армии не уходил бы! — И, наклонившись, взял

двумя пальцами висевший на груди Громобоя польский крест «Виртути милитари». — Это какой?

— А ты не лапай! Не тебе дали!

Громобой с силой оттолкнул руку физика и, швырнув на пол листок с задачей, красный, с круглыми от бешенства глазами, направился к выходу. Николай заслонил ему дорогу. Громобой стиснул зубы:

— Пусти!

Николай не сдвинулся.

— Пусти, а то...

Лицо его стало совсем пунцовым. Физик, бледный, дрожащими руками складывал свои тетрадки.

— Ты сейчас же попросишь извинения, — тихо и внятно сказал Николай. — Слышишь? Сейчас же...

Громобой сжал челюсти так, что скрипнули зубы. Потом повернулся, тяжело шагая, подошел к столу и негромко сказал:

— Извините, я не...

Физик торопливо, не глядя, закивал головой:

— Хорошо, хорошо... Я понимаю. Я поставлю вам удовлетворительную оценку, но...

— А он разве решил задачу? — все еще стоя в дверях, спросил Николай.

— Нет... Но я вижу, что товарищ...

— Тогда ставьте двойку. Товарищ подзаймется и сдаст.

Громобой молча кивнул головой.

Николай попросил физика о происшедшем никому не говорить, а когда тот вышел, подошел к Громобою и сказал резко:

— Солдат тоже... Истерики закатывает. Смотреть на тебя противно. Развесил ордена и пыжишься, как павлин.

Громобой сидел на столе, опустив голову, и смотрел на носки своих начищенных сапог. Потом вдруг поднял свою красивую, чубатую голову. Николаю показалось, что ему чудится, — по щекам его текли слезы.

— Не кричи на меня, Колька... Не кричи... — и запнулся.

Николай опешил. Он всего ожидал, только не этого.

Громобой соскочил со стола, подошел к окну и облокотился о подоконник. Николай обнял его за плечи.

— К черту! Пойду к директору, — по-детски всхлипывая, говорил Громобой. — Пусть отчисляет. Я не виноват, ейбогу не виноват... Ну, не понимаю я. Что я могу поделать? Не понимаю я всех этих, черт его знает, как они называются... Даже названия запомнить не могу... Пусть отчисляет. Я и сам знаю, что мне здесь не место. Пойду вот и скажу.

Николай смотрел на этого большого, сильного, увешанного орденами человека, по щекам которого катились слезы, и все это ему было так знакомо, так понятно...

На следующий день Громобой пришел на лекции без орденов, даже без планок.

Случай этот напомнил Николаю о Сергее.

Не виделись они месяца три, а то и больше — со дня отъезда в Черкассы. Как-то потом Николай заходил к нему, — это было в первые дни ухода от Шуры, когда все было горько и противно, — но не застал. Соседка сказала, что он не то на работе, не то в отъезде — его разве поймешь!

Сейчас, после случая с Громобоем, Николая опять потянуло к нему. Захотелось увидеть его усатую физиономию, узнать, где он, чем занимается, бывает ли по-прежнему у Шуры. Сергей был одним из тех немногих людей, с которыми можно было говорить просто и обо всем. С Алексеем было не просто, да и вообще встречались они теперь мельком, на лестнице, на партсобрании или когда Николай забегал к нему в деканат, так сказать, по долгу службы, — перекидывались двумя-тремя словами и расходились. С Валей встречи происходили тоже на лестнице или на собрании. Когда-то с ней было тоже просто и легко. Сейчас они только слегка кивали друг другу головой и расходились в разные стороны.

Как-то после лекций Николай собрался к Сергею. Захватил с собой Громобоя и пошел. Но и на этот раз их постигла неудача. На дверях Сергеевой комнаты висел замок. Мало

того, выглянувшая из соседней комнаты женщина, повязанная платком, сказала, что он здесь уже не живет.

— Выехал. Совсем недавно выехал.

— А куда, не знаете?

— Не знаю, голубчик, не говорил. Теперь здесь бухгалтер один живет. Рублей на сто бутылок вынес, целый мешок. Ей-богу!

Больше ничего узнать не удалось.

— Жаль, — сокрушался дорогой Николай. — Жаль парня. Боюсь, как бы опять с пути не сбился. У него это есть, разгульность такая. Держится, держится, а потом как ахнет — всем тошно станет. А хороший парень, очень даже хороший. Жаль.

Они шли с Громобоем по улице, подняв воротники своих видавших виды шинелей — моросил дождь, — и Николай рассказывал ему о Сергее, об их первой встрече, о сложной, никак не получавшейся жизни его.

— И вот провалился, черт. Был бы Фимка, мы б сразу его нашли, а теперь ни того, ни другого.

Но Николай ошибался. Если бы даже и существовал еще Фимка со своим заведением, Николай не нашел бы там Сергея.

17

Дней через десять после ухода Николая Шура опять поехала в Харьков. Поехала их целая бригада — пять инженеров и две чертежницы, — предстояла срочная работа на месте. Обычно Шура уклонялась от этих командировок, но сейчас ей так вдруг захотелось куда-то вырваться, так неуютно было возвращаться в свою пустую комнату, что она, охотно приняв предложение, в одно прекрасное сентябрьское утро уложила чемодан и отправилась на вокзал.

Сергей тоже приехал на вокзал.

— Ну к чему эти проводы? — говорила Шура, делая вид, что сердится, а на самом деле радуясь приходу Сергея. — Подумают еще, что ты...

— Ну и пусть думают, нам какое дело.

Она взглянула на Сергея. Еще сегодня утром она радовалась возможности хоть на время уехать из своей комнаты, где все напоминало ей об ее одиночестве. И вдруг ей стало грустно. Вот она едет сейчас с людьми хорошими, чем-то даже приятными ей, но ведь они не знают ее жизни, они равнодушны к ее горю. А здесь остается единственный человек, друг Николая, который знает все и после всего этого стал не только не холоднее, а, напротив, ближе, добрее...

Она рассеянно смотрела на подходивший к перрону поезд.

— Не люблю я почему-то Харьков, — сказала она. — Неуютный он какой-то, скучный. И площадь эта с Госпромом. Пустырь, а не площадь.

— Ничего, — сказал Сергей. — Через две недели вернешься домой.

— Это говорится только, через две недели. Раньше октября не вернемся. Я уж знаю. Все цветы мои погибнут за это время. Попросила Ксению Петровну за ними следить, да она и своих-то не поливает.

— Не погибнут. Чего их там поливать особенно?

— Кактусы не погибнут. И плющ, может, тоже. А вот бегонии и олеандры... Ты все-таки иногда заглядывал бы. Будет свободное время — загляни, напомни Ксении Петровне.

— Можно и заглянуть, нам нетрудно.

— Кактусы часто поливать не надо. Они не любят воды.

— Ладно. Не буду.

Помолчали. Потом Сергей спросил:

— А ты зачем в Харьков едешь?

— Как зачем? — удивилась Шура. — Ты же знаешь.

— А все-таки зачем?

Поезд лязгнул буферами. Из вагонов, толкаясь, стали выскакивать провожающие.

— Ну ладно, — сказал Сергей, поднимая Шурин чемоданчик. — Садись, а то останешься.

Шура села в вагон, и поезд почти сразу же тронулся. Сергей помахал рукой и ушел.

На следующий же день он зашел проверить цветы. Выставил их все на балкон — их было так много, что пришлось внести с балкона в комнату плетеное кресло, — и старательно полил их из кувшина. Через день опять зашел, а потом стал приходить чуть ли не каждый день.

За месяц Шуриного отсутствия цветы буйно разрослись, олеандры покрылись розовыми бутончиками, а старый фикус неожиданно вдруг выпустил длинное зеленое острие, которое через день распустилось и превратилось в свежий, ослепительно зеленый листочек. Сергей был очень горд, пригласил даже соседей посмотреть, как весело растут цветы под его «чутким руководством».

Приходил он вечером, после работы, поливал цветы, иногда подметал комнату и вытирал пыль со всех предметов, так как балконная дверь была всегда открыта и с улицы наносило пыль.

Как-то, снимая половой щеткой паутину над голландской печкой, Сергей обратил внимание, что потолок в этом углу от копоти стал совсем черным. Став на табурет, он попытался почистить щеткой, но получилось только хуже — исцарапал весь потолок.

«Надо его просто побелить», — подумал Сергей и на следующий же день явился с двумя малярами, стариком и вертлявым мальчишкой с бельмом на глазу.

Старик, посапывая, долго смотрел на потолок и стены, потом сказал:

— Что ж тут белить? Тут надо целый ремонт делать. Обои-то еще довоенные. В тридцать пятом такие продавали. Содрать надо. Все равно заляпаем. И двери покрасить.

Сергею эта мысль понравилась. Немногочисленные вещи были вынесены в коридор, старые обои содраны и сожжены на кухне. Через три дня комната была неузнаваема. Потолок сверкал изумительной, непередаваемой белизной, розетка посреди комнаты и лепные карнизы покрыты были легкой позолотой, а серебристо-голубые стены усеяны какими-то цветочками, которые, по мнению Сергея, долж-

ны были гармонировать с висящим над Шуриной кроватью ковриком.

Ремонт обошелся дешевле, чем в то время мог обойтись, — но, как всегда бывает, он потянул за собой еще целый ряд дополнительных расходов.

Во-первых, был куплен и повешен большой оранжевый абажур с бахромой, отчего комната сразу приобрела тот уют, которого, как казалось Сергею, ей еще не хватало. Во-вторых, на толкучке была приобретена крохотная настольная лампа с красным пластмассовым абажурчиком, а к кровати проведен специальный штепсель, так что теперь, засыпая, Шура могла не бегать каждый раз к двери тушить свет. Кроме того, на стену был повешен большой портрет Пушкина, паркет начищен до зеркального блеска, стол накрыт новой клеенкой, перила на балконе выкрашены небесно-голубой эмалевой краской, а шарики на перилах — белой.

Все получилось очень красиво, маляры были знакомые и за работу взяли по-божески, — и Сергей с нетерпением стал дожидаться Шуриного возвращения. В письме Шура написала, что приедет пятнадцатого, но приехала только восемнадцатого, и три дня Сергей с непонятным замиранием сердца подходил к Шуриной двери.

«Что за чепуховина? — думал он, поднимаясь по лестнице на пятый этаж. — И с чего бы это я так...»

Он был растерян. Дожив до двадцати четырех лет, он ни разу не влюблялся, с женщинами держался просто и грубо, как с товарищами, но не отдавал им той любви, которую отдавал товарищам. И вот теперь, встретившись вдруг с женщиной, в которой он увидел совсем не то, что видел в женщинах до сих пор, он вдруг растерялся.

Он сам не понимал, что происходит. Ему казалось, что он просто жалеет Шуру, что ему обидно за нее, за то, что Николай ее не понимает, а когда Николай ушел, по-настоящему рассердился на него. Но что все это и есть любовь, этого он не понимал.

Тем не менее, получив от Шуры письмо — несколько строчек о том, что она много работает и, вероятно, раньше чем через две недели не вернется, он столько раз его перечитывал, что под конец, кажется, выучил наизусть. Прибирая комнату после ремонта, он по нескольку раз перекладывал Шурины вещи и стащил даже маленькую фотографию, лежавшую на столе под стеклом, на которой Шура была снята на трехколесном велосипеде. На этой карточке Шуре было всего семь лет, но выражение лица было совсем такое, как и теперь, когда она чему-нибудь радуется, — сияющее и чуть-чуть удивленное.

Когда Шура приехала, первыми ее словами было:

— Ну зачем ты это сделал? Зачем, спрашивается?

Сергей мрачно молчал, покручивая ус.

— И во сколько это тебе обошлось?

— Во сколько надо, во столько и обошлось.

— И абажур этот. Он стоит триста рублей, я знаю. И не говори мне, пожалуйста, что тебе его подарили. Ты заплатил за него триста рублей, сознайся!

— Сколько надо, столько и заплатил.

— Сумасшедший, честное слово, сумасшедший! Лишние деньги завелись? Так и знай — буду тебе из каждой получки выплачивать.

— Что ж, выплачивай, — согласился Сергей.

— И буду. А что ты думаешь?

— А я и не протестую. Дело хозяйское.

Потом они пили чай на новой клеенке. Шура все время дразнила Сергея, говорила, что к голубым стенам нельзя было покупать оранжевый абажур, что клеенка пластмассовая и скоро покоробится. Сергей был мрачен и молчалив. Ушел около двенадцати, сказав на прощание:

— О перила пока не облокачивайся. Там краска еще не просохла.

Шура обещала не облокачиваться, проводила Сергея до двери, потом вернулась, зажгла свою новую лампочку с красненьким абажуром и до часу ночи читала. Лампочка ей очень понравилась. Вообще она была рада, что вернулась.

18

Сергей вставал рано. Когда надо было идти ругаться в главк, можно было вставать и попозже — в учреждениях работа начиналась в девять. Но если ругаться было не с кем, вставать приходилось в шесть. Аэроклуб, как и все аэроклубы, находился за городом, возле аэродрома, и чтоб не канителиться с попутными машинами, Сергей ездил туда автобусом, который отправлялся от Аэрофлота в семь утра.

Большинство ребят днем работало, но те, что были в отпуску, весь день проводили в аэроклубе. К четырем-пяти стекались и остальные. Строительство шло полным ходом. Ребята оказались азартными и предприимчивыми. Чего не могли достать Сергей и Сененко официальным путем, ребята доставали неофициальным. Среди хлопцев оказался и шофер, так что транспортный вопрос тоже решился сам собой. Кое в чем помогли летчики с соседнего аэродрома — здесь уж Сергей проявил инициативу. Одним словом, к первым морозам сарайчик, именуемый ангаром, с двумя пристроенными к нему «аудиториями» был готов, а в скором времени «в аудиториях» появились и первые учебные пособия. Все ходили измазанные маслом и краской. Впереди была зима, но говорили уже о весне и первых тренировочных полетах.

Так проходил день. Часам к семи Сергей говорил: «Ну что ж, пора закругляться. Жучков, покомандуй тут за меня», — и, скинув комбинезон и помыв руки бензином, отправлялся к Шуре. Правда, случалось это теперь не каждый вечер. Более того, если раньше Сергей приходил «просто так», «от нечего делать», и целый вечер сидел на балконе в плетеном кресле, то теперь он всегда являлся под каким-нибудь предлогом: то ему книжка нужна была — не может ли Шура спросить в своей библиотеке, то вернуть эту самую книжку, то узнать что-то у соседки Ксении Петровны.

Шура всегда была рада его приходу, но почему-то, когда бы он ни пришел, обязательно была чем-то занята: то стирка, то глажка, то недоделанная чертежная работа. Вы-

тянуть ее из дому не было никакой возможности. Вообще с Сергеем она держалась сейчас иначе, чем раньше. Разговаривая с ним, начинала вдруг дразнить его, попрекать разбросанными по всей комнате окурками, смеяться над его привычкой сидеть в плетеном кресле, положив ногу на перила. Сергей огрызался, но чувствовал себя почему-то неловко и, посидев с полчаса, начинал прощаться. Шура его удерживала, но он говорил, что ему завтра рано вставать, да и Шуре тоже, и уходил.

Как-то раз ему все-таки удалось вытащить Шуру в Дом офицера — кажется, в День артиллерии. Сначала все шло хорошо. Показывали хроникальную картину «Оборона Сталинграда». Сергей с удовольствием узнавал знакомые места и даже стал рассказывать какие-то военные эпизоды, что с ним случалось довольно редко. Но потом, когда начались танцы и какой-то молодой человек с подбритыми усиками пригласил Шуру танцевать, Сергей надулся и до самого конца не проронил ни слова.

Больше в Дом офицера он Шуру не приглашал.

И заходить стал реже. Даже аэроклубовские ребята заметили.

— Что-то вы, Сергей Никитич, по вечерам стали задерживаться. Раньше, как только семь часов, сразу за бензинчик, а теперь...

Сергей делал вид, что не понимает намека.

— Да вот мотор этот. Хочу с ним разделаться, — и возился с ним еще добрый час.

Потом возвращался домой, валился на свою койку, смотрел в потолок и курил.

«Черт его знает, — думал он, — вот так вот и околеешь в этой дыре! Собачья жизнь. И выпить даже не с кем. Ни денег, ни компании. Собачья жизнь, одно слово, собачья...»

Правда, случай вскоре подвернулся. Возвращаясь как-то из аэроклуба, Сергей столкнулся на улице со своим старым приятелем еще по авиационному училищу, Толькой Лукониным. Зашли в ресторан. Не виделись они года три, а то

и больше. После окончания училища Сергей и Анатолий попали на разные фронты — Сергей на Юго-Западный, Анатолий на Центральный, потом воевал в Польше, Германии. Сейчас вернулся из Австрии, ждал демобилизации.

В училище Луконин был худеньким, прыщавым парнишкой, которого прозвали «голоусик», — на верхней губе, несмотря на все ухищрения и старания, у него ничего не росло. Сейчас это был рослый, румяный, увешанный орденами детина, поминутно оглядывавшийся на девиц. Заграничную жизнь он ругал, говорил, что скучно, что хочется домой, но время от времени поглядывал на хорошенькие часики на стальном браслете и несколько раз, ища что-то в кармане, вынимал и клал на стол похожую на сигару самопишущую ручку.

Сергей молча слушал и заказывал еще пива. Из ресторана вышли в третьем часу ночи, когда в зале уже потушили свет. Машин на улице не было, пошли пешком. Днем моросил дождь вместе со снегом, к вечеру подмерзло. Сергей поскользнулся, упал и растянул связки на ноге.

Часто потом, вспоминая этот вечер, Сергей, смеясь, говорил, что причиной всех происшедших после этого перемен в его жизни был Толька Луконин. Не встреть он его тогда на улице, он не попал бы под дождь, и не упал бы, и не провалялся бы неделю дома, и к нему не пришла бы Шура, и не заахала бы, в какой дыре он живет, и кто же его обслуживает, кто убирает, кто стирает белье.

Шура пришла к нему на четвертый день его лежания и тут же, в отместку за ремонт, выкинула все окурки из комнаты, достала у соседей ведро и тряпку, вымыла пол, затем всю посуду.

Сергей, лежа на своей скрипучей койке, следил за Шуриными движениями и говорил:

— Бессмысленная трата времени. Все равно завтра опять закидаю.

— А я тебе блюдце для окурков поставлю.

— Привычки нет. Люблю на пол.

— Заберу тогда папиросы.

— Попробуй.

— А чего мне пробовать — заберу и все. Где твое белье?

Белье оказалось под кроватью. Шура вытащила оттуда все рубахи и прочие принадлежности и связала их в небольшой узел.

— И чему вас в армии только учили? Летчик, называется, старший лейтенант.

Через два дня она принесла белье выстиранным, выглаженным и аккуратно, стопочками, уложила его в чемодан. Потом покрыла стол принесенной из дому скатертью и разложила на ней ужин — плавленый сыр и консервированное мясо.

— И это все? — с тоской в голосе спросил Сергей.

— Все.

— Как же это все в глотку без смазки полезет?

— Ничего. С чаем полезет. Господи, неужели у тебя чайника нету?

Шура пошла к соседке за чайником, а Сергей тем временем, порывшись под кроватью, выудил оттуда недопитую четвертинку.

Весь вечер Шура возмущалась, как может Сергей так жить.

— Грязь, сырость, смотреть даже противно! И солнце здесь, наверно, никогда не бывает. Я б с ума сошла в такой комнате...

— В землянках похуже было, — оправдывался Сергей.

— Так то землянки, а то комната. Война уже кончилась.

— Как для кого...

— Не говори глупостей.

— Разве это глупости?

— Конечно, глупости. У тебя есть работа, хлопцы. Хорошие хлопцы. И работа хорошая.

Сергей улыбнулся.

— Ну? Еще что?

Шура вдруг покраснела.

— А чего тебе еще надо? Честное слово, я никогда не видела таких нытиков, как ты. Все ему не нравится. Осо-

авиахим не нравится, аэроклуб не нравится... Все ему не нравится...

Сергей поморщился, почесал нос и сказал:

— Почему все? Вовсе не все...

Шура старательно вынимала вилкой консервы из коробки.

Сергей вдруг рассмеялся.

— Да выпей ты водки, черт тебя возьми, — и протянул ей свой стакан.

Шура стала протестовать, замахала руками, но выпила.

— И кто ее придумал только... Бр-р... — и тут же стала поносить всех пьяниц, в том числе и Сергея, доказывая, что только непьющие, порядочные люди умеют устраивать свою жизнь, а такие, как Сергей, потому и живут в таких дырах, что думают только о водке.

— Да я вовсе не думаю о ней, — сказал Сергей. — Я просто ее пью.

Шура злилась, а Сергей только улыбался, — ему нравилось, как Шура на него злится.

На следующий день Шура опять пришла, и они опять поссорились, то есть Шура опять его в чем-то обвиняла, а он смеялся и не соглашался.

На третий день произошло то же самое. Уходя, Шура даже хлопнула дверью.

А через неделю Сергей переехал к Шуре, вернее перешел: кроме чемодана с бельем, стакана и двух тарелок, у него ничего не было.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Небольшая, восьмиметровая комната общежития, в которой жил Николай, имела весьма странный вид. Во-первых, она была круглая — первое неудобство, так как разместить

в круглой, да еще восьмиметровой комнате четыре койки, стол и стул — минимальное, что нужно четверым живущим в ней студентам, — оказалось задачей почти неразрешимой. Во-вторых, находилась эта сама по себе нелепая комната в еще более нелепой башенке, прилепленной архитектором к углу дома, очевидно, только «для красоты», так как ничего более полезного при всем желании найти в ней нельзя было (чтоб попасть в нее, надо было пройти весь чердак и подняться еще по винтовой лестнице). Наконец, в-третьих, в комнате этой был собачий холод — отопления в ней не было, а три узких окошка, выходивших на восток, юг и запад, с видом на занесенные сейчас снегом крыши, Багринову гору и далекую Шулявку — вид чудесный, ничего не скажешь, — создавали идеальные условия для сквозняков.

Одним словом, комнатенка была среднего качества, и если Громобой, обнаруживший ее во время субботника по чистке чердака, ухватился за нее, так только потому, что у нее было одно неоспоримое преимущество — она была изолированной. В общежитии это кое-что да значит.

После недолгих, но бурных переговоров с комендантом и заместителем директора ломаная мебель и какие-то листы фанеры, бог его знает для чего хранимые там комендантом, были выкинуты на чердак, и в «башне» поселились Николай, Громобой, Антон Черевичный и Витька Мальков — невозмутимый, флегматичный парень, примечательный главным образом тем, что, получая из дому посылки — а получал он их довольно часто, — он сразу же, не откладывая дела в долгий ящик, съедал половину.

Обстановка «башни», кроме упомянутых уже шести предметов — четырех коек, стола и стула, состояла еще из двух чертежных досок, двух десятков книг и электрической плитки, заменявшей отопление. Против плитки комендант пытался было возражать и даже пригрозил, что перережет проведенную Черевичным по чердаку проводку, но Громобой просто-напросто выставил его, не вступая в переговоры.

Комендант больше не являлся.

Днем комната пустует. Жизнь начинается ночью. Плитка придвигается поближе к столу, и так как четверым сразу заниматься невозможно, Антон с Мальковым сидят от ужина до двенадцати, Николай — от двенадцати до двух-трех часов ночи, а Громобой — с пяти утра до начала занятий. Днем времени не хватает.

От двенадцати до трех — это самые тихие часы. Громобой и двое остальных похрапывают, в углу скребутся мыши, сквозь полузамерзшее окно видны дрожащие огни вокзала. Накинув на плечи шинель, время от времени грея над плиткой руки, Николай сидит над «Высшей математикой» Привалова, шелестит страницами, курит.

И вот тут-то, где-то между вторым и третьим часом ночи, на смену эллипсам и параболам приходит то, что за последние месяцы отодвинулось куда-то далеко-далеко институтской жизнью, новыми товарищами, новыми интересами, заботами, волнениями.

Почему все так произошло? И кто в этом виноват? И виноват ли вообще кто-нибудь в чем-нибудь? И стоит ли об этом думать, возвращаться к этому?

Стоит или не стоит, но возвращаешься.

Вот жил он когда-то с Шурой. И любил ее. И она его. И ничего им больше не надо было. Потом воевал. Потом вернулся назад. Оказался Федя... Нет, об этом не надо говорить — Федя здесь ни при чем, — просто это было тем первым, что помешало. Именно помешало, осложнило, не больше. Большим было другое. Иногда Николай думает, что причиной всему — три года разлуки. Он воевал, Шура ждала. Сжалась в комочек и ждала. Он узнал что-то новое, большое, настоящее, а Шура только ждала. И, как всякий человек, для которого прошлое лучше настоящего, она мечтала об этом прошлом. А он хотя тоже мечтал о нем, но вдруг, столкнувшись с ним, понял, что оно для него тесно, не хватает воздуха... Нет, и это не то. Чепуха все это, выдумки! Совсем не так это было. Шура за три года поняла не меньше, если не больше самого Николая. Не надо оправдывать себя, придумывать то, чего не было на самом деле.

Шуры больше нет, и не вспоминай о ней. И о Вале не вспоминай. Она тебе прямо сказала — ей неприятно с тобой встречаться. Ты спрашиваешь — почему? А ты не спрашивай. Не задавай вопросов. Перед тобой Привалов — вот и читай его. Завтра спросят, опять знать не будешь...

Маленькая, совсем крохотная мышка появляется вдруг из-под кровати. Поводит носом, смотрит на Николая. Это старая его знакомая. Она всегда в это время появляется из-под кровати, к чему-то долго прислушивается, потом по одеялу вскарабкивается на кровать, с кровати на окно — к тому месту, где лежит завернутый в газету хлеб и колбаса на завтрашнее утро. Ужинает.

Николай тушит свет. Пришла мышь — пора спать. Поплотнее укутывается одеялом — из окна немилосердно дует, — на какую-то крохотную долю секунды вспоминает, что завтра, до лекций, надо провести политинформацию, а в четыре часа... Но до четырех часов дело не доходит. Николай спит.

2

Кончился первый семестр. С двадцать пятого января начались каникулы. Самое приятное в них то, что можно отоспаться. И все отсыпаются, отсыпаются вовсю.

Отсыпается и «башня». Встают в десять, а то и в одиннадцать, не торопясь умываются, ввели зарядку. Потом не торопясь завтракают, чистят сапоги, пришивают подворотнички. Потом расходятся. Громобой завел себе какую-то даму и по вечерам, а иногда даже и по утрам, пропадает у нее. Витька Мальков поехал домой. Антон тоже было собрался, но потом почему-то раздумал, очевидно из-за денег, и целыми днями занимается благоустройством «башни». Вместо плитки он сделал специальный обогревательный прибор из обмотанной проволокой канализационной трубы, развесил по стенам — «чтоб красивее было» — какие-то плакаты (один из них — колхозник и колхозница, призывающие подписаться на заем, — оказался Муниной работы,

и это очень обрадовало Николая), провел настольную лампу и радио — одним словом, целый день был занят. Николай помогал ему — он тоже любил такую возню — или, пристроившись у печки, читал. По вечерам, когда не был занят на агитпункте, ходил в кино, несколько раз был на катке, — зима была сухая, снежная, хорошая.

Не обошлось и без маленького торжества — тридцать первого января, в день третьей годовщины победы под Сталинградом. Начали дома, потом, как обычно, потянуло в ресторан. Денег не было, но в таких случаях они всегда находятся, нашлись и сейчас, и хотя их было немного и перед заказом пришлось на обратной стороне меню сделать кое-какие подсчеты, время в «Театральном» прошло неплохо. Наперебой вспоминали, немного привирая (по этой части особенно силен был Громобой), потом подсели к каким-то морячкам, — те тоже особой скромностью в своих воспоминаниях не отличались, — вместе с ними заказывали фронтовые песенки, потом танцевали, здесь опять же на первом месте оказался Громобой.

Часов в одиннадцать Громобой заторопился вдруг к своей даме. Антон тоже встал — пора уже. В Николая вцепился лейтенант-моряк.

— Идем ко мне! Я тут недалеко. Комната отдельная. И хозяйка ничего. И патефон есть, — на это он особенно напирал. — И пластиночки...

Пошли. Но хозяйки, которая «ничего», дома не оказалось, пластинки, выяснилось, все старые и наполовину перебитые, да и вообще стало вдруг скучно. Николай посидел минут десять, выслушал довольно скучную историю о какой-то девице, с которой лейтенант недавно познакомился и не знал, что дальше с ней делать, совета никакого не дал, распрощался и ушел.

Вышел на улицу. Кругом пусто. Ветер раскачивает фонари, крутит сухой, рассыпчатый снег. Николай пошел вниз по бульвару. Знакомый бульвар. И дома знакомые. Четырнадцатый, шестнадцатый, восемнадцатый номер. Двадцатый... На ступеньках подъезда стоит парочка — парень в шинели

и девушка в короткой жакетке с меховым воротником. Лиц не видно. Целуются...

Уже поздно — в окнах нет света. Только в одном, на пятом этаже, еще светится. Из него, из этого окна, виден почти весь город — от купола музея до колючих башен костела и разбросанных среди Голосеевского леса белых корпусов лесного института. Сейчас построили дом напротив, и костела, вероятно, уже не видно.

Николай стоит и смотрит на светящееся окно. Зачем он пришел? Ведь все кончено. Давно уже кончено. Совсем кончено... И о чем им говорить? Посидят, помолчат, и все... Зачем же он пришел? Вверху, в окне, как будто дрогнула занавеска. Зачем, зачем... Да низачем. Просто так. Просто хочется ее видеть, больше ничего.

Николай проходит мимо парня и девушки — те даже не оборачиваются, — подымается по лестнице, останавливается перед дверью с почтовым ящиком, на котором написаны три фамилии. Нажимает голубенькую кнопочку. Тишина. Потом шаги. «Вам к кому?» Щелкают запоры — крючок, задвижка, цепочка. В дверях Ксения Петровна в накинутом на плечи платке.

— Здравствуйте, Ксения Петровна. Не узнаете?

— Здравствуйте, — говорит она. — Узнаю, почему же? — и больше ничего не говорит.

Николай захлопывает дверь, проходит по коридору, сворачивает направо. Стучит в дверь.

— Да, — отвечает мужской голос.

Николай входит. За маленьким письменным столом, спиной к нему, сидит Сергей. Он полуобернулся, но голова его заслоняет лампу, поэтому лица его не видно.

Николай делает несколько шагов.

— Ты здесь? — говорит он.

— Здесь.

Голос у Сергея глухой, слегка охрипший.

— Садись, — говорит он.

Николай садится. Садится на стул возле стола. На столе новая клеенка. Чайник, покрытый матрешкой, кусок хле-

ба. Повидло в баночке. На стуле шитье с воткнутой иголкой, моток ниток, ножницы. Совершенно источившийся ножик — жив еще... А этажерка почему-то передвинулась вправо. И Пушкина этого не было.

— Чай будешь? — спрашивает Сергей.

Он встал из-за стола. Стоит, опершись на него, смотрит на Николая. Николай — на него. В глазах Сергея — серых, обычно чуть-чуть хитроватых — недоверие, настороженность. Оба молчат.

Так вот оно что! А он и не знал. Ничего не знал. Не догадывался даже. Эх, Сергей, Сергей...

В комнату входит Шура. На ней вязаная кофточка, на шее сантиметр. Николай пожимает протянутую руку. Рукопожатие очень короткое — Шура сразу разжимает пальцы.

— Ты похудел, — говорит она и смотрит на Николая.

А она нет. Даже пополнела. Немного переменила прическу, сейчас у нее посредине головы ряд. Взгляд совсем спокойный, хотя по плотно сжатым губам Николай догадывается, что она все же волнуется.

Шура берет со стола чайник.

— Будешь пить? Я сейчас разогрею.

— Спасибо, — говорит Николай, хотя ему совсем не хочется.

Шура направляется к двери. В дверях оборачивается.

— Может, есть хочешь?

— Нет, есть не хочу.

Шура выходит.

Сергей топчется на одной ноге вокруг стола, сметает крошки, переставляет зачем-то тарелки. Потом подсаживается к Николаю на кровать. Молчит. Слышно, как в кухне шипят примусы. Потом Сергей говорит:

— Сам не верю, Колька... Не верю, нет! Иной раз... — радостная, растерянная улыбка появляется вдруг на его лице. — Что ни скажет, все делаю. Скажет — не пей, не пью. Ребята приглашали — отказался. Не веришь? — Он обнимает Николая рукой, притягивает к себе, говорит в самое ухо: — А ведь никого на свете не любил, никого...

Несколько секунд они молчат. Потом Николай говорит:

— Я рад за тебя, Сережка. И за Шуру рад... По-настоящему рад.

Он говорит это очень тихо, не глядя на Сергея. В эту минуту ему действительно кажется, что он рад, — рад за Сергея, за Шуру и за себя рад, что видит Сергея, что сидит рядом с ним.

Опять пауза. Обоим немного неловко.

— Ну, а ты как? — спрашивает наконец Сергей. — Ведь мы не виделись с тобой...

— Полгода. С августа. С той вечеринки.

— Да, полгода.

— Я заходил к тебе.

— Туда? В дыру?

— Там бухгалтер какой-то теперь живет.

— Ну и пес с ним... А ты где?

— В общежитии.

— В общежитии? — Сергей слегка отодвигается, внимательно смотрит на Николая.

— В общежитии. Заходи. Ребята у меня хорошие.

Сергей, видимо, хочет еще о чем-то спросить, но не спрашивает.

Возвращается Шура с чайником. Ставит его на стол. Все тот же медный, с припаянным носиком.

— Жаль, вкусного ничего нет, — говорит она. — Халву и то съели. Целую неделю лежала.

Николай по привычке садится на то место, на котором обычно сидел, спиной к двери. Потом пересаживается поближе к балкону. Пьют чай. Разговор самый обыкновенный. Как работа? Как Беленький? Беленького уже нет, на его месте другой, как будто ничего. А работы по-прежнему, даже больше прежнего, много сейчас строится. А Сергей? Все еще в своем Осоавиахиме? Да нет уж, давно расплевался. Молодежь в аэроклубе воспитывает. Смешно? А вот воспитывает. И неплохо воспитывает. Ты не смейся. Спрашивали даже, почему в партию не вступает, да, да, на прошлой неделе Сененко спрашивал.

Вот каким стал товарищ Ерошик, а ты говоришь! За это и выпить не грех, а?

Но Шура не разрешает. Поздно, нельзя. Завтра вставать в семь.

Сергей вздыхает:

— Видал?

Николай смотрит на часы.

— Ты что смотришь? Не смотри.

— Пора. У нас в двенадцать дверь закрывают. Дисциплина.

— А может, все-таки... — Сергей почесывает шею чуть пониже подбородка. — Сбегать к старику Платонычу? А? У него всегда есть, он ею зубы лечит.

— Никаких Платонычей, — говорит Шура.

Сергей вздыхает.

— Вот она, семейная жизнь...

Николай встает, прощается.

— Заходи, — говорит Шура.

Николай кивает головой: обязательно, как же.

Сергей провожает его до двери.

— Как-нибудь вырвусь к тебе в общежитие. Вечерком как-нибудь, в субботу или воскресенье. — И опять стискивает его за плечи. — Эх ты, студент-одиночка, капитан...

Николай крепко жмет ему руку. Спускается по лестнице. На улице ветер гонит по сухим тротуарам снег. Начинается метель. Николай поднимает воротник.

Ну вот и все. Совсем как тогда на лужайке. А почему у тебя гипса нет, как кормят, как лечат?

А за Сергея он рад. По-настоящему рад. И за Шуру тоже. Ну конечно же тоже...

3

На втором семестре добавляются четыре новые дисциплины. Строительные материалы, теоретическая механика, инженерно-строительное черчение и иностранный язык. По иностранному можно выбрать одну из двух групп — немец-

кую или английскую. Большинство, в том числе и Громобой с Черевичным, выбирают английскую (немецкий и за войну надоел, ну его!), Николай — немецкую. Английскую ведет Валя.

День уплотняется еще больше. Ни на что уже не остается времени. Даже пообедать и то не всегда успеваешь. А тут еще подошел как-то к Николаю Чекмень и, взяв его за локоть, отвел в сторону и сказал, что хочет рекомендовать его в факультетское партийное бюро. Николай только руками замахал.

— Ты что, спятил? Да где ж я время найду? И кто заниматься за меня будет?

— Ничего, потянешь. Парень ты двужильный. А нам как раз такие, как ты, нужны в бюро — фронтовики, настоящие хлопцы. На кого ж опереться, если не на вас.

Но Николай категорически отказался. До второго курса пусть его не трогают, пусть дадут крепко на ноги стать, нельзя же все сразу...

Чекмень покачал головой, сказал: «Жаль, жаль, а то поддержали б твою кандидатуру», — и отошел.

Николай немного слукавил. За эти несколько месяцев он, правда, не очень еще прочно, но на ноги все-таки стал. Появилась даже какая-то уверенность. Исчез невольный страх перед логарифмами и интегралами. В том, что совсем недавно казалось случайным набором цифр, стала улавливаться закономерность, стройность, стало даже интересно. На смену вечным тройкам начали появляться первые, не частые еще четверки. Случилась даже одна пятерка. Правда, одна, и то по строительным материалам, самому легкому из всех предметов, но Николай радуется ей не меньше, если не больше любого школьника-четвероклассника. «Ну, как сегодня?» — спрашивают его. «Порядок, на счету уже пятерочка», — и в голосе его чувствуется та же чуть-чуть небрежная и самодовольная интонация, с которой года три тому назад он докладывал, по телефону: «Порядок, товарищ пятый, отвоевали железнодорожную будку, закрепляемся».

Из новых дисциплин больше всего нравится Николаю курс строительных материалов. Может быть, потому, что курс этот нетрудный (слава богу, никаких формул!) и много времени в нем уделяется лабораторным занятиям, которые студенты всегда предпочитают теоретическим, но вероятнее всего потому, что читает его профессор Никольцев.

Высокий, худой, с чуть наклоненной набок головой и копной совершенно белых, отливающих желтизной волос, откинутых назад, в черном, наглухо застегнутом френче, какие носили еще в двадцатых годах, он с немного виноватым видом входил в аудиторию (Никольцев всегда почему-то опаздывал), клал на стол свой до отказа набитый чем-то портфель с оторванной ручкой, подходил к окну, как будто рассматривая что-то на улице, потом поворачивался и начинал читать лекцию. Нет, чтением это нельзя было назвать. Это был разговор. Тихий, спокойный рассказ о том, например, как где-то под Парижем какой-то садовник, делая из цемента кадки для растений, решил для прочности ввести в цемент металлическую сетку. Так родился железобетон — материал, вызвавший в строительном искусстве переворот, равный, как говорил Никольцев, перевороту, вызванному появлением паровой машины и электричества. И тут же вынимались из громадного портфеля фотографии мостов, арок, вокзалов, и оказывалось, что этот мост он строил еще студентом в тысяча восемьсот каком-то там году, а это перекрытие чуть не рухнуло, так как подрядчик торопился и не выдержал положенного срока, а это вот незначительное как будто сооружение выдерживало удары одиннадцатидюймовых японских снарядов. Константин Николаевич указывал длинным подагрическим пальцем на пожелтевшую фотографию, где группа круглолицых, с маленькими закручивающимися усиками солдат, в лихо сбитых набок бескозырках, стояла возле какого-то сооружения, напоминающего капонир. А рядом с ними тоненький офицерик с бородкой клинышком — сам Никольцев.

Оказывается, этот, такой комнатный и мирный на вид старик не только был участником двух войн — японской

и немецкой четырнадцатого года, но даже в числе тех немногих офицеров, которые после обороны Порт-Артура отказались дать честное слово не воевать против японцев, более года провел в плену.

Обо всем этом Константин Николаевич не успевал, конечно, рассказывать на лекции, но так как на эти темы, как и всем старикам, ему поговорить хотелось, а ребята не прочь были послушать («старик-то, старик, даже японского императора видел!»), то доканчивать ему приходилось обычно уже на улице, а то и дома.

— Вы не очень торопитесь? — говорил он, останавливаясь у своих дверей, всегда немного смущаясь, наклонив голову набок, глядя на своих попутчиков. — А то, может, заглянете? Попьем чайку, поболтаем.

Многих соблазняло именно это «попьем чайку» (у старика он подавался за маленьким круглым столиком, очень крепкий и всегда с каким-нибудь печеньем или пирогом), но Николай оба раза, которые был у Никольцева, от чая отказывался, — уж очень выразительно подкусывала губы старуха нянька, с которой жил одинокий Никольцев, — и ограничивался воспоминаниями и рассматриванием коллекций, которыми заполнена была вся комната.

Молодежь остается молодежью — над стариком иногда подсмеивались. Он повторялся, по нескольку раз рассказывая одно и то же и часто вставляя одни и те же слова в уста различных людей, но подсмеивались любя, интерес к его лекциям от этого не уменьшался, и только на них (если не считать теоретической механики, но там больше из страха) никто никогда не читал посторонних книг и не играл в самодельные шашки. К тому же у Никольцева была еще одна незаменимая черта, за которую его нельзя было не любить, — он никого никогда не резал. «Дело не в ответе, а в заинтересованности предметом, в том, как вы воспринимаете его», — говорил он и ставил студенту тройку или четверку, которых, по совести говоря, тот не всегда заслуживал.

Одним словом, старика любили. Поэтому, когда в середине второго семестра по институту поползли вдруг

слухи, что профессор Никольцев якобы уходит на покой, что строительные материалы будет читать его ассистент Духанин (он знал свое дело, но был «скучняком», как называли его студенты, и забывал делать перерывы), а кафедра перейдет в руки кого-то, кого — еще неизвестно, но, во всяком случае, Константин Николаевич заведовать ею уже не будет, никто этим слухам не поверил. Чепуха! Какой там покой! Да он без студентов сразу зачахнет. Придумают же еще...

Но через несколько дней слух этот — косвенно, правда, — подтвердился. Произошло это на факультетском собрании. С докладом, подводящим кое-какие, пока еще лишь предварительные, итоги учебного года, выступил Чекмень. В обычной своей полушутливой-полусерьезной манере (он знал, что она нравится студентам, поэтому его всегда и слушают и не выходят в коридор курить) он говорил, что факультет, в общем, «не подкачал», справляется со сложными задачами первого послевоенного года, что успеваемость на факультете не только не осталась на уровне довоенных лет, — «а мы, скажу вам по секрету, боялись мечтать даже об этом», — но возросла, что первый курс — «опять же по секрету скажу, мы не очень-то в него верили», — в общем, не так и плох, что надо только не снижать раз набранного темпа и мобилизовать все свои силы, чтобы добиться наилучших показателей.

— Кстати, — заканчивая свое выступление, сказал Чекмень, — воспользуюсь случаем, чтобы обрадовать вас всех приятной новостью. Несколько дней тому назад прибыло новое штатное расписание, и мы имеем теперь возможность расширить и укрепить наши преподавательские кадры новыми, молодыми, вернувшимися сейчас из армии научными силами. Думаю, что все мы будем только приветствовать это новое пополнение.

Он хлопнул папкой по кафедре и, сойдя с нее, сел на свое место возле стола. Предчувствуя скорое окончание, зал оживился.

Николай повернулся к Левке.

— Пахнет Никольцевым. Как по-твоему?

— Ну и бог с ним! — Левка полез за папиросами. — Пошли курить.

Из президиума донесся голос председателя:

— Будут вопросы по докладу декана?

— Все ясно, — проворчал Левка, — кончать пора.

Сзади кто-то сказал:

— У меня есть вопрос. Можно?

— Прошу.

Поднялся тонколицый, бледный парень, кажется со второго курса.

— Мне хотелось бы, чтобы декан уточнил заключительную часть своего доклада, — сказал он, пытаясь перекрыть возникший в зале шум. — И что подразумевает он под словом «пополнение»?

Чекмень встал и, опершись о стол, посмотрел в конец зала, где сидел парень.

— Мне кажется, я достаточно ясно сказал. Руководство предполагает пригласить ряд специалистов, которые пополнили бы наш профессорско-преподавательский состав. Разве это непонятно?

— А кого и по каким дисциплинам? — опять спросил парень. — И думают ли заменить кого-нибудь, или это только пополнение?

В зале стало вдруг тихо. Выходившие остановились в дверях.

Чекмень улыбнулся и немного театрально развел руками.

— Чего не знаю, того не знаю. Но думаю, что всякое пополнение влечет за собой и известное перемещение. И ничего удивительного здесь нет. Я думаю, мне не надо доказывать вам, что преподавание, иными словами, воспитание людей, вещь не легкая. Не правда ли? Дело не только в знаниях. Знания знаниями, но нужен еще и известный политический кругозор. Нужно умение отвечать новым требованиям, повышенным требованиям...

— Конкретнее, — раздался сзади чей-то голос.

Чекмень повернулся в сторону крикнувшего.

— Конкретнее, к сожалению, ничего не могу вам сказать. Чего не знаю, того не знаю, — и сел, давая понять, что с этим вопросом покончено.

Задвигали стульями, стали выходить.

— Никольцев. Факт, — сказал Николай.

Левка пожал плечами.

— Иди разберись, — он посмотрел на часы. — Ты куда сейчас?

— Домой.

— А может, ко мне сходим? Мать там что-то готовит. По случаю шестидесятилетия моего родителя.

В дверях показался Алексей. Увидел Николая, через головы кивнул ему.

— А что, если я у него спрошу? — сказал Николай. — Мне-то он скажет.

— Ничего он тебе не скажет.

Левка оказался прав. Алексей куда-то торопился.

— Прости, дорогой, спешу. Зайди ко мне завтра утречком, перед лекциями, ладно? — и слегка хлопнул Николая по плечу. — Ну и любопытные же вы, черти, спасу нет...

4

С этого, в сущности, все и началось.

Началось то, на отсутствие чего жаловался как-то на одном из партсобраний Хохряков, секретарь факультетского партбюро.

— Замкнулись вы, товарищи, в себе, — говорил он тогда, — замкнулись каждый в своей группе, на своем курсе. Не живете жизнью своего института. Загрузкой оправдываетесь. Но загрузка загрузкой, а жизнь жизнью. Если уж очень нажмешь на вас, выпустите раз в год стенгазету, да и то ее только мухи читают, вызовете кого-то там на соревнование, и точка — никто этого соревнования не проверяет. Нельзя так, товарищи, надо шире жить. Большой институтской жизнью жить.

Трудно сказать, что подразумевал Хохряков, когда говорил о «большой институтской жизни» — то ли, что надо выпускать стенгазету, которую не только мухи читали бы, то ли систематически проверять соцсоревнование, — одним словом, никто так и не понял, на чем он настаивал. Но в одном он был безусловно прав: группы действительно жили обособленно, каждая внутри самой себя.

Николай, например, кроме своей, знал еще параллельную группу и кое-кого со второго курса, знал своих преподавателей, Хохрякова и четырех членов бюро, знал Чекменя и его секретаршу Софочку — миловидную блондиночку, у которой всегда можно было узнать, что происходило на деканате, — и этим, собственно говоря, и ограничивался круг людей, с которыми ему приходилось сталкиваться.

Где-то там «наверху», за обитой клеенкой дверью директорского кабинета и в кабинетах его заместителей, составлялись какие-то планы, происходили совещания профессорско-преподавательского состава, кто-то с кем-то иногда там не ладил, о замдиректоре говорили, например, что он боится как огня главного бухгалтера, а тот, в свою очередь, зависит целиком от своего старшего бухгалтера, но все это на первых порах было где-то далеко «наверху», и говорилось об этом главным образом в очередях за получением стипендии. Жизнь же в основном проходила в маленькой аудитории на втором этаже, с балконом, выходящим в сад, в кабинетах — физическом и строительных материалов, да на лестнице, куда выходили покурить. Головы забиты были формулами реверберации звука, сроками схватывания цемента и ненавистными Николаю немецкими спряжениями.

Дурно это или хорошо, это уж другой вопрос, — но так было.

С этого же дня — самого обыкновенного, ничем не отличающегося от других дней, когда Чекмень выступил со своим докладом, — начались в институте события, которые вовлекли Николая в орбиту «большой институтской жизни».

Потом уж, много времени спустя, вспоминая эти дни, Николай, со свойственной ему привычкой обдумывать прошедшее, часто спрашивал себя: что было толчком ко всему тому, что произошло? И почему вдруг именно он оказался в центре этих событий, которые в конце концов могли пройти и мимо него?

Часто случается так, что событие — важное, серьезное событие — проходит мимо нас, а потом мы только ахаем и охаем: вот если б нам вовремя сказали!.. Возможно, такой зацепкой в этом деле послужил мимолетный разговор Николая с Алексеем после собрания. Правда, на следующий день, когда Николай зашел к нему, он оказался чем-то занят, и, может, на этом и закончилось бы участие Николая, а вместе с ним и Левки, и Громобоя, и Черевичного во всей этой истории, затерлись бы в своих делах, но тут, как нарочно, подвернулся Хохряков, и, вероятнее всего, если уж искать первопричину, именно с этой встречи все и началось.

Встретились на улице. Хохряков с корзиной в руках, слегка прихрамывая — у него была прострелена левая нога, — торопливо переходил мостовую. Николай догнал его.

— Ты это куда с корзиной?

— В больницу, к жене.

— Больна, что ли?

— Третий месяц уже.

Они подошли к трамвайной остановке. Николай поговорил о жене и ребенке, потом спросил:

— Скажи, а что это за разговоры насчет Никольцева? Он что, действительно уходит от нас?

— А ну их всех... — раздраженно сказал Хохряков. — С трамваями вместе. Опять передачу не примут. Шестой час уже.

Николай удивленно посмотрел на Хохрякова — он таким его никогда не видел. Тот, по-видимому, почувствовал какую-то неловкость. Перехватив корзину в левую руку — трамвай, сплошь обвешанный людьми, появился уже из-за угла, — сказал, точно оправдываясь:

— Ничего не успеваешь за день. Как белка в колесе. — И уже из трамвая, из-за чьих-то спин, крикнул: — Вечером в партбюро буду, заходи.

А часа через два, на семинаре по марксизму, Левка Хорол сообщил Николаю:

— А ты, кажется, прав. Чекмень-то твой целый день сегодня с каким-то типом возился. С низеньким таким, в очках. Заходил в лабораторию стройматериалов, осматривал там все. Очевидно, на место старика.

— А тому известно?

Левка пожал плечами:

— Вероятно.

Сидевший впереди Быстриков, всегда все знавший раньше всех, повернулся и подмигнул хитрым голубым глазом.

— Точно. Старика побоку. Молодым кадром заменяют.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю, — загадочно улыбнулся Быстриков и отвернулся.

После семинара Николай зашел в партбюро.

Хохряков, стоя у шкафа, складывал какие-то бумаги. Увидев Николая, кивнул головой: заходи, мол.

Хохрякову было уже сильно за тридцать. В институт он поступил, когда тот находился в эвакуации, прямо из госпиталя. Сейчас учился на третьем курсе. Это был на редкость спокойный (поэтому-то Николай и удивился сегодняшней его раздражительности), сильно окающий волжанин, с большими, как у Чапаева, усами и серьезными, немного утомленными глазами. Разговаривая, он всегда тер пальцами нос или лоб и, глядя куда-то в сторону, очень внимательно слушал. На лоснящемся от ветхости пиджаке его, над левым кармашком, приколот был орден Красного Знамени, полученный еще за Халхин-Гол. Других орденов он не носил, хотя имел их, кажется, не один.

Николай сел на стоящий в углу несгораемый ящик — стульев в комнате не было, унесли на какое-то собрание и, как обычно, не принесли обратно.

— Что это за тип с Чекменем ходит? — спросил он. — В очках, лысый. На место Никольцева, да?

— А почему это всех вас так интересует? — вопросом на вопрос ответил Хохряков, продолжая рыться в шкафу.

— Кого — вас?

— Ну, тебя.

— Потому, что в институте упорно говорят, что старика убирают, поэтому и интересуюсь.

— Никто никого не убирает. Разговоры.

Хохряков вынул из шкафа папку и положил ее на стол.

— А что это за человек? — спросил Николай.

— Какой человек?

— Который с Чекменем все ходит? Ты его знаешь?

— Ну знаю. Супрун его фамилия, доцент. Чекмень его очень хвалит.

Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула бритая голова Кагальницкого, председателя профкома.

— Напоминаю о чехословаках, Хохряков.

— Помню, помню. Завтра?

— Завтра, в четыре часа. Не забудь.

Бритая голова исчезла. Хохряков посмотрел на Николая.

— Тебе тоже надо будет. Чехословацкие студенты приезжают. Надень ордена и тому подобное.

— Это зачем?

— Да так уж, для парада. Чтоб видели, кто у нас учится.

— У меня лекции.

— Лекции в четыре кончаются. А они после четырех придут.

Николай ничего не ответил. Хохряков складывал какие-то бумаги в папку.

— Ну, так как же? — спросил Николай.

— Это полчаса займет, не больше. От тебя требуется надеть ордена и побриться. И ребятам скажи. А то ходят, как обезьяны.

— Нет, я не об этом. Я о Никольцеве.

Хохряков сел, вздохнул, почесал пальцем нос.

— Ну, что Никольцев? Хороший старик Никольцев, знаю...

Николай молчал. Хохряков опять вздохнул.

— Но все вы забываете, что ему все-таки семьдесят лет.

— Иными словами...

— Иными словами... — Хохряков опять почесал нос. — Трудно ему все-таки. И кафедра и лекции. Семьдесят лет все-таки, не двадцать.

— Иными словами, старика убрать, а на его место этого очкастого.

— Почему? Старик будет по-прежнему читать лекции, а на кафедру... Ты сам понимаешь, трудно ему и то и другое...

— А с ним говорили?

— Чекмень, кажется, говорил.

— Кажется, кажется... Ничего он не говорил.

Николай почувствовал, что начинает раздражаться. Ну чего он мнется? Нос чешет, перебирает бумаги.

— Ничего он не говорил. Ручаюсь тебе! Хочешь, давай сходим к нему?

Николай встал. Хохряков глянул на часы.

— Сейчас не могу. У меня в девять бюро райкома.

— Вот всегда у вас так. Обязательно что-нибудь должно помешать.

Николай посмотрел на Хохрякова. У того был очень усталый вид — худой, осунувшийся, под глазами мешки.

— Ладно, — сказал Хохряков, вставая. — Поговорим. Вот в четверг бюро будет, тогда и поговорим. — Он опять посмотрел на часы. — А теперь, прости, мне надо еще протоколы и ведомости проверить. Мизин такого там наворачивает...

5

Бюро назначено было на шесть, но Чекмень опоздал. Минут двадцать все сидели, разговаривая преимущественно о погоде: зима, мол, закругляется, и если пойдет так дальше,

то чего доброго через недельку можно будет уже и без пальто ходить.

Громобой, тоже вызванный на бюро — у него появились двойки, — сидел мрачный у окна и курил. Из членов бюро, кроме Хохрякова, за столом сидели Мизин, ассистент Никольцева Духанин и заместитель секретаря Гнедаш — бледный, с тонкими, совершенно бесцветными губами. На заседаниях он всегда сгибал и разгибал какую-нибудь проволочку или рвал лежавшую перед ним бумажку на мелкие клочки.

Потом прибежал запыхавшийся Левка Хорол, как всегда расстегнутый, красный, в сдвинутой на затылок кепке. На его присутствии, как комсорга группы и кандидата партии, настоял Николай, хотя сам Левка этого совсем не требовал.

— Ну на кой дьявол я там нужен? Без меня, что ли, не обойдутся? Затеял ты эту канитель, ну и ходи, а я тут при чем?

И стал вдруг доказывать, что вообще все это дело яйца выеденного не стоит. Он, мол, хорошо знает профессорскую среду, всегда они чем-то недовольны и на что-нибудь обижаются.

По этому поводу они с Николаем вроде как даже поссорились, и сейчас, придя на собрание, Левка прошел мимо него, сел в угол и, не глядя ни на кого, принялся листать журналы.

В половине седьмого пришел Чекмень.

— Прошу простить за опоздание, — весело, как всегда, сказал он, здороваясь за руку со всеми. — Ованесов задержал. Болтлив все-таки невероятно. — Он посмотрел на окно. — Может, откроем? Денек сегодня — май просто...

Но окно оказалось замазанным, и он просто скинул пиджак и повесил его на спинку стула.

— Ну что ж, начнем, пожалуй?

— Начнем. — Хохряков зашелестел бумагами. — Мизин, веди протокол.

Николай взял папироску, протянутую ему через плечо Громобоем, и стал слушать.

Все шло, как и положено на любом собрании, обсуждающем повседневные, очередные дела. Кто-то говорит, остальные слушают, что-то рисуют, записывают; председатель время от времени постукивает карандашом по столу, чтоб не шумели.

Говорил Чекмень. Опершись коленом о стул и держась рукой за его спинку, он говорил, как всегда, легко и свободно, весело оглядываясь по сторонам, точно в кругу своих друзей. Вряд ли он может сообщить что-нибудь новое по сравнению с тем, что он говорил на собрании. Пока еще никаких окончательных решений не принято, еще все находится в подготовительной стадии, в стадии переговоров. Тем не менее, поскольку бюро пожелало выслушать его информацию, да и — чего греха таить! — в институте и так уже слишком много говорят, он скажет то, что ему известно.

Он улыбнулся и заговорил о том, что профессора Никольцева все хорошо знают, что он крупный специалист, человек с большими знаниями, воспитавший не одно поколение инженеров, и вряд ли найдется в институте кто-нибудь, кто так ценил и уважал бы Константина Николаевича, как сам Чекмень...

Тут он сделал небольшую паузу.

— Но есть одно маленькое «но». Противное маленькое «но», с которым всем нам раньше или позже придется столкнуться.

Он заговорил о том, что Константину Николаевичу, к сожалению, не тридцать и не сорок лет, а целых семьдесят, если не больше, и, что там ни говори, это, конечно, чувствуется. Сколько бы старик ни молодился, — а этот грешок за ним есть, — ему все-таки трудновато. И незачем закрывать на это глаза. Нет-нет да и напутает что-нибудь в плане, часто допускает неточности в своей работе, не всегда умеет уловить потребности жизни. А жизнь не стоит на месте, жизнь движется вперед.

— Константин Николаевич прекрасно знает предмет... — негромко перебил Духанин, подняв голову. Он сидел рядом

с Николаем и сосредоточенно чистил бритвенным ножичком какое-то пятно на брюках.

— Знаю, знаю, Всеволод Андреевич. — Чекмень рассмеялся. — Кто же этого не знает? Но согласитесь сами: знание предмета и умение руководить — вещи все-таки различные. И если первого у Никольцева никто не отнимает — что есть, то есть, — то второе у него — ну, скажем так — не всегда получается. Короче, товарищи, чтоб вас не задерживать, я просто задам вам один вопрос: имеем ли мы право взваливать на плечи одного, притом, мягко выражаясь, пожилого, человека непосильное для него сейчас бремя, и не правильнее ли будет от какой-то части этой нагрузки его освободить, переложив ее на более молодые плечи?

Николай подумал: «Что же, как будто и верно; вероятно, действительно трудно и тем и другим заниматься...»

— Вы кончили? — спросил Хохряков.

— Кончил.

Мизин, писавший протокол, спросил:

— А кто эти молодые плечи?

— Молодые плечи — это Супрун Александр Георгиевич. Хохряков знает, я его знакомил с ним.

Кто-то из членов бюро спросил, знает ли Чекмень лично этого самого Супруна. Чекмень ответил, что знает, вместе с ним воевал, что человек он толковый, энергичный, напористый, дело знает. Потом задали еще несколько малозначащих вопросов. Чекмень ответил. Мизин старательно все записывал; он умудрился уже заполнить три тетрадные страницы и вопросительно оглядывался, не задаст ли еще кто-нибудь вопроса. Духанин оторвался от чистки своих брюк и спросил:

— А с Константином Николаевичем вы говорили об этом?

— О таких вещах обычно говорят, когда уже принято определенное решение.

— Значит, оно еще не принято?

— Насколько мне известно, решение принимает не декан, а директор. Это уж его прерогатива. Мне пока ничего не известно.

Духанин опять принялся за свои брюки.

— Ну что, будут еще вопросы? — спросил Хохряков. — Или все ясно?

Николай поднял руку. Хохряков кивнул головой.

— У меня к тебе два вопроса, Алексей Иванович, — сказал Николай, вставая. — Не можешь ли ты сказать, какие именно неточности и погрешности допускает Никольцев в своих планах, и что ты имел в виду, когда говорил, что он там чего-то не улавливает в жизни?

— Совершенно верно, — кивнул головой Чекмень. — Не всегда может уловить потребности жизни.

— Это первый вопрос. И второй: нормально ли, по-твоему, то, что до сегодняшнего дня об этом деле знает весь институт и не знает один только Никольцев?

— Что ж, могу ответить. — Чекмень встал. — На второй вопрос я ответил, по-моему, достаточно ясно, а на первый... Видишь ли, если говорить уж начистоту, то дело, конечно, не в этих погрешностях и неточностях в планах. Дело в другом. — Он слегка поморщился, как это делают всегда, когда говорят о том, о чем говорить не хочется. — Я знаю, что мне сейчас скажут. Скажут, что студенты, мол, любят старика, что он пользуется у них авторитетом и что нельзя, мол, его обижать, пусть уж дотягивает до конца. Ведь ты об этом думал, Митясов?

Николай кивнул головой.

— Так вот что я могу ответить на это, — продолжал Чекмень. — Авторитет и любовь — вещи, бесспорно, хорошие, но — давайте говорить прямо — важно еще и другое. Важно, какими путями этой любви и авторитета добиваются. Мы с вами, товарищи, не в игрушки сейчас играем. Мы заняты работой. И нелегкой работой. Не за горами конец года. Через каких-нибудь два месяца, даже меньше, — экзаменационная сессия. Одним словом, работы по горло, успевай только. И особенно тебе, Митясов, это должно быть понятно. Последнюю работу по химии еле-еле на тройку вытянул. Да и с «Основами марксизма» могло быть получше.

Николай отвел глаза. Чекмень выдержал паузу, потом продолжал:

— Одним словом, на всякого рода развлечения и шуточки у нас времени не хватает. Надо нажимать, нажимать вовсю. И вот это-то, к сожалению, не всегда доходит до сознания нашего уважаемого Константина Николаевича. Старик стал болтлив. К сожалению, это так. Говорят, болтливость — удел всех стариков. Возможно. Но когда она начинает переходить определенные границы, это, знаете ли, уже... — Чекмень развел руками, будто не находя подходящего слова. — Ну, скажите мне сами: к чему эти бесконечные паломничества к нему на квартиру? Сейчас, когда так дорога каждая минута. К чему все это? — Чекмень недоумевающе пожал плечами. — Старик ищет популярности у студентов. Ставит направо и налево четверки и пятерки, либеральничает, затаскивает людей к себе, угощает чайком с печеньем. Засоряет головы студентов всякой ерундой. А на это у нас нет ни времени, ни охоты. Одним словом, товарищи, — Чекмень заговорил совсем серьезно, — при всем уважении к профессору Никольцеву мы вынуждены сейчас отказаться от его услуг как заведующего кафедрой. Как руководитель он сейчас не годится. Это ясно. Нужен сейчас человек более энергичный, волевой, напористый, скажем прямо — с перспективами на будущее, а не в прошлое. Мы не собираемся отстранять его совсем, какие-то часы консультаций у него останутся, но... — Чекмень опять развел руками. — Мне кажется, все достаточно понятно.

Он сел на свой стул и, как всякий человек, привыкший часто выступать, посмотрел на часы. Он говорил недолго — минут семь-восемь, не больше.

Несколько секунд все молчали. Гнедаш сгребал ладонью клочки разорванной бумаги и делал из них маленький холмик. Мизин все писал и писал протокол.

И тут вдруг заговорил Левка Хорол. С того самого момента, как Чекмень упомянул о паломничестве студентов к Никольцеву, он отложил журнал в сторону, вытащил па-

пиросу, закурил, потом стал грызть ноготь — первый признак беспокойства.

— Можно мне? — глухо спросил он, вставая и подходя к столу.

Краска сошла с его лица — он был бледен, сосредоточен, от этого казался старше.

— Простите меня, товарищи, но я не понимаю, что сейчас происходит, — негромко, сдержанно начал Левка, глядя поочередно то на Хохрякова, то на Чекменя. — О чем в конце концов идет речь? О том, что профессору Никольцеву трудно в его возрасте руководить кафедрой или о том, что он разлагает молодежь? Простите, Алексей Иванович, но я именно так вас понял. И вообще, какое отношение к заведыванию кафедрой имеет хождение студентов к Никольцеву на дом? И почему это хождение рассматривается как некий криминал?

Громобой, пересевший поближе к Николаю, задышал ему в ухо:

— Что это — криминал?

— Молчи — потом.

Левка посмотрел на Громобоя — тот улыбнулся и закрыл рот рукой, — потом перевел взгляд на Чекменя и, глядя ему прямо в глаза, продолжал:

— Вот вы говорили про чаек с печеньем. С какой-то брезгливостью говорили. Зачем? Зачем вы об этом говорили? При чем тут чай с печеньем? Сначала вы упоминаете о каких-то погрешностях в планах, потом о неумении идти в ногу с жизнью — это все-таки какие-то доказанные или недоказанные, но, во всяком случае, обвинения, — и вдруг все упирается в чай. — Он огляделся по сторонам — Вы что-нибудь понимаете, товарищи? Я — ничего.

Все молчали. Чекмень иронически улыбнулся.

— Да! Еще одна деталь. Весьма любопытная деталь. Что значит, что за Никольцевым останутся какие-то часы консультаций. А лекции? Вы, значит, его и с лекций собираетесь снять? А кто их читать будет? Супрун? Все тот же Супрун, напористый и энергичный, о котором вам, оче-

видно, больше нечего и сказать. А мы ведь не футбольную команду подбираем.

Он посмотрел на Чекменя, и в светло-голубых, обычно веселых глазах Хорола появилось выражение, которого Николай до сих пор никогда у него не замечал — пренебрежительно-брезгливое.

— И неужели вам не стыдно, Алексей Иванович? Неужели вы не испытываете неловкости, когда обо всем этом говорите? Трудно даже поверить.

Он кончил как-то неожиданно, на полуслове, провел рукой по торчавшим во все стороны волосам и вдруг направился к своему месту.

Чекмень улыбнулся. Он сидел на стуле, свободно перекинув руку через спинку. Хохряков вопросительно взглянул на него, но Чекмень только кивнул головой и повел бровями, что должно было обозначать, что, когда все выступят, он скажет свое слово. Хохряков посмотрел на Николая.

— Ты?

Николай встал. Как ему казалось, говорил он очень плохо. Почему-то волновался, не находил нужных слов, перескакивал с одного на другое, и все это слишком громко, возбужденно. В двух или трех местах запнулся. В основном он пытался объяснить, почему студенты любят Никольцева. Говорил о том внимании и интересе, с которым студенты слушают его, об умении его к концу лекции все сжато суммировать, облегчая составление конспекта. Говорил — и понимал, что все это не то, что надо о чем-то другом, а другое не получалось.

Чекмень спокойно слушал, изредка иронически поглядывая на Николая.

Потом выступил Духанин. Высокий, нескладный, в узкоплечем пиджаке, измазанном мелом, он говорил сдержанно, не полемизируя с Чекменем, давая оценку Никольцеву как своему руководителю. О «чае с печеньем» тоже упомянул, сказав, что не видит в этом ничего дурного: «Почему студентам и не провести вечер у старика и не послушать его рассказов? Видел он много и рассказать об этом умеет».

Когда он кончил и, неловко цепляясь за стулья, вернулся на свое место, поднялся Чекмень.

— За какие-нибудь двадцать минут слово «чай» было повторено по крайней мере раз десять, — поправляя часы на руке, начал он. — Согласен с вами, дело, конечно, не в этом напитке. И когда я говорил о нем, я говорил, конечно, фигурально. Меня не поняли. Придется, очевидно, поставить точки над «i». Об этом не хотелось говорить, но, видимо, придется. Товарищ Хорол, — он сделал легкий поклон в его сторону, — очень темпераментно здесь выступил, обвиняя меня в нелогичности, в каком-то, очевидно, передергивании, озлобленности. Одним словом, не декан, а зверь. Нет, товарищ Хорол, я не зверь, а именно декан. И, как декан и как коммунист, отвечаю за студентов. Целиком отвечаю. И вот когда эти самые студенты, люди молодые, во многом еще не устоявшиеся, проводят целые вечера у человека, который... Не будем закрывать глаза — мы знаем профессора Никольцева как хорошего специалиста, но грош цена этому специалисту, если он не умеет строго, по-деловому подойти к студентам. Бесконечные пятерки Никольцева только разбалтывают людей, отбивают у них охоту заниматься, рождают недоучек. А то, что вместо знаний преподносит он им у себя дома, все это — ну, как бы сказать точнее... Человек все-таки — вы все это прекрасно знаете — два с половиной года провел в оккупации. Два с половиной года! Говорят, что он, мол, отказался от какой-то должности, которую ему предлагали в Стройуправлении. Может, это и верно. Но почему он отказался? Кто это знает? Кто может об этом рассказать? Люди, остававшиеся при немцах? Простите меня, но я таким людям не верю. А на какие средства он жил? Говорят, продавал книги? Простите меня, но я и этому не верю. На одних книжечках два с половиной года не проживешь. Да еще в таком возрасте. И вообще... — В голосе Чекменя послышалась вдруг резкая, несвойственная ему интонация. — И вообще, чтоб прекратить этот затянувшийся, бессмысленный спор, должен вам сказать...

Но сказать ему не удалось. Громобой вдруг поднялся и, упершись руками в спинку стула, перегнувшись через нее, весь красный, с надувшимися на шее жилами, не сказал, а выпалил:

— Старика прогнать хотите? Да?

Хохряков стукнул кулаком по столу.

— Громобой, Громобой! Спятил, что ли?

— Не спятил, а... Пусть только попробует старика убрать. Пусть только... — Он хотел еще что-то сказать, но подходящих слов не нашел. Покраснел еще больше и сел на свое место.

6

Весь вечер в «башне» только и разговора было, что о бюро. Громобой, красный и возбужденный, расхаживал в тесном пространстве между четырьмя койками и столом, грозился расправиться с Чекменем («по-нашему, поростовски, чтоб охоту отбить»), порывался куда-то идти. Николай сначала слушал, потом разозлился и прикрикнул на него. Громобой обиделся, надулся, лег на кровать и мгновенно заснул. Левка прикрыл его одеялом. В противоположность Громобою, он не так возмущался Чекменем, как Хохряковым.

— Чекмень — понятно, — говорил он, стоя в пальто и шапке в дверях и все не уходя. — Он корешка своего устраивает. И вообще у него что-то там, кажется, с Никольцевым из-за кафедры произошло...

— Ну, это со слов Быстрикова, — перебил Николай. — Источник не слишком верный.

— Ну и бог с ним, я не о нем сейчас, я о Хохрякове. Вот кто меня удивляет. Секретарь бюро называется!.. На его глазах обливают грязью человека, а он, вместо того чтобы встать и стукнуть кулаком по столу, сидит и рисует что-то на бумажке. А потом унылым голосом заявляет, что Чекмень, мол, дал не совсем правильную оценку Никольцеву. Не совсем...

Антон, завернувшись в одеяло (знаменитый его обогревательный прибор из канализационной трубы вдруг вышел из строя), сидел на кровати и, как человек мирный, больше всего в жизни ненавидевший скандалы, только сокрушался, глядя на всех своими печальными, всегда немного удивленными глазами.

— Кому все это нужно? Неужели нельзя жить мирно, дружно? Кончилась война, а тут, пожалуйста, между собой грызню заводят. Непонятные люди...

Витька Мальков в споре не принимал участия. Человек он был флегматичный, в высшей степени трезвый и на вещи смотрел с чисто философским спокойствием.

— И охота вам нервы портить, — говорил он, заворачивая остаток сала в бумагу. — Первый час уже. А завтра контрольная. Тушите свет. Хватит!

Свет в конце концов потушили. Легли спать.

Николай долго еще ворочался. Даже сейчас, после всего, что произошло на бюро, он пытался найти какое-то оправдание Алексею. Ведь, что ни говори, он знает его лучше, чем другие. Алексей упрям, не переносит, когда ему перечат, в пылу спора может брякнуть лишнее, но чтобы он был способен на подлость... И из-за чего? Из-за того, что, по словам этого трепача Быстрикова, старик отказался принять его к себе на кафедру? Чепуха! На Никольцева это, правда, похоже, старик упрям, как пень. Но чтоб Алексей из-за этого стал обливать его грязью — не может быть! Этот Быстриков всегда все раньше и лучше других знает...

Но тут же всплывали в памяти последние слова Алексея, грубые, резкие и, если уж говорить то, что есть, смахивающие просто на ложный донос. «На одних книжечках два с половиной года не проживешь». Что ж, Никольцев в гестапо служил? Это он хотел сказать? И неужели он сам этому верит? Ведь все знают, что старик при немцах чуть не умер с голоду — последние месяцы пластом лежал, об этом и Степан, институтский сторож, рассказывал, — но работать к немцам не пошел. И вообще, почему все приняло та-

кой нелепый оборот? Не из-за Левки же! Левка правильно говорил. Ерунда какая-то...

После лекции Николай зашел к Алексею.

Тот стоял над своим столом в накинутой на плечи шинели — очевидно, собирался уже уходить, — складывал какие-то бумаги в папку. Увидев Николая, мрачно посмотрел на него.

— Хорошо, что пришел. Поговорить надо.

— Для того и пришел, — так же мрачно ответил Николай.

Алексей старательно завязывал шнурки папки.

— Ты можешь мне объяснить вчерашнее твое поведение? — спросил он, не глядя.

— А ты свое — можешь? — в тон ему спросил Николай.

— Могу.

Алексей сунул папку в ящик, щелкнул замком и подошел к Николаю.

— Могу! А вот ты — не знаю. Все-таки можно было догадаться, что когда выступает член бюро, то делает он это не только на свой страх и риск. И если выступает, то, очевидно, перед этим все-таки кое с кем проконсультировался, поговорил. Неужели это так трудно понять?

— Очевидно, трудно, — сказал Николай.

— Я думал, ты умнее.

— Как видишь, нет.

Алексей вдруг рассмеялся.

— Ох, Николай, Николай!.. Смешной ты все-таки парень. Иногда вот смотрю я на тебя — жаль, что редко теперь видимся, — и думаю: парень как парень, а чего-то в тебе не хватает.

— Ума, очевидно. Сам сказал.

— Нет, не ума. Парень ты неглупый. А чего-то вот нет. Сам не пойму чего. Жизнь прожил нелегкую, воевал, — что к чему как будто должен знать. А вот...

Он, точно оценивая Николая, прищурил один глаз и посмотрел на него. Тот молча сидел на подоконнике и внимательно разглядывал кончик папиросы.

— Вот заступаетесь вы за старика. Похвально, ничего не скажешь. Со стороны смотреть, даже приятно. Старика, видите ли, обижают, а мы вот его в обиду не даем. Вот мы какие! А спросить вас, для чего вы это делаете, вы толком и не ответите. Ну, я понимаю еще, Хорол, интеллигентский сынок. Тянется к профессорам. Кастовое, так сказать. Но ты — простой парень, фронтовик... Погоди, погоди, не перебивай!

Алексей присел к Николаю на подоконник, поставил ногу на стул.

— Ну, посуди сам. Старику семьдесят лет. Многого он не понимает, что поделаешь? Девятнадцатый век... Иногда такое ляпнет на совете, что мы только переглядываемся. Говоришь ему: нельзя, Константин Николаевич, двоек не ставить, за это нас тягают. А он только брови поднимает: люди, мол, только с фронта пришли, нельзя их сразу же и резать. И упрется, как бык, с места не сдвинешь.

— Все это я прекрасно понимаю, — сказал Николай, поднимая голову. — Но если уж...

— Нет, не понимаешь. Не понимаешь самого простого. Сел бы на мое место и сразу понял бы. Самые элементарные вещи до старика просто не доходят. Отстал от жизни по меньшей мере на пятьдесят лет, если не на все сто. Забывает, что сейчас все-таки сорок шестой год, а не какой-нибудь там шестьдесят шестой прошлого века — Алексей хлопнул Николая по коленке, словно ставя точку. — Так что напрасно вы, друзья, в бутылку лезете. Поверь мне, в этих вопросах нам все-таки кое-что виднее, чем вам.

Николай рассеянно смотрел в окно. Казалось, его больше всего интересуют сейчас гонявшиеся друг за другом по улице мальчишки.

— Хорошо, — сказал он наконец, повернувшись. — Допустим, что так. Ответь мне тогда на такой вопрос. Правда или нет, что Никольцев отказался принять тебя к себе на кафедру?

Алексей соскочил с подоконника, сунул руки в карманы шинели. Рассмеялся неестественным, деревянным смехом, каким смеются, когда смеяться совсем не хочется.

— Понятно... Нашли уже, значит, причину. Ну что же, пусть будет так...

Он подошел к столу, поискал ключ, один за другим запер все ящики, проверил их, снял с вешалки свою ушанку.

— Ну, а ты как? — сказал он, подходя к Николаю. — Рад уже? Развесил уши?

Николай смотрел куда-то мимо него.

— Нет, не рад, Алексей. Совсем не рад.

— Чему не рад? Ну вот скажи мне, чему не рад? — Алексей стоял, засунув руки в карманы шинели и позванивая ключами. — Тому, что мы хотим укрепить наш институт? Этому ты не рад? Тому, что из армии наконец возвращаются люди — настоящие, крепкие, наши люди, люди, на которых можно опереться, люди, которым мы верим. Верим потому, что рядом с ними воевали, за одно воевали. Этому ты не рад? Что ж, твое дело, а мы будем драться за них. И если надо, пожертвуем даже никольцевыми, несмотря на все их знания и прочие там заслуги. Пожертвуем, потому что самое важное для нас сейчас — это сделать побольше инженеров, — из вас сделать, из тебя. И сделаем, поверь мне. Только делать будем своими руками. Не чужими, а своими, понял?

Алексей большими шагами ходил по комнате, задевая шинелью какие-то лежащие на столе чертежи, роняя их на пол, но не обращая на это внимания.

— И то, что ты сейчас защищаешь Никольцева, хочешь ты этого или не хочешь, но этим ты только оказываешь нам медвежью услугу. Неужели ты этого не видишь? Удивляюсь, честное слово, удивляюсь! Ведь он не наш человек, пойми ты это, не наш!

Алексей остановился вдруг перед Николаем — тот все еще сидел на подоконнике, — несколько секунд молча глядел на него, потом сказал с легкой усмешкой:

— Ты думаешь, я не понял, почему ты о кафедре заговорил? Не пускает, мол, туда, вот я и мщу ему за это. Так ведь? Думаешь, я не понял, к чему это? Все понял. И, если хочешь знать, плевал на это. Чего надо, я добьюсь, поверь

мне! Но раз уж заговорили, так давай говорить. Ведь не пускает же, факт. Окопался на своей кафедре и сидит, как медведь в берлоге.

— А Духанин? Как-никак он все-таки член бюро.

Алексей только рукой махнул.

— Член бюро... Горе он наше, а не член бюро. И как его только выбрали? Черт его знает. Судак вяленый. Погряз с потрохами в своей лаборатории, клещами не вытащишь. Потому его Никольцев и терпит. Ученый, видите ли! Сидит сутками над иглой Вика и растворами. И никуда носа не сует. А мы суем. Вот в чем загвоздка. Мы таким, как Никольцев, мешаем, раздражаем их, мы им чужие. Понимаешь — чужие...

— Кто это мы? — тихо спросил Николай.

— Мы? — Алексей, сощурившись, посмотрел на него. — Мы, это мы, советские люди.

Николай поднял голову и посмотрел Алексею в глаза.

— А они, значит, не советские? Так, по-твоему? И поэтому их надо поливать помоями?

Алексей резким движением запахнул шинель и прошел к двери.

— Знаешь что? Если ты уж действительно так глуп, то говорить мне с тобой не о чем. Уходи!

Глаза его стали совсем маленькими, колючими. Лицо покраснело.

— И вообще можешь меня не учить. Обойдусь как-нибудь и без тебя. Лучше своих болтунов поучил бы, как на бюро себя держать. Того истерика давно уже пора гнать из института. И держим-то только из-за тебя. Чтоб не срамить тебя и твою группу. Думаешь, я не знаю, что у него там с физиком произошло? Все знаю. Тоже герой нашелся. Защитник угнетенных.

Николай молча, не мигая, смотрел на Алексея. Потом сказал очень тихо:

— Я не о нем говорю... Я о Никольцеве.

— А при чем тут ты, в конце концов?

Алексей стоял красный, в расстегнутой шинели, в сдвинутой набок ушанке.

— А при том, что я коммунист и был на бюро и слыхал, что ты там говорил, — делая ударение на каждом слове, сказал Николай.

— Что? Ну, что говорил?

— Ты лучше меня знаешь. Про оккупацию, про чай с печеньем. Зачем?

— А что, неправда? Не проторчал он три года в оккупации? Как миленький просидел. И черт его знает, чем еще там занимался. Книжечки продавал! Знаем мы эти книжечки. Статейки в газетах их сволочных небось пописывали, большевиков ругали, а потом, как наши стали приближаться, сразу вот такие вдруг оказались борцами за Советскую власть. Врут они все! Все, кто в оккупации был...

— И Шура была. И Черевичный был. Они, по-твоему, тоже врут?

— Это какой же Черевичный? Припадочный твой, долговязый? — Алексей рассмеялся. — Не лучше других, поверь мне. И обморокам его не верю. Липа все. Сплошная липа. Три четверти из них добровольно сдавались. Те, кто хотел...

Докончить ему не удалось. Николай соскочил с подоконника, схватил Алексея за грудь, за гимнастерку, рывком потянул к себе и с размаху ударил его по щеке — раз и два...

7

Когда Николая спрашивали, что он собирается сейчас предпринять, он отвечал:

— Ничего.

— То есть как это ничего?

— А вот так, ничего.

— И в райком не ходил?

— Не ходил.

— Странный ты человек. Что за пассивность?

— Пассивность или не пассивность, а ходить никуда не буду.

Спрашивающий пожимал плечами и отходил. Человека собираются исключать из партии, а он ходит себе по-прежнему в институт, готовится к лекциям. Чудак человек!

Громобой из-за этого даже разругался с Николаем, а Левка сказал, что если Николай не пойдет в партком, то он сам отправится к Курочкину и поговорит с ним обо всем. Даже тихий, мирный Антон удивлялся:

— Не понимаю я тебя, ей-богу, не понимаю.

Николай отмалчивался. Ему не хотелось спорить.

Внешне он был совершенно спокоен. В перерывах между лекциями разговаривал о стипендии, о Софочке, о первых троллейбусах, пошедших по городу, даже о Никольцеве, о котором рассказывали, что он подал заявление об уходе и по одной версии директор его подписал, а по другой — отказался. Но это не было спокойствием. Не было даже той внешней сдержанностью, которой пытаются часто скрыть горечь, или обиду, или злость. Это нельзя было назвать ни горечью, ни обидой, ни злостью. Ничего этого не было. Было что-то другое. Что-то более всего похожее на то, что ощущает человек, когда его ранят. Николай, например, когда его подстрелили в Люблине, не испытывал ни боли, ни страха, ни даже слабости (он сам дошел до медсанбата, находившегося в пяти километрах от города), просто было чувство какого-то недоумения. Вот была рука, и нет ее — висит как плеть. Даже пальцами не пошевельнешь. Так вот и сейчас.

Впрочем, не совсем так...

Когда на партбюро, созванном по настоянию Чекменя в тот же день, через час после всего случившегося, Николая спросили, осуждает ли он свой поступок, он сказал: «Нет». И сказал это после того, как Хохряков, отведя его перед бюро в сторону, посоветовал осудить свой поступок и извиниться перед Чекменем. Ребята потом говорили Николаю, что он вел себя неправильно, что в конце концов хотя Чекмень и получил по заслугам (Николай в подробности не вдавался, сказал, что ударил за Никольцева, и все), но лицо он все-таки официальное, декан, член бюро, и настаивать на

том, что именно так надо было поступить, просто глупо. Но разве Николай настаивал? Просто не осудил. Дал и дал. Так ему, мерзавцу, и надо.

И вот именно в этом «дал и дал, так ему, мерзавцу, и надо» заключалось отличное от ощущений после ранения, если уж продолжать эту параллель. Там он совершенно точно знал, что поступил опрометчиво: незачем было перебегать площадь, когда на чердаках сидят автоматчики. Поступил глупо, по-мальчишески. А сейчас? Дал и дал. Так ему, мерзавцу, и надо. Николай не испытывал никакого раскаяния.

Это было первой, непосредственной реакцией. Потом все пошло вглубь.

Ну хорошо, думал Николай, допустим, он виноват. Даже не допустим, а действительно виноват. Он ударил человека и за это должен понести наказание. Какое — другой вопрос, должен, и все. Но почему же, черт возьми, никто на бюро не поинтересовался, за что он ударил Чекменя? Сам он не мог об этом говорить. Не мог и не хотел. Свидетелей при их разговоре не было, доказательств того, о чем они говорили, тоже нет, поэтому он и говорить об этом не будет. Пусть Чекмень расскажет, если ему не стыдно. Так он и сказал на бюро. Но Чекмень промолчал. Сидел в углу и молчал. Духанин, правда, попытался что-то спросить, но Гнедаш его сразу обрезал: «Что и отчего, нас сейчас не интересует. Речь идет о хулиганском, безобразном поступке, несовместимом с высоким званием члена партии. Вот об этом и будем говорить». Бельчиков и Мизин его поддержали. Хохряков тоже выступил против, хотя потом, когда голосовалось предложение Гнедаша — исключить из партии, не поддержал его, а голосовал за строгий выговор с предупреждением. Духанин тоже был за выговор. Чекмень в голосовании участия не принимал.

Потом, после бюро, Хохряков подошел к Николаю.

— Сходил бы ты все-таки в партком к Курочкину, поговорил бы... Видишь, как дело повернулось. Нехорошо повернулось.

— Больше, чем на бюро, не скажу. Пусть собрание решает.

Ребята за это тоже на него злятся. Уперся, мол, гордость свою показывает. Чудаки! А при чем тут гордость? Никакой гордости нет. Захочет Курочкин — вызовет, а раз не вызывает — что ходить.

На следующий день совершенно неожиданно подошла к нему в коридоре Валя. С таким же лицом, какое у нее было на балконе в последний раз, спокойно сказала:

— Я слыхала о том, что вчера было. Надеюсь, ты не будешь оправдываться?

— Не собираюсь, — ответил Николай и тут же спросил: — А если б стал?

— Это уж твое дело. Я бы не стала. Тебе не в чем оправдываться.

— То есть как не в чем? — Николай даже улыбнулся. — Ведь я, в некотором роде, все-таки...

Валя сердито на него посмотрела.

— Ничего смешного тут не вижу, — повернулась и пошла.

Вечером того же дня он опять встретил ее. При выходе из института. Но она прошла мимо, даже не посмотрев на него.

Партийное собрание, на котором должен был обсуждаться поступок Николая, назначено было сначала на четверг, а потом по каким-то причинам перенесено на пятницу.

В этот день Николай не пошел в институт. К десяти ему надо было на ВТЭК для очередного переосвидетельствования, а после ВТЭКа какие уж там занятия! Да и вообще захотелось побыть одному. Стала вдруг тяготить участливость товарищей. Трогала и в то же время тяготила. Левка приглашал на какой-то вечер в педагогический институт, Антон прибил набойки к сапогам и попришивал все пуговицы на шинели, на что у Николая за зиму не нашлось времени. Даже Витька Мальков и тот вдруг стал угощать салом. О собрании все молчали, как сговорились. Один только Громобой подмигнет иногда и скажет:

— Да, брат, переиграл тебя Чекмень, — и вздохнет.

Николай и сам понимал это. Понимал, что всей этой историей он нисколько не помог Никольцеву, напротив — он отвел внимание на себя, на свой поступок, и теперь, вместо того чтоб нападать, вынужден сам держать ответ, ответ перед партсобранием...

В институте многие оборачиваются на Николая. Что и говорить, популярность не слишком соблазнительная. Николай с особой остротой почувствовал это сейчас, когда страсти несколько поулеглись и случившееся стало видно в какой-то перспективе. И то, что Курочкин, секретарь парткома, не вызвал его к себе, тоже тяготило. Ни Курочкин, ни директор, хотя в решении бюро есть пункт: «поставить вопрос перед дирекцией о возможности дальнейшего пребывания Митясова в институте». Но вот не вызывает... И хотя Николай по-прежнему своего решения ни к кому не ходить не менял, сейчас это уже было только упрямством.

Ребята, как всегда, к девяти ушли в институт. Николай до их ухода лежал, делая вид, что спит, хотя проснулся часов в шесть, когда было еще совсем темно. Никто его не будил, ходили на цыпочках, говорили шепотом. Потом ушли. Николай встал, сбегал за теплой водой, побрился. Потом подшил свежий подворотничок, начистил сапоги. Подсчитал деньги — на баню и стрижку хватит.

В бане повезло. Парилка работала, и Николай вместе с каким-то кряхтевшим от наслаждения стариком поддавали пару, а потом растирали друг другу спины. Старик похлопывал себя по животу и долго потом, красный как рак, сидел в раздевалке и вспоминал с таким же, как он, стариком банщиком в клеенчатом переднике, как банились в старину и почем было мясо, почем пуд овса.

После бани, посвежевший и немного расслабленный, Николай отправился на комиссию.

В поликлинике, как всегда на ВТЭКе, толпилось несметное количество народу. Слонялись по коридорам, курили, в который уже раз рассказывали друг другу, где кого ранило.

Только к двум часам Николай попал в кабинет. Старенький, подслеповатый врач-невропатолог, в белой шапочке и очках полумесяцем, заставил его несколько раз сжать и разжать кулак, пощупал кисти, потом бицепсы на обеих руках.

— Любопытно, даже травматической атрофии нет. Физкультурой, что ли, занимаетесь?

— Вроде как, — ответил Николай.

— Небольшой тендовагинит на правой кисти еще есть, но это пройдет. — И взглянул на Николая поверх очков. — Ничего не скажешь, — годен. Что ж, можете опять воевать, молодой человек. — Он улыбнулся. — Надеюсь только, что не скоро придется.

Николай тоже улыбнулся, подумал: «Не дальше, как сегодня вечером, придется», — застегнул гимнастерку, ремень и вышел.

Стоял первый по-настоящему теплый весенний день, какие бывают на Украине в марте месяце, — ясный, ослепительно голубой, с веселыми ручейками вдоль тротуаров, первыми подснежниками и таким одуряющим воздухом, что в голову начинают лезть всякие глупые мысли и меньше всего хочется думать об институте и о всем с ним связанном.

Николай давно так не гулял — просто так, без дела. Нижняя часть бульвара Шевченко, против крытого рынка, обнесена забором. Возводится пьедестал для памятника Ленину. Николай подумал, что место не очень удачное: вот бы где-нибудь над Днепром, чтоб отовсюду видно было! Он пошел в сторону Днепра. Вдоль всей улицы разбирали завалы. Вокруг экскаватора — они недавно только появились — стояли толпы и смотрели. Николай тоже постоял. Потом смотрел, как устанавливают фонари. О них, об этих фонарях, очень высоких, на гранитных постаментах, много говорили в городе. Говорили, что каждый из них стоит не то двадцать, не то сто двадцать тысяч и что лучше б вместо них построили несколько домов. Но Николаю фонари понравились — сразу стало как-то похоже на улицу.

Горластый мальчишка в отцовской ушанке с примятым мехом на месте бывшей звездочки, надрываясь, предлагал всем крохотные букетики подснежников. Стоили они по рублю. Николай порылся в карманах и нашел сорок копеек.

— Ладно, берите...

Николай понюхал букетик. Пахло травой. Весна... Скоро лед тронется. И саперы будут его взрывать. И, как в прошлом году, все будут прислушиваться к взрывам, и каждый что-нибудь скажет о войне. В прошлом году в это время она еще громыхала. Где-то в Польше, в Германии. А сейчас вот фонари ставят, натягивают троллейбусный провод, садовники ходят с кривыми ножницами на длинных палках и обрезают ветки на молоденьких липах. Их посадили прошлой осенью. Привезли в ящиках и посадили.

Весна...

А за весной лето. В июне экзамены. Потом практика, каникулы. Совсем недавно еще строили планы, как и где их проводить. Антон приглашал к себе — у него там домик, Донец недалеко; Левка соблазнял Кавказом, мешки за плечи — и куда глаза глядят. На прошлой неделе еще говорили...

Дойдя до площади Сталина, Николай пошел вверх, мимо Верховного Совета, Арсенала, по разрытой Никольской, где перекладывали трамвайные пути, потом повернул налево, вниз по тополевой аллее, к Аскольдовой могиле. Здесь пахло землей, древесной корой и еще чем-то, вероятно просто весной. Сквозь деревья белеет скованный льдом Днепр. Но по тропинкам на льду никто уже не ходит — запретили, видно.

Морячок в кургузом, в обтяжку, бушлате фотографирует девушку. Девушка облокотилась о гипсовую вазу, повернув голову в сторону: очевидно, считает, что в профиль она лучше. В руках у нее такой же, как у Николая, букетик подснежников. Волосы медно-рыжие, совсем как у Вали. Только Валя красивее — улыбкой, взглядом, черт его знает чем. Особенно когда смеется — раскраснеется вся, и волосы как будто ярче становятся. И в последний раз она тоже была красивая, хотя и не смеялась. Серьезная такая, брови

сдвинула, и только чуть-чуть губы дрогнули, когда сказала: «Ничего смешного тут не вижу...»

Милая Валя... Милая, смешная Валя, сержант рыжий... Была б ты сейчас здесь! Сейчас, сегодня...

Морячок подошел к Николаю и попросил щелкнуть их вдвоем с девушкой. Показал, куда надо смотреть и где нажать. Потом отошел и ловко вскочил на вазу. Девушка у его ног. Николай щелкнул, морячок поблагодарил.

— А день-то какой, а? Всем дням день.

И улыбнулся. Улыбка у него была хорошая, весенняя, такая же, как день.

Да, всем дням день. Солнечный, ясный, прозрачный.

А вечером соберутся в физической аудитории, — в ней всегда проводят собрания, — и Мизин будет вести протокол, Гнедаш рвать бумажки, Бельчиков сумрачно на всех смотреть, а Хохряков...

8

Вчера у Николая произошел разговор с Хохряковым. Разговор довольно странный и неожиданный. Встретились они в коридоре поздно вечером. Все уже спали. Хохряков на корточках сидел возле «титана» и подбрасывал сырые щепки. Щепки шипели, трещали, горели плохо.

— Как жена? — спросил Николай.

— Ничего, спасибо, — ответил Хохряков, выгребая из поддувала золу. — Дома уж. Вчера перевез.

— Ну вот и хорошо, — сказал Николай и подсел.

Несколько минут оба молчали, глядя на огонь. Потом Хохряков спросил, не поворачивая головы:

— Так и не ходил к Курочкину?

— Нет.

— Напрасно. Он парень хороший.

Николай мрачно улыбнулся.

— Да, по-твоему, и Чекмень хороший. — И вдруг, глядя прямо на Хохрякова, спросил: — А чего вы все его боитесь?

— Боимся? Кто боится?

— Да все вы. И ты, и Гнедаш твой, и Мизин, и Бельчиков. Все боитесь. Смотреть стыдно было. На ваших глазах с человеком расправляются, а вы рисуночки на бумажках рисуете...

Хохряков молчал. Сжав губы, смотрел на огонь. Николаю вдруг показалось, что Хохряков может расценить его внезапно вспыхнувшую злость как обиду.

— Ты не думай, что я из самолюбия, — сказал он. — Расчехвостили, мол, меня, вот я и обиделся. Нет. Ей-богу, нет! Просто понять тебя не могу. Ну вот не могу... Непонятный ты для меня человек.

Хохряков помолчал, очевидно ожидая продолжения, потом, поскольку его не последовало, сказал:

— Может, объяснишь все-таки.

Николай пожал плечами. Ему вдруг вспомнился эпизод, свидетелем которого он был год тому назад, когда работал еще в райжилуправлении. Этот случай его тогда поразил, и он долго потом о нем думал. Сейчас он опять всплыл в памяти.

В райжилуправлении их было тогда всего два члена партии. Прикреплены они были к довольно большой партийной организации Музфабрики. И вот на одном партийном собрании обсуждалось неэтичное поведение коммуниста Серебрякова, бухгалтера из управления фабрики. Николай, как сейчас, помнит этого маленького, неказистого человека, в синей застиранной рубашке и потрепанном пиджаке, стоявшего на трибуне, бледного, взволнованного, поминутно пьющего воду. Его обвиняли в том, что он бросил жену с тремя детьми, отказывается платить алименты, а сам женился на другой и живет с ней припеваючи. Здесь же была и жена — толстая, краснолицая женщина в пуховом платке, говорившая жалобным голосом на одной ноте и рисовавшая своего бывшего мужа как изверга, тирана, мота и распутника. Глядя на самого Серебрякова — маленького, растерянного, в оборванном своем пиджачишке, трудно было поверить всему тому, что говорила бывшая супруга о его прошлой разгульной жизни и о том, что он теперь, мол, живет при-

певаючи. Но и она, и роскошный громогласный мужчина в очках — заместитель директора Калюжный, и еще два-три человека поменьше калибром с таким азартом доказывали вину Серебрякова, что у присутствовавших на собрании начинало складываться впечатление, что Серебряков действительно распутник, изверг и негодяй.

Рядом с Николаем сидел голубоглазый малый в военной форме без погон, с бесчисленным количеством планок на груди. Он внимательно слушал, поминутно закуривал, а один раз у него даже вырвалось:

— Свернут-таки ему шею, сволочи...

В перерыве Николай подошел к нему. Он с ним был уже знаком по предыдущим собраниям, как-то раз даже распил бутылку пива, и парень, в общем, понравился Николаю — воевал в Севастополе, несколько раз был ранен.

— Ты хорошо знаешь этого самого Серебрякова? — спросил его Николай.

— Серебрякова? Конечно, знаю. Мухи не обидит.

— Значит, все, что здесь говорят...

— Чепуха! Сплошная чепуха. Счеты сводят... Грязная, в общем, история.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что не Серебряков бросил жену, а она его, потому что он не захотел помогать замдиректору в его комбинациях, которые должны были принести определенные выгоды и замдиректору и бухгалтеру, а заодно и его жене. Оказалось, что деньги он регулярно пересылает жене без всякого суда, по доброй воле, но он мешает замдиректору, и тот хочет от него избавиться и вот привлек даже бывшую жену. Об этом мало кто знает, но он, Кудрявцев, — так звали парня — в курсе всего и...

— Одним словом, ополчилась вся эта шайка на беднягу Серебрякова, и будет ему крышка. Факт.

— Так чего ж ты молчишь? Выступи и скажи.

Парень удивленно на него посмотрел.

— Спасибо тебе в шапочку. С Калюжным только спутайся... Нет уж, как-нибудь без меня обойдется. Если

хочешь, можешь выступить — ты здесь человек чужой, а я тебе все рассказал.

Дело, правда, кончилось и без вмешательства Николая, кончилось довольно плачевно для Калюжного: ему влепили строгий выговор и сняли с работы, но Николай на всю жизнь запомнил этого красивого голубоглазого парня с его планками на груди, парня, который, видно, неплохо воевал и так искренне удивился предложению Николая.

Вот этого-то парня невольно и вспомнил сейчас Николай, глядя на Хохрякова, на его орден боевого Красного Знамени, на орден, который не так просто было получить.

Николай не рассказал этой истории Хохрякову — пожалел его. Он только сказал:

— Не понимаю я тебя. Войну провоевал, и как будто не плохо провоевал, а сейчас...

— Что сейчас? — тихо спросил Хохряков.

— Другие, когда надо, воюют и сейчас. А тебя я что-то не пойму.

Прошел мимо, шлепая надетыми на босу ногу калошами, маленький Кунык из Николаевой группы, потом вернулся обратно.

— Беседа у костра, да?

Хохряков молча кивнул головой и, только когда в конце коридора хлопнула за Куныком дверь, заговорил:

— Непонятный, значит, человек? Да? Кто его знает, может, и так, не знаю. Но как подумаешь... Иной раз лежишь вот так дома... И всякие мысли лезут. С проектом не ладится, и по статике тройку получил. С других требуешь, а сам — вот в глаза людям стыдно смотреть. Прожил ты тридцать восемь лет, и за эти тридцать восемь лет в четырех войнах участвовал, и шесть раз был ранен, и черт его знает, сколько осколков в тебе еще сидит. А живешь дурак дураком, дубина неотесанная. И читать надо. И в райкоме нажимают... — Он протянул руку: — Дай-ка я докурю. И вот лежишь так, в темноте, и голова трещит от всего этого. А утром встанешь — и начинается. То то, то се, то пятое, то десятое... Ты

не думай, что я оправдываюсь. Просто так, прорвалось както. Обидно...

Хохряков говорил медленно, глухим, усталым голосом. Говорил о войне. Почти всю жизнь он провоевал. С двенадцати лет, когда потерял отца и мать, прилепился к проходившей части. Почти до самой Варшавы дошел. Потом коллективизация, кулачье. Две пули заработал, сюда и сюда. Рано женился, дети, жена все болеет. Потом Халхин-Гол, Финляндия, три года сейчас. Мирной жизни почти не видел. Воевал и думал: вот кончится все это, и тогда-то... Хоть бы теперь передохнуть, институт кончить, человеком стать...

Хохряков посмотрел на Николая.

— Вот я на тебя гляжу. Тоже трудно. Как и мне. Привычки нет. Все с бою берешь, с бою. Сдашь сопромат или статику — и лоб вытираешь, точно высоту штурмом взял. — Он поковырял в печке валявшимся рядом старым штыком. — Силенок не хватает, вот и бережем.

Титан давно уже кипел. Дрожал, фыркал, переливался через верх. Хохряков подставил чайник. Кран был неисправен, и большой жестяной чайник наполнялся долго. Наконец наполнился.

— Ты в Берлине был? — спросил он вдруг.

— Нет, не был. Я в сорок четвертом кончил.

— Я тоже не был.

— А что?

— Да так... Рассказы слыхал. Говорят, последние дни трудно воевать было. — Он сунул еще одну чурку в огонь и закрыл дверцу. — Знали, что завтра-послезавтра мир, и не хотели умирать. Никто не хочет. Но люди все-таки воюют... А были и такие. Человек в Сталинграде воевал, в Севастополе, ничего не боялся, а тут вдруг прижимается к земле... Слыхал про такое?

— Слыхал.

Висевшие на стене часы прохрипели что-то неопределенное: то ли час, то ли два. Хохряков поднялся.

— Ну, да что говорить! Всего не выговоришь. Спать пора.

И они разошлись.

Откуда-то, неизвестно откуда, набежали тучки и закрыли собой солнце. Все вдруг стало серым, плоским. Поднялся ветер.

Николай запахнул шинель и пошел.

Шел и думал о вчерашнем разговоре. Вот тебе и Хохряков... Хороший как будто парень, а вот ведь как скрутило, к земле прижало. И тут же подумал: «А тебя не прижало? А? Вспомни-ка прошлый год, позапрошлый. Вспомни госпиталь, шестнадцатую квартиру с вечерними ее чаями, разговорами, Валерьян Сергеевичами? Может, потому и ушел оттуда, что почувствовал приближение этого самого? Может, потому и тянуло на фронт? А может, и сама эта тоска по фронту была тем же прижиманием к земле?»

Николай шел по дорожке вдоль днепровских обрывов. Откуда-то снизу, с набережной, доносились автомобильные гудки. Ветер стих. Опять появилось солнце. Николай расстегнулся — жарко.

Да, но все это уже позади. Преодолел все-таки! Преодолел это проклятое чувство, это самое хохряковское «силенок не хватает, бережем». А для кого бережем? Для себя, только для себя, чего уж тут скрывать? И кто это говорит? Человек, у которого вот здесь вот, в боковом кармане, маленькая красненькая книжечка, такая же самая, как та, которую хотят отнять сегодня у Николая. И за что? Именно за то, что в ту минуту он меньше всего думал о себе.

Николай в десятый, в сотый раз представил себе, как будет проходить сегодня собрание, как Гнедаш, поджав губы, внимательно будет слушать всех ораторов, кивая головой, а потом встанет и, сказав что-нибудь вроде того, что партию надо очищать от балласта, что никто не дал права Митясову позорить высокое звание коммуниста, предложит своим тихим скрипучим голосом отобрать у него партийный билет, и бюро его поддержит.

Отобрать? Черта с два! Попробуйте только! Не вы давали, не вам и отнимать. Не те вы люди, товарищи Гнедаш и Мизин. Посмотришь на вас: все у вас чистенько, гладень-

ко, ни к чему не придерешься. План работы есть — всегда под рукой, в шкафу, в папочке, говорить вы умеете, очень даже убедительно умеете, заседания проводите, протоколы пишете, в райком относите их без опоздания, стенгазету выпускаете регулярно, отчеты парторгов заслушиваете. Что еще надо? Со стороны посмотреть — полный порядок. А копнешь поглубже — и страшно становится. Что Чекмень хочет, то и делается. Мешает Никольцев — пожалуйста, поможем избавиться. Понравился Супрун — тоже поможем, подскажем дирекции. Чекмень — хозяин. Он умен, он умеет выступать, он всегда знает, чего хочет, и всегда добьется этого. Так и сказал: «Чего надо, я добьюсь, поверь мне», — и добьется любыми средствами. Людей он знает. И на кого опереться — тоже знает. Хохряков, Гнедаш, Мизин, Бельчиков. Духанина к черту — мешает. Другого подберем. А «подбирать» — навязать, протащить он умеет. Ох, как умеет! Вот и Николая чуть так не «подобрал». Когда в бюро его сватал. «Нам как раз такие, как ты, и нужны — фронтовики, настоящие хлопцы!» Теперь все понятно. Понятно, какие хлопцы ему были нужны. Холопы, а не хлопцы.

И вот эти люди, эти чекмени и гнедаши, будут пытаться решать его судьбу — быть ему в партии или нет. Правда, не только они будут решать. Будут и другие. Люди, которым он верит. Будет Левка. Ему он верит. И не потому, что он его товарищ, а просто потому, что он честный, настоящий коммунист. И Антону он верит. И Громобою верит. Даже Сергею, забулдыге Сергею, будь он сегодня на собрании, и то...

Николай вдруг остановился.

Сергею... Забулдыге Сергею... Почему он так подумал?

Вот Алексей говорит: мы настоящие, крепкие, хорошие, мы — советские... Сергей такого никогда не скажет. Ни настоящим, ни хорошим он себя не называл. Наоборот — дрянью, пьяницей, бузотером. Но это ж не так! Неправда это! Все это наносное, прилипшее, чужое.

«Хочется мне, чтоб у тебя все хорошо было», — вот где весь Сергей. Это тогда ночью он говорил, у себя на койке.

«Иди к ней, иди к Шуре. Она тебя ждет. Тут что-то не так, я знаю». Сидел красный, злой, кулаком по коленке стучал. О себе, что ли, тогда думал? Или тогда, в первый раз, после разговора на лужайке, когда у Николая вдруг прорвалось все наружу? Кто Сергея просил к Шуре ходить? Никто. А он вот побежал. Для себя, что ли?

Потому-то и тянутся к нему люди. Потому и Николая потянуло. Когда все вверх тормашками полетело — к кому он побежал? К Сергею. К нему потянуло. Потянуло же! И не только его. Вот и Шуру потянуло. И Ваську его тянуло. Наверное же тянуло... А вот теперь и ребят аэроклубовских. Шура рассказывала: дня без него прожить не могут, оторвать от него нельзя. И Николай знает, что это так. Он видит Сергея среди этих мальчишек, видит влюбленные их глаза, — влюбленные потому, что для Сергея люди и работа, настоящая, живая работа — это все. Потому, что он умеет увлекаться. И не только увлекаться, но и увлечь других. Потому, что ему, как и самим этим мальчишкам, хочется сейчас, чтобы они скорее, как можно скорее стали летчиками, смелыми, сильными, которыми могла бы гордиться вся Советская страна. У него появилась цель — а без этого в жизни очень трудно, — и ради этой цели он ничего не пожалеет... И когда первый из его мальчишек поднимется в воздух на старенькой, собранной собственными руками «удвешке», он будет стоять на поле, задравши голову, и сердце у него будет сжиматься, но уши он уже затыкать не будет.

Эх, Сережка, Сережка, счастливый ты человек... И плюнь ты той цыганке в глаза, которая нагадала тебе какую-то ерунду — все, мол, у тебя будет: любовь, друзья, деньги, а счастья не будет. Дура она, твоя цыганка. Есть оно у тебя. И я рад за тебя, ей-богу же, рад. И за Шуру. Ей будет хорошо с тобой. Я по глазам ее понял. В тот самый вечер, в последний раз, когда был у тебя.

И не смей ты называть себя дрянью, пьяницей, бузотером. Слышишь — не смей! Совсем ты не такой. Вот сказал бы мне сегодня: «Не прав ты, Митясов, кругом не прав», — и я б поверил тебе. Но ты не сказал бы так, я знаю.

9

В президиум избрано было семь человек — Хохряков, Гнедаш, Мизин, два студента со второго курса, председатель профкома Кагальницкий и — Николая это удивило и обрадовало — Левка Хорол. Председательствовал один из второкурсников, спортивного вида, подстриженный под бокс парень в клетчатой ковбойке.

Николай забрался на самый верхний ряд — собрание было в физической аудитории, расположенной амфитеатром, — и просидел там до самого конца, не выходя даже покурить, — курил в кулак. Рядом сидел Черевичный и еще несколько ребят из его группы. Громобой не пришел. «Не пойду, — сказал он, — в пузырь еще полезу. Скажете, что болен».

Против обыкновения, открытая часть собрания тянулась очень долго. Бельчиков, шурша бумагами и без конца перечисляя фамилии лучших агитаторов, подводил итоги, прошедшим выборам в Верховный Совет. Потом двух человек принимали в партию.

Закрытая часть началась уже около девяти.

Хохряков кратко сообщил о случившемся и прочитал по бумажке решение бюро: «За хулиганский, антипартийный поступок, выразившийся в нанесении побоев декану факультета ПГС тов. Чекменю А.И. при исполнении им служебных обязанностей, рекомендовать партсобранию тов. Митясова Н.И., 1919 года рождения, члена ВКП(б) с 1942 года, русского, учащегося, из партии исключить».

«Мизинский язычок, — подумал Николай. — Бумажная душа...»

Председатель вопросительно посмотрел на Хохрякова, кашлянул, поправил лежавшие перед ним на столе бумаги.

— Так что ж, товарищи, предоставим, так сказать, слово...

— Разрешите мне, — раздалось откуда-то справа, снизу; Николай узнал голос Алексея.

Председатель посмотрел на Хохрякова. Тот кивнул головой.

— Пожалуйста, — сказал председатель.

Алексей подошел к кафедре.

— Буду краток, — твердо и громко сказал он. — Я нарочно взял слово первым, чтобы сразу внести ясность во все это дело. Не буду останавливаться на подробностях и оправдывать Митясова, но скажу прямо: кое-какие основания для его, выражаясь формулировкой решения бюро, хулиганского поступка были. Я незаслуженно оскорбил его товарища. Это раз. Второе. На заседании бюро я не голосовал, но если бы и голосовал, то воздержался бы. И не только потому, что я в этом деле лицо, так сказать, не совсем объективное, а потому, что считаю меру наказания — исключение из партии — слишком суровой. Думаю, что, учитывая фронтовое прошлое Митясова, можно ограничиться строгим выговором, а может, даже и выговором.

Антон толкнул Николая в бок. Видал, куда завернул? Николай пожал плечами. На бюро Алексей не говорил, сидел и молчал.

Слово взял Гнедаш. Бледный, худой, с поджатыми бескровными губами, стуча в такт своим словам карандашом по кафедре, он говорил, что удивлен выступлением Чекменя. К чему это благородство? Митясов совершил хулиганский, антипартийный поступок, совершил в стенах института. И совершил ли он его, обидясь за своего товарища, или по какой-либо другой причине, это никого не интересует. Он его совершил. Но и это не все. Митясов до сих пор считает, что поступил правильно. Он и на бюро так сказал. Вот до чего дошел! Интересно, что он сегодня скажет. Короче, Гнедаш считает, что резолюция бюро абсолютно правильная: из партии сключить (он так и сказал «сключить») и из института тоже, не нужны нам такие студенты. И коммунисты тоже.

Стукнув в последний раз карандашом по кафедре, он сел. Выступивший вслед за ним Мизин повторил в других выражениях то же самое. Он, как и Гнедаш, не согласен с Чекменем. Незачем оправдывать хулиганский, антипар-

тийный поступок Митясова какими-то былыми его фронтовыми заслугами. Заслуги заслугами, но тем-то и позорна вся эта история, что затеял ее человек, для которого, как для члена партии, понятие дисциплины должно быть абсолютно святым. Что ж это получится, если каждый студент станет доказывать свою правоту (допустим даже, что Митясов был в чем-то прав) таким способом. В армии за это трибунал — и точка. И Митясову это известно лучше, чем кому-либо другому. И вообще, зачем доказывать то, что и без доказательств ясно? Митясов своей выходкой и своим дальнейшим поведением на бюро запятнал весь факультет, весь институт. Он заслуживает самого сурового наказания, поэтому Мизин голосовал и будет голосовать за исключение из партии.

Выступление Бельчикова ничем не отличалось от двух предыдущих. Он, так же как Гнедаш и Мизин, настаивал на исключении.

Духанин — четвертый член бюро — заявил, что считает меру наказания слишком суровой. Он и на бюро голосовал против исключения. И вообще он считает вопрос недостаточно разобранным. Пусть и Митясов и Чекмень выступят и скажут, что в конце концов между ними произошло и что послужило причиной конфликта. Он предлагает выслушать сейчас Митясова, тем более что полагается с этого начинать, а потом уже выступать другим товарищам.

Предложение это было принято.

Николай спустился по лестнице и подошел к кафедре. Он не совсем ясно представлял себе, о чем будет говорить. Он вообще не умел говорить. Особенно когда перед ним столько людей. Сидят и смотрят на него: а что он скажет? Левка нахмурился, грызет ноготь, тоже смотрит. Хохряков чинит карандаш. Откуда-то взялся Громобой. Уселся в первом ряду и тоже уставился. А ведь сказал, что не придет.

Спускаясь по лестнице, Николай встретился взглядом с Алексеем. Алексей сидел во втором ряду, прямо против трибуны. Когда Николай проходил мимо него, он поднял голову и снизу вверх посмотрел на Николая. В маленьких, чуть-чуть раскосых глазах его не было сейчас обычной иро-

нии. В них было другое — и Николай успел это увидеть: я заступился за тебя, учти это. Ему вспомнился вдруг старенький врач в белой шапочке и очках полумесяцем: «Годен, ничего не скажешь. Можете опять воевать».

Что же, повоюем. Николай поднялся на трибуну.

Присутствовавшие на собрании говорили потом, что никто из них не подозревал, что Николай умеет выступать. Сначала говорил он тихо, в последних рядах даже плохо слышно было, но постепенно разошелся, а к концу, по выражению Громобоя, «рубанул правильно, на всю железку». Но Николай ничего этого не помнил. Он помнил только Громобоя, сидевшего перед ним в первом ряду, — его глаза, напряженно прикушенную губу, его «правильно!» в каком-то месте. Впоследствии выяснилось, что это испытанный ораторский прием — выбрать кого-то из публики и обращаться именно к нему. Николай этого не знал, но поступил именно так. И, может, именно это помогло ему собраться и преодолеть охватившее его волнение.

Витька Мальков, трезвый, в любых обстоятельствах совершенно трезвый и в этой трезвости доходивший до цинизма, перед самым собранием сказал ему, криво усмехаясь:

— Спокойствие прежде всего. Запомни это. И признание ошибок. Вот и все. Как в том анекдоте — лучше пять минут быть трусом, чем всю жизнь покойником, — и отошел, весьма довольный сказанной гадостью.

Но признания, о котором говорил Витька и на которое, очевидно, рассчитывали Гнедаш и Мизин, не получилось. Получилось совсем иначе. Николай говорил не долго, минут пять, не больше. Дело партийного собрания оценить его поступок, сказал он. Если виноват, надо осудить. Мера осуждения — как совесть подскажет присутствующим. Что касается самого Николая, то он, не оправдывая своего поведения, может сказать только одно — чувства вины, большой, непоправимой вины перед партией, которую хотят сейчас освободить от него, он не чувствует. На бюро он не говорил о причинах, заставивших его поступить так, как он поступил, не говорил потому, что у него не было доказательств. У него

и сейчас их нет. Чекмень в любой момент может встать и сказать — «неправда», и ему нечем будет ответить. Единственное его доказательство — это честное слово коммуниста.

Николай сделал паузу, отпил воды из стакана.

— Я не буду оправдываться. И не хочу. Я ударил человека и за это понесу наказание. Я должен был сдержаться, знаю, но я не смог. Не смог потому, что когда в твоем присутствии...

Николай повернулся к Алексею. Тот сидел прямо перед ним, подперев руками щеки, и, не мигая, глядел куда-то в пространство между трибуной и президиумом.

— Вот он говорил сегодня, что оскорбил моего друга. Нет, ты не друга моего оскорбил. Ты оскорбил тех, кому, может быть, тяжелее всего пришлось в эту войну. Ты оскорбил всех, кто попал в плен, в фашистские лагеря, в оккупацию. Всех, без разбора... Мы знаем — там были разные люди. Были среди них и сволочи и предатели — все это мы знаем. Но сколько их было? И кто они? Кучка негодяев? А народ ждал нас. Кто мог — убегал в лес, партизанил. Да что говорить!.. Нужно быть последней сволочью, чтобы... Простите меня, товарищи, но я прямо скажу: я не знаю еще, как бы каждый из вас, сидящих здесь, поступил, если б в его присутствии человек, да еще коммунист, — нет, не коммунист, он только билет в кармане носит, — словом, если б такой вот человек сказал вам, что три четверти людей, попавших в плен, пошли туда добровольно, что все, кто под немцами были, — все, без разбора, подлецы и мерзавцы... Не знаю, что б вы сделали... Я ударил. Не выдержал и ударил. Вот и все... — Николай через плечо взглянул на Алексея. — Теперь можешь ты говорить. Если у тебя совесть еще есть. Я все сказал.

Когда Николай вернулся на свое место, Антон молча, не поворачиваясь, взял его руку, чуть повыше локтя, и крепко сжал. Только сейчас Николай почувствовал волнение — во рту пересохло, неистово заколотилось сердце.

В зале — тишина. Только с улицы в открытое окно время от времени доносится скрежещущий звук заворачивающего на углу трамвая.

Председатель долго просматривает лежащие перед ним на столе бумаги, перекладывает их с места на место, наконец отрывается от них и вопросительно смотрит на Чекменя:

— Вы будете?

Чекмень, не вставая с места, говорит:

— Я думаю, пусть товарищи сначала выскажутся. Я подожду. Вот товарищ Хорол, я вижу, хочет.

Левка поднимает голову. Он бледен, он всегда бледнеет, когда волнуется.

— Хочу, — говорит он. — Вы не ошиблись, — и встает.

Говорит он негромко, с тем подчеркнутым спокойствием, которое бывает у людей, хотящих скрыть свое волнение.

— Я не собираюсь оправдывать Митясова, — начинает он. — Свое отношение к его поступку я ему уже высказал. И совершенно прав был Мизин, когда сказал, что будь ты даже тысячу раз прав, нельзя таким способом, как Митясов, доказывать свою правоту. Но дело сейчас не в этом, товарищи...

— А в чем же? — вставляет сидящий на краю стола Мизин. — Ведь мы, по-моему, дело Митясова рассматриваем, а не кого-либо другого.

— Вот об этом-то я и хочу сказать, товарищ Мизин. О том, что хотя мы и рассматриваем дело, но не совсем то дело и не совсем так рассматриваем. Самое простое, товарищи, судить человека так, как мы его сейчас судим. Оскорбил? Оскорбил. Виноват? Виноват. Исключить? Исключить. Записали в протокол — и по домам. Просто и ясно. Нет, не просто и не ясно. С другого конца начинать надо. Оскорбил? Да, оскорбил. Виноват? Да, виноват. Но он ли один? Вот тут-то и заковыка. Кто больше виноват — Митясов или Чекмень? Митясов в том, что ударил, или Чекмень в том, что довел его до этого. А почему довел — вы знаете. Знаете и молчите...

— Кто это — вы? — перебивает Гнедаш. Он сидит рядом с Хоролом и старательно сворачивает из бумаги фунтики.

— Кто? Хотя бы вы, уважаемый товарищ Гнедаш. И вы, и Мизин, и Бельчиков, и Хохряков, все те, кто прекрасно

знает, в чем дело, и молчит. Все вы молчите. Все, кроме Духанина. Молчите, потому что куда проще расправиться с Митясовым, чем не угодить Чекменю. Чекмень все-таки декан, все мы под ним ходим...

Кто-то из президиума — Николай не разобрал, то ли тот же Гнедаш, то ли Бельчиков — возмутился:

— Выбирайте свои выражения...

Председатель, явно растерявшись, постучал стеклянной пробкой о графин.

— Товарищи, товарищи, порядочек! — И взглянув на Левку: — Вы кончили?

— Нет, не кончил. — Левка поднял руку, словно успокаивая зал. Но в зале тишина. Напряженная тишина. Никто даже не кашляет. — Мы обсуждаем сейчас персональное дело Митясова. Но есть и другое дело, не менее, а, может быть, даже и более важное, чем это. Дело, из-за которого весь сыр-бор загорелся. Я говорю о поступке товарища Чекменя, который на позапрошлом бюро пытался очернить и оклеветать профессора Никольцева, при полном попустительстве членов бюро, виноват, большинства членов бюро. Я считаю, что партсобрание должно разобрать этот случай, тем более, что, судя по всему, кое-кто из сидящих здесь заинтересован в том, чтоб сегодняшним митясовским делом отвлечь внимание от другого дела, куда более важного, — никольцевского, вернее чекменевского, — Левка вытер ладонью вспотевший лоб. — Короче. Вношу предложение: в повестку дня, после пункта: «Персональное дело товарища Митясова», внести еще один пункт: «Персональное дело товарища Чекменя».

Сказал и сел.

Тишина кончилась. Зал загудел. Председатель попытался поставить предложение Хорола на голосование. Гнедаш запротестовал — в ходе собрания нельзя менять повестки дня, это надо было делать вначале, когда председатель спрашивал, будут ли у кого-нибудь дополнения. Кто-то крикнул: «формальный подход!» Тогда вмешался Мизин. Покрывая своим могучим басом шум, он стал доказывать, что всякий

вопрос, прежде чем его поставить на партсобрание, должен быть заслушан на партбюро и что поскольку вопрос о Чекмене до сих пор никем не поднимался, то...

— Испугались? — крикнул кто-то из зала. — Ставь на голосование!

Поднявшемуся на трибуну Бельчикову не дали говорить. Махнув рукой, он сошел с трибуны.

— Голосую предложение Хорола, — с трудом перекрывая шум, объявляет председатель. Сразу становится тихо. — Кто «за»? — Поднимаются руки. — Большинство. Ясно. Кто «против»? Раз, два, три, четыре, пять... Десять против. Кто воздержался? Три. Предложение принято.

Опять шум. Хлопки. Кто-то с места просит слова и, когда ему наконец дают, спрашивает, почему на собрании нет секретаря парткома.

— Курочкин болен! — выкрикивает с места Гнедаш.

— А почему из райкома никого нет? Вы райком-то поставили в известность?

Мизин наклоняется к Хохрякову, потом встает и дает путаное объяснение: должен был быть инструктор райкома, но его куда-то срочно вызвали, а когда позвонили в райком, оказалось, что там никого уже нет. Ответ этот вызывает еще больший шум. С разных концов зала доносятся выкрики: «Чекмень! Чекмень! Пусть Чекмень выступит!»

Чекмень через плечо оборачивается, оглядывает зал и медленно поднимается, упершись руками в парту. Сразу становится тихо.

— Что ж, — говорит он, полуобернувшись к залу, — могу сказать. Первое. Все, что говорил здесь Митясов, — ложь и клевета!

Николай, не отрываясь, смотрит на него. Ложь и клевета! Так. То, чего он ждал и чего боялся, произошло. Ложь и клевета! Как докажешь, что это не так? Как докажешь, что это не ложь и не клевета? Как? Доказательств нет... Ну и пусть... Важно другое, важно, что Чекмень испугался. Побоялся признаться. Вот что важно — не может признаться в том, что сказал...

Николай что-то пропустил. Чекмень стоит все так же, полуобернувшись к залу и слегка постукивая ладонью по парте.

— ...не мне этим заниматься, и не мне оправдываться. Я обвиняю Митясова в клевете. Нет, не только в клевете, — в желании подорвать мой авторитет как декана и как члена бюро. Но не выйдет, товарищ Митясов, смею вас уверить. И вы, Хорол, тоже учтите это. Учтите хорошенько, потому что мы еще поговорим на эту тему. И о вас поговорим, товарищ Хорол, и о Митясове, и о вашем подзащитном, главном вдохновителе всего вашего антипартийного поведения. Но не сегодня, и не здесь поговорим, а в другой раз и в другом месте... Вот тогда я уже все скажу...

Он хлопнул крышкой парты и сел.

— Видал, каков? — дышит в самое ухо Николаю Антон. — Оттянуть хочет, оттянуть, черт, хочет подготовиться...

Зал, точно очнувшись, опять начинает гудеть. Откуда-то с самого верха доносится: «В каком это месте? Сегодня, сегодня пусть говорит...» И вот тут-то среди общего гула слово берет наконец Хохряков.

Он медленно выходит из-за стола в своем поношенном пиджаке, с орденом на груди, поднимается на кафедру, осматривает всех своим грустным, как всегда усталым, взглядом (в аудитории сразу становится опять тихо), проводит рукой по волосам.

— Совершенно ясно, товарищи, — говорит он, откашливаясь, — что провели мы это голосование или не провели, но рассматривать вопрос о товарище Чекмене мы не можем.

— Можем! Можем! Опять сдрейфили!

Хохряков поднимает два пальца, дожидается, пока опять не становится тихо.

— Повторяю, товарищи, — очень тихо, но твердо, глядя куда-то поверх голов, говорит он, — повторяю, рассматривать его мы сейчас не будем. Не будем, потому что с кондачка такие вопросы не решаются. На то вы и избрали нас в члены бюро. («Напрасно избрали!» — голос Громобоя.)

Это уж другой вопрос — напрасно или не напрасно, но пока что нас никто не переизбирал, и я до сих пор еще секретарь. — Он делает паузу, точно ожидая возражений. Но все молчат. — И, как секретарь, заявляю: ни один неподготовленный вопрос на стихийное обсуждение мы ставить не будем. Ясно или не ясно? («Не очень!» — Хохряков пропускает реплику мимо ушей.) И по этой же причине, товарищи, мы не будем рассматривать сейчас дело Митясова. Не будем, потому что... — Опять пауза, глоток воды из стакана. — Просто потому, что оно не подготовлено, товарищи. — В зале шепоток. — Более того, скажу и другое. Во всей этой истории, которая произошла между Митясовым и Чекменем, я, в первую очередь, виню нас, бюро (голос Гнедаша: «Ого!») и себя особенно, как его секретаря. В подробности — отчего и почему — вдаваться сейчас не буду. Вношу предложение: вопрос отложить, бюро разобраться во всем этом деле и поставить его на следующем собрании. Прошу проголосовать мое предложение.

Предложение принимается. Против трое — Гнедаш, Мизин и Бельчиков. Воздержавшийся один — Алексей.

На этом собрание кончается.

10

Валя сидела в библиотеке и читала «Кентервильское привидение». Она знает его наизусть, но ничего другое в голову сейчас не лезет. К тому же в библиотеке, кроме этого томика, из английских книг есть только технические журналы и Диккенс, которого Валя не любит.

В десять часов библиотека закрывается, но библиотекарша что-то возится с каталогом, значит можно еще посидеть. Валя сказала ей, что дома у нее дымит печка и невозможно работать.

В половине одиннадцатого на лестнице раздается топот. Валя торопливо сует книжку на полку («Что-то подозрительно рано кончилось!») и, забыв даже попрощаться с библиотекаршей, выходит в вестибюль.

В раздевалке уже толпится народ. Из разговора трудно что-либо понять. Сумбур какой-то. Валя подходит к одному из первокурсников и, хотя знает, что не положено осведомляться о том, что было на закрытом партсобрании, спрашивает, будто между делом, натягивая пальто: «Ну, как?» Парень весело улыбается: «Дали дрозда!» — и убегает. Ничего не понятно. Кто кому?

За спиной Вали слышен голос Николая: «И мое возьми, Антон, я сейчас». Валя оборачивается. Николая уже нет. Группа студентов, человек в десять, стоя у барьера раздевалки, подсчитывает деньги. Увидев Валю, один из них — он из Валиной группы, громогласный, всегда о чем-то спорящий Громобой, весело подмигивает ей:

— Ресурсы подсчитываем. Выходной завтра.

Кто-то говорит:

— Почему выходной? Суббота завтра.

— Ну, не выходной, суббота. Один черт.

Откуда-то появляется Николай. Гимнастерка на нем расстегнута. Вытирает шею платком.

Зажав между коленями планшетку, он влезает в шинель. И в этот момент глаза их встречаются. Они смотрят друг на друга поверх чьих-то голов и спин. Николай улыбается. Моргает глазами. Потом подходит и, продолжая натягивать шинель, говорит:

— Здравствуй, Валя.

— Здравствуй, — говорит Валя.

Ночь. Мартовская ночь. Темная, почти без звезд, мартовская ночь. Иногда поднимается ветер. Он несет откуда-то из-за города запах полей, леса, земли, талого снега. Шумит ветвями, срывает с головы шапку, забирается в расстегнутый ворот, в уши, в ноздри. И вдруг прекращается. Так же неожиданно, как начался.

Чуть-чуть морозит. Подмерзли ручейки вдоль тротуаров. На улицах пусто. Только сторожа у магазинов. Который же это час? Час, два, три?

— ...и самое странное то, что я знал, что так будет. То есть не так, не так именно, как было, и не то, что знал... Ну, как бы это сказать? Вот на фронте, например, так бывало. Иной раз кругом тихо-тихо, ни одного выстрела, как будто и войны нет, а внутри, вот здесь, что-то сжимается, тоска... А другой раз, наоборот: ад кромешный, голоса своего не слышишь, земля дрожит, а ты вот спокоен, уверен как-то. Бывало у тебя такое? У меня — да. И сейчас вот так было. Ну, не то, чтоб совсем спокоен был, — волновался, конечно, особенно когда на трибуну вышел, а кругом головы, головы, головы... Но посмотрю на Громобоя — он как раз передо мной сидел, — да ты его знаешь, в твоей группе учится, красивый малый такой, в портупее ходит, посмотришь на него, и сразу легче становится. Вот он сидит, думаю, а там наверху Антон, и Петровский, и Сагайдак. И за спиной Левка. Ты знаешь Левку? Хорола? Растрепанный такой, Не можешь не знать. Его все знают. Ну, я познакомлю. И с Антоном, и с Громобоем, и с Куныком нашим маленьким, со всеми познакомлю. Да ты застегнись. Фронтовичка фронтовичкой, а март месяц, знаешь, какой? Нет, самое важное не это. Я о чем-то другом хотел. Вот черт... Ага! Помнишь, когда я с комиссии вернулся и мы пили с Яшкой, а Муня дрых? И ты тут пришла. И мы немножко поцапались. А потом сидели с мамой и чай пили. Потом спать разошлись. Я долго тогда не спал. Тоска напала. По фронту, по хлопцам. И потом бывало, часто бывало. Тоскуешь, грустишь: один, мол, остался, нет хлопцев, нет солдат твоих... А ведь за них отвечать надо было. У каждого жена, ребята, мамаша. И задание выполнять надо. И вот посылаешь на смерть. Тяжело. А вот как не стало всего этого, еще тяжелее стало. Почему? Ну вот скажи почему? Да застегнись ты, Христа ради, вот упрямая! В отца, что ли? Анна Пантелеймоновна совсем не такая была.

Они идут по пустынным, затихшим улицам, сворачивают направо, налево, проходят через какие-то пустыри, мимо заборов новостроек, опять выходят на улицу, опять налево, направо — куда их черт занес? А не все ли равно...

— Вот ты объясни мне, Валя... (Господи, как он много сегодня говорит!) Объясни мне, почему люди такие разные? Нет, не то... Ты не смейся, я не то хотел сказать... Не умею я говорить, что поделаешь. Начнем с примеров, это легче. Вот три человека — Алексей, Хохряков и Левка. И Сергей — четвертый. Ты его не знаешь, — подбитый летчик, безногий, чудесный парень. Только в водке чуть не утонул. Чего ты смеешься? Чудесный, да. И ничего смешного тут нет. Познакомишься, сама поймешь... Так вот, все четверо они воевали. И каждый из них узнал на войне то, что и все узнали. И страх, и усталость дикую, когда ни о чем думать не хочется, и то, что кровь из носу, а надо выполнять приказ, и что сидишь вот ты с человеком и покуриваешь, а через минуту от этого человека, может, ничего не останется. И не останется потому, что ты ему сказал — «иди». И сказал ему это потому, что он лучше других, а не хуже. В общем, ты все знаешь... Так вот четыре человека, и все четверо воевали. И остались живы. Но ведь каждый остался жить по-своему. Вот в чем загвоздка. Один только для себя, а другой... Это очень важное в жизни — уметь жить не для одного себя. А то уставишься в собственный пуп и смотришь. Или, как страус, голову под крыло. Я долго так же сидел. И, знаешь, казалось даже, что хорошо. Потом выглянул. Повертел головой — направо, налево. Кинулся в институт. Зарылся в книжки. С головой зарылся. Книжки, книжки, книжки... И стало легче. Ну, чего ты смотришь? Как будто не знаешь, почему тяжело было. Знаешь же, все знаешь! Сколько раз я хотел подойти к тебе. Но посмотришь — идет, брови сдвинула, не подходи! — и не подходишь. Чем я хуже ее? Да, так о чем это я? О книжках? Да, так вот, так и получилось. Забивал ими голову, чтобы о другом не думать. Вроде как Хохряков. Ну, не совсем вроде, у него по другой причине, но оба мы уши заткнули. Вот это самое страшное. Не знаю, что страшней: Алексей или это... Черт его знает... А я ведь верил ему, понимаешь, верил Алексею. Даже завидовал в чем-то. Умный, образованный, что еще надо. А вот сегодня смотрел я на него... Ты б видела, как он себя держал! Глазом не

сморгнул. От всего отрекся. В другом месте, мол, поговорим. Черта с два! Мы там тоже поговорим. Посмотрим еще, кто — кого... Господи, до чего же все-таки ошибаешься в людях. Вот Левка, например. Каким я его считал? Хороший, ничего не скажешь. Веселый, неунывающий, всегда рад помочь. Но вот посмотришь на него и думаешь: все у тебя гладко, хорошо, слишком хорошо. Даже разозлился на него как-то: утруждать, мол, себя не хочешь, гладенькую жизнь эту свою портить. А вот, оказывается, ошибся. И в Сережке ошибся. Нет, не ошибся, — не понял просто. С первого взгляда его не сразу поймешь. Ворчит, ругается, всем недоволен. А присмотришься, подойдешь поближе, и вдруг, оказывается... Ну, что ты смотришь на меня? Надоел? Заговорил тебя? Ну ладно, помолчу. Говори ты...

И опять говорит. Говорит, говорит, говорит... А Валя слушает. Прижалась к нему — так тепло с этой стороны, и рука его — большая, теплая, она сквозь перчатку чувствует. Идет рядом и слушает. Ему хочется выговориться — она понимает, у него сегодня такой день, но все-таки... Ну да ладно, говори, говори, о чем хочешь.

Ведь прошло столько времени — сентябрь, октябрь, ноябрь... Господи, почти семь месяцев!..

— А вот и то место, где мы с тобой лазили, помнишь? — Они у решетки Ботанического сада.

— Перемахнем, а?

— Погоди. Пусть милиционер отойдет.

В саду темно-темно — на улице хоть фонари, — под ногами грязь, скользко.

— Держись за меня, крепче держись!

Опять поднялся ветер. Деревья шумят.

— Ты любишь, когда они шумят?

— Люблю.

— А еще что?

— Что что?

— Еще что любишь?

— Еще что? Когда паровозы так гудят. И почему ночью всегда так слышно?

— Не знаю. А еще что?

— Слушай, я куда-то провалилась.

— Ну вот, говорил тебе — держись крепче. Фронтовичка...

— Здесь, по-моему, болото.

— Какое тут может быть болото?

— А я говорю — болото. У меня полон сапог воды.

— Давай тогда сюда. Держись за шею. Раз...

— Ну и хватит. Дальше я сама пойду. Ну вот, до того дерева, и хватит. Там уже сухо.

— Сухо, сухо... Тебе только по асфальту ходить.

— Ну и ладно.

Пауза.

— А который это час, интересно?

— Черт его знает. Не все ли равно?

— А ребята?

— Что ребята?

— Ведь они ждут тебя.

— Не ждут. Они все понимают.

— Что — все?

— То, чего ты не понимаешь.

— Ох, и глупый же ты...

Пауза.

— Слушай, а зачем ты тогда подошла?

— Когда? Во вторник?

— Да.

— Просто так...

— И действительно считала, что не надо оправдываться?

— Не знаю, может, и думала. А потом рассердилась на тебя.

— Почему?

— Почему, почему... Сам догадайся.

— Не могу. Я поглупел. Ну вот совсем поглупел. И вообще давай сядем на эту скамейку.

— Она мокрая.

— Ну и ладно. Мы все равно на нее сядем. Сядем, и я тебе расскажу об одном товарище.

— Опять о Левке или Сергее своем? («Господи, опять о смысле жизни?»)

— Нет, не о Левке. О другом. Ты его не знаешь. Так себе, рядовой товарищ. Жил-был, потом воевал, потом попал в госпиталь. Вот здесь вот этот госпиталь был на горе. Потом познакомился он с одной девушкой. А девушка была глупенькая, ничего не понимала. Потом они поссорились...

— По его вине...

— А ты ее разве знаешь?

— Встречала...

— Тогда ты должна знать, чем у них все кончилось. А?

— А разве кончилось?

Но на этом поставим точку. Хватит. На вокзальных часах уже четверть пятого. И на востоке уже стало светать — видны трубы, антенны. И вообще ничего умного эти товарищи сегодня уже не скажут. Не будем их винить в этом...

1954

ПОЧЕМУ ЭТО НЕ СДЕЛАНО?

О памятнике погибшим в Бабьем Яру в Киеве

На окраине Киева, на Лукьяновке, за старым еврейским кладбищем есть большой овраг, название которого известно теперь всему миру. Это Бабий Яр. Восемнадцать лет тому назад именно здесь, в этом яру, было совершено одно из самых страшных преступлений за всю историю человечества. 29 сентября 1941 года сюда было согнано гитлеровцами несколько десятков тысяч ни в чем не повинных мирных жителей и безжалостно расстреляно. Точная цифра расстрелянных не поддается учету. В ноте народного комиссара иностранных дел СССР от 6 января 1942 года приведена цифра в 52 000 человек. Дальнейшие расследования показали, что она значительно больше. На Нюрнбергском процессе оглашено было сообщение Чрезвычайной государственной комиссии о разрушениях и зверствах, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в городе Киеве (документ СССР-9). В нем говорится, что Специальная комиссия под председательством Н. С. Хрущева установила, что, по неполным данным, в Киеве замучено, расстреляно и отравлено в «душегубках» более 195 тысяч человек советских граждан, в том числе:

1. В Бабьем Яру — свыше 100 тысяч мужчин, женщин, детей и стариков.

2. В Дарнице — свыше 68 тысяч советских военнопленных и мирных граждан.

3. В противотанковом рву, у Сырецкого лагеря и на самой территории лагеря — свыше 25 тысяч советских мирных граждан и военнопленных.

4. На территории Кирилловской больницы — 800 душевнобольных.

5. На территории Киево-Печерской лавры — около 500 мирных граждан.

6. На Лукьяновском кладбище — 400 мирных граждан.

Прошло восемнадцать лет...

И вот я стою на том самом месте, где в сентябре сорок первого года зверски были уничтожены тысячи советских людей, стою над Бабьим Яром. Тишина. Пустота. По ту сторону оврага строятся какие-то дома. На дне оврага — вода. Откуда она?

По склону оврага, продираясь сквозь кусты, поднимаются старик и старуха. Что они здесь делают? У них погиб здесь сын. Они пришли к нему...

У меня тоже погиб здесь друг. В Киеве нет человека, у которого бы здесь, в Бабьем Яру, не покоился бы (нет, тут другое слово нужно) отец или сын, родственник, друг, знакомый...

Я стою над Бабьим Яром и невольно думаю о других местах, где так же, как здесь, от руки фашистов безвинно погибли люди. Лидице, Орадур-сюр-Глан, Освенцим, Майданек, Дахау, Заксенхаузен, Равенсбрюк, Бухенвальд... Я был в прошлом году в Бухенвальде. На высокой горе, над долиной, где уютно расположился Веймар, стоит памятник. Гранитные пилоны с названиями стран, сыны которых замучены были в этом лагере, над пилонами — башня. И беспрерывно на этой башне бьет колокол, чтобы люди никогда не забывали о том, что здесь произошло...

Недавно проводился международный конкурс на проект памятника в Освенциме. Полностью восстановлена Лидице, сровненная с землей гитлеровцами. У нас в Советском Союзе воздвигнут памятник в Луганске, в противотанковом рву, где были расстреляны сотни невинных людей, есть памятник жертвам фашизма в Кисловодске...

И стоя над пустынным, залитым водой Бабьим Яром, я вспомнил, что и здесь предполагалось воздвигнуть памятник. Был даже проект этого памятника работы известного архитектора А. В. Власова — строгий, простой, в виде призмы. Над эскизами росписи, посвященной трагедии Бабьего Яра, работал художник В. Овчинников. Где сейчас эти проекты? Почему о них забыли?

Сейчас в архитектурном управлении города Киева мне сообщили, что Бабий Яр предполагается «залить» (вот откуда вода!), иными словами, засыпать, сровнять, а на его месте сделать сад, соорудить стадион...

Возможно ли это? Кому это могло прийти в голову — засыпать овраг глубиною в 30 метров и на месте величайшей трагедии резвиться и играть в футбол?

Нет, этого допустить нельзя!

Когда человек умирает, его хоронят, а на могиле его ставят памятник. Неужели же этой дани уважения не заслужили 195 тысяч киевлян, зверски расстрелянных в Бабьем Яру, на Сырце, в Дарнице, в Кирилловской больнице, в Лавре, на Лукьяновском кладбище?!

1954

ФОТОГРАФІЯ? НІ, МИСТЕЦТВО!..

Є такий анекдот, а, можливо, й бувальщина. Художник показував свою картину, і хтось із глядачів, мабуть, недоброзичливців, сказав: «Ну, це не живопис, це фотографія!». Тоді художник відповів: «А що б ви сказали про цю ж картину, припустимо, років 150 тому, коли фотографії, ще не існувало?»

Гадаю, що картина справді була не дуже хороша, але в цій маленькій суперечці я став би на бік художника, вірніше, не погодився б, мабуть, з його критиком. І не погодився тому, що, на мій погляд, фотографія — це не механічне копіювання об'єкта на надчутливу плівку, а справжнє, серйозне і дуже нелегке мистецтво.

На жаль, наші журнали і особливо газети ще й досі рясніють нежиттєвими, зрежисованими зображеннями усміхнених передовиків виробництва, а газетні кіоски заповнені наборами тьмяних або, навпаки, аляпуватих листівок з видами того чи іншого міста, глянувши на які, зразу ж виникає бажання залишити це місто. Але йдеться не про це «мистецтво» (про нього слід поговорити окремо), а про мистецтво, яке створюють справжні майстри.

Саме таким художником був Михайло Григорович Болотов, виставка робіт якого відкрита в Київському музеї російського мистецтва. Він не дожив до цієї виставки (помер у 1958 році), але все його довге життя було серйозною, планомірною і копіткою підготовкою до неї.

Багато хто, вперше знайомлячись з Михайлом Григоровичем, приймали його за артиста, письменника — високий, завжди бездоганно одягнений, з тонкими благородними рисами обличчя, розумним, ледь-ледь насмішкуватим поглядом — ну, звичайно ж, артист! — і злегка розчаровувались, дізнаючись, що він працює фотографом у Київському рентгенінституті... Так, він працював у фотолабораторії і знімав там різні пухлини і переломи, і знімав добре — в інституті його дуже цінували, але життя його було присвячено іншому. Він любив природу — гай, річку, тихі заводі, мальовничі українські села, рощі та переліски середньоросійської полоси, неосяжні простори півночі. Він любив Київ, його неповторну красу, його пагорби, древні собори, багату і в той же час стриману архітектуру минулих століть. Все це він любив і вмів про це дуже цікаво розповісти — і словом, і своїми роботами.

Дивна річ — іноді, дивлячись на його знімки архітектури, на куполи та абсіди Софії, на легкий прозорий силует Андріївської церкви, на скособочені від часу колони старовинного будиночку де-небудь на Печерську, з якоюсь особливою гостротою починаєш відчувати, до чого все це красиво.

Ні, Михайло Григорович ніколи нічого не прикрашав — це було проти його правил. Він просто завжди вмів знайти потрібну точку, ракурс, освітлення, гру тіней. Подовгу, іноді годинами, ходив він навколо облюбованого ним об'єкта, шукав ту саму «точку», чекав сонячного проміння, ловив хмарки на небі. Потім знову приходив сюди в іншу пору року, і знову шукав щось нове, неповторне, невловиме...

У мистецтві фотографії дуже важливе саме оце «знайти» будь-що: чи то пейзаж, портрет, чи вуличну сценку. Знайти, схопити! Вираз обличчя, співвідношення світлових плям, першого і дальнього планів, чіткість і м'якість ліній. У цьому, «знайти» і полягає мистецтво... А за «знайти» йде не менш важливе — відтворити. Я просто дивувався, коли бачив, скільки часу витрачає Михайло Григорович на пошуки потрібного тону і відтінку друку, соковитості і глиби-

ни його, як старанно обрізує фотографію, відкидаючи зайве, як продумано наклеює на аркуш паперу, щоб все було врівноважено, композиційно точно, закінчено. Все це, разом взяте, і є мистецтво...

Михайло Григорович все життя мріяв про виставку своїх робіт. Йому не пощастило до неї дожити. А як би він їй радів! Для нас — друзів і шанувателів його таланту — ця виставка — велика радість. Та й не лише для нас — для всіх, хто по-справжньому любить мистецтво, і те, що так любив сам Михайло Григорович, — красу людей, природи, міста, красу любого його серцю Києва, який він оспівав з такою щирістю і закоханістю.

На закінчення саме собою виникає питання: а чому й не видати Державному видавництву образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, скажімо, альбом робіт М. Г. Болотова? Гадаємо, це був би чудовий подарунок киянам. Але треба видати його зі смаком, з любов'ю, ніби це зробив сам Михайло Григорович.

1962

ИЗ БЛОКНОТА

Очерки

1. Царь-рыба

Как известно еще из старых учебников, город Киев стоит на пересечении великих торговых путей. Когда-то по этим путям «из варяг в греки» проплывали в своих челнах викинги и купцы, сейчас же на поездах и самолетах проплывают на юг и обратно друзья и знакомые. И всем им обязательно почему-то нужно останавливаться в Киеве.

«Встречайте шестнадцатого поезд четырнадцать вагон двенадцать».

«Прилетаем субботу симферопольским тчк Рассчитываем обычное гостеприимство». «Дороге Коктебель можем задержаться Киеве три-пять дней телеграфьте возможность гостиницы». «Соскучились Киеву будем завтра бесконечно рады встрече»... А иногда просто уверенный звонок в дверь: «Не ожидали? А мы прямо к вам. С вокзала и прямо к вам на голову. Вырвалась неделька свободная».

Обычно все это происходит летом — июнь, июль, август, — в этом же году захлестнуло почему-то и сентябрь. Приблизительно к середине месяца я уже острой ненавистью ненавидел вокзал, аэродромы, городскую станцию, кассы Аэрофлота, а заодно любимые мои киевские каштаны, Андреевскую церковь, Русский музей («Говорят, там у вас великолепная богоматерь Врубеля»), Софию со всеми ее фресками, набережную, Выдубицкий монастырь и бесконечно благодарен был только тем безвестным мне людям, которые надумали закрыть на ремонт Лавру.

Веселые и отдохнувшие или только собирающиеся отдохнуть, в высшей степени любознательные и неутомимые гости восторгались красотами Киева, поражались нам, киевлянам, которые зачем-то едут на юг, «когда у вас тут настоящий курорт, и воздух, и зелень, и пляж», покупали к чаю обязательные торты, рылись в книгах, спать ложились не раньше двух часов ночи («мы так еще мало поговорили»), вставали в восемь, а то и в семь («у вас такие тут утра!»), а мне надо было кончать работу.

К двадцатому числу я созрел полностью. Надо бежать! Куда угодно — в лес, в пустыню Гоби, на Северный полюс, но бежать. И тут мне повезло — выяснилось, что у моего друга, художника, третью уже неделю живут родственники жены и он, так же как и я, мечтает о тишине, покое и возможности хоть немножко уединиться и поработать.

— А что, если мы с тобой, — сказал он мне, — рванем на недельку-полторы, ну, хотя бы в Остер? Я когда-то там жил, местечко чудесное на берегу Десны, хозяева знакомые, дом у самой речки, дачники разъехались, что еще надо? Ты будешь кончать свою работу, я попишу малость этюды — третий год собираюсь, и все нет времени. Ей-богу, имеет смысл...

И мы рванули в Остер.

Трясясь в междугородном автобусе, мы сначала только ликовали.

Все позади — родственники, знакомые, телефонные звонки, дни рождения, свадьбы. Вот так вот, решительно взяли и отрубили. Надо же в конце концов и поработать. После Дарницы мы расстались с прошлым и перешли к планам на будущее.

Решено было жить по строгому регламенту. В семь подъем, легкая зарядка на берегу реки, завтрак — молоко с куском хлеба, и — за работу. Мой друг на лодочку и на этюды, я же где-нибудь в саду, под деревом привожу в порядок и заканчиваю свои записи о поездке во Францию, до которых за последние два месяца никак не дотягивались руки. После обеда небольшая прогулка пешком или на лод-

ке, вечером еще часика два-три работы, потом легкий ужин и в десять отбой. Распорядок железный. Никаких отклонений. Дисциплина в работе — самое важное. За десять дней можно сделать бог знает сколько. Главное — втянуться, войти в ритм.

В Остер приехали часа в три. Городок действительно оказался чудесный — небольшой, зеленый, с одноэтажными беленькими домиками, широкими, мягкими, заросшими травой улицами и удивительно уютной гостиницей с бродящими по двору курами и развешанными майками и носками на крылечке. Мест в ней, правда, не оказалось, но мы на нее и не рассчитывали и с легким сердцем, подхватив свои рюкзаки и чемоданчики, отправились к хозяевам моего друга, которые приняли нас с распростертыми объятиями. В наше распоряжение предоставлена была комната с верандой, две кровати, лодка и утром и вечером по литру молока. Фундамент был заложен.

В виде исключения, да и вообще день был уже разбит, решено было сегодня не работать. Взяли хозяйскую плоскодонку и не торопясь двинулись вверх по течению.

Описывать красоты Десны не буду, скажу только, что те три часа, которые провели на реке, мы только ахали и вздыхали. Восторгались всем: берегами, бакенами, чистым песочком, высокими одинокими осокорями, быстрым течением реки, галдящими стаями грачей, солнечным закатом, плавающими уточками, тоненьким молодым месяцем. Вздыхали и ахали.

— Ну и ну. Е-елки зеленые. А воздух-то, воздух... Работаться здесь будет — не говори...

На обратном пути, сидя на правилке и поглядывая на усеянный рыбаками берег, мой друг сказал:

— Здесь рыбы прорва. Надо будет разок-другой посидеть с удочкой. У хозяина есть, я видел. Ты давно не пробовал свежей рыбки?

— Миллион лет! — беспечно ответил я, увлеченный сладостным ритмом взмаха своих весел и не подозревая всего, что нас ждало впереди.

А ждало нас то, что на следующий день был «храм». Хозяева бог весть когда ушли в церковь, забыв оставить нам молока, и мы с горя пошли на базар. Это был роковой шаг.

На базаре мы купили рыбы. Купили подлещиков. Десять штук. Мой друг посмотрел им под жабры и сказал:

— Дай бог какая!

Придя домой, мы взяли таз и пошли на речку потрошить рыбу. Мой друг потрошил, а я смотрел. Делал он это очень ловко, будто всю жизнь этим занимался. Потом мы жарили подлещиков на керогазе. Муку и подсолнечное масло пришлось взаимообразно стащить у хозяев. Потом мы подлещиков съели. Все десять штук сразу. Нет, мы не ели — мы стонали. Обсосали все головы, все косточки — хозяйская кошка глядела на нас с ненавистью.

Потом, раздувшиеся, лежали на теплом песочке на берегу Десны и, лениво глядя на проплывавших мимо в своих челноках рыбаков, думали о разнообразии фауны украинских рек и о том, какого счастья лишены мы, жители больших городов, довольствующиеся мороженой камбалой и исландскими судаками из «гастрономовских» холодильников.

Так мы лежали на песочке и думали, подставляя солнцу то спину, то живот, потом перестали думать и заснули. Ни о какой работе в этот день не могло быть и речи.

На следующий день мы решили до работы еще, утречком, сбегать все-таки на базар, купить рыбы, почистить ее и оставить до обеда. Рыбы на базаре оказалось много. Мы купили два довольно крупных леща, три окуня и с десяток красноперок. Потом довольно долго стояли в очереди за газетой. Когда вернулись домой, выяснилось, что мы очень голодны и глупо тянуть с обедом, когда хочется есть именно сейчас. Хрустящие и румяные наши окуни и лещи превзошли даже вчерашних подлещиков (подлещик все-таки рыба костистая), но и они в свою очередь померкли перед линьками, купленными нами на следующий лень. Это была уже вершина, царь-рыба, форель, нежная, бескостная, тающая на языке. В этот день мы жарили ее два раза — утром и в обед.

Хозяева заинтересовались: где мы покупаем рыбу — неужели на базаре? Там же все в два раза дороже. Рыбу надо покупать прямо на берегу, у рыбаков, когда те возвращаются домой. Вечерком, часиков в семь, или рано утром, перед восходом солнца. Бывает, правда, и в двенадцать, в час — это те, которые не на ночь, а утречком уходят на ловлю. У них можно за рубль купить столько, сколько на базаре за три не достанешь.

И мы стали ловить рыбаков — утром, днем, вечером. Мы потеряли покой. Мы ни о чем другом не думали — только о рыбе. Нам все время казалось, что у нас ее мало, что мы купили не ту, что надо, что вот не пожадничай мы и дождись старика с бельмом, мы имели бы десяток первоклассных толстых линьков, а так приходится жевать жестковатых все-таки окуней.

В довершение всего мой друг достал где-то удочку. Этим была поставлена последняя точка. Сев в лодку, мы уходили далеко на пустынный островок возле понтонной переправы, и там, пока мой друг на все виды наживки — хлеб, тесто с яйцом, речную улитку (шкальку), мотыля, червя, пареный горох и даже на овес — пытался пополнить наш рыбный запас (за неделю было поймано четыре красноперки величиной с палец, три плотички и две бублицы), я нежился на солнце, смотрел на проплывавшие мимо самоходные баржи, бил на себе злых осенних мух и твердо давал себе обещание завтра же приступить к работе. Потом, борясь с течением и споря, к какому берегу надо ближе держаться, мы торопились домой, боясь прозевать вечерних рыбаков, а добравшись домой, бросались к керогазу, жарили, а затем, сопя и стеная, уничтожали двухдневный запас линьков и лещей.

К концу недели стало ясно, что надо из Острa бежать. Во всяком случае мне, если я действительно хочу кончить работу. Куда угодно — в дремучий лес, на Северный полюс, в пустыню Гоби, на худой конец просто в Киев...

После этого мы прожили еще три дня — надо было дождаться пятницы, когда должны были вернуться с рыбал-

ки старые, опытные рыбаки, ушедшие вверх по течению на пять суток. Не возвращаться же домой с пустыми руками..

За десять дней не было сделано ни одного мазка кистью, ни одного штриха карандашом, не раскрыт даже этюдник, не развязана папка с моими бумагами, не написана ни одна строчка... Впрочем вру — две первые страницы этого очерка (признаюсь, у меня была тайная мысль между делом написать страничек двадцать об Остре, о красотах Десны) написаны были на телефонном переговорном пункте в ожидании, пока мне дадут Киев. Вот и все, что я успел.

Заканчиваю я эти скорбные заметки уже в Киеве, вернее, на Бориспольском аэродроме. Самолет из Москвы («Буду субботу пролетом Киеве рейс 324 встречай твой Колька») задержался с вылетом на три часа, ресторан закрыт на ремонт, вот и пристроился на скамеечке, вспоминаю Остер, Десну, керогаз, линьков... Царь-рыба, ей-богу!

2. Из Касабланки в Дарницу

Как это часто бывает, в последнюю минуту ТУ-104 заменили на АН-10, и написанные на билетах номера мест потеряли свою силу. У трапа к самолету началась легкая давка. Я вошел в самолет одним из последних. Свободных мест оказалось два. Одно рядом с немолодым человеком, на лице которого было написано явное желание поговорить или предложить партию в шахматы, другое — возле двух молоденьких солдат. Я выбрал солдат — мне почему-то всегда стыдно признаться в своем неумении играть в шахматы. Солдаты уже ели сало, аккуратно нарезая его тоненькими, красивыми, розоватыми ломтиками. Оба были слегка навеселе.

Тот, что резал сало, был боек, хитроглаз и в силу определенных обстоятельств говорил немного громче, чем следовало бы. Багаж его состоял из небольшого чемоданчика и аккуратно сложенной шинели, покоившейся в сетке. Он демобилизовался и ехал к себе домой, под Киев. Звали его Петро. Другой солдат был поскромнее, молчаливее и зага-

дочнее. У него не было ни чемоданчика, ни шинели. Судя по всему, парень вырвался на воскресенье по каким-то своим, думаю, амурным (сужу по взглядам и улыбкам), делам в Киев. Звали его тоже Петром, вернее, Петей. Познакомились оба Петра час тому назад во Внукове.

Пока ели сало (мне тоже кое-что досталось) и самолет выруливал на старт, бойкий Петро весело смеялся, предвкушая эффект своего неожиданного появления дома.

— Ох, и удивляться же мамо. Ох, и удивляться. И все плакать будуть, все плакать. Три года все-таки...

Второй Петр помалкивал, налегая на сало.

Когда сало было уничтожено и мы поднялись в воздух, оба солдата заснули. Я тоже. Так мы летели час двадцать минут. В девять вечера, минута в минуту, сели на Борисполь-ский аэродром.

— Я думаю, надо взять такси, — сказал бойкий Петро.

— Я тоже так думаю, — согласился молчаливый Петя.

Я вошел в долю.

Такси оказалось вместительным, поэтому решено было, пока таксист подберет еще двух пассажиров, сбегать в буфет.

В буфете выпили какой-то дряни, потом Петро сказал:

— Я думаю, надо все-таки чего-то взять домой. А, солдат? Солдат согласился. Мы взяли три бутылки венгерского «токая» — крепче ничего не было. Я зачем-то тоже взял. Вернулись к такси. Там уже сидели двое.

— А-а, привет, — донеслось с заднего сиденья. — Издалека летишь?

Я наклонился и с трудом в темноте узнал знакомого детского писателя.

— Из Москвы, — сказал я. — А ты?

— Из Касабланки. — Он указал на своего соседа, скрытого каким-то большим предметом, лежавшим у него на коленях. — Знакомься, товарищ из обкома комсомола.

Мы познакомились, солдаты тоже. Рассевшись по своим местам, тронулись. Поехали по прямому, обсаженному деревьями Борисполь-скому, оно же Харьковское, шоссе.

— Да, все-таки странно, — сказал детский писатель. — Никак к этому не привыкнешь. Утром Касабланка, днем Париж, вечером Москва... А через час буду уже дома...

Я согласился, что странно, а бойкий Петро сказал: «Техника!» — и спросил, на каком самолете писатель летел из Парижа.

— На «Каравелле» компании «Эр-Франс». Хороший самолет. Впрочем наш ТУ ему не уступит.

Потом он начал рассказывать о Марокко. Страна поразила его главным образом своими контрастами. На одном полюсе роскошь и богатство, громадные отели, «эркондишен», на другом нищета, болезни, голод.

— Мы были делегацией, поэтому могли видеть только то, что показывали, но кое-что удалось уловить все-таки. Были в Марокко — в Фес, Касабланке, Марракеше. Видали живого султана.

— А что они там пьют? — перебил Петро.

— Кто?

— Ну, маракеши эти самые?

— Марокканцы то есть? Как и везде на Западе: богатые — коньяк и всякие там виски, бедные — дешевое вино или какую-нибудь гадость вроде самогона.

— А какую именно, не знаете?

— Нет, не знаю, — сказал писатель и стал опять рассказывать о марокканском султане.

Так, постепенно расширяя свой круг знаний о Марокко, мы подъехали к Дарнице. Тут Петро сказал:

— Товарищи, я тут совсем недалеко живу. До моего села четыре километра. Вот от этого поворота четыре километра. Может, завезете?

— А ты дорогу знаешь? — спросил шофер.

— А как же. С закрытыми глазами.

Шофер обернулся к нам:

— Как вы, товарищи?

— Четыре так четыре. Подвезем защитника родины?

— Подвезем,— согласился писатель. Работник обкома ничего не сказал, он спал.

От «того поворота» повернули налево. Проехали минут пять. Появились какие-то большие строящиеся дома. Петро похлопал шофера по плечу:

— Погоди малость. Что-то этих домов не было. Шофер затормозил.

— Не туда, что ль, едем?

Работник обкома проснулся, приплюснулся носом к стеклу:

— Заблудились никак? Из Борисполя? Нужно уметь...

— Ничего не заблудились, — слегка раздраженно сказал Петро — Ладно, поехали дальше.

Через несколько минут Петро опять остановил машину.

— Дай-ка я вылезу, погляжу по сторонам. Что-то и трубы я этой не узнаю.

Поглядев, вернулся.

— Свертай направо. Там деревянный мостик должен быть.

Но никакого мостика не оказалось. Оказался лес. Потом какой-то буерак. Машину качало из стороны в сторону. Петро чесал затылок.

— Три года все-таки... А ну, постой, давай сюда!

Шофер повернул. Нам попался какой-то исключительный шофер. Он почему-то не ворчал — ехал и ехал. Остальные молчали. О Марокко забыли.

Проснувшийся работник обкома закурил и спичкой присветил часы.

— Одиннадцатый час уже. Нехорошо как-то получается. Дома ждут...

— Ладно, ладно, — примирительно сказал писатель.

— Погоди, погоди. Это уже наше. Давай прямо, вон туда.

Впереди мигнул огонек. Село.

— Давай, давай!

Въехали в село. Оно спало. Мигнувший издали огонек тоже погас.

— Стоп! Тут...

Петро выскочил первый, стал стучать в окно.

— Э-э... Кто там?

...В хате негде было повернуться. Нас шестеро, мать Петра, его сестра, муж сестры и еще племянник — восьмилетний Гриць.

Мать — Килина Петровна, на одно лицо с сыном, только поморщинистее и потемнее — поплакала, пообнималась с сыном и засуетилась у стола.

— Ох, лишенько мое, что ж ты телеграмму-то не дал... Самогон-то только у Козланючки есть, а ее не добудишься, спит как колода.

— Ничего, мамо, у нас венгерское есть... Перша кляса...

Оба солдата скинули с себя гимнастерки, переоделись в ковбойки и сразу стали деревенскими ребятами.

Сестра, коренастая и тоже похожая на брата, стала разводить огонь. Зятя послали все-таки к Козланючке за самогоном. Гриць возился у чемодана: «А мне что, мне что?»

«Токай» был разлит в две фаянсовые и одну медную кружку, два граненых стакана и зятевский стаканчик для бритья. Шофер не пил, только улыбался — славный парень, никогда я таких покладистых шоферов не видал.

Работник обкома — он почему-то принес с собой из машины большой предмет, который держал на коленях, это оказалась детская лошадь-качалка лилового цвета, — поприветствовал мать и сына, которые не видались три года, пожелал им успеха в мирном труде и личной жизни.

Писатель зааплодировал (все его поддержали) и тоже сказал несколько слов о том, что ему очень приятно, ступив, так сказать, по-настоящему, на советскую землю, оказаться сегодня именно здесь.

— Вы не представляете, — сказал он, — какое счастье возвращаться домой. Сегодня утром мы были еще в Африке, в далеком Марокко, днем в Париже, а сейчас вот у вас...

Под конец он попросил разрешения от имени двух присутствующих писателей, представителя обкома комсомола и славного водителя такси, а заодно — тут он улыбнулся — от трудящихся той страны, из которой мы сейчас прилетели, пожелать всем всего самого наилучшего.

К концу его маленькой речи вернулся зять еще с двумя заспанными парнями. Карманы их оттопыривались. Все были немного смущены.

Работник обкома посмотрел на часы и взял свою лошадь.

— Товарищи, двенадцатый час... В шесть мы еще в Марокко были.

— Да ніякої мороки нема. Останьтесь. Тільки ради будемо, — суетилась старуха. — Выпьемо по рюмочці...

Петро тоже просил остаться, остальные молчали. Гриць открыл чемодан и пытался влезть в диагоналевые галифе.

Мы распрощались. В комнату входили все новые и новые люди.

Когда мы тронулись, до нас донеслись первые тягучие аккорды баяна.

Весь остаток дороги писатель рассказывал о контрастах Марокко.

1963

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УЛИЦЕ ДЕТСТВА

Голос ведущего: Репортер «Кругозора» писатель Виктор Некрасов рассказывает:

— Улица эта называется Андреевский спуск. Я жил в самом противоположном конце города, но вот эту самую уличку, которая спускается вниз, с булыжной мостовой, с этими сидящими старичками, и с этими проходящими какими-то стекольщиками, и с этой тишиной, мы, мальчишки, любили больше всего....

— Вот мы вошли во дворик дома, который у нас так вот назывался «замком» — арки, аркбутаны, какие-то лестницы, переходы. Вот по этим лестницам мы гоняли в сыщиков-разбойников. Здесь первый раз в жизни, мне, ну, назовем это так, расквасили нос. Это было, когда мне было лет десять, или одиннадцать, или двенадцать, я... вспоминаю, как побоялся прийти домой с распухшим носом...

— Ну, а сейчас мы пройдем по этой лесенке и попадем на одну горку, с которой мы увидим много очень интересных вещей... (слышен лай собаки). Во, лай, лай! Эта собака всегда встречает всех посетителей вот этим приветливым голосом своим... Но она сейчас уйдет, бояться ее нечего.

— Давай, давай, давай, уходи, уходи, уходи!..

— Вот мы вышли на горку, посмотрите вокруг себя. Днепр, баржи, мост, элеватор, новая наша станция... А левее, за трубами электростанции, вот холмик такой виден,

и там было, значит, КП Ватутина, сейчас там большой памятник стоит, ну, а тогда были окопы, блиндажи и... больше ничего. Вот оттуда как раз и началось движение на Киев. Киев освободили шестого ноября сорок третьего года, в это время я находился в госпитале, после Сталинграда, но в Киеве я появился приблизительно через месяц и увидал Киев в том виде, в каком он был оставлен немцами. Крещатик — сплошной битый кирпич... Увидал свой собственный дом, шестиэтажный, на улице Горького, сожженный дотла...

— А теперь я бы попросил вас всех подойти к этой вот кромке холма. Раздвинем кусты и посмотрим вниз. Вот видите — домик, дворик, вон там внизу, у него красная крыша, женщина идет с авоськой и спускается вниз по какой-то лесенке, а наверху веранда, увитая зеленью и виноградом... Так вот, это тот самый домик, номер тринадцать. Знаменит он тем, что в нем когда-то жил один из крупнейших русских писателей Михаил Афанасьевич Булгаков. А вместе с ним, или параллельно с ним, или для нас, или для него, в этом доме жили Турбины. Вот, на втором этаже, вот там именно, где виноград — там жили Турбины...

— Ну, а теперь спустимся вниз и посмотрим на этот домик, ну так, просто, в фас...

— Вы видите, что происходит?! (слышен шум) Это для северян вещь совершенно непонятная — это трясут каштаны! — Тряси каштаны, пацан!.. (поправляет себя) — Дядя, дядя!.. (смех)

— Мальчишки бегают, собирают их, внутри они очень красивые, такие коричневые, сейчас мы будем подбирать, коричневые такие кружочки, которые мы в детстве (собирали), а сейчас эти мальчишки собирают их и набивают ими всю свою квартиру... Ну, а теперь давайте собирать каштаны... О, опять посыпались!..

— Вот мы и подошли, наконец, к дому номер тринадцать. А вот это тот самый балкон, где сейчас стоит телевизионная буква «Т», это был балкон, там (жил) Михаил Булгаков, в этой самой комнате рядом с балконом был его кабинет. Он был врачом сам, Булгаков... Ну и, по-видимому,

это был кабинет, в то же время и Алексея Турбина. Если считать самого Михаила Афанасьевича Булгакова Алексеем Турбиным, то Николка Турбин это, по-видимому, младший брат Михаила Афанасьевича — Николай Афанасьевич. Он оказался в эмиграции, попал в Париж, и во время оккупации Франции немцами он попал в лагерь. Он был микробиолог, он лечил, он спасал, скрывая, придумывая болезни, помогал всем в лагере...

— Вот, мы с вами прошлись по Андреевскому спуску. Эта улица для меня, уже человека довольно пожилого, осталась такой же родной и близкой, какой она была, когда мне было десять-двенадцать лет...

1968

«ДОМ ТУРБИНЫХ»

«...Буль-буль-буль, бутылочка
казенного вина!!.
Бескозырки тонные,
сапоги фасонные, —
то юнкера-гвардейцы идут...»

И в это время гаснет электричество. Николка и его гитара умолкают. «Черт знает что такое, — говорит Алексей, — каждую минуту тухнет. Леночка, дай, пожалуйста, свечи». И входит Елена со свечой, и где-то очень далеко раздается пушечный выстрел. «Как близко, — говорит Николка. — Впечатление такое, будто бы под Святошином стреляют...»

Николке Турбину семнадцать с половиною. Мне тоже семнадцать с половиною. Правда, у него на плечах унтерофицерские погоны и трехцветные шевроны на рукавах, а я просто-напросто учусь в советской железнодорожной профшколе, но все же обоим нам по семнадцать с половиной. И говорит он о Святошине, нашем киевском Святошине, и свет у нас тоже так вот гас, и так же доносилась откуда-то канонада...

Бухало, целыми днями бухало. И где-то стреляли. И по ночам зачем-то били в рельс. Кто-то приходил, кто-то уходил. Потом, когда становилось тихо, нас водили в Николаевский парк перед университетом, и там было всегда полно солдат. Сейчас почему-то их совсем нет, парк стал пенси-

онерски-доминошным, а тогда на всех скамейках сидели солдаты. Разные — немцы, петлюровцы, в двадцатом году поляки в светло-гороховых английских шинелях. Мы бегали от скамейки к скамейке и спрашивали у немцев: «Вифиль ист ди ур?» И солдаты смеялись, показывали нам часы, давали конфетки, сажали на колени. Очень они нам нравились. А вот белогвардейцы, или, как их тогда называли, «добровольцы», нет. Два истукана-часовых стояли на ступеньках у входа в особняк Терещенко, где расположился штаб генерала Драгомирова, и мы бросали в них камешками, а они хоть бы что, дураки, стояли, как пни...

Каждый раз вспоминаю я их, этих истуканов, проходя мимо дома на углу Кузнечной и Караваевской, где обосновался после генеральского штаба прозаический Рентгеновский институт...

...Электричество зажигается. Гасят свечи. (У нас тоже зажигалось, но гасили не свечи, а коптилки; где Турбины доставали свечи — ума не приложу, они были на вес золота.) Тальберга все еще нет. Елена беспокоится. Звонок. Появляется замерзший Мышлаевский. «Осторожно вешай, Никол. В кармане бутылка водки. Не разбей...»

Сколько раз я видел «Дни Турбиных»? Три, четыре, может, даже и пять. Я рос, а Николке все оставалось семнадцать. Сидя, поджав колени, на ступенях мхатовского балкона первого яруса, я по-прежнему чувствовал себя его ровесником. А Алексей Турбин всегда оставался для меня «взрослым», намного старшим меня, хотя, когда я в последний раз, перед войной, смотрел «Турбиных», мы были ровесниками уже с Алексеем.

Режиссер Сахновский писал где-то, что для нового поколения Художественного театра «Турбины» стали новой «Чайкой». Думаю, что это действительно так. Но это для артистов, для МХАТа, — для меня же, сначала мальчишки-профшкольника, потом постепенно взрослеющего студента, «Турбины» были не просто спектаклем, а чем-то гораздо большим. Даже когда я стал уже актером, интересующимся чисто профессиональной стороной дела, даже тогда «Турби-

ны» были для меня не театром, не пьесой, пусть даже очень талантливой и привлекательно-загадочной своим одиночеством на сцене, а осязаемым куском жизни, отдаляющимся и отдаляющимся, но всегда очень близким.

Почему? Ведь в жизни своей я не знал ни одного белогвардейца (впервые столкнулся с ними в Праге в 1945 году), семья моя отнюдь их не жаловала (в квартире нашей перебывали жильцами-реквизаторами и немцы, и французы, и два очень полюбившихся мне красноармейца, пахнувших махоркой и портянками, но ни одного белого), да и вообще родители мои были из «левых», друживших за границей с эмигрантами — Плехановым, Луначарским, Ногиным... Ни Мышлаевских, ни Шервинских никогда в нашем доме не было. Но что-то другое, что-то «турбинское», очевидно, было. Мне трудно объяснить даже что. В нашей семье я был единственным мужчиной (мама, бабушка, тетка и я — семилетний), и никаких гитар у нас не было, и вино не лилось рекой, даже ручейком, и общего с Турбиными у нас как будто ничего не было, если не считать соседа осетина Алибека, который появлялся иногда у нас в гостиной весь в кавказских газырях (Шервинский?!) и, когда я малость подрос, все спрашивал, не купит ли кто-нибудь из моих школьных товарищей его кинжал — он любил пропустить рюмочку. А вот что-то общее все же было. Дух? Прошлое? Может быть, вещи?

«...Мебель старого красного бархата... потертые ковры... бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкафы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, Капитанской дочкой, золоченые чашки, портреты, портьеры...»

Одним словом, Турбины вошли в мою жизнь. Вошли прочно и навсегда. Сначала пьесой, МХАТом, потом и романом, «Белой гвардией». Написан он был раньше пьесы — за год, за два, но попал мне в руки где-то в начале тридцатых годов. И укрепил дружбу. Обрадовал «воскрешением» Алексея, «убитого» Булгаковым, правда, после, но для меня до романа. Расширил круг действия. Ввел новых лиц. Полковни-

ка Малышева, отважного Най-Турса, таинственную Юлию, домовладельца Василису с костлявой и ревнивой Вандой — женой его. На сцене МХАТа была уютная, обжитая, такая же симпатичная, как и населяющие ее люди, квартира с умилявшими до слез Лариосика кремовыми занавесками, в романе же ожил весь «город прекрасный, город счастливый, мать городов русских», занесенный снегом, таинственный и тревожный в этот страшный «год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революция второй».

Для нас, киевлян, все это было особенно дорого. До Булгакова русская литература как-то обходила Киев — разве что Куприн, да и то очень уж довоенный. А тут все близко, рядом — знакомые улицы, перекрестки. Святой Владимир на Владимирской горке с сияющим белым крестом в руках (увы, этого сияния я уже не помню), который был «виден далеко, и часто летом, в черной мгле, в путаных заводях и изгибах старика-реки, из ивняка, лодки видели его и находили по его свету водяной путь на Город, к его пристаням».

Не знаю, как для кого, но для меня очень важна всегда «география» самого произведения. Важно знать, где жили — точно! — Раскольников, процентщица. Где жили герои вересаевского «В тупике», где в Коктебеле был их белый домик с черепичной крышей и зелеными ставнями. Я был сперва разочарован (уж очень привык к этой мысли), а потом обрадован, узнав, что Ростовы никогда не жили на Поварской именно в том доме, где сейчас Союз писателей (тут жила Наташа, а теперь отдел кадров или бухгалтерия...). Причем важно было, где жили и действовали герои, не автор, а именно герои. Они всегда (сейчас, может быть, в меньшей степени) были важнее придумавшего их автора. Впрочем, Растиньяк и до сих пор для меня «живее» Бальзака, как и д'Артаньян — старика Дюма.

А Турбины? Где они жили? До этого года (точнее, до апреля этого года, когда я вторично через тридцать лет прочел «Белую гвардию») я помнил только, что жили они на Алексеевском спуске. В Киеве такой улицы нет, есть Андре-

евский спуск. По каким-то ведомым только одному Булгакову причинам он, автор, сохранив действительные названия всех киевских улиц (Крещатик, Владимирская, Царский сад, Владимирская горка), две из них, наиболее тесно «привязанных» к самим Турбиным, — переименовал. Андреевский спуск на Алексеевский, а Мало-Подвальную (там, где Юлия спасает раненого Алексея) на Мало-Провальную. Зачем это сделано — остается тайной, но так или иначе нетрудно было догадаться, что жили Турбины на Андреевском спуске. Помнил я и то, что жили они в двухэтажном доме под горой, на втором этаже, а на первом жил домовладелец Василиса. Вот и все, что я помнил.

Андреевский спуск — одна из самых «киевских» улиц города. Очень крутая, выложенная булыжником (где его сейчас найдешь?), извиваясь в виде громадного «S», она ведет из Старого города в нижнюю его часть — Подол. Вверху Андреевская церковь — Растрелли, XVIII век, — внизу Контрактовая площадь (когда-то там по веснам проводилась ярмарка — контракты, — я еще помню меченые яблоки, вафли, масса народу). Вся улица — маленькие, уютные домики. И только два или три больших. Один из них я хорошо знаю с детства. Он назывался у нас Замок Ричарда Львиное Сердце. Из желтого киевского кирпича, семиэтажный, «под готику», с угловой остроконечной башней. Он виден издалека и со многих мест. Если войти в низкую, давящую дворовую арку (в Киеве это называется «подворотня»), попадаешь в тесный каменный двор, от которого у нас, детей, захватывало дух. Средневековье... Какие-то арки, своды, подпорные стены, каменные лестницы в толще стены, висячие железные, какие-то ходы, переходы, громадные балконы, зубцы на стенах... Не хватало только стражи, поставившей в угол свои алебарды и дующейся где-нибудь на бочке в кости. Но это еще не все. Если подняться по каменной, с амбразурами лестнице наверх, попадаешь на горку, восхитительную горку, заросшую буйной дерезой, горку, с которой открывается такой вид на Подол, на Днепр и Заднепровье, что впервые попавших сюда никак уж не прогонишь. А внизу, под крутой

этой горкой, десятки прилепившихся к ней домиков, двориков с сарайчиками, голубятнями, развешанным бельем. Я не знаю, о чем думают киевские художники, — на их месте я с этой горки не слезал бы...

Вот такой вот есть Андреевский спуск. Есть и был. На нем ни одного нового дома. Таким — с крупной булыгой, с зарослями дерезы на откосах, с двумя-тремя неизвестно как и для чего посаженными немыслимо кривыми, валящимися прямо на улицу американскими кленами, с маленькими своими домиками, — таким он был десять, двадцать, тридцать лет тому назад, таким он был и в зиму 1918 года, когда «Город жил странною, неестественною жизнью, которая, очень возможно, уже не повторится в двадцатом столетии...»

Где же на этом самом Андреевском спуске жили Турбины? Не знаю точно почему, но я убедил себя, а потом стал убеждать и друзей, которых водил на ту самую горку, что жили они в маленьком домике, прилепившемся к Замку Ричарда. У него веранда, симпатичная калитка в глухом заборе, садик, перед входом один из этих кривулек-кленов. Ну, конечно же они могли жить только тут. И жили. «Я вам это точно говорю...»

Но оказалось, что я жестоко ошибался.

И вот тут-то начинается самое интересное. До сих пор была, так сказать, присказка, сейчас же я приступаю к сказке.

Настал 1965 год.

Стоит ли говорить о том счастье, которое пережили все мы, прочитав впервые появившиеся в печати «Театральный роман», а год спустя «Мастера и Маргариту». Через двадцать пять лет после смерти писателя мы познакомились с неведомыми нам до сих пор страницами булгаковской прозы. И были поражены. Обрадованы и поражены, о чем тут говорить. Но еще более обрадовала и поразила (меня во всяком случае) вторичная встреча с «Белой гвардией». Ничто, оказывается, не померкло, ничто не устарело. Как будто и не было этих сорока лет. Я с трудом заставлял себя отрываться от романа и делал это насильно, чтоб продлить удовольствие. На наших глазах произошло некое чудо, в литературе

случающееся очень редко и далеко не со всеми, — произошло второе рождение.

Кстати, с «Днями Турбиных» до сих пор этого не произошло. Послевоенная постановка пьесы в театре Станиславского особой радости никому не доставила. Может быть, потому, что после Хмелева, Добронравова, Кудрявцева (подумать только, никого из них уже нет в живых!), после молодого, тоненького Яншина — Лариосика, после Тарасовой и Еланской создать что-нибудь новое и яркое очень трудно. А может, и потому, что не все произведения искусства можно копировать, а родить новый оригинал не так-то просто. Я с тревогой (надеждой, но больше с тревогой) жду новой постановки во МХАТе. Ходить или не ходить? Не знаю. Боюсь... Всего боюсь: юношеских воспоминаний, сравнений, параллелей... Да, боюсь я за «Турбиных», боюсь за пьесу...

А вот роман обезоружил. Живой, живой, совсем живой... Ни одной морщинки, ни одного седого волоса. Выжил, пережил и победил! Но я отвлекся. Вернемся к географии. Где же жили Турбины? Оказывается, автор не делает из этого никакого секрета. Буквально на второй странице романа указан точный адрес: Алексеевский (читай Андреевский) спуск, № 13.

«Много лет до смерти (матери), в доме № 13 по Алексеевскому спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку». Ясно и точно. Как же я этого не запомнил? Не запомнил, и все...

Итак, Андреевский спуск, № 13...

Самое забавное — оказывается, у меня есть даже снимок этого дома, хотя, снимая его, я и понятия не имел о его значении и месте в русской литературе. Просто понравился этот уголок Киева (в свое время я увлекался фотографией, пейзажами Киева в частности), и точка, которую я нашел, взобравшись на одну из многочисленных киевских гор, была очень эффектна. Андреевская церковь, Замок Ричарда, горка, сады, вдали Днепр, а внизу — крутая излучина

Андреевского спуска и прямо посередине под горкой дом Турбиных. Кстати, и с этой самой горки, вернее горы, той самой, о которой я уже говорил, дворик дома виден очень хорошо. Самый уютный и привлекательный, с голубятней, с верандочкой — я его сотни раз показывал друзьям, хвастаясь киевскими красотами, конечно, побывал в нем, в этом домике. Даже дважды. Первый раз мимолетом, несколько минут, в основном чтоб уточнить, действительно ли это он или нет, второй раз подольше.

В романе дан совершенно точный его портрет. «Над двухэтажным домом № 13, постройки изумительной (на улицу квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик — в первом), в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе — и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже (на улицу — первый, во двор под верандой Турбиных — подвальный) засветился слабенькими желтенькими огнями... Василий Иванович Лисович, а в верхнем — сильно и весело загорелись турбинские окна».

Ничто с тех пор не изменилось. И дом, и дворик, и сарайчики, и веранда, и лестница под верандой, ведущая в квартиру Василисы (Вас. Лис.) — Василия Ивановича Лисовича — на улицу первый этаж, во двор — подвал. Вот только сад исчез — одни сарайчики.

Первый мой визит, повторяю, был краток. Я был с матерью и приятелем, приехали мы на его машине, и времени у нас было в обрез. Войдя во двор, я робко позвонил в левую из двух ведущих на веранду дверей и у открывшей ее немолодой дамы-блондинки спросил, не жили ли здесь когда-нибудь люди по фамилии Турбины. Или Булгаковы.

Дама несколько удивленно посмотрела на меня и сказала, что да, жили, очень давно, вот именно здесь, а почему меня это интересует? Я сказал, что Булгаков — знаменитый русский писатель, и что все, связанное с ним...

На лице дамы выразилось еще большее изумление.

— Как? Мишка Булгаков — знаменитый писатель? Этот бездарный венеролог — знаменитый русский писатель?

Тогда я обомлел, впоследствии же понял, что даму поразило не то, что бездарный венеролог стал писателем (это она знала), а то, что стал знаменитым...

Но выяснилось это уже после второго визита. На этот раз нас пришло только двое и времени у нас было сколько угодно.

На наш звонок из глубины квартиры раздался молодой женский голос:

— Мама, какие-то дядьки...

Мама — та самая немолодая дама-блондинка — вышла и после крохотной вспоминающе-оценивающей паузы — меня, по-моему, она сначала не узнала — любезно сказала:

— Пожалуйста, заходите. Вот сюда, в гостиную. У них это была гостиная. А это — столовая. Пришлось перегородить, как видите...

Бывшая столовая, судя по лепным тягам на потолке, была когда-то очень большой и, очевидно, уютной, сейчас же она превратилась в прихожую и одновременно кухню: справа у стенки красовалась газовая плита.

Мы вошли в гостиную, хозяйка извинилась, что не прерывает работы — она гладила, правда, не очень усердно, тюлевые гардины на длинной гладильной доске, — и пригласила нас сесть.

Обстановка в гостиной оказалась отнюдь не турбинской. И не булгаковской. На трех окнах, выходящих на улицу, на противоположную горку с начавшей уже зеленеть травой, — раздвижные в пол-окна занавесочки, на подоконнике цветы — лиловый сон в вазочках. Все остальное — как у всех теперь — только киевский вариант: львовский «модерн» начала пятидесятых годов в сочетании с так называемой «боженковской» мебелью. (Герой гражданской войны, соратник Щорса, Боженко, увы, ассоциируется сейчас у большинства киевлян с посредственной мебелью фабрики, носящей его имя.) На стене что-то японское на черном лаке (цапли, что ли?), возле дверей — сияющее, под орех пианино.

Мы сели. Хозяйка полюбопытствовала, что нас интересует. Мы сказали, что все, касающееся жизни Михаила Афанасьевича Булгакова в этой квартире.

Из последующего рассказа, прерываемого то приходом молчаливого мужа, что-то искавшего в шкафу, то вторжением тут же изгоняемых внуков («Идите, идите, нечего вам слушать»), мы узнали, что семья Булгаковых была большая: отец — профессор богословия, умерший, по-видимому, еще до революции, мать — очень хозяйственная, любившая порядок, и семеро детей — три брата, из которых Михаил был старший, и четыре сестры. Прожили они в этой квартире больше двадцати лет и в 1920 году уехали. Больше никто никогда сюда не возвращался. Михаил в том числе. Семья была патриархальная, с определенными устоями. Со смертью отца все изменилось. Мать, насколько мы поняли, отделилась: «там наверху, против Андреевской церкви, жил один врач, очень приличный человек, он недавно умер в преклонном возрасте в Алма-Ате», и с тех пор в доме воцарилась безалаберщина.

— Очень они были веселые и шумные. И всегда уйма народу. Пели, пили, говорили всегда разом, стараясь друг друга перекричать... Самой веселой была вторая Мишина сестра. Старшая посерьезнее, поспокойнее, замужем была за офицером. Фамилия его что-то вроде Краубе — немец по происхождению. — (Так, поняли мы, — Тальберг...) — Их потом выслали, и обоих уже нет в живых. А вторая сестра — Варя — была на редкость веселой: хорошо пела, играла на гитаре... А когда подымался слишком уже невообразимый шум, влезала на стул и писала на печке: «Тихо!»

— На этой печке? — Мы разом обернулись, посмотрели в угол и невольно вспомнили надписи, которые на ней когда-то были. Последняя Николкина: «Я таки приказываю посторонних вещей на печке не писать под угрозой расстрела всякого товарища... Комиссар Подольского райкома. Дамский, мужской и женский портной Абрам Пружинер. 1918 года, 30 января».

— Нет, — сказала хозяйка, — в столовой. Будете уходить, я вам покажу.

Дальше пошел рассказ о самом Мише. Начался он почему-то с зубов. У него были очень крупные зубы. («Да-да, — подтвердил присевший в углу на стул хозяйкин муж, — у него были очень крупные зубы». Это была первая из двух произнесенных им за все время фраз.) А вообще Миша был высокий, светлоглазый, блондин. Все время откидывал волосы назад. Вот так — головой. И очень быстро ходил. Нет, дружить не дружили, он был значительно старше, лет на двенадцать. Дружила с самой младшей сестрой Лелей. Но Мишу помнит хорошо, очень хорошо. И характер его — насмешливый, ироничный, язвительный. Не легкий, в общем. Однажды даже огца ее обидел. И совершенно незаслуженно.

— У Миши там вот кабинет был. — Хозяйка указала на стенку перед собой.— Больных принимал, люэтиков своих. Вы ж, очевидно, знаете, что он переквалифицировался на венеролога. Так вот, у него всегда там почему-то краны были открыты. И все переливалось через край. И протекало. И все на наши головы...

Мы переглянулись.

— Вы что, на первом этаже жили?

— На первом. И все, понимаете, на наши головы. Чуть потолок не рухнул. Тогда отец мой, человек очень приличный, образованный и все-таки хозяин дома — квартиру-то они у нас снимали — (мы опять переглянулись...), — подымается наверх и говорит: «Миша, надо все-таки как-то следить за кранами, у нас внизу совсем потоп...» А Миша ответил ему так грубо, так грубо...

Но как именно ответил Миша, мы так и не узнали, в разговор вмешалась появившаяся вдруг из коридора очень золото- и пышноволосая, расчесывающая свои кудри хозяйкина дочка.

— Ну зачем, мама, все эти детали?

Мать несколько смутилась, хотя тут же сказала, что ничего дурного в этих деталях не видит, просто одна из черточек Мишиного характера, а мы в третий раз переглянулись.

— Так вы, значит, на первом этаже жили? Который во двор подвалом выходит?

— Ну да. Поэтому на нас и лилось.

Все стало ясно. Первый этаж, домовладелец... Абсолютно ясно. Мы имели дело ни больше ни меньше, как с дочерью Василисы, хозяина дома Василия Ивановича Лисовича...

Одно, правда, несколько удивило нас (все это уже потом, на обратном пути, перебивая друг друга, пытаясь во всем разобраться), — когда кто-то из нас в самом еще начале разговора упомянул имя Василисы, хозяйка наша и бровью не повела, как будто и имени такого не слыхала.

Последующий кропотливый анализ посеял в нас сомнение: а читала ли нынешняя владелица булгаковской квартиры «Белую гвардию»? «Дни Турбиных», очевидно, видела, когда перед самой войной МХАТ приезжал в Киев (сын во всяком случае видел: билеты достать было невозможно, но он сказал, что он внук хозяина дома, где жили Булгаковы, и ему сразу дали). Одним словом, будем считать, что с «Турбиными» она была знакома, но все дело в том, что в пьесе Василисы нет, он даже не упоминается. А в романе есть. Возможно, сам Василиса читал, но вряд ли ему так уж хотелось, чтоб прочитали дети...

— Что и говорить, — грустно улыбнулась хозяйка, перебирая тюлевые гардины, — жили мы, как Монтекки и Капулетти... И вообще...

Дальше выяснилось, что не только как к жильцу, но и как к писателю у нее есть определенные претензии. Дело в том, что, когда в конце двадцатых или в начале тридцатых годов изымали золото, один из соседей — вот там, через улицу жил, — вспомнил, что в каком-то романе Миша писал о некоем домовладельце, у которого что-то там где-то хранилось; так вот, если оно действительно есть... Но его не было. Не было уже ничего... И все же как-то нехорошо получилось. Зачем так уж прямо?

Мы оба невольно посмотрели в окно: а где то дерево, та акация, с которой бандит-петлюровец подсматривал за Василисиными операциями с тайником в стене? Нет, обнаружить ее нам не удалось — ни сейчас, ни потом. Все-таки сорок лет прошло. Зато ущелье между двумя домами, три-

надцатым и одиннадцатым, куда Николка прятал исчезнувшую потом жестяную коробку из-под конфет с пистолетами, погонами и портретом наследника Алексея, — нашли. И даже доски выломаны, как будто бандиты только сегодня или вчера вылезли из этого самого ущелья.

Сегодня? Вчера? Позавчера? Все как-то вдруг перепуталось, сдвинулось, переместилось...

Вот в этой самой комнате, где мы сейчас сидим, с тремя окнами на улицу, с таким же точно видом на противоположную горку, которая с тех пор ничуть не изменилась (исчезли только акации, темнившие гостиную), в этой самой тогда гостиной жил себе и расхаживал быстрым шагом высокий голубоглазый человек, откидывавший назад волосы, ироничный и язвительный, уехавший потом в Москву и никогда больше сюда не возвращавшийся... В этой самой гостиной, тогда розоватой, с кремовыми занавесками, много-много лет назад в студеную декабрьскую ночь три офицера, один юнкер и нелепый, брошенный женой молодой человек из Житомира играли в винт, а в соседней комнате бредил тифозный, а внизу, на первом этаже, в это самое время петлюровцы чистили домовладельца, и потом он, бедняжка, прибежал сюда и упал в обморок, и его окатывали холодной водой...

В этой самой комнате, в этой квартире пахло когда-то на Рождество хвоей, потрескивали парафиновые свечи, на белой крахмальной скатерти в вазе в виде колонны стояли гортензии и мрачные знойные розы, часы с бронзовыми пастушками каждые три часа играли гавот, и в столовой откликались им черные стенные, и на рояле лежали раскрытые ноты «Фауста», и пили здесь вино и водку, и пели эпиталаму богу Гименею и кое-что другое, приводившее в ужас похожего на Тараса Бульбу домовладельца и его жену: «Что ж это такое? Три часа ночи! Я жаловаться наконец буду!»

И вот всего этого нету. Нет больше «книжной», нет сокола на белой рукавице Алексея Михайловича, нет Людовика XIV в райских кущах на берегу шелкового озера, нет бронзовых ламп под зеленым абажуром, и холодные, старательно вымытые (начал еще Николка) саардамские изразцы

тоскливо смотрят на голубые огоньки и кастрюли газовой плиты. И нижний этаж переселился в верхний, и Василиса, по-видимому, умер (мы почему-то, растерявшись, ничего о нем не спросили), а в угловой Николкиной комнате (двадцать шесть метров, как сообщила нам хозяйка) живет златокудрая Василисина внучка...

А Николка?

Да, у Миши было два брата. Николай и Ваня. Николай — старший, второй после Миши, спокойный, серьезный, самый серьезный из всех. Умер в январе этого года в Париже. Был профессором. Это кое-что да значит — быть профессором в Париже, да еще русскому эмигранту. Умница был. Тогда еще был умницей... А Ваня? Ваня тоже в Париже, но не профессор... В балалаечном ансамбле каком-то или как это у них там называется. Он самый младший был, вероятно, еще жив... Из сестер остались две, обе в Москве. Одна тяжело болеет, с другой, с Надей, изредка переписывается. Когда была в Москве, заходила к ней. Недавно где-то ее фотография была. На фоне Мишиной библиотеки. Сохранилась еще. А Миши вот нет...

Тут хозяйка, оторвавшись от утюга, испытующе и все же недоверчиво посмотрела на нас:

— Так вы говорите, стал знаменитым?

— Стал...

Покачала головой.

— Кто мог подумать? Ведь такой невезучий был... Надя, правда, недавно писала мне, что сейчас вот напечатали что-то его и все очень читают... Но ведь сколько лет прошло...

Опять ворвались дети — мальчик и девочка. Их опять прогнали. Муж вяло поискал что-то в шкафу и опять сел, хотя ему надо было куда-то уходить. Дочь, продолжая расчесывать свои кудри, попыталась вступить в разговор — почему мать ничего про Ланчиа не рассказывает? Но мать, при всей своей словоохотливости, тут вдруг заартачилась— ничего, мол, интересного нет. Дочь уверяла, что очень интересно, ей во всяком случае было очень интересно. Но мать проявила непонятную стойкость. Нам удалось только узнать,

что Ланчиа — хозяин гостиницы «Европейская» на бывшей Царской площади (эта пояснительная фраза была второй и последней, произнесенной мужем хозяйки), — имел в Буче дачу напротив булгаковской, и была у него там оранжерея... Вот и все, как видите, ничего интересного...

Мы поняли, что интересное было, но сообщать нам какую-то существовавшую, очевидно, сложность в треугольнике Булгаковы—Ланчиа—Василиса по каким-то причинам не хотят, — и настаивать не стали.

Вообще, как выяснилось, мы с другом оказались никудышными репортерами. Не взяли с собой фотоаппарата, сидели как привязанные, я — к креслу, друг — к дивану, не побывали в других комнатах, ничего не узнали о судьбе Василисы... Впрочем, может быть, так и надо. В конце концов мы действительно не репортеры — что узнали, то и узнали. А сфотографировать домик я всегда успею — и снизу, и сбоку, и с горы — он еще долго проживет.

Вот и все.

Мы попрощались и ушли. Обещали зайти еще. Но вряд ли это нужно.

Сейчас меня интересует одно: прочтут или нет жильцы этого прилепившегося к горе домика о событиях, разыгравшихся в нем без малого пятьдесят лет назад?..*

Подымаясь вверх по Андреевскому спуску, взбудораженные и опечаленные, мы пытались подвести какой-то итог. Чему? Да так, всему. Прошлому, настоящему, несуществующему. Летом, в шестьдесят шестом, в Ялте мы читали опубликованные сейчас в журнале «Театр» воспоминания Ермолинского о Булгакове — очень грустные, очень трагичные. Сейчас вот побывали в местах булгаковской молодости и пойдем еще в 1-ю гимназию (теперь там университет), на ступенях которой, в вестибюле, погиб (на сцене МХАТа)

---

* События? Какие события? «Белая гвардия» — роман, вымысел. А вот видите, какой вымысел, если я совершенно серьезно написал вышеприведенную фразу. И решил не трогать, не изменять, добавить только эту сноску.

Алексей, зайдем в «гастроном» на Театральной, где был когда-то «Шик паризьен» мадам Анжу с колокольчиком на дверях, потом в который раз попытаемся разыскать дом на Мало-Провальной. За поворотом «самой фантастической улицы в мире» — мшистая стена, калитка, кирпичная дорожка, еще калитка, еще одна, сиреневый сад в снегу, стеклянный фонарь старинных сеней, мирный свет сальной свечи в шандале, портрет с золотыми эполетами, Юлия... Юлия Александровна Рейсс... Нет ее. И дома этого нет. Я уже облазил всю Мало-Подвальную. Был когда-то похожий, в глубине двора, деревянный, с верандой и цветными стеклами, но его давно уже нет. На его месте новый, каменный, многоэтажный, нелепо чужой на этой горбатой, «самой фантастической в мире» улочке, а рядом телевизионная башня — двести метров уходящего в небо железа... Мы поднимались вверх по Андреевскому спуску... Почему никогда больше не потянуло сюда Булгакова? Ни его, ни братьев, ни сестер? Впрочем, братьям это вряд ли удалось бы. Николай умер, похоронен где-то на парижском кладбище, Ваня же... А может, я его видел, может, даже познакомился? Я был в Париже в русском ресторане, недалеко от бульвара Сен-Мишель. Назывался он «У водки». И пили там действительно водку, что в других ресторанах не очень-то практикуется, и за соседним столиком подвыпившие пожилые люди пели «Вещего Олега» и «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...», а в углу на маленькой эстраде шестеро балалаечников в голубых, шелковых косоворотках в третий уже раз по заказу исполняли «Очи черные...». Я с ними разговаривал. Кроме одного, все были русскими. Фамилий своих они не называли. Все спрашивали, как им вернуться на родину... Может, среди них был и Ваня Булгаков, а для меня, для всех нас — Николка Турбин? В восемнадцатом году гитара, «Буль-буль-буль, бутылочка», сейчас балалайка и «Очи черные»...

Ах, как хочется продолжить роман. По-детски хочется знать, что же было дальше, как сложилась судьба Турбиных после восемнадцатого года. Бег? Для Николки, очевидно, да. Для Мышлаевского — не знаю. А Шервинский, Елена?

А Алексей? Написал «Дни Турбиных» и «Белую гвардию»? Умер в сороковом году, не дождавшись триумфа, пришедшего через двадцать пять лет после смерти?

Как жалею я теперь, что не знаком был с Булгаковым. Как хотелось бы знать, что, где, как и почему рождалось.

В двадцать третьем году от тифа умерла его мать. И в двадцать третьем же году начата «Белая гвардия». И начинается она с похорон матери. «Мама, светлая, королева, где же ты?..»

Я перечитываю сейчас «Мастера и Маргариту», и теперь мне особенно понятно становится, почему и «откуда» взялся устроенный Маргаритой потоп в квартире Латунского.

И Максудов в «Театральном романе» пишет вовсе не «Черный снег», а «Белую гвардию»... «...вечер, горит лампа. Бахрома абажура. Ноты на рояле раскрыты. Играют «Фауста». Вдруг «Фауст» смолкает, но начинает играть гитара. Кто играет? Вон он выходит из двери с гитарой в руке...»

Николка... Опять Николка... Здравствуй, Николка, старый друг моей юности...

Вот и договорился — другом моей юности, оказывается, был ни больше ни меньше как белый офицер, юнкер... А я и не отпираюсь. И его старший брат тоже. И сестра. И друг брата...

Да, я полюбил этих людей. Полюбил за честность, благородство, смелость, наконец, за трагичность положения. Полюбил, как полюбили их сотни тысяч зрителей мхатовского спектакля*. А среди них был и Сталин. Судя по протоколам театра, он смотрел «Дни Турбиных» не меньше пятнадцати раз! А вряд ли он был таким уж завзятым театралом...

В сорок первом году в Минске «турбинская квартира» сгорела. И хотя через тринадцать лет она снова возникла из пепла, на этот раз не в одной, а в трех ипостасях (в Москве, Тбилиси и Новосибирске), для меня существовала только

---

* Думаю, что не меньше, чем миллион. (За пятнадцать лет, с 1926 года по 1941 год, — 987 представлений. На каждом не менее тысячи зрителей.)

та, в декорациях (как не хочется произносить это слово!) художника Ульянова. Ее нет и никогда не будет. Так же, как никогда не будет больше Хмелева, Добронравова, Кудрявцева — первых, кто заставил нас влюбиться в невыдуманных (а может, и выдуманных, на половину, на четверть выдуманных, черт, опять запутался!) героев Булгакова.

Знакомство наше состоялось давно — сорок лет назад (кстати, нас отделяет сейчас от последнего мхатовского спектакля столько же времени, даже на три года больше, сколько этот же спектакль отделяло от изображенных в нем событий). Почему же через столько лет дружба наша не только не увяла (появились же и новые друзья), а, наоборот, окрепла? Почему я еще больше полюбил их, встретившись вновь?

Сначала я не мог дать точного ответа. Сейчас могу.

Я еще больше полюбил Турбиных, потому что они, именно они, первыми познакомили меня с Булгаковым.

Тогда, сорок лет назад, чего греха таить, Булгаков (и как писатель, и тем более как человек) меня интересовал куда меньше, чем его герои... Сейчас же, когда героев стало во много-много раз больше и среди них даже черти и ведьмы, я мысленно возвращаюсь назад, к двадцать восьмому году, сажусь на ступеньки балкона первого яруса Московского Художественного театра и благодарю, благодарю Алексея, благодарю Елену, Николку, даже гетмана Скоропадского за то, что это они первыми сказали мне: «Булгаков Михаил Афанасьевич, драматург...»

Я не видал «Мольера», но читал «Жизнь господина де Мольера». У Булгакова не было «покровителей», не было принца де Конти и герцога Орлеанского, так же как не было у Мольера художественных руководителей, но оба они в одинаковой степени познали, что значит нелегкий путь подлинного искусства.

Слава к Булгакову пришла и рано — со всеми ее сложностями, — и в то же время поздно, но тут я вынужден поставить точку — это уже тема отдельного исследования, к нему я не готов.

Моя тема — география. Я горжусь (и удивляюсь только, что до меня никто этого не сделал) своим открытием «дома Турбиных» и приглашаю всех, кто посетит Киев, спуститься вниз по крутому Андреевскому спуску до дома № 13, заглянуть во дворик (слева, под верандой, прошу обратить внимание на лестницу, это именно там у бедного Василисы по животу прошел холодок при виде прекрасной молочницы Явдохи), а затем подняться назад, через «рыцарский» дворик Замка Ричарда Львиное Сердце пробраться на горку, усесться на краю ее обрыва, закурить, если куришь, и полюбоваться Городом, который так любил Булгаков, хотя никогда больше в него не возвращался.

АЛИНА АНТОНОВНА

Маленькие портреты

У изголовья кровати моей матери висит в белой с позолотой раме картина, на которой изображен букет бледно-розовых роз и еще каких-то неведомых мне белых цветов (к своему удивлению, я только сейчас их обнаружил, хотя картину эту помню с тех пор, как помню самого себя) в фарфоровой вазе, стоящей на чем-то, напоминающем дощечку. Внизу справа дата — 1874 и подпись — А. Эрнъ. Акварельный букет этот принадлежит кисти «благородной девицы» Алины Эрн и сделан на уроке рисования в Смольном институте, когда ей было семнадцать лет. Чуть ниже роз в дубовой рамке фотография красивой девушки в белом кружевном платье с медальоном на шее и зачесанными назад волосами, с длинными буклями сзади. Рядом с ней другая фотография — пожилой дамы в очках, сидящей за письменным столом и вполоборота повернувшейся в сторону объектива. И девушка, и дама одно и то же лицо — Алина Антоновна Мотовилова (в девичестве — Эрн), моя бабушка, мать моей матери, самый добрый человек, которого я знал в жизни. На первой фотографии ей семнадцать лет, на второй на пятьдесят лет больше. Первая снята Ю. Штейнбергом «на Невском пр. на уг. Б. Садовой № 52/8», вторая снята мною в Киеве.

В бабушке не было ни капли русской крови (отец по происхождению швед — Антон фон Эрн, вернее Орн, генерал

русской армии, мать — итальянка, родом из Венеции, Валерия Францевна Флориани), но как-то так получилось, что бабушка моя умудрилась сочетать в себе все самые положительные черты русского человека. Приветливость, доброту, исключительное гостеприимство, умение легко переносить трудности (а их в ее жизни было предостаточно) и необыкновенную легкость в обращении с людьми любого положения и происхождения. К тому же она была на редкость обаятельна. Друзья мои всех возрастов — от мальчишек со школьной скамьи до институтских курящих и пьющих студентов — души в ней не чаяли. Все ее любили — мы, соседи по дому, швейцар Герасим, швейцариха Катя, почтальон Никифор Петрович, бубличник, приносивший по утрам домой свежие бублики, все до единой молочницы, продавцы и продавщицы в «соробкопах» (были такие в моем детстве «гастрономы») и, конечно же, все нищие, сидевшие на Марино-Благовещенской (теперь Саксаганского), и даже извозчики, стоявшие на углу Б. Васильковской, хотя услугами их бабушка из-за отсутствия средств не очень-то часто пользовалась. Такой милый и открытый был у нее характер.

Была она ко всему еще и красива. Красота, которую не искажает старость, по-видимому, и есть подлинная красота. И дело даже не в правильности или благородстве черт, а в том, чего на фотографии из альбома не увидишь, — в выражении глаз и в улыбке, которые на всю жизнь остались молодыми.

Думаю, что именно ее взгляд и улыбка покорили некоего господина с бакенбардами, который на балу в Смольном пригласил Алину Эрн на первую мазурку. Этим господином с бакенбардами был самодержец всероссийский император Александр II.

Вот так моя бабушка начала свой жизненный путь — папа с Анной на шее, институт благородных девиц, трогательные розы в белой рамочке, мазурка с царем...

А потом...

Потом жизнь в имении своих родителей в Симбирской губернии, в Бугурне — я никогда там не был, но в детстве очень ярко представлял его себе: парк со столетними дубами или липами, белый дом с колоннами, варят варенье, словом — «Евгений Онегин» в Большом театре, — потом, очевидно, выезды в свет, замужество, дети... Дальнейшее я знаю в основном из рассказов матери и, главное, тетки Софьи Николаевны Мотовиловой, к воспоминаниям которой, опубликованным в № 12 «Нового мира» за 1963 год («Минувшее»), адресую всех читателей, интересующихся жизнью русской интеллигенции левого направления тех давних лет.

Так вот, с появлением детей — четыре дочери, младшая, Ниночка, умерла еще ребенком — жизнь несколько изменилась. Меньше липовых аллей, больше симбирских улочек, а потом, после смерти дедушки, симбирские улочки сменились на лозаннские в Швейцарии. Почему бабушка одна с тремя детьми поехала вдруг в Швейцарию? Два имения — в Бугурне и в Цельне — двух маминых бабушек, Валерии Францевны и Луизы Францевны (моя бабушка вышла замуж за своего двоюродного брата) — и вдруг ни с того ни с сего Швейцария? Как мать сейчас объясняет, просто для того, чтоб сменить обстановку после смерти ее отца. «Ну, и для того, чтоб научились французскому языку...» — добавляет она, мило улыбаясь.

Учились они французскому языку что-то очень долго. Потом медицине — мать, геологии — тетка. А бабушка, как это называлось, «вела дом» и вместе с женой Плеханова успевала еще устраивать благотворительные концерты для русских эмигрантов и студентов. У бабушки в доме на рю Мопа, 55, бывал и сам Плеханов, бывал и Р. Э. Классон, муж бабушкиной сестры, видный русский марксист, на квартире которого, кстати, Ленин познакомился с Надеждой Константиновной Крупской. Был на Мопа и Ленин.

Тут я позволю себе привести несколько строк из «Минувшего» моей тетки.

«Ленина я помнила еще с 1895 года, когда он в свой первый приезд в Швейцарию заезжал к нам и провел у нас полдня.

Было это так. Горничная сказала моей маме, что ее кто-то спрашивает.

Вошел незнакомый человек и сказал, что его прислал Классон. Мама ввела его в гостиную, там у нас на столике лежали социалистические газеты. Человек этот бросился к столику и, не обращая внимания на маму, весь погрузился в газеты.

Потом они с мамой разговорились. Мама должна была объяснить ему, как проехать к Плеханову.

Обращаясь к маме, незнакомец сказал:

— А мы с вами из одного города, из Симбирска.

— Как же ваша фамилия?

— Петров, — ответил он.

(Ленин одно время, как известно, подписывался Петровым.)

— Какой же это Петров, — раздумывала мама, — может быть, сын булочника?

— Да нет, — ответил он, — этого Петрова вы не знаете.

За ужином Петров был очень сдержан, разговаривал мало. Позже, когда к нам приехал Классон, он спросил маму:

— Был у вас Ульянов?

И тут все выяснилось...»

Есть и другое семейное предание — рассказано оно было мне самой бабушкой, — связанное тоже с визитом Ленина на Мопа и старинной фарфоровой чернильницей в виде юного всадника в клетчатом берете с пером. Чернильница эта сохранилась и стоит на специальной полочке под большой застекленной цветной (вернее, раскрашенной, но очень удачно, хотя это было лет сто тому назад) фотографией Шильонского замка. Почему все это сохранилось и почему именно это (какие-то прадедовские итальянские

акварели в рамках, ломберный столик, бабушкины «розы»), а не то (Руссо, Вольтер, Гельвеций в кожаных, тисненных золотом переплетах или «подшивка» газеты «Радио» за 1929 год, издававшейся мною с другом в отроческие годы), — все это до сих пор мне не совсем ясно. Уходя из Киева, немцы сжигали дома, предварительно очищая квартиры. Но делали это со свойственной немцам педантичностью и систематичностью — не торопясь, загодя, этаж за этажом, квартира за квартирой. И только днем. Изгоняемые жильцы пользовались этим и по ночам переносили вещи на свои новые места жительства. То же делали и моя мать с теткой. И начали, по их словам, с наиболее легких вещей — картин, разных фарфоровых статуэток, дорогих как память о чем-то и о ком-то, оставив тяжелые книги под конец. Конец пришел скорее, чем его ожидали, и все книги (а их было очень много) сгорели в своих прекрасных красного дерева шкафах.

Так спасся, унесясь на фарфоровом коне, и юный принц в клетчатом берете с оранжевым пером. Как попал в наш дом этот принц, бабушка уже не помнила, но твердо помнила, что о принце этом, вернее, о его «внутренностях» (верхняя часть снимается, и в нижней обнаруживаются маленькая чернильница и песочница) у нее с Петровым-Ульяновым тоже шел какой-то разговор. Почему Ленин обратил внимание на принца — бабушка тоже не помнила (очевидно, просто, чтоб заполнить возникшую паузу), но то, что Ленин взял со стола листок почтовой бумаги, что-то написал на нем, посыпал написанное золоченым песком из песочницы, а потом сказал: «Вот и посыпался песочек из нашего с вами принца», — запомнила хорошо.

— Но, бабушка, — удивлялся я, — ведь в конце девятнадцатого века давно уже не было песочниц, были промокашки.

— А вот в принце был еще, сохранился, — невозмутимо отвечала бабушка.

— Странно...

— Ничего странного. Сохранился, и все.

— А что Ленин написал на бумажке? — не унимался я.

— Не помню уж. Да, вероятно, и не читала. Так, несколько каких-то слов...

— И где же эта бумажка? Выкинула небось?

Бабушка смущалась:

— Выкинула, вероятно.

Я укоризненно качал головой, и бабушка еще больше смущалась.

Бабушка прожила 86 лет. Первую половину в девятнадцатом веке, вторую в двадцатом. Как нетрудно догадаться, я помню ее во второй половине второй половины ее жизни. Тогда она уже не собирала средства для русских эмигрантов и студентов и не перевозила через границу в своей шляпе экземпляры «Искры» (было у нее и такое), а была она просто иждивенкой и домохозяйкой, а для нас с друзьями просто бабушкой, умевшей варить чудное варенье (конечно, когда был сахар), печь изумительные куличи (и всему этому она научилась в Смольном!), а главное, с удовольствием пичкала всем этим наши ненасытные глотки, привыкшие в основном к пшену и вобле.

Кроме того, бабушка ходила по «сорабкопам» и на базар — мать и тетка на работе, я в школе, — и в эту же самую школу, объясняться с математиком или физиком, а по утрам, перед школой, кормила меня, потом, после «сорабкопов», готовила обед, ну и т. д. до вечера, когда ей разрешалось только полоскать и вытирать чайную посуду. Где-то между этим или после этого она что-то обязательно шила, а улегшись в кровать, еще читала французские романы. И все она успевала — тихо, спокойно, не суетясь. А когда мы жили в Алуште, высоко на горе, где пересохли все цистерны и воду приходилось носить в ведрах из города (километра два в гору), бабушка считала своим долгом нести маленький бидончик с водой и никому не разрешала ей помочь. Думаю, что в Смольном этому не учили.

Но не только трудностей не боялась бабушка, она вообще была бесстрашна. Кроме коров и гусей, она не боялась никого. Ни «белых», ни «красных», ни петлюровцев, ни гайдамаков, ни даже управдома, перед которым все трепетали. Обстрелов она тоже не боялась.

— Алина Антоновна, — прибегает запыхавшийся Герасим-швейцар, — обстрел начался. Надо в подвал.

— Ну и бог с ним, с обстрелом. Посижу, пошью чего-нибудь.

Это, конечно, если все дома были. Если же кого-нибудь не хватало, выходила на балкон и под гул канонады стояла тут — не сходила с него до момента возвращения отсутствующего.

Я говорил уже о том, что ее все любили — молочницы, нищие, сосед Алибек, целовавший обязательно ей руку, две старушки-сестры из 19-й квартиры, Анна и Клара Абрамовны, приносившие ей почему-то всегда к Пасхе изюм для куличей, и еще многие и многие. Но больше всего, по-моему, ее полюбили два «ставших у нас на постой» красноармейца. Одного звали Ляконцев, другого уж не помню как. Я, мальчишка лет восьми-девяти (ходил уже в школу), был, конечно, в восторге — винтовки, штыки, котелки, запах махорки на всю квартиру, да и сами красноармейцы что надо — здоровые, обветренные, с хриплыми голосами и добродушными деревенскими улыбками.

Бабушка их сразу же накормила чем-то, но когда увидела, что они, скинув шинели и гимнастерки, собрались бить вшей, строго вдруг сказала (в первый и последний раз я услышал нечто вроде металла в ее голосе):

— Нет! Это уже нет. Принесите дров и воды, и я натоплю вам ванну.

Ребята чуть-чуть смутились, но тут же оделись, и через какой-нибудь час на кухне была уже гора поломанных заборов и все имевшиеся у нас ведра, корыта, баки, кастрюли

и тазы были наполнены водой. К «вечернему чаю» ребята вышли из ванной чистенькие, розовенькие и чинно пили с нами чай из самовара, с гордостью вывалив на стол гору колотого сахара, которого я давно уже не видел.

Пробыли они у нас недолго — дней пять, не больше. Ляконцев, находивший, что у нас в квартире холодно, притащил для растопки целую кипу книг («Проходил мимо библиотеки, дай, думаю, зайду...»), но тут уж я воспротивился — страшно было смотреть, как горят книги.

Прощаясь, Ляконцев с другом торжественно положили на стол толстенный кусок сала, полную наволочку сахару и несколько буханок хлеба.

— Это за то, что добрая, бабуся, — сказал Ляконцев. — Барыня, а простых понимаете. — И даже расцеловал ее. Бабушка явно смутилась.

Да, бабушка понимала и простых, и сложных. А сложнее всех была ее собственная дочь Соня. Удивительно, до чего же разных трех дочерей родила бабушка. Старшая, Зина, моя мать, Зинаида Николаевна, — веселая, общительная, доброжелательная, любящая концерты, театры, путешествия, прогулки, которых сейчас, в свои девяносто лет, она, увы, лишена; младшая, Вера, ее я не знаю, она как вышла замуж в Швейцарию, так и оставалась там до своей смерти, — говорят, была чопорной, светской, малообщительной, с большим разбором выбиравшей немногих своих друзей; третья — средняя — Соня. Ее, между прочим, бесстрашная бабушка побаивалась, пожалуй, даже больше, чем коров и гусей. Характер у тети Сони был нелегкий. Добрая душа, желавшая всем помочь, и не только желавшая — готовая отдать последнюю копейку, она делала это так властно и деспотично, что многие от нее просто шарахались.

Бабушку она любила безгранично. В молодости жила отдельно от семьи, у нее были свои интересы, свои знакомые, в основном марксисты (большим другом ее был В. П. Ногин), но после возвращения нашей семьи из Пари-

жа в 1915 году приехала в Киев, и мы жили уже все вместе. Семья у нас была дружная, но, как я уже говорил, бабушка слегка побаивалась Сони. Ну, не то что побаивалась, просто она любила тишину, покой, мир, а тетя Соня вечно по поводу чего-то негодовала, чем-то возмущалась, против чего-то протестовала, и всегда громко, с хлопаньем дверьми. Бабушка вздрагивала и жалобно смотрела на меня. А вечером, когда надо было идти в ванную умываться, она пальчиком манила к себе и шепотом говорила:

— Поведи меня ты. Она там меня терроризирует — не то мыло взяла, не то полотенце...

А мы с бабушкой всегда жили душа в душу, и я не припомню, чтоб она когда-нибудь возвысила на меня голос. Да и вообще ни на кого его не возвышала. Кажется, только на одну из наших очередных соседок по квартире, «мадам» Задеревич — неряшливую старуху, вечно шуршавшую в своих шлепанцах по коридорам, останавливаясь у каждой двери, чтобы послушать, о чем говорят. Когда у нас были какие-нибудь гости, она обязательно постучит, засунет голову (интересно же, кто сегодня у нас сидит) и, чтобы оправдать свой стук, громким шепотом говорит:

— Алина Антоновна, ваша кошка в коридоре опять наср...и (всегда во множественном числе).

Вот тут бабушка не выдерживала и говорила ей что-то не грубое, упаси Бог, просто несколько более резкое, чем обычно.

Последние годы перед войной бабушка ослабела. У нее был небольшой, как тогда говорили, удар, и ей стало трудно ходить, приволакивая ногу. Отпали магазины, базары, готовка обедов. Сидела в кресле и что-то штопала, штопала — она не могла без работы, — в сотый раз перечитывала французские романы в желтых обложках — у нас их был миллион — или писала красивым бисерным почерком письма тете Вере и своей подруге по Лозанне. Кстати, письма ее были всегда интересны — сужу по тем, которые получал, когда жил вне дома, — полны метких, забавных

деталей и написаны настолько живо, что на них сразу же хотелось отвечать.

В последний раз я видел бабушку в апреле 1941 года. Те последние предвоенные годы я работал вне дома и приезжал в Киев только на лето. На этот раз я приехал на три дня из Ростова, где служил в Театре Красной Армии, менять паспорт. Бабушка, постаревшая, но такая же милая и ласковая, страшно мне обрадовалась и все строила планы на лето, как будем жить где-нибудь под Киевом, в Буче или Клавдиеве, и по вечерам совершать прогулку — «прощаться с солнцем», как говорила она. Это была традиция — после ужина выходить на опушку леса, там садиться (я нес специально плетеное кресло) и смотреть на последние лучи солнца, заходившего за дальний лес.

Мечтам этим не суждено было сбыться. 4 апреля 1941 года — я навсегда запомнил этот день — я уехал из Киева, чтобы вернуться в декабре 1944 года уже в погонах.

Последние слова бабушки, когда мы прощались:

— Зина говорит, что мы в этом году тоже будем в Буче. Ну и порезвимся же мы с тобой там.

А «порезвиться» означало следующее. Когда по каким-либо причинам ни мамы, ни тети Сони не было на даче, бабушка заговорщицки подмигивала мне и полушепотом говорила:

— Порезвимся, Викунчик?

И я приносил тогда из погреба аккуратненький кубик творога, и мы ели его руками, посыпая сахаром. Бабушка-смолянка любила есть творог не ложечкой, а именно руками, но при дочерях боялась «резвиться».

Последнее воспоминание о бабушке — я с чемоданчиком иду на вокзал, а она стоит на балконе, из трещины которого по загадочным законам природы растет тополек, и машет рукой. Машет, машет, пока я не завернул за угол. Бабушка и тополек — последнее, что запомнилось о довоенном Киеве.

Умерла бабушка 27 марта 1943 года, так и не дожив до освобождения. В Сонином дневнике есть запись: «Мама все повторяет: “Вот дождусь Викочку и тогда спокойно умру”». Не дождалась. Умерла от гангрены. Тяжело перечитывать страницы дневника, посвященные последним ее дням. Холод, голод, безденежье, все, что возможно, продано. И милая, терпеливая, деликатная, ни на что не жалующаяся бабушка, только на темноту жаловалась — экономили керосин на коптилку — и на отсутствие людей. А она их так любила.

Из Сониного дневника:

«Маме ужасно тоскливо. Зина целый день на своем заводском медпункте, я в этой никому не нужной библиотеке, и она одна с несимпатичной женщиной, ни писем, ни прогулок, ни знакомых... Маме хотелось радости. Придет какой-нибудь знакомый человек, и она находит: такой он симпатичный, такой милый...»

Покоится бабушка на Байковом кладбище под разросшейся уже березкой. В одной ограде с ней теперь и тетя Соня. Лежат рядом. Они очень любили друг друга, хотя бабушка и побаивалась ее.

1970

ГОРОДСКИЕ ПРОГУЛКИ

Мемуарные записки

Если ты, читатель, любитель крепко сколоченного сюжета, завлекательной интриги, интересных, со сложными характерами героев, если ты любишь длинные, подробные, сотканные из деталей романы или, наоборот, сжатые как пружина, новеллы — сразу предостерегаю: отложи эти страницы. Ничего подобного ты здесь не найдешь.

Но если ты, кроме чтения и других полезных или даже бесполезных занятий, непрочь просто так, без дела походить по улицам, руки в брюки, папиросу в зубы, задирая голову на верхние этажи домов, которые никто никогда не видит, так как смотрят только вперед (или направо, налево, витрины, киоски), присаживаясь у столика кафе или на скамеечке в скверике среди мам, бабушек, ребятишек и пенсионеров, если ты любишь заводить случайные, обычно тут же обрывающиеся, но запоминающиеся знакомства, если тебе нравится без плана бродить по улицам незнакомого города, предпочитая их шум или тишину тишине прославленных музеев, — если ты такой, то, может быть, ты найдешь кое-что близкое, переворачивая эти странички...

Тогда беру тебя в спутники. Условие одно: пока мы гуляем, ты молчишь, а говорю я. Ты заговоришь потом, и тогда, может быть, завяжется диалог. Пока же — монолог. И второе: не удивляйся, если, выйдя с тобой, например, из московского Центрального телеграфа и свернув налево, мы по-

падем не на улицу Герцена, а на площадь Тертр возле собора Сакре-Кер на Монмартре или начнем вдруг выбирать пудовые арбузы у мечети Биби-ханым в Самарканде... И третье: прости, буду иногда, даже довольно часто, растекаться мыслью (мыслью, белкой — до сих пор идут споры среди ученых) по древу — отвлекаться в сторону, вспоминать прошлое, говорить иногда о пустяках, а иногда и не о пустяках... Если это небольшое условие тебя удовлетворяет, приглашаю тебя в спутники.

Я не гонюсь за последовательностью и хронологией, но начну все-таки с самого начала.

Известный киевский детский врач возмущался моей матерью:

— Вы что, решили сразу же заморозить ребенка? На дворе 15 градусов мороза, а вы его на балкон. Немедленно убрать!

Но меня не убрали. Первые месяцы своей жизни я провел на балконе — большом, просторном, каких в новых домах теперь не увидишь. Это были мои первые прогулки. Без участия, правда, ног. Вероятно, больше спал, но иногда, возможно, и глядел. На что? А было на что.

Родился я в самом центре древнего Киевского княжества. И, если не на месте самого терема Владимира Красное Солнышко, то, во всяком случае, совсем рядом. Возможно, даже там, где жили, а потом замучены были язычниками и принесены в жертву Перуну двое варяг-христиан — Иоанн и Феодор. В честь них соорудили церковь. Называлась она Десятинной, так как на ее постройку пошла десятая часть княжеской казны. При Батые церковь рухнула — хоры не выдержали толпы людей, спасавшихся от татар. Построили на том же месте другую, в XIX веке, тяжелую и некрасивую, но и она не дожила до наших дней. С моего балкона ее хорошо было видно.

А родись я на тысячу лет раньше, с моего наблюдательного пункта (вознесись он столь высоко) виден был бы Перунов холм, где стоял гигантский идол, сброшенный при

крещении Руси Владимиром в Днепр. А еще раньше, по преданию, здесь же воздвигал свой крест Андрей Первозванный. Позднее, уже не по преданию, а по указанию Елизаветы Петровны, Растрелли на этом месте вознес к небу одну из изящнейших в нашей стране церквей — Андреевскую, легкую, ажурную, рококошную, над крутым, заросшим кустами обрывом, по которому катили в Днепр изваяния богов — «Перуна деревянна, а голова его серебряна, а ус золот, и Хорса, и Дажбога, и Стрибога, и Семаргла, и Мокошь».

Где-то тут же, в треугольнике между Перуновым холмом, княжеским теремом и моим НП, находился «Бабин торжок» — рынок и в то же время форум — Владимир вывез из Херсонеса и воздвиг здесь античные скульптуры — «дивы». Отсюда и древнее название Десятинной церкви — «Богородицы у Дивов», отсюда же, очевидно, и «Бабий торжок».

Знали ли мои родители, снимая квартиру в большом угловом доме № 4 по Владимирской улице, сколь «исторично» место, ими выбираемое? Не думаю. А вот Костомаров и Врубель, жившие в доме напротив, но несколько раньше, очевидно, все же знали, но, думаю, выбрали этот уголок не потому, что здесь когда-то в великокняжеских златоверхих теремах лился рекою мед, а просто потому, что тут красиво, и рядом Андреевская церковь, и вид на распластавшийся внизу Подол, и на Днепр, и на заднепровские дали...

Вот в таком месте я и родился. И крестился. И начал расти, хотя поп из соседней Десятинной церкви, будучи не слишком трезв, чуть не утопил меня в купели. Мать говорит, пришлось применять искусственное дыхание.

С тех пор прошло шестьдесят лет, но я до сих пор почему-то не решаюсь ступить ногой на балкон, сыгравший столь существенную роль в деле познания мною внешнего мира. Почему? А бог его знает почему. Я и в школу свою после окончания не заходил, и в квартиру довоенную, сожженную немцами, хотя там тоже балкон

и с детства любимый красивый вид на Лавру, Печерск, Голосеевский лес... Остерегаюсь как-то встреч с прошлым. Боязно...

Впрочем, я неточен. Я не захожу в дома, в квартиры, но по местам своего детства часто брожу. Вот и недавно совершил такую мемориальную экскурсию. Зашел купить аэрозоль от тараканов в хозяйственный магазин на углу улиц Горького и Толстого (на месте нынешнего большого дома в мои дни стоял маленький, одноэтажный, в котором когда-то была редакция шульгинского «Киевлянина») и, увидав каштаны бульвара, того самого, по которому шестнадцать лет ходил в школу, профшколу и институт, решил что-то восстановить в памяти. Начал спускаться.

Улица моя — Горького, а до этого Пролетарская, а до этого Кузнечная — была булыжной с кирпичными или плиточными (такие плиты сохранились еще во Львове) тротуарами, и было на ней в нашем квартале всего три фонаря. Сейчас асфальт и фонарей не меньше полусотни.

У большого шестиэтажного дома остановился. Здесь, как пишут в биографиях, он прожил свои юные годы — в общей сложности двадцать пять лет.

Так же я стоял перед этим домом в декабре 1943 года, заехав на недельку к матери по дороге из госпиталя в свою часть. Стоял и, задрав голову, смотрел на узенький трапецеидальный балкон на пятом этаже. Там мы жили. В квартире № 17. Школа, профшкола, институт, театральная студия... Шесть комнат, когда дом принадлежал домовладельцу Гугелю, и две, когда нас «уплотнили». Сейчас ни одной — все сожжено, только стены, закопченные провалы окон, искореженные, чуть ли не в узлы завязанные железные балки. Но на балконе, на нашем балконе, все тот же повзрослевший за два с половиной года, растущий прямо из бетона тополек. А рядом с топольком — о чудо! — пощаженные почему-то огнем несколько вязанок дров. Я долго стоял и соображал, как бы снять их оттуда — лестничная клетка сохранилась, а перекрытия все рухнули. Достань я их, и мамина «буржуйка» спокойно могла бы просуществовать недели две, не

меньше. Мечтам моим не суждено было осуществиться: на следующий день дров уже не было, меня опередили. Но как? До сих пор ломаю голову

Прожил я в этом доме двадцать пять лет — с 1915 по 1940 год. В 1941-м заезжал на несколько дней, менять паспорт — работал тогда в Ростове-на-Дону, в театре. Когда вспыхнула война, я оказался за сотни километров от дома. Немцы окружили Киев, но телефонная связь поддерживалась, и я ежедневно говорил с матерью по телефону. Голос у нее, как всегда, был бодрый, интонации оптимистические, но я знал, что мы, если и увидимся, то не скоро.

Когда меня взяли в армию, в августе сорок первого, я сразу же сообщил об этом матери.

— Ну и правильно, и хорошо, — услышал я в трубке ее веселый голос. — Я очень рада за тебя. Нельзя отсиживаться сейчас в тылу. Иди... Только не забывай писать.

Не всякая мать скажет такое своему сыну. А моя сказала. Правда, в свое время она произнесла, не помню уже по какому поводу, совсем непедагогичную фразу: «Викун, прошу тебя, никогда не будь благоразумным». Я на всю жизнь запомнил эту просьбу и в меру сил своих пытаюсь ее выполнять. Итак, двадцать пять лет. Как говорят, лучших. Двадцать пять лет я выходил из этой дубовой, с зеркальными стеклами в виде какого-то узора двери (сейчас она сосновая, и никакого узора) и куда-то отправлялся. Сначала с лопаткой в Николаевский парк, потом с тетрадками, а зимой и с тремя поленьями в школу, потом в профшколу, потом с рулонами ватмана в институт, иногда с плавками на пляж или вечером в кино.

В Николаевском парке были солдаты и домработницы, тогда они назывались прислугами. Солдаты всех национальностей — русские, украинцы, осетины, немцы, поляки. Все без исключения любили нас, детей, а заодно и наших нянь. Няни подсаживались к солдатам, а детвора полировала своими задами поверженного Николая I, бронзового, длинноногого, слегка лысеющего, лежащего у собственного

постамента, или бежала к «Черному морю» — маленькому бассейну его очертаний, и гонялась там друг за другом, лихо прыгая через Босфор и воюя за Крым. Сейчас наше милое море густо обсадили цветами, и никто из ныне резвящихся детей даже не подозревает, что эти цветы от них скрывают.

Но кончилось золотое детство, началось образование. Сначала одна гимназия — Хорошиловой — тут же, на Кузнечной, младший приготовительный, потом вторая — Сороколовой — на Пушкинской, старший приготовительный. Это единственное учебное заведение моего прошлого, в котором я бываю сейчас. Там редакция журнала «Радуга». И, возможно, точно уж не восстановишь, я сижу сейчас на партсобрании в том самом «классе», в котором батюшка преподавал нам Закон Божий.

В 1919 году меня перевели на Большую Подвальную в гимназию Науменко, которая вскоре стала 43-й Единой трудовой школой. И с тех пор начались мои прогулки (правда, вынужденные) по одному и тому же маршруту — в школу, профшколу, институт, до бульвара Шевченко все эти маршруты совпадали. И за все шестнадцать лет ничто на моем пути не изменилось. Только вырастали деревья да один раз университет из красного (стены и колонны красные, капители и базы колонн черные — цвета ордена святого Владимира, имя которого было присвоено университету) стал кремовым, но, слава богу, ненадолго.

Во все свои учебные заведения я всегда опаздывал. В приготовительные классы — потому что по утрам долго молился. Стоя в кровати на коленях и сложив по-католически руки ладошками, я просил Николая-чудотворца, святого Пантелеймона-целителя (откуда они в нашей атеистической семье появились, одному богу известно) простить мне мои прегрешения — вчера раздавил в ванной таракана и долго плакал над судьбой осиротевших «тараканкиных детей». Мой старший брат Коля невероятно возмущался моей религиозностью и даже написал маме

длинное послание, требуя удаления бонны, дурно влияющей на мое мировоззрение, — кроме веры в Бога, она, эта бонна, привила мне еще и верноподданническое отношение к престолу. Лет до восьми я был ярым монархистом и консерватором. Научившись читать и писать, я выражал свой протест против нового режима тем, что на всех афишах приписывал твердые знаки и менял, где надо, «и» на «і»... Мать ко всему этому относилась спокойно и на Колин меморандум ответила тремя словами: «Не беспокойся, пройдет». И прошло.

Итак, в первые два класса я опаздывал по соображениям идейно-религиозным. Потом — потому что до школы было далеко и путь туда был небезопасен. Наш двадцать четвертый двор воевал с двадцатым, и почти каждое утро противник подстерегал меня, чтоб избить, что иногда, правда, не часто, и удавалось ему. Я отчаянно сопротивлялся, но Надежда Петровна, классная наставница, разглядывая очередной синяк, почему-то не очень верила, что я «случайно ударился о шкаф».

В профшкольские и институтские годы я опаздывал, потому что поздно ложился спать и утром еле продирал глаза. В силу этого мне пришлось подделать подпись профессора Ярина в матрикуле, так как его лекции по железобетону начинались всегда в восемь часов. Много лет спустя на литературном вечере в том же институте я публично признался профессору Ярину в своем жульничестве, и, представьте себе, он ничуть не обиделся, только смеялся, сидя в президиуме.

Короче, во все свои учебные заведения я всегда мчался как угорелый, иногда вскакивая на ходу на завороте в 8-й номер трамвая. Но я не часто им пользовался, ходил он редко, набит был всегда так, что даже на подножку стать было невозможно, а висеть два квартала, держась за чье-то пальто, было утомительнее, чем бежать.

На пути моем было двое часов — в крайнем левом окне на втором этаже университета и у Управления Юго-запад-

ных железных дорог — большие над входом, на кронштейне, с надписью «Точное время. Проверка по радио». Надпись эта внушала определенное уважение, хотя каждый раз я убеждал себя, что часы, наверно, спешат. Сейчас, проходя мимо университета и никуда уже не торопясь, я машинально поворачиваю голову в сторону окна с часами, хотя лет тридцать их уже нет. И мне становится чуть-чуть грустно — удобные были часы, хотя, ей-богу, всегда спешили, так же как, не сомневаюсь, и у школьного нашего сторожа Варфоломея Степановича.

В самом центре Киева, над Крещатиком, высится 200-метровая телевизионная башня. Почему бы на ней не соорудить громадные, видные со всех концов города часы? Вот было бы удобно! Свой, киевский Биг Бен, Спасская башня, только еще выше, а главное, оригинальнее, — нигде, по-моему, такого нет...

Прости, читатель, вспоминая детство, становишься иногда ребенком... Впрочем, не написать ли об этом все-таки в «Вечерний Киев»? Может, подхватят разумное предложение?

Обо всех этих часах, трамваях номер 8, мальчишках из враждебного двора я вспоминал, глядя на свой балкон, уже без тополька, в день своей мемориальной экскурсии. Постоял, повспоминал и пошел дальше.

Пересек улицу Саксаганского (когда-то Жандармскую, Мариино-Благовещенскую, Пятакова), зашел в продмаг, купил «Беломор». Когда-то здесь был «Сорабкоп» (почему-то через одно «о»), и лет сорок тому назад я, трепеща и волнуясь, именно в нем купил свою первую поллитровку. Я мог позволить себе такую мужественную роскошь, зарабатывая старшим рабочим на Вокзалстрое сто рублей. Было мне тогда девятнадцать лет. Тогда же я впервые и побрился в парикмахерской, тут же рядом с «Сорабкопом». Брить было нечего, я очень волновался, потел, боялся, что парикмахер сострит что-нибудь по поводу моего гладкого, как колено, подбородка, но он оказался деликатным и даже дважды намылил меня.

В эту же парикмахерскую я зашел в 1944 году, вернувшись в Киев после ранения (кстати, Николай Митясов из повести «В родном городе» — тоже), но старого Давида уже не было, сохранилось только его зеркало с двумя амурчиками наверху. Я спросил парикмахершу о Давиде. Она грустно посмотрела на меня. «В Бабьем Яру...»

Бабий Яр... Одна из наиболее трагических страниц истории Киева, мимо которой никак не пройдешь. И мы не пройдем, побываем там. Но это потом.

Сейчас же я вышел из парикмахерской, пересек улицу и остановился у дома № 32. С этим домом, вернее, с одной из его квартир, у меня многое связано. И довоенное, и военное, и послевоенное. И веселое, юное, и трагическое, и горькое, и уютное, милое, а все вместе очень значительное, на всю жизнь. Но об этом в другой раз. Скажу только, что «В окопах Сталинграда» в основном писались именно здесь, в большом старинном кресле у окна, сквозь которое был виден столетний вяз на противоположной стороне улицы, весь усеянный гнездами...

В тот последний военный и первый послевоенный год мы все заново увлеклись Хемингуэем, много о нем спорили, и, вероятно, именно поэтому маленькая дочка хозяйки Ирка, когда я садился в свое кресло, строго говорила: «А теперь тишина, дядя Вика сел за своего Хемингуэя...»

Вот с этого самого «Хемингуэя» и началась литературная деятельность автора этих строк. Но на самом деле, скажу по секрету, все это началось значительно раньше.

Как-то, роясь в старых бумагах, я обнаружил несколько тетрадочных страничек, испещренных крупным детским почерком. Это оказалось не более не менее как либретто оперы (!!!) «Карл и Мария», которое осмеливаюсь робко вынести на суд читателей. Думаю, что для любителей стремительно развивающегося сюжета это, безусловно, находка, если предлагаемые «Городские прогулки» по моей просьбе не отложены в сторону.

Вот это либретто. Привожу его полностью, текстуально, позволив себе только запятые вставить.

«КАРЛ И МАРИЯ»

Опера в 5 действиях, 9 картинах, с балетом

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

М а р и я — дочь богатого графа
К а р л — офицер
Г р а ф Л ю и с — отец Марии
Г е н е р а л Г а м л е т — генерал
А л е к с а н д р — богатый барон
Г р а ф и н я Л ю ц и я Л ю и с — мать Марии
С о л д а т ы, г о с т и, с в я щ е н н и к, с л у г и, б а н д и т ы и другие

ДЕЙСТВИЕ I

Картина 1-я

Бал у графа Люиса: Оркестр. Танцы. Среди гостей офицер Карл. Входит Мария — очень красивая. Она танцует с Карлом. Карл поражен ее красотой, влюбляется в нее. Он ей тоже нравится. Во время бала они сидят вместе, обнявшись, и Мария говорит Карлу, чтоб он к ней пришел этим вечером. Бал продолжается.

Картина 2-я

Комната Марии. Мария с нетерпением ждет Карла и поет. Вдруг из балкона выходит Карл. При виде Карла Мария бросается ему в объятия. Они начинают разговаривать, причем Карл говорит Марии, что хочет на ней жениться. Мария согласна, но говорит, что отец хочет ее выдать за знатного барона Александра, которого она не любит. Во время разговора Карл говорит, что он состоит в тайном обществе. Вдруг за дверью слышны шаги. Карл выпрыгивает в окно. В дверях появляется Александр. Он ухаживает за Марией, но она к нему относится презрительно.

Картина 3-я

В комнате Карла собрание тайного общества. Они обсуждают вопрос об убийстве царя. Вдруг появляется в дверях отряд жандармов, которые после короткой битвы связывают заговорщиков и уводят в тюрьму.

ДЕЙСТВИЕ II

Картина 1-я

В тюрьме. Пленные сидят и говорят. Карл предлагает выпилить решетки в окне и убежать. Все начинают пилить. После долгой работы окно освобождается, и пленные убегают. Входят сторожа и никого не находят.

Картина 2-я

В комнате Марии. Бедная Мария грустная сидит и вспоминает о Карле. Приходит отец и утешает, но она не утешается. Отец уходит. Вдруг в окне появляется фигура Карла. Мария при виде его поднимается и, подняв руки, медленно идет к Карлу. Потом узнает его и с криком радости бросается ему в объятия. Они долго стоят в этом положении, потом садятся рядом на диван, и он ей рассказывает, как спасся. Она говорит ему, что у нее завтра свадьба с нелюбимым Александром. Карл говорит Марии, что он ее похитит перед свадьбой. Потом, последний раз обнявшись, Карл уходит в окно.

ДЕЙСТВИЕ III

Большая зала. Много гостей. Александр радостный и грустная Мария сидят рядом. Вдруг Мария говорит, что у нее болит голова и она пойдет напиться воды. Уходит. Александр сидит один. Начинается балет. Наконец приходит священник, ищут Марию, но не находят. Переполох. Александр падает в обморок.

ДЕЙСТВИЕ IV

Картина 1-я

Большое поле. Вокруг лес. Карл и Мария приходят. Они садятся на бугорке и засыпают. Вдруг появляется погоня в лице 3 человек (в том числе Александра). Карл убивает 2 противников и дерется с Александром. После дуэли Александр падает мертвым. Начинается утро. Карл и Мария обнимаются и смотрят на труп, потом берут свои вещи и уходят.

Картина 2-я

Маленькая хижина, в которой живут Карл и Мария. Карл пошел за дровами, Мария копает огород. Вдруг она в земле находит железный сундучок, это клад. В нем золото. Мария радуется. Входит Карл. Мария бросается ему в объятия и с радостью сообщает о кладе. Карл берет сундучок, открывает его и видит, что он полон золота. Оба поют от радости.

ДЕЙСТВИЕ V

Действие происходит через один год. Большая, светлая, красиво убранная комната. Там сидят разбогатевшие уже и поженившиеся Карл и Мария и вспоминают прошлое. Потом смотрят друг на друга, медленно подходят и, обнявшись, целуются.

Конец

По-моему, прекрасная опера. Лаконичная, действенная, с чудесным оптимистическим концом. Непонятно, правда, куда девался анонсированный вначале, в списке действующих лиц, генерал Гамлет, но вопрос этот надо решать уже с режиссером, так же как о роли и месте появления бандитов, тоже объявленных в начале пьесы.

С возрастом появились новые увлечения, но с «литературой» не рвал. Кое-что из тех дней мать сохранила. Перечитываю — смеюсь. Другим не читаю.

Напечатался же впервые лет через десять, в 1932 году, в журнале «Советский коллекционер». В те годы я уже не так увлекался собиранием марок, как рисованием их. Когда Наркомпочтель (так называлось тогда министерство связи) объявил всесоюзный конкурс на марки, посвященные дирижаблестроению, я послал несколько своих эскизов. Премии никакой, конечно, мне не дали, но предложили зато сделать несколько заставок для журнала. Я был на седьмом небе от счастья. Сделал. Послал. Напечатали.

А дальше? Дальше была статья о коллекционировании. В том же журнале. В конце статьи несколько слов об оформлении самого журнала. Покритиковав в меру обложку и еще что-то, я из деликатности или скромности покритиковал и заставку «Библиографии», автором которой был ни больше ни меньше как я сам. (Дело в том, что я послал два варианта, один «левый», другой достаточно банальный — книжки на полке, его я и критиковал.) Журнал не без юмора отметил в своей заметке «От редакции», что автор статьи по непонятным для редакции причинам оказался в положении унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла...

Вот так я начал.

О дальнейших своих шагах на этом поприще я уже где-то упоминал. Писал что-то «заграничное», с мягко шуршащими шинами «роллс-ройсами», детективы с поисками кладов (вместо этого мальчишки находили запрятанное диверсантами оружие), сногшибательные шизо-фантастические истории (конференция памятников в московском Музее имени Пушкина, куда героя по знакомству приводит влюбившаяся в него леонардовская Мона Лиза), любовные псевдогамсуновские рассказы, а в 1940 году (мне было уже почти тридцать!) даже военный рассказ на материале финской кампании, о которой знал только по газетам. Все это усердно куда-то посылалось, но, к счастью, очень скоро возвращалось. Я обижался, дулся, но «пера не бросал».

Сталкиваясь сейчас с начинающей молодежью, вижу, насколько повысился теперь средний уровень пишущей братии. Я со своими «роллс-ройсами» и кладами в подметки не гожусь нынешним двадцати-двадцатипятилетним. Нечто подобное, как говорят люди, знающие и понимающие больше меня, происходит и в поэзии.

Но оставим пока литературу в стороне. И, минуя столь существенный в моей жизни «Сорабкоп» и парикмахерскую, свернем за угол на родную мою Кузнечную. Метров сто вниз — и мы у тридцать восьмого номера. Сюда перебрались мать с теткой после того, как немцы сожгли двадцать четвертый. Седьмая квартира... О, что это была за квартира! Шесть лицевых счетов. И шесть счетчиков в квартире. И шесть лампочек. И в кухне тоже шесть, и в уборной шесть. Кто-то из моих друзей, глядя на это лампочное созвездие, дал ему меткое определение — «гроздья гнева». Электропроводка в коридоре тоже достойна была внимания. Не только пожарников, но, пожалуй, и художников. Замысловатое переплетение проводов, будь под ними соответствующая надпись («Композиция 101») и окажись оно на какой-нибудь венецианской «Биенале», безусловно, было бы отмечено художественной критикой. Думаю даже, что со знаком плюс.

Больше ничем тридцать восьмой номер не знаменит, а остановил я тебя, читатель, у этого дома только потому, что именно в нем, на четвертом этаже, в упомянутой седьмой квартире, я впервые обнял и поцеловал мать после двух с половиной лет разлуки. Она стояла в заставленной незнакомой мебелью комнате с черным, закопченным потолком, склонившись над печуркой, и варила суп из концентратов. Было это в декабре 1943 года. В августе 1944-го я вторично и окончательно вернулся в эту комнату, в которой прожили мы еще шесть лет и без всякого сожаления в пятидесятом году расстались.

Вот и все об этом доме. Сюда мы больше не вернемся, а, свернув налево за угол (как видишь, читатель, само собой как-то получилось, что ты стал моим спутником), выйдем на Красноармейскую (бывшую Большую Васильковскую).

Здесь, на углу против здания оперетты, высится 16-этажный, так называемый «точечный» дом. Когда-то на его месте стояла маленькая, незавидная Троицкая церковь, с которой у меня связаны грустные воспоминания. Именно сюда приходил я в «вербное воскресенье» и возвращался назад, закрывая ладонями горящую свечку, чтобы ее не задуло ветром. И именно здесь я в первый (кстати, и в последний) раз причащался. Я хотел по всем правилам до утра поститься. Но не вышло — меня заставили съесть котлету. Это было святотатство. Я ревел весь вечер...

Потом церковь снесли (в одну ночь) и на ее месте выросла шашлычная. Столики на открытом воздухе, напротив продуктовый магазин. Излюбленное место футбольных болельщиков: в трех минутах ходьбы от шашлычной — Центральный стадион. Прозвана шашлычная «Барселоной». Почему — неизвестно. Потому же, почему диетический гастроном на Крещатике со столиками для кофе (только ли кофе?..) на втором этаже называется «Ливерпуль», а открытое на свежем воздухе кафе на том же Крещатике, против улицы Ленина, — «Мичиган», хотя настоящее его название, горящее неоном над столиками, — «Грот»... Крещатицкий жаргон, что поделаешь...

Сейчас «Барселоны» уже нет, вместо нее «точечный» дом с магазином строительной книги на первом этаже. Тут же неподалеку — остановка троллейбуса. Если ехать дальше по Красноармейской, попадем в Голосеевский лес и на выставку передового опыта, если в другую сторону — попадем на Крещатик. Выберем этот, второй маршрут.

* * *

«Милый, милый Киев! Как соскучился я по твоим широким улицам, по твоим каштанам, по желтому кирпичу твоих домов, темно-красным колоннам университета... Как я люблю твои откосы днепровские! Зимой мы катались там на лыжах, летом лежали на траве, считая звезды и прислушиваясь к ленивым гудкам ночных пароходов... А потом возвращались по затихшему, с погасшими уже огнями Крещатику

и пугали дремлющих в подворотнях сторожей, закутанных даже летом в мохнатые тулупы...»

Прошу прощения у читателя, но я процитировал самого себя. Вернее, мысли киевлянина — лейтенанта Керженцева, героя повести «В окопах Сталинграда». И позволил себе эту маленькую нескромность потому, что все мы, киевляне, где бы мы ни были на фронте — у Петсамо, под Москвой или защищали Сталинград, — мы все думали приблизительно так же.

Фашисты топтали тогда своими сапожищами киевские тротуары, а мы, киевляне, были далеко, и никто из нас не знал тогда, встретимся ли мы когда-нибудь с киевскими каштанами и будем ли считать звезды, лежа на днепровских откосах, и возвращаться по затихшему ночному Крещатику...

Мне повезло. Я вернулся. И даже живу сейчас в самом центре, самом сердце города, на Крещатике.

Встретился я с ним еще до встречи с мамой в том же декабре 1943 года, через месяц после освобождения города. Выскочил из грузовика у Крытого рынка, там, где кончается Крещатик и начинается Красноармейская. Я сказал кончается. Это неверно. Его просто не было. Горы битого, занесенного снегом кирпича, искореженные, торчащие из этих груд железные балки и узенькие, протоптанные в сугробах тропинки. Вот и все. И цепочкой, как муравьи, спешащие куда-то люди — на работу, за пайками, на толкучку...

А каким он был, Крещатик... Мальчишки прозвали его еще в двадцатые годы Бродвеем. Но какой это был Бродвей? Я помню Крещатик, когда на углу Думской площади существовал еще продуктовый магазин Торлина, где сам владелец, лоснящийся, солидный, точно из пьес Островского, спокойно и важно руководил сонмом своих приказчиков, и книжный магазин Идзиковского, и оптика Унгера (с громадным пенсне над входом). И трезвонил трамвай — гордость киевлян, первый в России трамвай: длинные, с тремя площадками бельгийские четырехосные пульманы, с роли-

ком вместо дуги и открытыми площадками — вскакивай и соскакивай на ходу сколько хочешь.

Всего этого сейчас не было... Кирпич, балки, сугробы, тропинки... Крещатик взорвали в сентябре сорок первого года. Мы сами взорвали. Под его обломками похоронены сотни, тысячи немцев. Он еще долго пылал, дымился. Водопровод не работал, нечем было тушить...

Потом его восстановили, отстроили. Появился новый Крещатик. Непохожий на старый, совсем непохожий. Лучше или хуже? Для нас, старых киевлян, шатавшихся в густой толпе еще мальчишками по его широким тротуарам, конечно, милее старый. Милее, но лучше ли? На приезжих он производит впечатление. Он стал шире, выше, просторнее, посаженные в конце войны немолодые уже липы и каштаны достигли преклонного, тридцатилетнего возраста, разрослись, образовали тенистый бульвар по левой стороне улицы. Трамвая уже нет, его давно сняли, вместо него троллейбусы. У перекрестков в часы пик столпотворение машин. А в 1925 году мы, мальчишки, точно знали — было на весь 500-тысячный город 37 легковых автомобилей (среди них один, приводивший нас в восторг «линкольн») и всего одна автобусная линия по Крещатику, обслуживаемая десятью машинами с поражавшими нас складывающимися дверями.

В общем-то довоенный Крещатик не был красив. Разностильные и разноэтажные дома, не ахти какая растительность (и это в одном из самых зеленых городов мира), не слишком роскошные магазины (куда им до московского или ленинградского Елисеева), но был в нем какой-то, как говорят французы, «шарм», что-то свое, неповторимое, связанное с югом, с южной толпой. Начнись Первая мировая война лет на пять позже, Крещатик выглядел бы совсем иначе. Именно в 1912—1913 годах началось бурное строительство добротных шести-восьмиэтажных зданий, так называемых доходных домов, резко отличавшихся по своей архитектуре от остального Крещатика. Три больших таких здания в начале улицы по правой ее стороне (№№ 6, 8, 10), еще один сразу за улицей Свердлова (№ 32) и так называемый Пассаж

на противоположной стороне — все эти дома, сгоревшие в сентябре сорок первого, чудом избежав взрыва, сейчас восстановлены и дают понять, каким бы был Крещатик, не начнись война 1914 года. Но он не стал таким, с гранитными фасадами, тонко прорисованными пилястрами, ордерами, карнизами. Он стал другим — бело-зеленым (белая плитка фасадов и зелень каштанов и лип), кондитерски-вычурным, с башенками, арочками, завитушками. О довоенной ширине его можно судить по ресторану «Столичный», основательно выпирающему за нынешнюю красную линию, а возле арки, ведущей на улицу Энгельса, — по накренившемуся пожилому дереву, нарушающему четкий ритм каштанов. Почему его не срубили? Кто знает. Помиловали. А может, попало под амнистию.

Между прочим, кроме этого дерева-индивидуалиста, растущего наперекор стихиям, сохранилось еще десятка полтора довоенных деревьев в первом квартале между площадью Ленинского комсомола и Калинина. Обратите внимание, как они за последние десятилетия выросли, — на открытке тридцатых годов это жалкие саженцы, обнесенные деревянным штакетником. Никакой солидности. А теперь под ними и от дождя укрыться можно. Правда, их замечают и пользуются их услугами только в этом случае. Вообще же, кроме крещатицких старожилов, если они дожили до наших дней и что-то еще помнят, никто и не подозревает, что это тоже старожилы, тоже свидетели многого... *

Вообще, глядя на деревья, особенно чувствуешь бег времени. Когда-то, как всегда, торопясь в школу, я на минуту задержался у Николаевского парка. Вдоль его решетки по Караваевской улице сажали тополя. Тоненькие, озябшие веточки. Тогда это была редкость. Я минутку постоял, по-

---

* «Кто такие старожилы?» — спросили как-то меня.

«Старики, прожившие много лет», — ответил я.

«Нет, это люди, которые ничего не помнят. Даже старожилы не помнят таких морозов, такой жары, такой теплой зимы... Вот кто такие старожилы...»

смотрел и побежал дальше. Недавно, проходя по тому же месту, я встретился у входа в парк с громадным, высотой с четырехэтажный дом, раскидистым тополем, который сейчас и двумя руками не обхватишь. Да, это был один из тех юнцов, которых на моих глазах сажали миллион лет тому назад. Впрочем, зачем гиперболы — сажали их лет пятьдесят тому назад, и, глядя сейчас на него, единственного выжившего и пережившего, я как-то очень ясно ощутил, что мы ровесники и оба не первой молодости.

В те годы я знал Крещатик во все часы суток, но преимущественно, конечно, вечерний. Он был шикарен! Так, во всяком случае, казалось нам. Толпы гуляющих. И мы в этой толпе. В юнгштурмовках или рубашках с засученными рукавами, осенью в каких-то кепчонках, задранных назад, «по-ленински», фасонить считалось тогда дурным тоном. О галстуке и воротничке не могло быть и речи. На ногах тапочки. В них, в тапочках, правда, с двумя парами носков, я как-то проходил целую зиму — ботинки невозможно уже было чинить, а на новые не хватало денег. Девочки — в ситцевых платьицах по колена, коротко стриженные, иногда с челочкой, иногда без. Других причесок не было. Колец, бус и сережек тоже — признак мещанства. За обручальное кольцо выгнали бы из комсомола. Губы не мазали, брови, ресницы — в естественном виде. Общий цвет толпы — серый, темный. Ничего яркого, броского. Появившиеся в конце двадцатых — начале тридцатых годов клетчатые ковбойки поражали своей сногсшибательной пестротой и экстравагантностью.

Сегодняшний вечерний Крещатик совсем иной. И публика иная. В основном — молодежь. Бородатая, усатая, длинноволосая («Почему Герцену можно было, а мне нельзя?»), в джинсах, в гольфах, с медальончиками и крестиками на шеях. Джинсы! Мечта современного молодого человека. С нашлепкой на заду и крохотной красной тряпочкой, вылезающей из шва («Что ты, что ты, мама, упаси бог, не срезай, так надо!»), с карманами, в которые даже спичечную

коробку не сунешь, зато о них можно погасить сигарету, зад и бедра обтянуты, и походка, как у Криса из «Великолепной семерки» («Ей-богу, не жаль ста двадцати рублей. В Одессе, говорят, даже сто сорок...»). Девушки тоже в брючках — узких, широких, цветастых, пижамных, в мини и макси, в блузках с рюшами и кружевами прошлого века. Когда прохладнее — в платочках. Одна парижанка сказала мне, что так, как киевлянки, парижанки повязывать платочки еще не умеют. Комплимент, да еще какой!.. И вся эта масса, разноцветная, пестрая, яркая, с транзисторами и гитарами, медленно движется вдоль Крещатика. Преимущественно по левой его стороне, от станции метро «Хрещатик» до кафе «Хрещатик» или чуть дальше до гостиницы и ресторана «Дніпро». Маршрут не изменился с довоенных лет, только не было тогда метро, а на месте гостиницы стоял Дом обороны.

Кафе, бары, бульонные, пельменные (летом в них торгуют мороженым) забиты до предела. В «Ливерпуле» за столиками с разноцветными пластмассовыми стульями распивают «тракию» и «мельник», ставя бутылки под стол, откуда их выволакивают уборщицы или «недоперепившие» всем тут известные старики («Ну, как, дядя Петя, дела?» — «Да ничего, помаленьку. За ваше здоровье...»).

Чуть в стороне от столиков вьется длиннющая очередь. Это за «Киевским» тортом. Без него немыслимо приехать из Киева домой — в Москву, Ленинград, Свердловск, Иркутск. Сходите как-нибудь на вокзал и посмотрите: по два, три, а то и четыре торта везут. Психоз! (Из очередей, кроме этой, меня всегда поражали еще две разновидности их: за кормом для рыбок и на почтамте — чисто мужская — в погоне за юбилейными штемпелями на марки.)

Кафе «Ливерпуль» — место встреч друзей, осеннее, зимнее. Летом же — «Морозиво» («Мороженое») у входа в Пассаж, «Мичиган» (он же «Грот») и «Бульонная» рядом со входом в метро. Публика во всех трех одна и та же, преимущественно студенты, художники, актеры, киношники, кое-кто из пописывающих. Чашечек с бульоном и так называемых «Кремовок» (на языке официанток) для мороженого

не так уж много, граненых стаканов побольше. Большинство посетителей друг друга знают. Сидят компаниями. Время от времени кто-нибудь бежит в «Гастроном».

В кафе «Хрещатик» надо платить за вход, там эстрадные номера, здесь больше приезжих и любителей потанцевать. Рядом прилепился бар — «Стекляшка», где знакомые «всему Крещатику» бармены (а они, в свою очередь, знают не меньше трех четвертей «всего Крещатика») разливают коктейли всех цветов и градусов. В гостинице «Днипро» три бара — один над другим — любимое место киевских негров-студентов.

С приближением одиннадцати «Ливерпули» и «Мичиганы» постепенно пустеют — зато набиваются «Гастрономы» — до закрытия осталось пятнадцать минут... После одиннадцати толпа на Крещатике редеет, определенная часть ее переселяется во дворы и окрестные скверики. Дворы в Киеве особенные — там и зелень, и скамеечки, и даже столики (днем на них режутся в «козла»), и всякие детские площадки с качелями и какими-то горками для катания. Ну, а летом трава...

К часу ночи расходятся по домам с песнями под гитару или без гитары последние веселые компании, и Крещатик затихает до утра, до первых дворников...

* * *

Об утреннем и дневном Крещатике лучше не спрашивать. Магазинная и лоточная вакханалия. Я живу в самом центре, и вся эта толчея перед моими глазами. Когда-то, до войны, Пассаж был тихой улочкой с художественными салонами, книжными магазинами. Сейчас это «Детский мир», где меньше всего детей и с избытком взрослых.

Что происходит со взрослыми, когда где-то «выбросили» кофточки, босоножки или апельсины, — говорить не приходится. С ужасом и великим сожалением думаю о тех, чьи окна выходят на этот самый «Детский мир»... Наши, слава богу, выходят в противоположную сторону, которая шумна только по утрам, когда разгружают ящики в тылах магази-

нов. И только по воскресеньям в Пассаже тишина. Магазины закрыты. Бродят голуби, да во дворе «Гастронома» единственная на весь Пассаж очередь — сдают бутылки.

Бывает время, когда Крещатик меняет свое обычное лицо. Это праздники и дни футбольных матчей. Население его увеличивается тогда в десятки раз. В дни футбола не рекомендуется заходить в «Гастроном» — все равно ни до чего не добьешься, а в дни праздников и салютов прекращается движение транспорта, и улица во всю свою ширину и длину отдается во власть пешехода, если это спокойное слово можно применить к топчущейся на месте или протискивающейся куда-то толпе. Это не лучшее время для посещения Крещатика.

Мы с мамой выходим гулять обычно где-то под вечер. Жара уже спала, но вечерней толкотни еще нет. Маршрут традиционный — до эспланады над Днепром или по Петровской аллее и назад. Идем себе под ручку, тихонько, не торопясь. У подземного перехода осаждают продавщицы цветов, они нас хорошо знают. «Возьмите ландыши бабусе, свеженькие, только из леса...» Мама любит ландыши, и весной у нас вся квартира в ландышах. И в распускающихся веточках тополя, каштана, клена. Потом сирень, жасмин, к концу лета гладиолусы, осенью георгины, астры... «Вы только побрызгайте их сверху, долго стоять будут...» Иногда наших баб нет, их разгоняет милиция. Зачем? Почему? Кому они мешают? Дядя одного моего знакомого, крупный чин в милиции, объяснил: «Безобразие! Замусоривают только Крещатик лепестками!» Действительно, безобразие, того и гляди утонет Крещатик в лепестках роз...

Так, здороваясь направо и налево — мы ведь тоже неотъемлемая часть предвечернего Крещатика, что-то вроде его достопримечательности, — доходим до громадного плаката на глухой стене дома: «Пийте, друзі, вітаміни, натуральні свіжі соки, і рум'янцем неодмінно запалають ваши щоки». Мама каждый раз возмущается: «Зачем надо, чтобы у меня пылали щеки? Кто придумал, что это красиво?» А на пло-

щади Калинина на доме всю ночь вспыхивает и гаснет: «Хто морозиво вживає, той квітучий вигляд має». Мать тоже пожимает плечами: «Всю жизнь ем мороженое, и никогда этого не замечала».

О, киевская реклама, мигающая, вспыхивающая, переливающаяся! Она далеко обогнала примитивные московские призывы Аэрофлота и сберкасс пользоваться их услугами и, пожалуй, даже Бродвей. У нас она в изысканной стихотворной форме.

«Якості найкращі сконцентровані саме в ньому, в цукрі рафінованім» (качества наилучшие сконцентрированы именно в нем, в сахаре рафинированном).

«Кришталь, скловироби, термоси виробництва Київського склозаводу художнього, хай будуть в квартирі у кожного» (хрусталь, стеклянные изделия, термосы производства Киевского стеклозавода художественного пусть будут в квартире у каждого).

«Піаніно, баяни, бандури не треба шукати довго. Адреса точна — в магазинах "Київкультторга"» (пианино, баяны, бандуры не надо искать долго, адрес точный — в магазинах «Киевкультторга»).

И так далее, в том же духе. Разве плохо?..

Погуляв по вечернему Крещатику, ты теперь сможешь наконец купить себе бандуру, обставишь квартиру хрусталем и термосами, а чай будешь пить только вприкусу.

Зацепившись за рекламу, никак не могу обойти вниманием еще один вид информации — так называемую наглядную агитацию. Ничуть не оспаривая ее полезность в принципе, приведу только два примера (из области «заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет»).

Первый пример. Прошу уважаемого читателя, не заглядывая вперед, ответить на вопрос, в какой газете, книге, журнале, парке культуры и отдыха, клубе или кинотеатре могли быть помещены нижеследующие сведения:

«К 1980 г. производство цемента увеличится более чем в пять раз. Быстрое развитие и техническое совершенство-

вание строительной индустрии обеспечит огромные масштабы капитального строительства.

Цемент в миллионах тонн:

1960 г.	1970 г.	1980 г.
45,5	122	233—235».

Где? Нет, не в газете, не в парке культуры и отдыха, не в клубе, а... на почтовой марке! Все это размещено на крохотном кусочке бумаги размером 3,5×5 см и изданном бог знает сколько-миллионным тиражом. И такая марка не одна, а целая серия, посвященная развитию транспорта, машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности, черной металлургии, увеличению поголовья скота и птицы. Я хотел бы познакомиться с человеком, пусть даже филателистом, который прочел бы все эти надписи...

Второй пример. Город Чернобыль. Милый, симпатичный, зеленый городишко. И речка красивая — Десна, приток Днепра. Летом киевляне приезжают сюда отдыхать — тихо, красиво, можно порыбачить и базар недорогой... И вот на окраине этого симпатичного города я натолкнулся на небольшую лесопилку. Обнесена она была давно не ремонтированным забором, где-то визжала циркулярка, пахло свежими опилками, возле покосившихся ворот спал богатырским сном рядом с заглохшим трактором бронзовый полуголый парень, а над воротами вяло трепыхался на ветру выцветший от дождя и солнца — белые буквы на белом фоне — лозунг: «Да здравствует традиционная дружба народов Советского Союза и Непала»...

Хотелось разбудить этого парня и попросить рассказать что-нибудь об этой трогательной традиции, но он так аппетитно храпел, что я махнул рукой, — вероятно, лозунг повешен здесь по разнарядке или в порядке культурного обмена с далеким гималайским королевством, а там, в свою очередь, где-то в Катманду, в какой-нибудь пагоде или на рынке, где торгуют дикими розами, тоже висит такой лозунг, только написанный загадочной восточной вязью...

Но оторвемся все же от реклам и чернобыльских лозунгов и вернемся на Крещатик.

* * *

Лучшее время для прогулки по нему, это, конечно, раннее-раннее утро. Летом, часиков этак в пять-шесть. Редкие, непонятно откуда и куда идущие — то ли с дежурства, то ли с затянувшихся именин — прохожие, первые дворники, волочащие по тротуару кишки для поливки улиц. Троллейбусов еще нет. Вихрем проносятся единичные, плюющие в этот час на светофоры машины. На магазинах с обязательными теперь любезными «Добро пожаловать» (по-украински «Ласкаво просимо») висят еще замки, в каких-то железных коробках с всунутыми в них картонками... Идешь по такому Крещатику, еще прохладному, с длинными тенями, и замечаешь то, мимо чего проходишь, когда он тороплив и многолюден. Именно в это утро ты обратишь внимание на то, как выросли довоенные деревья, как хорош виноград на балконах, переползающий по стенам с одного на другой, как мощно разросся плющ на лестнице, ведущей к павильону «Чай — кофе» (Расти, расти, плющ, разрастайся по всем фасадам Крещатика — ты сделаешь большое дело!), как ненужны, безобразны и не вяжутся со старым Пассажем скульптуры у его входа и еще парочка возле лестницы к кинотеатру «Дружба». Для чего они, эти унылые мужчины и женщины с какими-то чертежами, планами и снопами в руках? Ох, как повезло бы Крещатику, если бы скульптуры могли оживать, — взяли бы они свои чертежи под мышки и ушли бы куда-нибудь подальше...

Да, именно в это тихое, безлюдное утро ты все увидишь и заметишь. Остановишься посреди пустынного тротуара и начнешь рассматривать фасады. Ты никогда не занимался этим? Тогда — советую!

В Киеве есть дом, который знают все, даже некиевляне. «Слыхали, что у вас в Киеве есть такой дом, — говорят они, — на котором много...» Да, есть, — отвечаем мы, — дом Городецкого, дом с русалками.

Городецкий, в свое время известный в Киеве архитектор, отнюдь не был новатором. Он подражал Древней Греции (в Музее украинского искусства, «со львами», как его назы-

вают киевляне), готике (в новом костеле), чему-то восточному (в караимской кенасе на Большой Подвальной, сейчас там кино «Заря»). Сделано все умело, добротно, со знанием дела, но в общем-то копии чего-то. Но вот в жилом доме на Банковой (ныне Орджоникидзе) Городецкий нашел самого себя. В этом доме он приближается не на очень, правда, близкое расстояние к вдохновенному певцу архитектуры «модерна» — Антонио Гауди, автору знаменитого собора Саграда Фамилия (Святое Семейство) в Барселоне. Неудержимая фантазия, стремление и умение из камня и цемента вить веревки, лианы, сети, уничтожать камень как таковой, превращать его в цветы, растения, животных — одним словом, создавать архитектуру, уничтожая ее устоявшиеся принципы, — вот что сближает этих двух архитекторов, русского и испанского. «Дом Городецкого» — это, конечно же, не просто дом, это сказка, приключенческий рассказ, детская иллюстрированная книжка... Там вырастают из стен слоны, носороги, антилопы и громадные жабы на крыше, и наяды верхом на усатых дельфинах, и в каннелюрах колонн извиваются маленькие ящерицы и змеи, а на решетке дома дикий барс (или что-то ему сродни) сражается с могучим орлом...

И вот стоят перед этим домом туристы, приезжие со всех концов страны и рассматривают, удивляются, поражаются, хвалят, осуждают, иронизируют и, конечно, фотографируют со всех сторон. Одним словом, при всей своей антиархитектурности дом этот...

Но стоп! Я сказал «антиархитектурность» — и тут же беру свои слова обратно. Нет, дом Городецкого вовсе не антиархитектурен, в нем просто ярче, доходя до какой-то крайности, развито то, что заложено в архитектуре многих жилых домов первых лет двадцатого века. Более того, я бы сказал даже, что дом этот на фоне остального — пример скорее положительный, чем отрицательный.

Конец XIX—начало XX века не лучшее время в истории архитектуры. Декаданс, модерн... Но кроме особняков, где полет фантазии не ограничивался богатыми заказчиками, начало века было отмечено неудержимым ростом городов,

строительством так называемых доходных домов и того, что за границей называется «офисами», — банков, контор, страховых обществ и т. д. И вот этим-то домам было тогда нелегко, архитекторам и подавно.

Земельная рента в начале века (особенно на центральных улицах) росла чуть ли не в геометрической прогрессии. В Киеве в 90-х годах усадьба Меринга (в самом центре города, там где театр И. Франко, бывший Соловцова) размером в десять десятин была продана за 300 тысяч рублей. Несколько лет спустя усадьба Штифнера (нынешний Пассаж) площадью в один гектар была приобретена страховым обществом «Россия» за полтора миллиона рублей.

Теснота участков приводила к тому, что дома на улицах-коридорах стояли плечом к плечу и оставляли в распоряжении архитектора одну только фасадную стену, остальные — либо глухие брандмауэры, либо никому не видные задние стены, выходящие окнами и балконами во дворы-колодцы.

Так расцвело фасадничество.

Правда, и ренессанс, и барокко, а до этого и готика тоже хорошо знали, что такое фасад. На него сгонялось все — и колонны, и пилястры, и сандрики, и карнизы. Но стиль в то время создавали в основном не жилые дома, а уникальные сооружения — дворцы, замки, соборы, в двадцатом же веке именно жилые дома и офисы.

И вот бедный архитектор, лишенный объема и пространства, весь свой талант и знания вкладывает в эту самую единственную, выходящую на улицу стену. Задача не из легких, с которой могли справиться только крупные мастера. И нужно сказать, что в России таким архитекторам, как Щусев, Щуко, Фомин, Жолтовский, Таманян, Бенуа, удалось создать здания, безусловно, украшающие город. Наиболее удачный пример — Каменноостровский (ныне Кировский) проспект в Ленинграде, одна из красивейших улиц города.

Киев, увы, похвастаться таким проспектом не может. Четыре здания на Крещатике (Зекцера и Торова, Бенуа, Андреева и Лидваля) плюс Пассаж, непосредственно на Крещатик не выходящий, ну еще от силы десяток-другой домов —

и все. Остальное малоинтересно. Пяти-шестиэтажные из желтого киевского кирпича, в большинстве неоштукатуренные здания с достаточно безвкусной лепниной и обязательными куполами — вот типичная архитектура Киева, его лицо. Ну еще обязательный «стиль рюсс» — пузатые колонки, теремочки, кокошнички.

Спасает эту безвкусицу рельеф города и буйная зелень, скрывающая фасады. Одно в этих домах хорошо — балконы. Широкие, просторные, со специфической киевской «пузатой» решеткой из каких-то листьев и ветвей. На таком именно балконе я и начал свои прогулки — дом № 4 на Владимирской — типичный киевский дом.

Сейчас я живу, как уже говорил, в Пассаже. О нем стоит поговорить особо, так как огромный дом этот — один из наиболее ярких образчиков нелегкой, я бы сказал, даже трагической, судьбы «фасаднической архитектуры». Пассаж — это, так сказать, внутриквартальная, совсем неширокая улица с большими магазинами на первом этаже и бесчисленным количеством квартир на остальных четырех. Думаю, что население Пассажа (вся эта улица — один дом № 15) не уступает по количеству жителей любому современному районному центру или дореволюционному уездному городу. Строил его архитектор Андреев. Осуществить до конца свой проект ему не удалось (строительству крещатицкой части помешала мировая война), но и то, что сделано, свидетельствует о большом мастерстве автора. Да, мастерстве и в то же время, повторяю, о трагичности его мастерства.

Даю голову на отсечение, что ни один из многих тысяч жильцов этого дома не знает, что же изображено на его фасадах. Более того, смею утверждать, этого не знает ни один киевлянин, даже ни один житель земного шара, кроме разве что авторов проекта (если они еще живы) и... меня. Сужу по тому, что, прожив в Пассаже двадцать лет, я только сейчас обнаружил на его фасаде, вернее, фасадах, массу интереснейших вещей. Обнаружил, например, кроме мужских и женских голов, молодых и пожилых, несметное количество гербов, гирлянд, поддерживаемых летящими гениями,

ангелочков, орлов, бычьих черепов, ночных сов с распростертыми крыльями, факелов, жезлов Меркурия, бараньих голов с подвешенными к рогам ананасами, и множество барельефов — детей, играющих со львом или львицей, обнаженных мужчин и женщин, из которых я точно узнал одного только Нептуна по трезубцу в руках, какие-то обнимающиеся пары... И все это я, киевлянин, человек, любящий разглядывать фасады, открыл для себя совсем недавно, начав писать эти заметки.

И тут-то и возникает вопрос: не зря ли потратил всеми уважаемый архитектор время на прорисовку всех этих ангелочков, сов, орлов и прочей живности? Ведь никто этого не видит, не замечает. Я вот совсем недавно только обнаружил, что женская голова в замочном камне над моим парадным отличается от других таких голов тем, что она прикрыта тигровой шкурой. А сколько раз я входил в эту дверь? Тысячу, две, пять, десять тысяч раз! Непостижимо! И обидно. Столько труда потрачено. Неужели напрасно?*

В студенческие годы мы много говорили и спорили о синтезе искусств. Примерами положительными считали Афинский Акрополь, капеллу Медичи Микеланджело во Флоренции, где архитектура и скульптура настолько спаялись, слились, что просто не могут существовать друг без друга. Синтез архитектуры с живописью признавался, правда, с оговорками, в домах Помпеи, а в более поздний период в архитектуре Мексики — Диего Ривера, Сикейрос и другие. Нарушителями, врагами синтеза, считались Сикстинская капелла того же Микеланджело (живопись разру-

---

* Уже после обнаружения тигровой шкуры я хвастался знанием фасадов собственного дома перед другом, скульптором. И, к великому моему удивлению, разобрал вдруг, что детишки на барельефах не играют со львом и львицей, они просто-напросто... спаивают их. Да, спаивают! Одни раскрывают ему пасть и подносят чашу с вином, наливая его из какой-то амфоры. Другие же малыши с гроздьями винограда в руках приготовляют вино. А двое даже дегустируют его... Вот о каких интересных вещах рассказал нам Андреев...

шает архитектурную форму) и, конечно же, барокко, где для нас, юных конструктивистов, ревнителей чистых объемов и плоскостей, всего было слишком много.

С годами вкусы несколько изменились — стало ясно, что конструктивизм отнюдь не панацея от всех бед (это понял раньше всех нас великий Корбюзье), а барокко далеко не самый плохой период в истории искусств. Стиль (если можно говорить о нем, как о чем-то имеющем начало и конец) рождается в определенную эпоху и не на ровном месте. Он отвечает требованиям своего времени, своих заказчиков (от императоров прошлого до государственных мужей последних десятилетий) и в то же время является отображением состояния умов и вкусов.

Но я не собираюсь читать здесь сжатый курс истории архитектуры, я просто пытаюсь уяснить себе (а потому и залез в дебри), что положительного и отрицательного дала человечеству архитектура начала века, а заодно разобраться в том, что можно считать ее трагедией.

Если, вспоминая прошлое, мы заговорили о синтезе архитектуры, скульптуры и живописи, то на примере андреевского Пассажа и его собратьев мы видим весьма любопытное явление — вмешательство в архитектуру книжной графики и, в свою очередь, архитектуры в книжную графику.

Сравните, например, фасады первого десятилетия XX века с графическими работами «мирискусников» — Бенуа, Бакста, Сомова, Добужинского — с обложками «Аполлона», «Золотого руна», «Столицы и усадьбы», и вы увидите много общего. Те же маски, купидоны, гирлянды, бараньи головы. Виньетки на стенах домов, колонны и архитектурные детали на книжных страницах.

И это вполне закономерно. И у архитектора, и у графика перед глазами плоскость, прямоугольник — у первого стена, у второго лист. И плоскость эту нужно заполнить. И, заполняя ее, архитектор и график протянули друг другу руки, как позже, в двадцатые годы, сделали это архитектор и инженер. Но если во втором случае архитектура открыла нечто новое

и дала миру таких мастеров, как Ле Корбюзье, Гропиус, Райт, Леонидов, Мельников, братья Веснины (список этот можно продолжить), то в первом случае дело обстоит несколько сложнее.

Книгу, взяв ее в руки, ты рассматриваешь, а мимо дома проходишь, не очень-то обращая на него внимания, если это не памятник архитектуры и о нем не написано в путеводителях и книгах об искусстве.

Такие крупные мастера, как Щуко, Лидваль, Рерберг, тот же Андреев (Щусев несколько в стороне, у него были свои поиски — от церквей и Казанского вокзала до Мавзолея Ленина), оформляли свои фасады с большим вкусом и знанием дела, но мы, прохожие, не успеваем, не умеем это оценить. И виноваты в этом не архитекторы, а мы. И именно потому предпочтительно гулять по городу ранним утром, когда магазины и учреждения еще закрыты, а тебе некуда торопиться.

Дома нужно рассматривать, как книжки. И тогда тебе многое откроется. Хотя бы то, что Пассаж при симметричности своих фасадов несимметричен в своем построении — у него есть излом, создающий некую, очень нужную в искусстве неправильность (тонкость, придающая такое совершенство Акрополю), тогда ты испытаешь то наслаждение, которое хотел доставить тебе архитектор. И тогда ты поймешь, что труд его не был напрасен — воздвигнутое им (даже если не все детали до тебя дошли) создает в целом определенный архитектурный образ, настроение, то есть то, без чего архитектура существовать не может.

И тут я возвращаюсь к Городецкому, к его дому. Пусть в нем, в этом доме, слишком много носорогов и наяд, но он сделан рукой художника. И художника, не побоявшегося выбрать сложнейший рельеф — крутой обрыв. Это дало ему возможность вырваться из строчечной застройки, а значит, и избавиться от фасада — дом одинаково интересен со всех сторон. И, пожалуй, именно это дает нам право отнести его к примерам скорее положительным, чем

отрицательным, того стиля, которому трудно дать название, — модерн, неоклассицизм, декаданс, — стиля, который не принято считать стилем, а принято осуждать, увы, не всегда с основанием.

...7 июня 1926 года на одной из центральных улиц Барселоны из-под трамвая было вытянуто тело неизвестного бродяги. Через несколько дней бродяге этому были устроены торжественные похороны, на которые стеклась чуть ли не половина города. Безвестным бродягой оказался 74-летний Антонио Гауди, архитектор, которому Барселона, а вместе с ней и все человечество обязаны одной из интереснейших страниц истории архитектуры. Строил он только в Барселоне, больше нигде, у нас почти неизвестен, если не считать знатоков, так же, как неизвестен «почтальон Шеваль» (во Франции знаменитый примитивист Руссо именуется не иначе, как «таможенник Руссо»), тем не менее имена обоих упоминаются во всех энциклопедиях, о них пишут монографии, а творения их изучаются всеми, кого интересуют судьбы архитектуры.

Оба они считаются представителями модерна. Но считают это главным образом специалисты, которым нужно втиснуть творчество того или иного художника в рамки определенного течения, стиля. Нет, ни тот, ни другой не втискиваются в эти рамки. Они не модернисты, они «кошки, которые гуляют сами по себе». Подобно Гоголю, который считал, что современную ему унылую архитектуру надо убить городом, в котором сочетались бы стили всего мира и всех веков, «почтальон Шеваль» построил свою собственную усыпальницу (!), использовав все лучшее, что дали миру безвестные архитекторы Индии, Бирмы, Тибета, Японии, Китая, Рима. Гауди, напротив, избегал стилей и модерна, оперировавшего своими штампами в том числе.

Венец его творчества — собор Саграда Фамилия. Строить его он начал еще тридцатилетним молодым человеком и так и не закончил, дожив до семидесяти четырех лет. За сорок три года строительства (1883—1926) ему удалось осуществить только грандиозный по размерам фасад — пор-

тал и четыре башни. Человеку, не видевшему его в натуре, трудно, конечно, судить о впечатлении, которое производит собор (вернее, его лицо), но даже рассматривая фотографии, видишь, что перед тобою нечто незаурядное. Взмывающие ввысь веретенообразные стометровые башни, вырастающие из портала, поражают не только своим силуэтом, они сотканы из бесконечного количества деталей, которые уловить и оценить можно, очевидно, только вооружившись биноклем и временем. Фантазия автора не знает предела. Он оперирует любыми формами — готики, романских донжонов, дворца Снежной королевы, песочных замков, вылепленных детьми на пляжах, затейливостью растений и придуманных самим автором форм. Он использует цвет, майолику, скульптуру, даже надписи, игнорируя только одно — прямую линию, прямой угол и плоскость. Эти последние Гауди считал началом человеческим, кривую же — божественным, что, правда, не мешало ему и в жилых домах избегать «человеческих» прямых.

В Гауди мирно уживались (а может, и не мирно) самые противоположные начала. Художник и инженер, мистик и калькулятор. Его любили и чему-то учились у него Корбюзье и Сальвадор Дали. А он своим учителем считал природу. «Дерево — наш учитель», — говорил он. «Парабола не придуманная, вычисленная кривая, это растопыренные пальцы». Его эмблемой были роза и дракон — эмблема святого Георгия, покровителя Каталонии, — прекраснейший из цветов и чудовищное порождение фантазии.

Любимое изречение Гауди: «Архитектура не должна придерживаться своего времени». И еще одно: «Трамваи должны останавливаться, а не пешеходы»... Увы, этого изречения не знал водитель трамвая, который переехал его.

В наш век стандартов и рационализма ни Гауди, ни почтальон Шеваль (он действительно был почтальоном, как и Руссо — таможенным чиновником) не вписываются. Их архитектура не дружит с современной. Что ж, тем хуже для современной архитектуры, добавим мы, в чем-то разделяя точку зрения Гоголя.

Талант даже в сложные времена выходит победителем.

Ну а Городецкий?

К стыду своему, должен признаться, что только сейчас и совершенно случайно я узнал, что он был автором не только музея, костела и дома на Банковой, а еще и других, хорошо мне известных зданий, в том числе и «Замка Ричарда Львиное Сердце» на Андреевском спуске, о котором я уже неоднократно вспоминал.

Как раз напротив Строительного института, на улице Чкалова, стоял и теперь стоит весьма любопытный дом. Он хорошо был виден из окна нашей аудитории. Большой, шестиэтажный, он стоит в глубине участка, и к нему ведет лестница со всевозможными порталами, арками и пристройками а-ля готика. И вот совсем недавно, подымаясь по этой лестнице, я повстречал древнюю старушку, тащившую тяжеленную корзинку. Я помог ей дотащить корзину до дома, а заодно спросил, не знает ли она, кто построил этот дом. Выяснилось — Городецкий... И не только этот — старушка оказалась словоохотливой и все помнящей. И глазную больницу на той же Столыпинской (ныне Чкалова, а до этого Ладо Кецховели, а до этого Гершуни, а совсем давно Мало-Владимирской), в которой умер раненый Столыпин, и здание психиатрической больницы, примыкающей к дому, в котором она живет со стороны Бульварно-Кудрявской (ныне Воровского), и дом с башней и шпилем на углу Большой Подвальной (а до этого Ярославов Вал, Ворошилова), и Театральной, и нашего любимца «Ричарда Львиное Сердце».

Городецкий, судя по всему, любил замки, и во всех этих домах есть что-то «замковое» — амбразуры, аркады, мосты, башни, шпили. И все они запоминаются. И всегда стоят на интересном месте, отовсюду видны...

И ничего этого я не знал. Вот что значит подносить старушкам корзинки...

Имя Городецкого не упоминается ни в одной энциклопедии, о нем не пишутся монографии и над «домом с русалками» кое-кто посмеивается, а другие просто от него от-

ворачиваются: стоит ли о нем говорить, но не зря все-таки приходят к этому дому люди и разглядывают его, фотографируют... А новые наши «башни», на Русановке ли, или в Химки — Ховрино при всей их разумности и рациональности что-то совсем не хочется фотографировать.

Киевляне рассказывают легенду о дочери Городецкого, которая утонула где-то в озере Чад или Виктория-Ниянца, и в память о ней, мол, построен дом с русалками и носорогами. А где-то я читал, что, напротив, никакая там не фантазия, просто архитектору заказала этот дом какая-то фирма по производству цемента — проверить в самых сложных лепных формах качество этого цемента. Бог его знает, что было на самом деле, важно другое — перед нами произведение художника, у которого было свое лицо, не банальное, не стереотипное, а свое собственное. Без этого не может существовать искусство, будь это храм Василия Блаженного, капелла Роншан или хотя бы «Замок Ричарда Львиное Сердце».

* * *

«Замок Ричарда Львиное Сердце» — № 15 по Андреевскому спуску, а ниже его под горой, — № 13, «дом Турбиных», в котором жил и автор пьесы М. А. Булгаков. Теперь он стал вроде даже одной из достопримечательностей Киева. Почитатели Булгакова из разных городов сразу находят его — большое, черное «13» на ярко-белом квадрате видно издалека. Многие заходят во дворик, фотографируют, наиболее отважные рискуют познакомиться и с Инной Васильевной, дочерью Василисы...

Лет пять назад я об этом доме писал. За это время удалось кое-что еще узнать.

Скажу прямо: писать о живых людях или их прототипах — дело неблагодарное, а возможно, даже и не всегда нужное.

Надежда Афанасьевна Булгакова, сестра писателя, в одном из писем писала:

«Несколько человек, знающих нашу семью, осуждают Вас за неточность информации. Говорят, что Вы, мол, от

Инны Васильевны знали, что есть в Москве родные писателя, надо было бы обратиться к ним. Но, представьте, я так не думаю. Болезнь помешала мне вмешаться в это дело до напечатания очерка, значит, судьба: пусть будет так, как получилось».

Несмотря на столь мягкое и деликатное замечание Надежды Афанасьевны, позволю себе истины ради кое-что с ее слов все же уточнить и дополнить.

«Не знаю, — пишет она, — стоит ли утруждать Ваше внимание исправлением ошибок, но кое-что скажу.

Варя, самая веселая (это верно), четвертая в семье, на гитаре не играла, она кончила Киевскую консерваторию по классу рояля, была пианисткой. Вера, старшая из сестер, вторая после Михаила, пела, училась пению: замужем за офицером никогда не была; ее муж никогда не был выслан. Мой муж был филолог, русский. Ни у кого из сестер Булгаковых мужей немцев не было.

Варя — прототип Елены Турбиной. Миша прекрасно, тонко уловил черты ее характера, ее облика, рисуя Елену Турбину. Но Вы же сами написали о героях Булгакова: «...может, и выдуманных, наполовину, на четверть выдуманных...» И муж Елены — Тальберг тоже выдуман на сколько-то».

По этому же поводу пишет и племянница Надежды Афанасьевны, дочь ныне покойной Варвары Афанасьевны (Елены Турбиной):

«Моя мать действительно вышла замуж за офицера (моего отца); фамилия у него немецкого происхождения — Карум, но он был русским. Мать его уроженка Бобруйской губернии — Миотийская Мария Федоровна. Самое интересное, что отец мой жив. В период культа личности он был репрессирован, сослан в Мариинск, затем переехал в Новосибирск. В настоящее время он, конечно, полностью реабилитирован, пенсионер, свой трудовой путь закончил в должности заведующего кафедрой иностранных языков Новосибирского государственного медицинского института. Сейчас ему 78 лет, но он много работает над иностранной

литературой, живо интересуется новинками в литературе, музыке, искусстве.

Моя мать в ссылке никогда не была, мы приехали в Новосибирск, когда отец был освобожден. В последние годы своей жизни она работала в Новосибирском педагогическом институте старшим преподавателем кафедры иностранных языков».

Оба письма, отрывки из которых я привел, — Надежды Афанасьевны и И. Л. Карум, ее племянницы, — дополнений и разъяснений, само собой разумеется, не требуют. Как никто другой понимаю, до чего досадно обеим было читать все эти «неточности», касающиеся близких — и дорогих им людей (я тоже огорчился бы). Но я, оправдываясь, хочу сказать, что свое посещение дома № 13 рассматривал скорее как некую живую сценку, вплетшуюся в историю «Дома Турбиных», а не как исследовательскую работу по биографии М. А. Булгакова. Я не исследователь и не биограф — просто мне дорого все, что связано с именем писателя, и каждое слово, каждый, пусть далекий, детский отрывок чьих-то воспоминаний о нем, о вымышленных или невымышленных его героях мне интересен. Да, думаю, не только мне.

Вот несколько слов из этих дошедших до меня отрывков.

Алексей Турбин...

Одна из читательниц пишет:

«Моя мать в 1918 году жила в Киеве (кстати, на Андреевском спуске в доме кн. Урусова, который вы называете «Замком Ричарда») и была близко знакома с артиллерийским офицером (в чине полковника) Алексеем Петровичем Турбиным.

Еще в 1933 году, посмотрев пьесу Булгакова, она считала, что Алексей Турбин очень похож на того человека, которого она знала, и хотела узнать у Булгакова, действительно ли Булгаков «списал» его с живого человека. Но, с одной стороны, она стеснялась написать, с другой — даже боялась... Вы пишете, что полюбили этих людей, полюбили «за честность, благородство, смелость, за трагичность положения». По

рассказам матери, Ал. Петр. Турбин был именно таким — благородным, очень интеллигентным, но — увы! — белым офицером. Теперь, после Вашей статьи (очерк? новелла?), я уверена, что Алексей Турбин и есть тот самый человек, конечно, не в абсолютно «чистом» виде, как и всякий литературный прототип.

Последний раз моя мать видела его в Севастополе перед бегством белой армии за границу».

Это — о самом Турбине. А вот догадка одного из читателей по поводу «происхождения» этой фамилии. Булгаков — Турбин... По Ушакову — булгачить, значит, «беспокоить, будоражить», по Далю — турбовать — тоже «беспокоить, тревожить», — по-моему, любопытная, о чем-то говорящая «раскопка».

Шервинский...

Письмо от читательницы из Горьковской области:

«Было это так. Лет 10 тому назад я ехала из Москвы домой. В купе со мной оказалась одна пассажирка — немолодая, некрасивая женщина, разговор с которой не сулил ничего интересного. К счастью, я ошиблась. Попутчица оказалась завзятой театралкой, и мы с увлечением проговорили всю летнюю ночь.

Конечно же, вспомнили и «Дни Турбиных». И хотя обе мы видели их в тридцатых годах, впечатление было настолько велико, что спектакль запомнился во всех деталях.

Вот тут-то моя собеседница мне и сказала: «А знаете, я ведь киевлянка и в 1918 году жила в Киеве. Я немного знаю человека, которого Булгаков вывел под фамилией Шервинского».

Передаю то, что запомнила из ее рассказа.

«...1918 год. Ранняя осень. Я в гостях в одной скромной семье, состоящей из матери-старушки и двух дочерей-девушек. Бедная квартира, тусклый свет, неинтересный, вялый разговор. И вдруг ворвался солнечный вихрь — в комнату влетел молодой офицер — родственник старушки. Высокий, стройный, с великолепной русой шевелюрой. От его белозубой улыбки, прекрасного голоса, смеха, шуток сразу все

ожило. Я сидела в уголке и следила, и слушала, как он говорил, смеялся, ухаживал за девушками, целовал руки старушке, пел, играл на скрипке...

Когда я смотрела спектакль — выход Шервинского поразил меня: да ведь это же Евгений! Актер дал очень верный образ, будто знал его.

Уходя из гостей, я спросила у старушки, кто этот офицер. Старушка ответила, что это ее родственник, что служит он адъютантом у одного высокопоставленного лица, чуть ли не у «самого».

В последний раз я видела его в элегантной коляске, запряженной парой вороных. Он сидел на переднем сиденье — откидной скамеечке — и что-то оживленно говорил каким-то важным особам, сидевшим в экипаже.

Потом в городе произошла смена власти, и он исчез.

После мне рассказывали, что он обосновался в Москве. Одаренный человек, он увлекся электротехникой, сделал ряд изобретений в области гальванопластики, много и плодотворно работал, а теперь доживает свой век, окруженный почетом и уважением.

Он был женат. Жену свою обожал и рыцарски служил ей. На меня, как на женщину, произвел большое впечатление такой факт: 30-е годы, карточки, с промтоварами трудно, предметов роскоши совсем нет. А он, чтобы доставить удовольствие жене, обшаривает всю Москву и достает флакон духов «Коти». Жена их любит...»

Вот и все, что я запомнила из рассказа моей попутчицы. Помнится, мы тогда еще потолковали, не на «Елене» ли он женился, но у моей собеседницы никаких определенных данных не было».

Так ли это? Не знаю. И не проверяю. Зачем проверять? Пусть это останется «тайной» неизвестного мне артиллерийского полковника Турбина и не более известного Евгения...

А вот строчки из письма, ничего нам не открывающего, но настолько трогательного, что не могу их не привести:

...«Дом Турбиных» возвратил меня к событиям сорокалетней давности, о которых хочу рассказать Вам.

Лет мне было в те поры 5-6, но кое-что запомнилось отчетливо, совершенно фотографически.

Так вот, у моей матери была приятельница, звали ее Леля. Внешность ее совершенно изгладилась из памяти. Кроме синего костюма (как Василисин зять запомнил только форму булгаковских зубов). Меня в те времена могли интересовать зубы разве что серого волка. Помню, как-то раз мама, тетя Леля и я шли по Тверской (в Москве). Остановились у круглой афишной тумбы, были когда-то такие в Москве — летом в них ночевали беспризорники. Мама и тетя Леля разглядывали афиши и вели какие-то свои, взрослые разговоры, мне неинтересные. Вдруг мать сказала, обращаясь к тете Леле: «Миша Булгаков!» Сказано это было таким радостным, таким особенным тоном, что я невольно спросила: кто это — Миша Булгаков?

«Миша Булгаков — брат тети Лели».

И обе они, мама и тетя Леля, как-то очень тепло и радостно улыбаясь, стали говорить о Мише — Лелином брате.

Я уже умела читать и прочла на афише какого-то спектакля (тогда мне было совсем безразлично, какого именно): «М. Булгаков».

Безусловно, у М. А. Булгакова и его родственников было и есть сейчас великое множество знакомых, друзей, приятелей, могущих рассказать о семье Булгакова много интересного.

Читать, как я уже сказала, умела. Прочла разные сказки — Андерсена, братьев Гримм и т. д., что обычно читают детишки. Но всех этих авторов уже на свете-то не было. И вообще никому ничего не было известно, скажем, о братьях Гримм, чьи они, собственно, братья? А вот о Мише Булгакове все было известно доподлинно — он был брат тети Лели. И жил в Москве. И его имя было на афише. Правда, пьесы, которые он писал, были для взрослых. А коль мама и тетя Леля так этому обрадовались, значит, Миша Булгаков — хороший писатель. Иначе чему бы радоваться?

Так вошло в мое сознание: Булгаков — писатель, радующий людей.

Что было с Лелей Булгаковой дальше — не знаю. Мать моя тяжело заболела и вскоре умерла. Приятельницы ее у нас уже не бывали».

Николай Турбин... Любимый мой Николка — Кудрявцев...

Почему-то мне казалось, что прототипом его должен быть самый младший брат Михаила Афанасьевича — Иван. Один — в Киеве на гитаре, другой — в Париже на балалайке... Потом подумал: а не Николай ли, второй брат Михаила?

Иоанн Сан-Францисский (в миру Шаховской) в предисловии к заграничному изданию «Белой гвардии», так и озаглавленном: «Судьба Николки Турбина», — не сомневается, что Николка — это Николай Булгаков. Ссылается при этом на свидетельство одного священнослужителя, который сидел с Николаем Афанасьевичем в одном лагере во Франции во время немецкой оккупации.

Что же о них известно — о Николае и Иване?

Оба они после гражданской войны оказались в Югославии, затем во Франции. Николай Афанасьевич, получивший высшее образование в Загребе, работал в Париже ассистентом профессора д'Эффеля, всемирно известного ученого, открывшего в свое время бактериофаг. После смерти своего шефа возглавил институт его имени. За труды свои удостоен был серебряной медали. В годы оккупации попал в немецкий концлагерь. Многие заключенные обязаны ему своей жизнью. Вдова М. Булгакова Елена Сергеевна показывала мне трогательный благодарственный адрес, по-детски украшенный виньетками, которые преподнесли Николаю Булгакову бывшие заключенные после освобождения. Среди них и был, кстати, тот самый священнослужитель, о котором упоминал, — Иоанн Сан-Францисский. Летом 1966 года (а не зимой) Николай Афанасьевич умер — простудился, схватил воспаление легких и не перенес его. Похоронен он на русском кладбище в Париже.

Судьба Ивана Булгакова сложилась иначе. Чуткий, чистый, очень ранимый, он бесконечно тосковал по России.

Люди, знавшие его, находили в нем что-то от Феди Протасова... Последнее время о нем ничего не было известно. Елена Сергеевна, ездившая в Париж, привезла только маленькую фотокарточку, где он снят в группе хора балалаечников одного из русских ресторанов в Париже. Он стоит вторым слева, моложавый, несмотря на свой возраст (1901 года рождения), невысокий, крепко сколоченный блондин в шелковой косоворотке, шароварах, сапогах...

Разглядывая эту фотографию, я невольно подумал: а не встречался ли я все-таки с ним в Париже в 1962 году? В той же группе, вторым справа, снят молодой человек, лицо которого мне показалось знакомым. Не Марк ли это Лутчек из ресторана «У водки», с которым мне так и не удалось вторично встретиться? Я спросил Елену Сергеевну, не знает ли она, кто это такой, и не цыган ли он? Да, цыган, но имени его она не знает...

Вернувшись в Киев, я ринулся на поиски. Написал в Париж своей знакомой, русской по происхождению, и попросил ее, если нетрудно, сходить в тот самый ресторан на бульваре Сен-Мишель и, если там еще работает Марк, разузнать у него что-нибудь об Иване Афанасьевиче, которого, если и не работает с ним вместе, он, наверное, знает.

Вскоре получаю ответ и — о чудо! — оказывается, моя знакомая прекрасно знает Марка и всю его семью. Знает его совсем еще мальчиком. Сейчас он женился на русской и вместе со своим ансамблем гастролирует в Ливане, в Бейруте, в казино «Бейрут». Туда и пишите!

Я написал. Через сколько-то времени — письмо от Марка. Не из Бейрута, а уже из Парижа. Очень милое письмо. Извиняется, что не сразу ответил («с русским у меня неладно, сейчас помогает жена»), и сообщает, что через друзей узнал нынешний адрес Ивана Афанасьевича, который и прилагает. Значит, жив!

Забавная мелочь. Я сравнил фотографию балалаечников, где вторым справа стоит Марк, с присланной мне самим Марком («представляю тебе мою жену Ольгу. Снято в день

свадьбы»)... Что за черт! Совсем разные люди! Второй справа — вовсе не Марк! Перепутал!

Но не все ли равно? Важно, что и Марк, а через него и Иван обнаружились. Теперь начинаю новые поиски — уже по поручению Марка. Надо разыскать родственников Ольги, затерявшихся где-то у нас, уже в Советском Союзе.

И вот, в который раз убедился я, как важно писателю записывать адреса. И только для этого — уверяю вас! — только для этого и придумана пресловутая «записная книжка писателя». Только для адресов. А мысли придут потом. А если не придут, то, значит, и не заслуживали быть записанными.

* * *

И вот мы стоим перед этим самым домом № 13 по Андреевскому спуску. Ничем не примечательный двухэтажный дом. С балконом, забором, двориком, «тем самым», с щелью между двумя домами, в которой Николай Турбин прятал свои сокровища. Было и дерево, большое, ветвистое, зачем-то его спилили, кому-то мешало, затемняло. Мемориальной доски нет. Впрочем, на доме, где жили Л. Н. Толстой и К. Г. Паустовский, тоже нет.

Андреевский спуск — лучшая улица Киева. На мой взгляд. Крутая, извилистая, булыжная. И новых домов нет. Один только. А так — одно-двухэтажные. Этот район города, говорят, не будут трогать. Так он и останется со своими заросшими оврагами, садами, буераками, с теряющимися в них деревянными лестницами, с прилепившимися к откосам оврагов домиками, голубятнями, верандами, с вьющимися граммофончиками, именуемыми здесь «кручеными панычами», с развешанными простынями и одеялами, с собаками, петухами. Над бывшими лавчонками, превратившимися теперь в нормальные «коммуналки», кое-где из-под облупившейся краски выглядывают еще старые надписи. Это Гончарные, Кожемяцкие, Дегтярные, когда-то район ремесленников...

Это и есть Киев прошлого, увы, минуемый альбомами, открытками, маршрутами туристских бюро, — напрасно, ох, как напрасно.

Если спуститься по Андреевскому спуску вниз и свернуть направо, попадешь на единственную, сохранившуюся на Подоле после пожара Покровскую улицу с Покровской церковью и Николой-Добрым, с уютными ампирными особнячками, которых становится все меньше и меньше. А свернешь налево — попадешь во Фроловский монастырь.

Это один из двух киевских женских монастырей. Очень чисто, прибрано, подметено, сияет новой краской. Монахини во всем черном, неприветливые, на тебя не глядящие. В церкви расписано все заново. Херувимы, серафимы, архангелы и очень, очень много румяных, благостных святых. На подмостях двое молодых ребят, измазанных краской, — не из художественного ли института?

Был когда-то в Киеве и мужской монастырь — Киево-Печерская лавра. Еще совсем недавно тебя водили по пещерам словоохотливые монахи, вступавшие в дискуссии с молодыми атеистами. В пещерах было темно и жутковато, освещалось все тонюсенькими восковыми свечками, которые ты приобрел у входа в пещеры. В пещерах покоились мощи святых отцов и великомучеников — Нестора Летописца, Ильи Муромца, святого Кукши. Под стеклом маленькие, ссохшиеся ручки.

Сейчас все это залито ярким электрическим светом. Вместо монахов — бойкие, незадерживающиеся экскурсоводы, над местами захоронений — таблички: «Кости молодого человека, приписываемые церковниками якобы св. Вирсановию». В специальном музее у входа в пещеры те же мумии и объяснения, почему они мумифицировались — в этих местах такая, мол, почва. И если и вас здесь захоронят, вы тоже сохранитесь на многие, многие годы.

Печерск — самая высокая часть города, Подол — самая низкая. В сильное половодье его даже заливает. В 1932 году вода дошла до самой Александровской улицы, и нас, студентов, освободили от занятий, чтобы что-то выкачивать. Разъ-

езжая по затопленным улицам на хлюпающих плоскодонках, мы казались себе гондольерами на Канале-Гранде.

Подол — это свой особый мир. Как и все сейчас, он, конечно, нивелировался. О, Одесса уже не та Одесса, говорят старые одесситы. И Подол уже не тот Подол. Не те базары, не та торговля, не тот Днепр... Но все-таки здесь больше тельняшек, крабов, «морских волков». Здесь своя речь, свои повадки, свои обычаи. И, конечно же, именно поэтому здесь жил Куприн. Многое бы он здесь уже не узнал, но, наверное бы, пил пиво с Акимом Петровичем Меньшиковым, днепровским капитаном, умершим только в прошлом году на 108-м году жизни.

Да, Днепр уже не тот, нет плотов, снуют «ракеты», кометы». А были плоты. Еще совсем недавно были. С будками, баграми, развешанным бельем, с лающими собаками, дымящимися над огнем котелками. С них прыгали, под них ныряли. Сейчас их нет. Плотины, шлюзы...

Подол в отличие от Старого города совсем плоский. Но за Житным базаром опять горы. Олеговская, например, или Мирная окунут вас опять в стихию двориков и садов. Здесь же старое Щекавицкое кладбище, запущенное, заброшенное, заросшее, покосившиеся кресты, тишина, покой и только где-то высоко в небе — жаворонок.

По этим кладбищам, по этим улочкам только и бродить. Весной сирень, море сирени, заборы от нее валятся. Черемуха, жасмин... Не добрался сюда еще город со своими башнями и панельными домами.

Так, садами, садами, огородами по булыжной мостовой попадаем мы с вами на Лукьяновку.

Лукьяновка... Вера Чибиряк... Дело Бейлиса...

Бабий Яр... Черные дни Киева.

* * *

Небольшой холмик цветов. Венки. Большие, маленькие, средние, просто букеты цветов. На венках ленты с надписями: «Отцу, матери, деду — от сыновей, дочери, внуков». «Детям, которым не суждено было стать взрослыми». «От

евреев Свердловска». «Жертвам фашистских палачей». «Замученным в Бабьем Яру — от евреев Минска».

Под венками — его сейчас не видно — серый, гранитный камень. На нем написано, что здесь будет сооружен памятник. Вокруг лужайка — трава, елочки, березки, очень чисто, прибрано. За камнем роща, от камня к дороге — дорожка из бетонных плит, несколько ступенек, два столба с прожекторами.

Мимо, по асфальту, проносятся машины, автобусы, троллейбусы. В ста метрах дальше пестрый, прозрачный навес: «Остановка троллейбуса Щербаковский универмаг». По другую сторону строящаяся телевизионная мачта. За асфальтом пустырь, кустарник, вдалеке новые корпуса Сырецкого массива. Если стать спиной к камню, то по правой стороне пустыря можно увидеть нечто вроде уступа, поросшего кустарником постарше. Это верхняя кромка несуществующего сейчас Яра. Здесь стояли пулеметы. И по другую сторону Яра тоже.

Сейчас Яра нет. Он замыт. Его пересекает асфальтированная дорога. Тридцать лет тому назад этой дороги не было. А был глубокий, до пятидесяти метров Яр, овраг. Постепенно мелея и расширяясь, он тянулся до Подола, до Куреневки. Это была окраина Киева — Сырец. Жилья здесь не было. Ближе к городу за кирпичной оградой было еврейское кладбище. Сейчас его тоже нет.

Тридцать лет тому назад, в первую же неделю немецкой оккупации, на стенах киевских домов появились объявления:

«Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковской и Дохтуровской (возле кладбищ) с документами, деньгами, ценными вещами, теплой одеждой, бельем и проч.

Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит их вещи, будет расстрелян».

Ни заглавия, ни подписи на серых афишах не было.

Развешаны они были по всему городу.

Моя мать тоже их читала. У нее было много друзей-евреев. Она ходила по этим друзьям...

Мама их провожала. Лизу Александровну, маленькую, большеглазую еврейку, и ее стариков родителей. Где-то у еврейского кладбища маму и других провожающих, а их было много, прогнали. Здоровенные солдаты с засученными рукавами и полицаи в черной форме с серыми обшлагами. Где-то дальше, впереди, слышна была стрельба, но мать тогда ничего не поняла...

Трагедия Бабьего Яра известна. Хочу только подчеркнуть: это было первое столь массовое и в столь сжатый срок сознательное уничтожение людьми себе подобных. Сто тысяч за три дня! Разве что Варфоломеевская ночь может сравниться — там было убито до тридцати тысяч гугенотов. Хиросима и Нагасаки уже потом.

Бабий Яр — это старики, женщины, дети. Это беспомощные. Люди покрепче, помоложе нашли свой удел уже позже — немцам понравился этот Яр.

Потом немцы ушли. Пытались скрыть следы своих преступлений. Но разве скроешь... Заставили военнопленных сжигать трупы. Складывать в штабеля и сжигать. Но всего не сожжешь...

После войны хулиганье копалось на дне оврага, что-то искало.

Потом овраг замыли. Предполагалось построить на нем стадион. Но не построили.

В 1961 году произошла катастрофа. Прорвало дамбы, сдерживавшие намытую часть Бабьего Яра. Миллионы тонн так называемой пульпы устремились на Куреневку. Десятиметровый вал жидкого песка и глины затопил трамвайный парк, снес на своем пути прилепившиеся к откосам оврага домишки, усадьбы. Было много жертв.

Следов разрушения давно уже не видно. Дамбы восстановлены, укреплены, на месте парка — широкая автомобильная дорога, где был трамвайный парк, нынче многоэтажные здания.

Ничто уже не напоминает того, что здесь было. А у гранитного камня всегда цветы. И летом, и зимой. Мы тоже положим свой букетик.

Похороненные в Бабьем Яру безымянны. В Праге есть синагога, где на стенах высечены имена погибших во время оккупации евреев. В Сталинграде, в Пантеоне на мраморных стенах фамилии защитников Мамаева кургана — те, которые удалось восстановить. В Бабьем Яру неизвестно кто убит. Только детям, внукам известны имена отцов, дедов, прадедов. Тем немногим, кому чудом удалось вырваться из этого ада, неведомы были имена тех, кто стонал и хрипел рядом с ними.

Каждый год, 29 сентября, сюда приходят люди. С венками и цветами. Молча, склонив головы, слушают произносимые с трибуны слова... А в двадцать пятую годовщину расстрела трибуны не было. Люди ходили по пустырю, плакали, разбрасывали цветы. И вспомнились в этот день на этом месте слова Луначарского о сущности антисемитизма, написанные им еще до прихода Гитлера к власти, слова о том, что «антисемитизм — это самая выгодная маска, какую только может надеть на себя контрреволюционер».

Луначарский не дожил до Бабьего Яра, но, проезжая через гитлеровскую Германию, он своими глазами увидел, до чего антисемитизм может дойти, когда он берет власть в свои руки.

В тот день люди плакали, рыдали, становились на колени, целовали землю, уносили горсти ее с собой. И, глядя на них, нельзя было не обратиться к ним с несколькими словами утешения и веры в то, что на этом месте будет, не может не быть памятника.

Вскоре был объявлен конкурс. Конкурс на памятник жертвам фашизма. На месте лагеря для военнопленных в Дарнице и здесь, в Бабьем Яру.

Я видел представленные на конкурс проекты.

В условиях к нему было сказано, что монументы должны художественным образом отображать героизм, непреклонную волю, мужество и бесстрашие наших людей перед

лицом смерти от рук немецких палачей, должны показать зверское лицо гитлеровских захватчиков, а также должны выражать всенародную скорбь о тысячах незаметных героев.

Принимай я участие в этом конкурсе и прочитай эти условия, я, откровенно говоря, стал бы в тупик. (Я не говорю в данном случае о Дарницком памятнике, я говорю именно о Бабьем Яре.) Почему же?

Да потому, что памятник в Бабьем Яру — это памятник трагедии, трагедии беззащитных и слабых. Памятник в Варшавском гетто — это памятник восстанию, борьбе и гибели, в Дарнице — зверски расстрелянным солдатам, бойцам, людям, попавшим в плен сражаясь, людям в основном молодым, сильным. Бабий же Яр — это трагедия беспомощных, старых.

Не случайно я упомянул слово «трагедия». И подчеркнул его. Вполне сознательно.

Многие из участников конкурса пошли по пути выражения протеста. «Нет! — говорят их памятники. — Это не должно повториться! Это не может повториться!» Перед нами группы расстреливаемых со сжатыми кулаками и воздетыми к небу руками, матери и прижавшиеся к ним дети, и опять же руки, вытянутые вперед, — не допустим! Перед нами кричащие все то же «нет!» головы. Довольно! Хватит крови!

Но, как ни странно, стоя перед этими памятниками, начинаешь чувствовать какое-то смятение, неловкость. Кажется, что это тебе кричат «нет!», что тебя не подпускают. И ты пятишься назад... Тебе страшно.

Вот и хорошо, что страшно, возразят мне, здесь и дела были страшные. Согласен, страшные, но нельзя все же забывать, что здесь, кроме того, и кладбище, а на кладбище как-то не положено кричать, хочется сосредоточиться, уйти в себя, подумать, вспомнить.

И вообще я не хочу, чтобы мне подсказывали мои эмоции. Они должны возникнуть сами, без принуждения.

Возникают ли они сами по себе, без нажима, эти эмоции, когда рассматриваешь проекты другой группы памятников

(она в меньшинстве) — отвлеченных, так сказать, бесфигурных? Пожалуй, да. Здесь уже другой подход. И разнообразия больше. Изображение тут тоже есть, но оно уже в виде рельефа — высокого или чуть намечающегося, в каких-то отдельных деталях, элементах скульптуры, сливающейся с архитектурой. В принципе же это стены — прямые или в виде громадных спиралей, строгие и ровные или, наоборот, рваные, распадающиеся, точно рушащиеся от бомбежки, иногда это просто столбы из гранита с намеком на какие-то лица или гигантский факел над обрывом, путь к которому символизирует последний путь людей, идущих на расстрел.

Эта группа проектов значительно интереснее первой — тут больше мысли, фантазии, я сказал бы, даже чувства. И простора для собственных мыслей дается тебе больше, больше свободы. Многие из памятников хотелось бы увидеть в натуре, так небанально, по-своему они решены. И все же...

Я просмотрел около тридцати проектов. Передо мной прошли символы, аллегории, протестующие женщины, вполне реалистичные, полуголые мускулистые мужчины, и фигуры более условные, и вереницы идущих на казнь людей... Я увидел лестницы, стилобаты, мозаику, знамена, колючую проволоку, отпечатки ног... Увидел много талантливого, сделанного сердцем и душой (это, пожалуй, один из интереснейших конкурсов, который я видел), и мне вдруг стало ясно: места наибольших трагедий не требуют слов. Дословная символика бледнеет перед самими событиями, аллегория — бессильна.

Мне, пришедшему сюда поклониться праху погибших, не надо рассказывать, как эти люди умирали. Мне все известно. И кричать за меня тоже не надо. Я сам знаю, где и когда надо крикнуть. Я просто хочу прийти и положить цветы на братскую могилу и молча, в одиночестве, постоять над ней.

Я видел много памятников жертвам фашизма. Плохих и хороших. Кричащих и безмолвных. Но ни один не произвел на меня такого впечатления, как памятник в Треблинке. Там только камни. Одни камни. Сотни, тысячи камней. Раз-

ной величины и формы. Острые, тупые, оббитые, покосившиеся. Одни камни. Точно проросшие сквозь землю. Мороз проходит по коже...

Мне не хочется ничего ни подсказывать, ни предрешать, но, возможно, ближе всего к тому, о чем я говорю, что сам для себя пытаюсь решить, приближается проект памятника неизвестных авторов под девизом «Черный треугольник»: две исполинские призмы, одна чуть-чуть наклонившаяся к другой.

Больше ничего. Я не могу объяснить сейчас в силу чего — а, может быть, это и есть самое главное, — но я, вдруг представив себя у подножия этих возвышающихся над всей местностью призм-долменов, услышал, как они, лишенные дара речи, кричат мне о чем-то страшном и незабываемом.

А может, и не кричат, а говорят шепотом. А может, это я сам кому-то говорю:

Остановись и склони голову.
Здесь расстреляны были люди.
Сто тысяч.
Руками фашистов.
Первый залп был дан 29 сентября 1941 года.

* * *

Пожалуй, лучше всего бродить одному, где бы это ни было. В Киеве, Москве, Париже, Самарканде. Именно тогда-то и рождаются в голове какие-то мысли, мысли, которые никак не получают туда доступа в другое время, в другом месте. Что-то вдруг придумывается, рождается, разрешаются конфликты твоих героев, не решавшиеся, когда ты сидел с карандашом в руке. Это — когда ты бродишь один по знакомым тебе уже местам. А незнакомые, впервые увиденные улицы, кроме всего остального, возбуждают еще какие-то параллели, ассоциации, сравнения.

Менее всего интересно гулять по Нью-Йорку. Там я выходил рано утром, когда все еще спали, и бродил по улицам вокруг гостиницы. Было скучно. Улицы прямые, пустынные, какие-то глухие стены. Хороши только верхние этажи не-

боскребов, Эмпайр-стейт-билдинг — он первый освещается восходящим солнцем. Пытался я выходить к Гудзону, но всегда напарывался на какие-то бесконечные заборы с громадными буквами и тощих, пугливых кошек. В Сентрал-парке тоже скучно, а на Вашингтон-сквер, где собирается молодежь, хотя и не скучно, но это уже не прогулка, а нечто другое, и кончается она обязательно кафе или рестораном.

Один только раз мне удалось хорошо побродить. Я шел ночью по пустому Бродвею. Рекламы горели, но людей не было. Даже ни одного пьяного я не встретил, что, правда, в Нью-Йорке явление редкое. Иногда проносились машины, безмолвные, темные.

Дойдя до нашего сколько-то там этажного «Говернор-Клинтон-отеля», я поднялся в лифте почему-то на самый верх и каким-то чудом оказался на крыше отеля. Какая-то дверь, лестница и вдруг — крыша. Никто меня не задерживал. Нью-Йорк крепко спал. Или делал вид, что спит. Светились окна только в небоскребе редакции «Нью-Йоркер» неподалеку от нас, светились ущелья улиц, красные фонари на Эмпайр-стейт-билдинг. И факел на статуе Свободы — маленькая мигающая точка.

Было зябко — конец ноября.

И вдруг я увидел нечто необыкновенное. Гнездо аиста. Самое настоящее гнездо аиста у высокого, затянутого решеткой парапета. Сначала я даже не поверил. Я был уверен, что аисты — это наша украинско-среднеазиатская прерогатива. Ну, может быть, где-то в Африке, Индии, Японии они водятся. Но там скорее цапли. А тут настоящее «лелекино» гнездо, как на соломенной «стрихе» полтавской хаты... Большое, метра полтора, из веток, все честь честью. И в нем яйцо. Одно-единственное яйцо — большое, белое, такое одинокое. Бывает же такое... Я положил его в карман.

Я вспомнил это гнездо потом, в Бухаре, сидя у прозрачного, как в Тадж-Махале, бассейна Лаби-Хаиз, в котором отражалась древняя мечеть и совсем такое же гнездо на верхушке столетнего тополя. Аистиха сидела на яйцах, а может, уже и птенцы вылупились, и изредка поглядывала

на нас, сидящих внизу за обязательным пловом с зеленым чаем. И я подумал: хорошо тебе, бухарская аистиха, взмахнула крыльями и полетела за кормом для своих детенышей. А нью-йоркской? Куда та летала за обедом? В Сентрал-парк?

В Бухаре этих гнезд несметное количество. На всех без исключения минаретах. И на куполах мечетей. И на тополях. Их не меньше, чем телевизионных антенн, ощетинивших собой весь этот бело-глиняный, сказочный, точно из сказок Шехерезады город.

Я много бродил по Бухаре. Тесные, кривые улочки как будто похожи одна на другую, но в каждой из них свои особые старухи, старики, чумазая ребятня. И вдруг улица эта упирается во двор вросшей в землю тысячелетней мечети. И под сенью чинары сидят бородатые старики в чалмах и что-то едят или чем-то торгуют. А рядом чего-то ищет в расселинах меж древних плит меланхоличный ишачок. «Салям», — говорю я старикам, и те тоже говорят «салям». Я подсаживаюсь к ним, и они угощают меня дыней, полутораметровой бухарской дыней. И мы молча сидим в тени чинары под бирюзовым азиатским небом, и я разглядываю красивый орнамент арабской вязи на зеленых изразцах входа в мечеть и спрашиваю стариков, что там написано. Они не понимают меня — я их, но слово «аллах» я все-таки улавливаю.

Мне жаль, что только старики еще могут разобрать эти надписи. Они так красивы. Мне жаль, что нынешняя молодежь редко читает Коран. Коран — это не только скрижаль ислама, это — великое искусство, это — история народа.

Не мне судить, нужно ли было менять шрифт в республиках Средней Азии (в Грузии и Армении он сохранился), но то, что арабский шрифт — шрифт, которым писали Улугбек и Навои, из которого сотканы неправдоподобно прекрасные узоры мавзолеев Шах-и-Зинда в Самарканде, Гур-Эмира, Биби-ханым, Регистана, что эта вязь сама по себе произведение искусства, и высокого искусства, — это ясно, по-моему, каждому. Для меня узбекская книга без древней

вязи — все равно, что Крым без кипарисов, которые лет двадцать тому назад безжалостно вырубили.

Неизвестно для чего я поведал все это старикам. Они ни слова не поняли, но кивали головами — хоп, хоп, хоп...

Но вернемся в Нью-Йорк, на мою крышу. Подняв воротник — ветер был пронизывающий, — я любовался уснувшим городом. Старался найти самый высокий до 1930 года небоскреб Нью-Йорка — Вулворт, так и не нашел его и, окончательно замерзнув, оказался вдруг в Пенсильванском вокзале. Почему я оказался там — не совсем ясно, но, вероятнее всего, по той же причине, по которой русский человек оказывается на вокзале ночью, хотя ему некуда ехать и некого встречать. К тому же вокзал этот, Пэна-Стейшн, как его называют нью-йоркцы, находится совсем рядом с нашей гостиницей.

Громадный, с уходящими ввысь сводами, уснащенный весь, как это было модно в конце прошлого века, колоннами, он был совершенно пуст. Ни души. Ни носильщика, ни полицейского, не говоря уж о пассажирах. Я послонялся по безлюдным, гулким залам, наткнулся на телеграф, послал кому-то телеграмму — просто так, чтоб получили телеграмму из Нью-Йорка, и к концу своей прогулки обнаружил то, что, очевидно, и искал. Шоколадного цвета сонный молодой человек налил мне чего-то очень крепкого и дал мне ломтик белоснежнейшего хлеба с куском мяса, непонятного мне происхождения. Устроившись на высоком табурете, я погрузился в размышления. Жуя неизвестные мне кушанья, я удивился тому, как Хемингуэй запоминал на долгие годы все то, что он пил и ел в парижских ресторанах «Куполь» или «Липп», «Лила», «Де маго», «Ротонда», «Тулузский негр», «Мишо». Там-то они взяли бутылку «флери» или «сансерра» и закусывали «кассонэ» — рагу из дичи с бобами и горошком, а там пили «марсала» или «бона» и ели плоские дорогие устрицы «маренн» вместо обычных дешевых «портюгэз», или вермут «шам-бери касси» с толстыми сосисками «сервелас», политыми горчичным соусом. И все-то он запоминал. Очевидно, он все же был чревоугодником, наш кумир

Хемингуэй. А чревоугодие, увы, грех номер один. В Киеве у входа в Ближние Лаврские пещеры на стене громадное изображение нелегкого пути в рай человеческой души. Она, душа, проходит через цепкие лапы великого множества грехов, изображенных в виде омерзительных чертей, и вот на первом месте самый тяжкий грех — чревоугодие, оставляющий далеко позади ложь, пьянство, корыстолюбие, жадность, тщеславие и даже прелюбодеяние. Какие еще были грехи у Хемингуэя, мне неизвестно, человек он был замечательный, но то, что он любил не только выпить, но и плотно, со знанием дела, поесть, — это для меня теперь стало ясно.

Пока я посасывал свой напиток, размышляя о хемингуэевских меню, я не обратил внимания на то, что рядом со мной оказался немолодой уже человек в сером поношенном пальто и с очень грустным лицом. Он взял пиво у сонного негра и вдруг заговорил со мной по-украински. Я остолбенел!

— Просто я побачив торчащу в вас з кармана газету «Українські щоденні вісті», от і все.

Он был слегка на взводе и заговорил о спорте, точно продолжая со мной какой-то спор, который мы не успели с ним когда-то кончить. Я в этой области не очень силен, поэтому ограничивался междометиями, а он доказывал мне превосходство каких-то Биллей и Динов над Джеймсами и Тэдди. Роясь в кармане пальто в поисках спичек, я наткнулся на аистиное яйцо и вместе с содержимым кармана положил его на стойку.

— О, лелека! — обрадовался вдруг мой сосед, — аістине яйце... Відкіля воно у вас?

Я сказал, что нашел его на крыше небоскреба.

— Диви, куди його занесло. Лелека та й на хмарочосі...

Мне приятно было услышать это чисто украинское название аиста — лелека, по этому случаю мы взяли еще что-то и выпили за здоровье лелеки и будущего ее птенца, который обязательно, по мнению моего соседа, должен вылупиться.

— Ви завиніть його в щось тепле, і ось побачите, в Москві у вас запищить щось в чемодані. Ій-бо.

И он стал говорить об аистах. Оказывается, хотя аисты и редкость в Западном полушарии, но он хорошо помнит, что, когда он был маленьким, у них на ферме где-то в Массачусетсе аисты свили гнездо на крыше их дома и стали совсем ручными, он их прямо из рук кормил. Потом они куда-то улетели и больше не появлялись. Потомства после себя, к сожалению, не оставили.

Потом мы вернулись опять к спорту. Я попытался с этой темы перейти на какую-нибудь другую, на его прошлое, профессию, политику, но моей инициативы он не поддержал, и продолжал обсуждать спортивные дела и возможности своих Биллей и Тэдди. Когда стало светать и вокзал начал заполняться первыми пассажирами, мы расстались.

Яйцо я привез домой. Когда я раскрыл чемодан, в нем, увы, ничего не запищало.

Эта неожиданная встреча за стойкой бара с земляком (мне все-таки удалось выудить у него, что родители его родом с Черниговщины, сам же он родился уже в Америке) и разбившее спортивные рассуждения моего собеседника аистиное яйцо как-то очень меня тогда растрогали, и теперь, глядя на наших украинских аистов, важно стоящих в своих гнездах на соломенных или теперь чаще железных крышах где-нибудь на Черкащине и Полтавщине, я всегда с теплотой вспоминаю «свое» нью-йоркское гнездо.

* * *

Пэна-Стейшн невольно натолкнул меня сейчас на одну из излюбленных моих тем — вокзальную. Я с детства неравнодушен ко всему железнодорожному — паровозам, стрелкам, ночным зеленым глазам семафоров, фонарям в руках проводников и, конечно же, к вокзалам с их особым запахом, гулом и предотъездной, куда-то зовущей суетой. Идеалом был Брянский (ныне Киевский) вокзал в Москве — крытые стеклом платформы придавали ему особый, заграничный вид, ни дать ни взять — парижский вокзал Сен-Лазар, который я знал, правда, только по картине Клода Моне.

Долгое время наш Киевский вокзал был кровоточащей для нас раной, несмываемым позором. Такой город, а вокзал — барак. Длинный, одноэтажный, деревянный барак. А перед ним площадь — грязная, булыжная, с извозчиками и мальчишками: «Кому воды холодной!» Сейчас стоит новый вокзал, о котором и будет рассказ. Но прежде, чем начать его, я убедительно прошу всех впервые приезжающих в Киев (не прилетающих, а именно приезжающих) не заходить внутрь вокзала, а, пройдя по перрону, выйти прямо к метро или по подземному переходу к троллейбусу. Так будет лучше.

Вокзал — это ворота города. В Киеве их надо миновать. А возвращаясь к себе домой, постараться через вестибюль пройти, как это ни трудно, с закрытыми глазами. Так тоже будет лучше.

Итак, в 1929 году начали строить новый вокзал. Это было событием. Объявили конкурс. Участниками его были известные московские и ленинградские архитекторы, но первую премию получил киевлянин — Александр Матвеевич Вербицкий, добропорядочный последователь дореволюционного модерна, маститый киевский архитектор, с которым впоследствии столкнула и меня судьба.

Условия конкурса были довольно необычны. Фасад здания должен быть выдержан в духе выходившего тогда на арену конструктивизма, но с учетом элементов украинского барокко. Сочетание, мягко выражаясь, довольно нелепое.

Вербицкий из этого тупика как-то выбрался. Отдал дань барокко в центральной части вокзала, обрамив громадное параболическое окно вестибюля так называемым кокошником. Украинского в нем было немного, но что-то от митрополичьих покоев Софийского собора все-таки чувствовалось. Другой киевский архитектор, Дьяченко, в этой части пошел еще дальше, совсем приблизился к XVIII веку, поре расцвета украинского, так называемого мазепинского барокко. Братья же Веснины, напротив, сделали упор на современность, конструктивизм — бетон, стекло. Вербицкий нашел середину — и бетон, и стекло, и вот, пожалуйста, кокошник.

Мне проект вокзала очень нравился. Впрочем, скажу по секрету, нравились мне тогда все проекты — и Весниных, самый конструктивистский, и Алешина за какие-то там отдельные понравившиеся мне детали, и всеми уважаемого Щуко за величественность... Но поскольку строить предполагали по проекту Вербицкого, я влюбился именно в него.

И вот, о счастье: окончив профшколу, я стажером пошел на строительство этого самого вокзала. Два года корпел в техотделе над синьками арматуры, а потом мастерил «восьмерки» и «кубики» из литого бетона, которые, «схватываясь», на двадцать восьмые сутки разрывались и раздавливались в бетонной лаборатории Политехнического института. Все это мне казалось знаменательным и важным — я строил вокзал, красу и гордость нового Киева.

Вокзал был весь в лесах — и снаружи и внутри, — и я бегал по ним, как матрос по реям, и любовался с 45-метровой высоты вестибюля (того самого кокошника) расстилавшимся внизу городом — куполами Владимирского собора, далекой Софией и маленьким памятником Ленину у самого вокзала, на виадуке над товарными путями — скромный бюст, обсаженный вокруг трогательными незабудками.

Потом леса сняли, и вокзал предстал в своей бетонной наготе — в гигантских параболических, освобожденных от опалубки арках было что-то торжественное, от древних соборов, величественное. И в то же время все было просто и целесообразно. Вестибюль, широкая лестница, направо и налево залы ожидания, высокие, светлые, безо всяких украшений — XX век...

Я был счастлив и горд. Снял своего любимца со всех возможных точек и фотографии отправил в журнал «Глобус». Их напечатали. Гордость и счастье дошли до предела.

Так простоял вокзал до войны, до прихода немцев. Уходя, они попытались его взорвать, но «мой» бетон был крепок и толу не поддался — только стекла повылетали и кое-где закоптилась белоснежная штукатурка.

Но главная трагедия ожидала вокзал впереди. Его восстановили. Но как? Кому-то показалось, что торжество победы неотъемлемо связано с пышностью форм. Побольше колонн, карнизов, капителей, завитков, лепных украшений. Это называлось «обогащением». И обогатили...

Нет, приезжий, очень прошу тебя — не заходи внутрь вокзала. Все, что есть безвкусного, лишенного какой-либо архитектурной логики, собрано там воедино. Арки уничтожены, заменены спаренными колоннами, параболические окна по мере возможности заделаны и «украшены» по бокам нелепыми пилястрами, потолок усеян какими-то звездочками, в залах ожидания между ригелями бетонных рам производственно-идиллические пейзажи, вместо светящихся плафонов — тяжелые метростроевские люстры. От замысла архитектора не осталось ничего. Его уничтожили с непонятной варварской жестокостью. Смотрел ли автор этой расправы — имени его не будем называть — в глаза Вербицкому, когда расправлялся с его творением? Ведь он был, кажется, его учеником.

Я, кстати, тоже был. Делал под его руководством проект опять-таки вокзала (он был почему-то полукруглый, более чем неудобный для эксплуатации), а затем какой-то ресторан на берегу Днепра! Дружбы у нас не получилось. Алексей Матвеевич внимательно, молча, сквозь пенсне рассматривал мои архитектурные упражнения, качал головой и выше «тройки» оценки мне не ставил.

Потом уже, после войны, пытаясь попасть в аспирантуру своего же Строительного института, я опять попал к нему, и он тихо и спокойно, такой же, как и до войны, седой, длиннолицый, в пенсне, срезал меня на «кляузуре» — блиц-проекте, который нужно сделать, не выходя из аудитории, за какие-нибудь три-четыре часа. «Воевали вы, может быть, и не плохо, не мне судить, но до аспирантуры надо все-таки малость восстановить забытое. Поработайте годик-другой в проектном бюро, а потом милости просим». Я обиделся и устроился в газету.

* * *

И все же город, по которому интереснее, веселее, легче и в то же время утомительнее всего бродить, — это Париж. Это хорошо знали Хемингуэй и Маяковский (впрочем, и многие другие). Первый не зря отождествлял его с «праздником, который всегда с тобой», а второй хотел «жить и умереть в Париже», хотя и предпочитал ему Москву.

Перечитайте хемингуэевскую «Фиесту» или хотя бы тот же «Праздник, который всегда с тобой», и вы увидите, с каким наслаждением он просто перечисляет, улицы, по которым ходит. «Я прошел мимо лицея Генриха Четвертого, мимо старинной церкви Сент-Этьен-дю-Мон, пересек открытую всем ветрам площадь Пантеона, ища укрытия, свернул направо, вышел на подветренную сторону бульвара Сен-Мишель и, пройдя мимо Клюни и бульвара Сен-Мишель, добрался до известного мне славного кафе на площади Сен-Мишель». («Праздник...») или: «...вышел и, повернув направо, пересек улицу Ренн, чтобы избежать искушения выпить кофе у «Де маго», дошел по улице Бонапарта до улицы Гименэ, потом до улицы Ассас и зашагал дальше по Нотр-Дам-де-Шан к кафе «Клозери де Лила» (там же). Или: «Мы свернули с площади Контрэскарп и пошли узкими переулками, между высокими старинными домами. Мы вышли на улицу дю-По-де-Фер и шли по ней до улицы Сен-Жак и потом пошли к югу, мимо Валь де Грасс и вдоль железной ограды кладбища. Вернулись на бульвар дю Пор-Рояль... Мы пошли по бульвару дю Пор-Рояль, пока он не перешел в бульвар Монпарнас, и дальше, мимо «Клозери де Лила», ресторана «Лавинь», «Дамуа» и всех маленьких кафе, пересекли улицу против Ротонды, и мимо его огней и столиков — в кафе «Селект». («Фиеста»). Ну и так далее.

И мне, когда я читаю, тоже приятно, и кажется, что я тоже иду по улице Бонапарта, минуя Сен-Жермен-де-Прэ и, свернув налево по улице Жанэт, захожу к Мишо. Хэм уже там поджидает Фицджеральда Скотта. Я подсаживаюсь к нему.

— Что будем пить?

— Я взял фин-а-л'о, — говорит он. — Здесь всегда приличный коньяк. Заказать вам?

— Спасибо.

Он подзывает Жана, с которым в приятельских отношениях, и, кроме выпивки, просит принести еще две порции турндо.

— Это говяжье филе, — поясняет он, — завернутое наподобие рулета. Тут его превосходно делают.

Потом мы едим турндо, действительно отличное, и говорим о Джойсе, который тут тоже часто бывает, и слабостях Фицджеральда Скотта, который вот-вот должен прийти.

Вот так-то. В кафе Мишо, на углу улицы Святых Отцов и Жакоб. Маленькое уютное кафе, где в 1925 году бывали Джойс, и Хэм, и Фицджеральд Скотт, и многие, многие другие.

И в «Липп» я тоже бывал, это на бульваре Сен-Жермен, напротив «Кафе де Флор». Туда тоже захаживал в свое время Хэм и пил там кагор, разбавленный водой. А я зашел с двумя журналистами из «Радио Люксембург», а потом перешел через улицу в «Кафе де Флор» и встретил там Вильяма Клейна, знаменитого фотографа, впоследствии и кинорежиссера, и мы пили с ним холодное пиво «биер альзасьен» и закусывали креветками. Потом он повел меня в свою мастерскую и показывал свои новые работы — он увлекался сейчас живописью, состоявшей из одних переплетающихся между собой букв.

— L'art d'horreur, — пояснил он, — искусство ужасов. Из букв составляются слова, а я их уже не воспринимаю. Особенно когда вижу. Я уже давно не читаю газет и не слушаю радио. Как могут работать корректоры и дикторы? Как их не рвет...

Мы возвращаемся в «Липп» и застаем там, кроме двух журналистов из «Радио Люксембург», еще корреспондента газеты «Последние новости».

Корреспондент показывает последний номер газеты и говорит мне: «Тут и про вас кое-что есть». Это, оказывается, репортаж о моем выступлении в Музее Гимэ, в клубе

«Жар-Птица», где я говорил о выставке в Манеже (это было в 1962 году), о том, какие там идут дискуссии и споры и как молодежь сцепляется с догматиками.

— А мы во Франции, — сказал, улыбаясь, Вильям Клейн, — любим все из ряда вон выходящее и больше всего боимся набившего оскомину. Пикассо спасает только его возраст, а то его давно считали бы банальным, повторяющим собственные зады.

Так зашел разговор о традиции и новаторстве, как окрестили бы его в какой-нибудь из наших газет, разговор, продолжившийся в «Де маго» и так и не закончившийся где-то уже в районе Пантеона.

В Киеве, когда мы собираемся идти куда-то гулять, мы старательно обходим Крещатик: там слишком много знакомых. В Париже, если ты даже не Хемингуэй и не пишешь статей во «Франс-суар», но если ты прожил там хотя бы две недели, рассчитывать на одиночество в квадрате «Сена — Рю де Рен — Люксембург — Рю Сен Жак» вряд ли возможно. Там всегда кого-нибудь встретишь и осядешь в каком-нибудь кафе после обязательного предложения: «А не выпить ли нам по стаканчику?..»

Относительное одиночество и спокойствие можно обрести на острове Сен-Луи, прилепившемся к нижней оконечности Ситэ. Там всего две набережные, одна продольная улица, восемь поперечных и симпатичная старая церковь Сен-Луи-он-Лиль. Дома там все старые, все там тесно и уютно, а кафе такие же, как и все в остальном Париже, только народу поменьше. Оттуда недалеко до площади Бастилии и маленькой очаровательной площади Вогезов — пляс де Вож. Квадратная, застроенная трехэтажными старинными домами с крутыми черепичными крышами, она чем-то напоминает львовскую площадь «Рынок», но вместо ратуши — горсовета, там посредине уютный сквер, где можно даже посидеть и, никого не боясь, почитать даже книжку.

Генрих IV сказал: «Париж стоит обедни», а кто-то перефразировал: «Если бы не было Парижа, его надо было бы придумать». Орловский помещик Тургенев до последних

дней жизни не мог с ним расстаться, а Паустовский, когда мы были с ним в Париже, сказал: «Вы знаете, у меня здесь даже астма проходит», — а парижский воздух, увы, далеко не коктебельский.

Спор о традиции и новаторстве, начавшийся в кафе «Липп» и так и не закончившийся у Пантеона, мог произойти где угодно, но в Париже он принял свою окраску. Все свелось в конце концов к нему самому.

— Париж — лучший город в мире, потому что он терпит все, кроме безвкусицы, — сказал кто-то из нас.

— И Марк Шагал может расписать плафон Гранд-Опера, не боясь, что его четвертуют...

— А муравьед Сальватора Дали привлекает внимание парижан больше, чем его хозяин...

— И вообще Париж, что Ноев ковчег, в нем мирно уживается в газетном киоске «Огонек» и «Пари-матч», а за одним столиком наша компания, которая мирно сосет коктейли, — сказал я.

— Именно поэтому мы и взяли коктейль как символ некоего смешения вкусов и взглядов, — сказал один из люксембуржцев.

— Но в нем нет водки, — сказал я, — это ущемляет мое национальное достоинство.

— Сейчас исправим ошибку. Гарсон, добавьте в этот стакан немного «Столичной». Или, может, «кальвадоса»? Это французский самогон.

Вместо «Столичной», извинившись, принесли «Московской», и мы, стоя, опустошили свои стаканы за самый небанальный в мире город, в котором можно гулять по улицам с муравьедом на цепочке и даже рисовать карикатуры на самого «месье ле женераль».

На этом наша веселая беседа кончилась, и, расплатившись и условившись завтра в три встретиться в «Куполь» — там я еще не был, — мы разошлись по домам. Мой путь был по Сюффло, до бульвара Сен-Мишель, дальше по Сен-Жермен до улицы Святых Отцов и далее, минуя Мишо, по мосту Карусель, через две арки Лувра к своему Гранд-Отель-

дю-Лувр. На мосту я еще немного постоял, глядя в черную воду Сены и думая о том, как бы завтра уединиться и не ходить в «Куполь». Выход был один: запереться в номере и всем говорить, что я работаю. Из этого ничего не вышло: в три часа мне позвонили и сказали, что меня ждут лучшие в мире улитки, бутылка бургундского 1873 года разлива и знакомство с Кордобесом, самым знаменитым в мире матадором. Это меня доконало.

* * *

Прогулка была парная — я и мать.

Больше всего в жизни она любила гулять. В ту зиму было холодно, поэтому мы сначала долго одевались. Процедура была сложная — одна кофта, на нее другая, затем теплый шарф, вызывавший всегда сопротивление: «шерстит», — затем демисезонное пальто, — мы приехали осенью и в Москве нас застигла зима, — на ноги валенки, на руки теплые заячьи рукавицы. На носу пенсне — самое сложное, так как оно сразу же на морозе запотевало.

В последние годы мама в пенсне уже не нуждалась — так называемая компенсация зрения, — но она к нему привыкла и не хотела расставаться даже во время воздушных тревог, когда ей, врачу вокзального медпункта, надо было надевать противогазовую маску. Вместо пенсне приходилось пользоваться лорнетом — сочетание для тех лет довольно забавное.

Итак, мы одеты. Выходим. Куда же направить свои стопы? Все зависит от ветра. Сегодня он дует в эту сторону, поэтому мы идем в ту — к мосту.

Когда-то это был Большой Новинский переулок — узенькая улица, идущая от Новинского бульвара к Москве-реке. Сейчас это широкий проспект Калинина. Последнее здание переулка разрушалось на моих глазах — двухэтажный домик, в котором находилось какое-то проектное бюро. Домик гиб на глазах под ударами тяжелого чугунного шара, обливаясь кровью. Кровь — это красный кирпич, из которого он был построен. Домик стонал, обливался кровью и, мучительно сопротивляясь, умирал. Сейчас на его месте

скверик, а чуть правее подземный переход. В скверике растут тоненькие деревца и почему-то нет цветов.

Теперь снесли еще несколько домов в сторону реки. Когда мы гуляли, они были еще целы. Говорят, должны были построить новое высотное здание для сотрудников СЭВ, но грунт оказался неподходящим, и сейчас как будто запланирован бассейн — та же история, что со Дворцом Советов.

Крепко поддерживая друг друга, чтобы не скользить, мы минуем эти домики и подходим к забору с афишами. Здесь мы задерживаемся. Мать знакомится с репертуаром театров.

— Пойдем в Художественный, я давно там не была.

— Не на что, мамочка, идти.

— Как не на что? Вот «Дни Турбиных», ты разве не любишь их?

— Люблю, потому и не хожу.

— Ты консерватор и старик! Ты не любишь молодежь.

— Нет, я люблю молодежь, но Яншин уже не молод.

Мать вздыхает.

— Странное дело, ты всегда любил театр, а теперь калачом не заманишь.

— Я дитя века, к тому же ленив и предпочитаю диван и в крайнем случае телевизор.

— Терпеть не могу твой телевизор. Не вздумай только его покупать. Хочу ходить в театр.

Я оттягиваю маму от афиши — рядом афиша «Современника», а там много знакомых.

Мы идем дальше. Направо строится небоскреб СЭВ.

— Не понимаю, зачем столько этажей, — говорит мать. — Ты можешь сосчитать сколько?

Пытаюсь сосчитать, но сбиваюсь.

— По-моему, двадцать пять, — говорю.

— Если нам тут дадут квартиру, возьмем двадцать пятый, хорошо?

— Квартиры нам тут не дадут, — успокаиваю я, — и вообще я предпочитаю особняки.

Мать со мной соглашается, и мы останавливаемся на особняке, в котором жил когда-то Шаляпин, за американским посольством. Этот особняк нам обоим нравится.

— Я помню этот особняк, когда еще была маленькой. Перед ним был палисадничек. Жили мы тогда на Садово-Кудринской, у Капканщиковых.

Тот особняк я тоже знаю — налево от него когда-то жил Чехов.

Полюбовавшись домом СЭВ и так и не сосчитав, сколько в нем этажей, мы возвращаемся назад.

По ту сторону Садовой — Новый Арбат. Он нам противопоказан. На том месте, где сейчас ресторан, был дом, где жила наша приятельница. Его теперь нет, и мы не желаем туда ходить. Вообще нам обидно за весь тот район. Мы с мамой любили старую Москву и оплакиваем Собачью площадку. Там был когда-то любимый нами «Дом сороковых годов», а сейчас на его месте какое-то министерство, задавившее собой все окрест, и поленовский «Московский дворик» в том числе. Наличие рядом пивного бара «Жигули» не спасает положения.

Итак, мы не переходим Садовую, а идем либо налево, к площади Восстания, либо направо — к Смоленскому рынку.

Смоленский рынок... От рынка, каким я его еще помню, с рундуками и «бывшими» дамами, торгующими бюстгальтерами на меху, сохранилось только название и два дома — Арбат, 54, с «Гастрономом» внизу, известным на всю Москву, так как он, подобно Елисееву, торгует до 11 вечера, и другой, напротив него, с обувным магазином на углу.

Композиционный центр всего этого района — дом Министерства иностранных дел. Он строился на моих глазах (я жил тогда на Сивцевом Вражке) в конце сороковых годов. Пока он был еще металлическим каркасом, в нем было что-то привлекательное. Потом он оброс камнем, обогатился (распространенный в те годы архитектурный термин) башенками и обелисками, и симпатии мои к нему поуменьшились. Теперь я к нему привык.

Вряд ли кто сейчас помнит, что на архитектурном проекте здания не было остроконечного, в виде шпиля завершения. Таким, без шпиля, изображен он был и на серии почтовых марок, посвященных московским высотным зданиям. Потом было сказано, что здание выглядит обрубленным, и срочно был достроен шпиль, а к нему соответствующее архитектурное дополнение в виде подставки. Что внутри этой подставки, неведомо. В свое время москвичи, пытавшиеся логически обосновать надстройку, утверждали, что туда вмонтирована, мол, радарная установка. И все становилось на свое место, само высотное здание в том числе.

Много говорили в те дни (не скажу, спорили, спорить в те годы на эту тему не полагалось) об уместности этих зданий. Сторонники их утверждали, что городу нужны вертикали, архитектурные акценты, что ими были когда-то московские «сорок сороков», сейчас же нужно что-то другое. Противники их, соглашаясь с акцентами, считали, что акценты эти могли быть и пониже. Так или иначе, здания были построены и, что там ни говори, создали нынешний силуэт Москвы. А я добавлю: стали памятниками архитектуры первой половины XX века и имеют законное право на доски «Охраняются государством».

Сегодня высотные здания приобрели другой облик. Здание СЭВ, в котором я никак не мог сосчитать этажи, не похоже на соседствующий с ним высотный дом на площади Восстания (кстати, и тот, и другой построены архитектором Посохиным — любопытная трансформация), и на нем в свое время появится доска с надписью «Памятник архитектуры второй половины XX века». А вот для одного из памятников первой половины XX века, двадцатых еще годов, «свое время» давно настало, а доски на нем нет. И, глядя на него, не скажешь, что оно охраняется государством. Речь идет о так называемом «Доме наркомфина», или «доме на Новинском» выдающегося советского архитектора М. Я. Гинзбурга. Скажем прямо, что это облупившееся, всеми забытое (и домоуправлением, и Моссоветом, кстати) здание — один из наи-

более ярких примеров архитектуры тех лет, искавшей свои, новые, присущие тому времени формы.

Дом этот не только запущен, его просто трудно обнаружить. За сорок с лишним лет, прошедших со дня его постройки (а он расположен в глубине участка), деревья перед ним так разрослись, что дома просто не видно. Так, белеет что-то за стволами, а что — бог его знает. Многие жители этого района даже и не подозревают, что рядом с ними «памятник», в котором впервые были применены архитектурные принципы Корбюзье — плоская крыша, ленточные окна, отсутствие первого этажа, замененного столбами.

Таких домов, подобных дому Гинзбурга (точнее, М. Гинзбурга и И. Милиниса), в Москве еще много.*

Имена в скобках — это имена тех, кто стоял у истоков советской архитектуры. И нету там только имени одного человека, «творчество которого не только вошло в золотой фонд советской архитектуры, в ее историю, но и сейчас участвует как боевое оружие в сражении против серости архитектурной мысли, являясь критерием качества архитектуры, неисчерпаемым источником для творчества. Имя его должно быть поставлено в ряду основоположников современной архитектуры».

---

* Это дом Госторга на улице Кирова (архитектор Б. Великовский, 1926); Госбанк на Неглинной (И. Жолтковский, 1926—1927: очень любопытное исключение в архитектуре тех лет); клуб Коммунальников на Лесной ул. (архитектор И. Голосов, 1927); клуб завода «Каучук» и клуб на Стромынке (архитектор К. Мельников, 1927); Планетарий (архитекторы М. Барщ и М. Синявский, 1929); комбинат «Правды» (архитектор П. Голосов); новый корпус Моссовета (архитектор И. Фомин, 1930, тоже исключение из общих правил); Центральный телеграф (архитектор И. Рерберг... до какой-то степени тоже исключение); здание «Известий» (архитектор Г. Бархин, 1932); Дом Центросоюза, ныне Статуправления (архитектор Ле Корбюзье, 1928—1932); дом на углу Орликова пер. (П. Щусев, 1932); Дворец культуры Пролетарского района, ныне завода имени Лихачева (бр. Веснины, 1932).

Приведенные выше строки взяты из статьи кандидата архитектуры П. Александрова, напечатанной в журнале «Архитектура СССР» № 1 за 1968 год, под названием «Архитектор-новатор».

С фотографии на нас смотрит немолодой, лысоватый человек с сигаретой в мундштуке в зубах, с прищуренным одним глазом, в темной расстегнутой рубахе, тренировочных штанах, в накинутом на одно плечо пиджаке. Пристально смотрит на вас, приподняв одну бровь.

В 1927 году человек этот блестяще окончил архитектурный факультет ВХУТЕМАСа, где учился у братьев Весниных, награжден был заграничной командировкой и оставлен в аспирантуре. Дипломный проект его на первой выставке советской архитектуры в 1927 году занял центральное место и широко был опубликован во всей зарубежной прессе. Думаю, ни Нимейер, построивший город Бразилиа, ни авторы трилона и сферы на нью-йоркской выставке в 1939 году не будут отрицать влияния этого человека на их творчество. Конкурсный проект Дома Центросоюза того же архитектора получил очень высокую оценку участвовавшего в этом конкурсе Ле Корбюзье, и, возможно, в какой-то степени повлиял на окончательный вариант самого Ле Корбюзье (он отказался от ленточных окон).

В те годы я был студентом. Имя этого архитектора, как и Гинзбурга, Весниных, Мельникова, не сходило с наших уст. Проекты его были во всех журналах. Мы пытались ему подражать как только могли, копировали его графику — громадные черные листы с тонкими белыми линиями и цветовыми пятнами.

Кто же этот человек, имени которого нет в списках, нет ни в одной энциклопедии и о котором девять лет спустя после его смерти говорится как об основоположнике советской архитектуры?

Имя этого человека Леонидов. Иван Ильич Леонидов. Умер он в 1959 году, так и не построив в своей жизни ни одного здания...

Новатор в самом высоком и чистом смысле этого слова, он не смог перенести 1930 года, когда во всех газетах замель-

кало слово «леонидовщина». Как творца его убил конкурс на Дворец Советов, решения которого отбросили нашу архитектуру на десятки лет назад.

Лебединая его песня — конкурсный проект Дома Наркомтяжпрома — самобытный, яркий, ни на что не похожий (и, конечно, технически не осуществимый в 1933 году) — остался только на бумаге.

И в истории, добавим мы.

Да, в те годы трудно было осуществить предполагаемое Леонидовым. Его дипломный проект — Институт библиотековедения имени Ленина на Воробьевых горах, и последний — Наркомтяжпрома на Красной площади, блестящие по мысли и исполнению, были тогда нам не под силу. Они пугали своей смелостью и оригинальностью и, скажем даже, утопичностью. Но это было дерзание, это было будущее. Леонидов смотрел вперед, перешагивая десятилетия.

Подводя итоги Первой архитектурной выставки в Москве в 1927 году, М. Я. Гинзбург писал в журнале «Советская архитектура» о проекте двадцатипятилетнего дипломанта:

«Блестяще выполненная в ряде тонких графических рисунков и в манере... работа эта более всего ценна для нас как категорический прорыв той системы приемов, схем и элементов, которые неизбежно становятся для нас общими и обычными, в лучшем случае являясь результатом единства методов, а в худшем — нависая угрозой стилевых трафаретов».

Не хочется проводить параллелей с судьбой познавшего после своей смерти всемирную славу Гогена или Модильяни, продававшего при жизни стоящие сейчас сотни тысяч франков портреты за 40-50 франков, но, думается, что широкое знакомство с творчеством Леонидова, его изучение — единственное, чем можно искупить вину современников перед ним и всей историей нашей архитектуры.

Имя Леонидова всегда как-то сочеталось с именем другого, тоже прогремевшего архитектора — Константина Мельникова.

Судьбы их сходны. Но не во всем. К. Мельников в 20-е годы не только проектировал, но и строил. И построенное им всегда было центром всеобщего внимания. До конкурса на Дворец Советов он успел еще кое-что построить. Клуб «Каучук» на Плющихе, другой — коммунальников на Стромынке, советский павильон на Парижской выставке декоративного искусства в 1925 году и даже свой собственный дом, существующий до сих пор на Кривоарбатском переулке, недалеко от Плотникова переулка. Загадочный этот дом, стоящий в глубине участка, и поныне привлекает всеобщее внимание.

Описать его не просто: не то башня, не то труба, даже не одна, а две тесно прижавшиеся друг к другу. В передней башне — большое окно, в задней окон нет, есть ромбовидные отверстия снизу доверху. Кроме того, есть еще терраса — на первой башне-трубе, всегда пустая. Над входом дома надпись из камня или штукатурки: «Константин Мельников, архитектор».

Начали строить этот дом давно — в 1927 году. Значит, в годы нэпа или сразу после него. Это весьма знаменательно. Получить в центре Москвы участок в вечное владение и построить на нем дом — не всякому было дано. А вот дали. Значит, знаменитый был архитектор Константин Мельников.

Да, знаменитый. Мы его учили. В тридцатых годах учили. Он был бы мэтром, живым классиком. Таковым и остался. Как и братья Веснины, Леонидов, Гинзбург.

Потом их стали ругать. Объявили формалистами. В газетах появились статьи: «Какофония в искусстве», «Про некоторые архитектурные упражнения», «Против формалистических выкрутасов в архитектуре», «Лестница, ведущая в никуда (Архитектура вверх ногами)». Последняя была посвящена К. Мельникову. Напечатана в «Комсомольской правде» 18. 11. 1936 года. В статье этой упоминается и дом в Кривоарбатском переулке. «Этот каменный цилиндр, — читаем в статье, — может быть местом принудительного заключения, силосной башней, всем, чем угодно, только не домом, в котором добровольно могут поселиться люди. (По

имеющимся у нас сведениям, этот дом архитектор построил для самого себя (?!)».

Кончается статья призывом к строителям прекратить свой птичий полет. «Спуститесь на землю — отсюда виднее ваша работа, вам место здесь. Создавайте прекрасную архитектуру социалистической страны без гнилого, неискреннего, фальшивого либеральничания, которое не менее опасно, чем прожектерство формалистических фокусников».

Ну и так далее. С тех пор исчезло имя его со страниц журналов. Строить он перестал. Дальнейшая его судьба была неизвестна. И вот оказывается, архитектор этот дожил до наших дней. И в этой самой «силосной башне».

Как же с ним познакомиться — с этим архитектурным зубром, мамонтом, основоположником и родоначальником?

Мне это удалось. Не скажу, что удачно, но удалось.

Из окна квартиры моих друзей — они живут в Плотниковом переулке, над «Диетическим» магазином, — я увидел как-то эту самую «силосную башню». Как? Неужели сохранилась? Сохранилась. А хозяин? И хозяин сохранился. Появляется даже в «Гастрономе» с авоськой. Но хозяева квартиры знают его сына, художника, вместе когда-то учились в институте, он даже вроде как ухаживал за хозяйкой квартиры. Можно ему позвонить — телефон есть.

Позвонили. Сказали, что такой-то и такой-то мечтал бы познакомиться с заочным своим учителем юности, почел бы за честь, ну и т. д. Ответили согласием, позвоните тогда-то и тогда-то.

Позвонили тогда-то и тогда-то. Ждут. Завтра в двенадцать часов. Здесь, как утверждают мои друзья, я допустил промашку. Не надел галстука, пошел в синей с белой полоской, так называемой «олимпийке». Но об этом позже.

Итак, ровно в 12 часов я позвонил у деревянной калитки «силосной башни». Дико залаяла собака. Потом в башне открылась дверь и вышел подтянутый старик в коричневой домашней куртке с кокетливо выглядывающим из бокового кармана белоснежным платочком. Открыл, гремя замками, калитку. Уже калитка была не такая, как «у людей». С вну-

тренней стороны у нее было нечто вроде полукруглого забора, так что войти можно было только, когда калитка открыта настежь. С грехом пополам я протиснулся в нее.

Входя в дом, я старательно вытер ноги о мохнатый коврик и, как можно любезнее улыбаясь, сказал, как я счастлив, что вступаю в дом, в какой-то степени памятник архитектуры, который я в свое время, в студенческие годы, изучал.

Хозяин на это не обратил или, как потом я понял, сделал вид, что не обратил внимания, а внимательно смотрел, как я вытираю ноги.

Потом я разделся в очень странной полукруглой прихожей (из нее в открытую дверь я увидел такую же странную полукруглую комнату) и по крутой винтовой лестнице без перил (хозяин, которому никак не меньше семидесяти, а то и больше, весьма бойко по ней передвигался) поднялся на второй этаж, в очень большую, очень высокую, тоже круглую комнату, даже не комнату, а скорее ателье, поразившую меня своей пустотой. Кушетка, покрытая одеялом (очевидно, ателье служило и спальней), большой, заваленный книгами и бумагами письменный стол и несколько прекрасных старинных кресел. На стенах портреты. Много. И очень неплохих. В течение последующего получаса я успел их рассмотреть внимательнее. Написаны легко, свободно, никому не подражая. Больше всего портретов какой-то дамы, очевидно, жены, разных возрастов и в разных позах.

Прежде чем меня пригласили к столу, мне в руки дали старую газету. Как выяснилось, чтоб я еще раз вытер ноги. Поняв, что чистая, сухая обувь — некий пунктик хозяина (на дворе действительно была грязь, а калоши теперь не в моде), я, идя навстречу хозяину и в то же время полушутливо, сказал, что могу для простоты разуться. Предложение было принято, и я остался в носках.

Потом меня пригласили к столу. Хозяин тоже сел за стол и, положив хорошо выбритый подбородок на скрещенные руки, стал смотреть в пространство. Лицо было красивое, худое, маленькие седые усики. И очень грустные, задумчивые глаза. За его спиной на стене висел автопортрет юных

лет — этакий д'Артаньян с черными усиками и жгучим взглядом. Сейчас жгучего во взгляде не осталось — только печаль.

Пауза затянулась, и я, чтоб разбить ее, стал развивать тему, начатую еще в прихожей: как я, в прошлом архитектор, счастлив попасть в этот дом и беседовать (тут я несколько перегнул, беседы-то пока не было) со столь знаменитым мастером, которого мы, студенты, еще в тридцатые годы и т. д.

Мельников молча слушал, не перебивая меня, и продолжал глядеть в пространство. Потом, не поворачивая головы и не глядя на меня, спросил:

— Так вы, значит, архитектор? А мне сказали, что писатель...

Я пустился в объяснения. Так, мол, и так, был я в свое время и архитектором, и актером, а потом, в силу сложившихся обстоятельств, стал писать.

— Значит, никак себя найти не можете? Бросаетесь из стороны в сторону?

Я сказал, что сейчас, как мне кажется, я на чем-то все-таки остановился.

— Что же вы написали?

Я сказал.

— Это что же, протокол о Сталинградской битве?

Я растерялся: почему протокол?

— А что же вы еще могли написать, кроме протокола, хроники?

Я еще больше растерялся и не нашел что ответить.

Опять молчание.

— Это кто — вы в молодости? — спросил наконец я, указывая на портрет и чтобы прекратить тягостное молчание.

Лаконичное «да», и после паузы:

— Вы, конечно же, не знаете, что я художник. А я художник... — И вдруг, без всякого перехода: — Мне сказали, что вы что-то писали о Корбюзье.

Да, писал, мне посчастливилось встретиться с ним в Париже, и я об этом написал.

— Гоняетесь, значит, за знаменитостями?

Я ответил шутливым тоном, что поэтому вот и к нему пришел.

Он быстро взглянул на меня (впервые за весь разговор) и опять, упершись в пространство, грустно сказал:

— Я с ним тоже встречался.

— Очевидно, во время его приезда в Москву, когда строилось по его проекту здание Центросоюза?

— Нет, не в Москве, а в Париже. Вам, очевидно, неведомо, что по моему проекту в Париже был построен советский павильон на выставке декоративного искусства в 1925 году?

Я обиделся. Почему неведомо? И тут же пальцами изобразил схему этого павильона.

На него это не очень подействовало.

— Хорошо, — сказал он, — вот вы говорите — Корбюзье, Корбюзье (очевидно, он очень ревновал к Корбюзье, так как я о нем упомянул только один раз), а кого же вы из русских архитекторов знаете?

Я сказал, сделав упор на него и опять-таки расточив комплименты. Тут он вдруг перешел в атаку:

— Так, теперь вы хвалите Мельникова... А скажите прямо, зачем вы к этому самому Мельникову пришли? Какова ваша цель?

— Как зачем? Просто, чтобы познакомиться с родоначальником, основоположником и т. д., и т. п., повторяя все то, что я уже говорил.

— Простите, так вы писатель? — перебил он меня.

— Да...

— Ваша фамилия. Тихонов?

Так. Я слегка обомлел. Нет, не Тихонов.

— Не Тихонов, значит. Хорошо. Так что же вы писать обо мне думаете?

Я развел руками. Нет, специальной мысли об этом у меня не было, но, если это ему улыбается, могу и написать. Молодому поколению архитекторов, конечно же, будет очень интересно узнать, над чем сейчас работает маститый

архитектор, каковы его взгляды на нынешнюю архитектуру, на пути ее развития.

Монолог мой был прерван.

— А вам не кажется, что прежде, чем писать, не мешало бы поинтересоваться, насколько все это интересно самому маститому архитектору?

Тут я окончательно стал в тупик. Не нашелся что ответить. Что-то промямлил, «конечно, если... я не знал... я думал... просто мне хотелось...»

— Так вот, молодой человек, — холодно и очень медленно, с расстановкой сказано было мне, — если вам что-нибудь хочется и для этого надо беспокоить другого человека, желательно предварительно осведомиться, насколько это интересно другому человеку...

Вы читали рассказ или уже не помню, может быть, это и в какой-то повести Тургенева, о молодом человеке, который приходит к некоему знаменитому профессору?

Я признался, что, к стыду своему, не помню.

Он мне напомнил и рассказал неведомую мне историю о каком-то молодом человеке, который в нетрезвом виде (все мои друзья, которым я рассказывал о моем визите, до сих пор уверены, что до звонка в заветную калитку я принял «свои сто грамм» в какой-нибудь забегаловке, чего, как ни странно, на самом деле не было) явился к какому-то светиле и стал убеждать его помочь что-то написать в его диссертации.

— Так вот, если не читали, — закончил он свой рассказ, — прочтите, обязательно прочтите.

Я понял, что мой визит несколько затянулся. Мне ясно дали понять это. Встав со стула, я извинился и сказал, что, по-видимому, не вовремя пришел и поэтому позволю себе раскланяться.

— Пожалуйста.

Я обулся, сбежал по лестнице и, еще раз извинившись за неуместное вторжение, ушел.

— Вы сможете сами открыть калитку?

— Сумею...

На этом наше знакомство закончилось.

Я нисколько не обижен на Мельникова. Я понимаю его. Сорок лет отделяет его от дней, когда имя его гремело повсюду. Сорок лет...

Мне жаль только, что он не понял меня. Я шел к нему с открытым сердцем, без всякой задней мысли, так же, как и сейчас, невольно задумываясь — как много надо иметь внутренней силы, чтоб не сломиться под ударами незаслуженной критики и гордо перенести нелегкие годы забвения.

Я ушел от него с чувством горечи.

Выйдя из переулка, я свернул налево по Плотникову. На углу Сивцева Вражка я постоял недолго. Здесь я когда-то жил, в этом маленьком домике на втором этаже. Вот мое окно.

Теперь мне кажется, что это было очень давно. В крохотной комнате, вся обстановка которой состояла из железной койки, колченогого стола и занимавшего полкомнаты рояля, я заканчивал свое первое литературное произведение, здесь же начал второе. По вечерам при свете стосвечевой лампы, покрытой бумажным колпаком, отчего в комнате всегда пахло жженым, я читал вслух написанное. Верной слушательницей моей была Р., визиты которой почему-то повергали в смущение моих милых старушек — хозяек. Задыхаясь от волнения, они сдавленным шепотом спрашивали сквозь замочную скважину: «Кто?» — и потом долго лязгали замком и цепочкой. Не сомневаюсь, что они были уверены, будто Р. приезжает сюда инкогнито, меняя по дороге фиакры с завешанными окнами, и только на лестнице снимает полумаску. Веселясь по этому поводу, мы с Р. прозвали мою резиденцию сокращенно ПЭ от Рю-де-ла-Пэ — самой фешенебельной и галантной из парижских улиц... Сейчас мне кажется, что это действительно было так и Р. на самом деле, кутаясь в черную шаль и шурша шелковыми юбками, пыталась незаметно проскользнуть мимо консьержки в подъезде. И было это очень давно, лет сто тому назад. Тогда же, когда Пушкин захаживал в небольшой особняк с колоннами на

углу Гагаринского и Хрущевского переулка. Там собирались декабристы, и в стене одной из комнат был потайной ход, и на кафельных печках с медными вьюшками в овальных медальонах маркизы целовались с пастушками.

У этого дома я тоже постоял. Но никто не вышел. Я спросил у кучера, сидевшего на облучке, кого он дожидается.

— А тебе не все равно? — сказал он мрачно. — Мой барин здесь подолгу сидит, не дождешься.

— А кто твой барин?

— Камер-юнкер. А ты?

— Гвардии капитан. Теперь запаса.

Мы закурили по «беломору». Глядя на выросшую за особняком девятиэтажную башню, мы заговорили о том, как быстро все на глазах меняется. Давно ли еще звонили колокола у Николы-на-Песках и хлеб в булочной на углу Смоленского продавался настоящий ржаной, а водка стоила...

— Да, — вздохнул кучер, — не звонят больше колокола у Николы, жителям, мол, мешает, и булочной уже той нет, а на месте этой башни, где сейчас кафе «Адриатика» — неплохое кафе, только дерут три шкуры, — был особняк купца Снегина. И еще пять таких особняков у него было, и три доходных дома, и трактиров по всей Москве штук пятнадцать, если не больше.

Мы повздыхали, повздыхали, и я побрел дальше. Мне почему-то подумалось, что человек, от которого я только что ушел, так же вот бродит по этим когда-то тихим арбатским переулкам и смотрит, как на месте уютных особняков с мезонинчиками вырастают похожие как две капли воды одна на другую, лишенные собственного лица эти белые девятиэтажные башни, как рассыпается под скрежет бульдозеров старая Москва...

— Не грустно на это смотреть? — спросил я.

— Мало сказать, грустно...

Мы испытующе посмотрели друг другу в глаза и, не сговариваясь, направились к «Адриатике», той самой, где был когда-то особняк купца Снегина.

— Да, — сказал мой спутник, когда мы устроились за столиком у окна. — Появление этих башен вполне закономерно. Без них сейчас не обойтись, что поделаешь. Но какое они имели право вторгаться сюда, в самое сердце Москвы? Кто им это разрешил?

В конце концов это просто бесцеремонно. А бесцеремонность в архитектуре так же непростительна, как и безвкусица... Да, да, по вашему взгляду я вижу, что вы со мной согласны и с жаром заговорите сейчас о Кремлевском Дворце съездов или о новой гостинице «Националь» на улице Горького. А я вам скажу, что вы опоздали на добрых два столетия и все это началось, когда еще Матвей Казаков позволил себе построить в Кремле Сенат, а полстолетия спустя архитектором Тоном был сооружен Большой Кремлевский дворец. Разве они имеют право стоять рядом с Успенским собором, Потешным дворцом? И вот, глядя на Казаковых и Тонов, московская башня решила, что ей все разрешено, и полезла из своих Мневников и Филей в святая святых Москвы. Как тут не загрустить, как не заплакать? Мне говорят — новая Москва! И я за новую, но я за Москву. Лужники построили на месте сараев и бараков, университет — хорош он или плох — на месте одноэтажных хибар, а эти башни, как некая саранча, заполнили сейчас всю Москву, посягнули на сердце ее, на то, что дорого каждому москвичу — на московскую улицу. У нее свое лицо, у этой улицы, своя душа.

И улица эта не Горького — упаси бог! — а Пречистенка, Ордынка, Поварская, старый Арбат, который уже тоже начинают ломать. Этим улицам не миновать общей судьбы, но они еще чудом сохранили свой дух, свое неповторимое московское обаяние уютных двориков, замысловатых проходных дворов, детских площадок, глухих брандмауэров, вросших в землю флигельков с геранью на окнах. Пусть она, эта улица, не так строга, как ленинградская, не так живописна, как киевская, но она своя, московская, ее ни с чем не спутаешь. Надо ее любить, беречь, а не ломать.

Нашел что беречь, скажут мне и вспомнят Париж, барона Османа, которого тоже ругали, когда он пробивал свои широкие бульвары через самое сердце еще Виктором Гюго воспетого Парижа.

Знаю, знаю, знаю... Парижские бульвары прекрасны, но строились-то они по указке трусливого Луи-Бонапарта, боявшегося «черни» и ее баррикад на узких улицах. А чего нам бояться? Страховому обществу «Россия» до революции мог нравиться этот участок, и оно, ни с чем и ни с кем не считаясь, покупало его и строило свои громады. Но сейчас... Ведь все по плану делается — городской архитектор, архитектурное управление, горисполком, дерева без чьего-то там разрешения срубить нельзя... А саранча все лезет и лезет...

Я робко вставил:

— И это говорите вы, который...

— Да, я, который... Вы не учитываете одной вещи, вернее, двух. Во-первых, что все, о чем вы хотели сказать, происходило в двадцатые годы, когда все пели «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...», когда у Мейерхольда артисты ходили в зеленых париках и все, что не было выкрашено в красный цвет, кроме этих париков, считалось контрреволюцией. И второе — небезызвестный вам клуб «Каучук» был не саранчой, лишенной какой-либо индивидуальности, а первой робкой ласточкой, призывом, запевом, если хотите, «Марсельезой»... А башня, в которой мы с вами сидим, может быть, и полезна в борьбе с жилищным кризисом, но как произведению искусства ей ноль цена. Типовой проект расселил людей, но убил искусство. Стер лицо. У Сызрани и Москвы оно теперь одно, не отличишь.

— Что же делать?

— Думать! Прежде всего думать. Думать и искать. А не только печатать синьки. И не класть ноги на стол, на котором хрусталь и фарфор, как это позволил себе сделать все тот же Казаков, с легкой руки которого все и началось. Пусть даже сам царь или царица тебе приказывает: «Строй!» Разведи руками и скажи: «Не имею-с права, тут до меня еще

строили, и поискуснее... Разрешите где-нибудь в сторонке, подальше...» Мой собеседник вдруг рассмеялся. — Но самое смешное, а может, и горькое — это то, что никто до сих пор не задумался: а кто же в конце концов автор этой башни? А ведь он есть! И, вероятно, даже не он, а они, целые бюро. Но кто они — никто не знает. Так же, как никто не знает, кто же построил Реймский собор или Нотр-Дам. Смешно, не правда ли? Впрочем, стоит ли обо всем этом говорить, когда существует столько неразрешенных проблем, как, например, загрязнение окружающей среды, перенаселение нашей планеты и тому подобное, очень зловещее. А в общем-то вы должны меня понять — все это только брюзжание человека преклонного возраста, которому в силу именно этого и не вполне удачно сложившейся биографии ничего другого и не остается. Простите меня великодушно.

На этом монолог моего собеседника, в уста которого я просто-напросто вложил свои собственные мысли, чтобы было интереснее, закончился.

Я встал, расплатился и вышел на улицу. Собеседник мой, как и положено в таких случаях, медленно растаял в воздухе.

Засим, дорогой читатель, последую и я его примеру. Надо и тебе немного отдохнуть. Иди домой, ложись на диван и послушайся совета одной прекрасной книги. Называется она «Гид по таинственной Франции». «Если тебе все надоели, — говорится там в предисловии, — и не хочется ни с кем разговаривать, а на дворе к тому же стужа и ветер завывает в трубах, подвинь свое кресло к камину, поставь рядом стакан доброго старого вина, зажги трубку и возьми в руки меня».

Вот и я тебе, читатель, советую: возьми в руки, если нету гида, Жоржа Сименона и в компании полицейского комиссара Мегрэ забудь на какое-то время обо мне. А настанет время, опять погуляем, дай только придумать маршрут.

До следующей встречи!

1969—1970.
Киев — Москва

ПРОГУЛКИ ПО КИЕВУ

Литературный сценарий

Фильм этот — рассказ о Киеве. Киеве прошлого, настоящего и немного будущего. Киеве, не «путеводительском», а о том, который не все-то и знают. Фильм не исторический, не архитектурный, не учебный, — фильм-прогулка. Мы будем просто гулять по городу, любоваться им, что-то узнавать, что-то вспоминать, что-то пытаться объяснить. Не будем придерживаться никакой хронологии, не будем вдаваться в излишние подробности. Больше всего мы боимся походить на экскурсовода, который у вокзала с рупором в руках кричит: «За час вы увидите все достопримечательности славного города-героя — Софию, Лавру...», ну и т. д. Нет, всего мы не увидим. Мы будем просто бродить по улицам, паркам, садам — утром, днем, вечером, ночью, — заходить во дворы и дворики, присаживаться к столикам в кафе, заводить разговоры, знакомиться с разными людьми...

Будем избегать цифр, придуманных интервью, встреч со «знатными» людьми. Многое будем сознательно обходить. Мы не хотим повторяться, дублировать. Многое, связанное с Киевом, уже отснято. Узловым пунктам истории Украины, Киева посвящено уже много фильмов — об Олексе Довбуше, Богдане Хмельницком, Тарасе Шевченко, Коцюбинском, Франко, Щорсе, гражданской и Отечественной войне. Видели мы на экране и достопримечательности Киева — Киево-Печерскую Лавру, Софию, Кирилловскую церковь.

Всего этого мы будем касаться только попутно, отдельными штрихами в общем портрете города. А так как фильм документальный, очень многое, может быть, самое главное, найдется и родится в процессе самих съемок. Это особенно важно. Написанное ниже — это рабочий чертеж, даже схема, подсказывающая режиссеру, чего же нельзя в фильме миновать. Исторические экскурсии в сценарии — только освежение в памяти того, что автором и читателем, может быть, и позабыто.

Когда я уже начал работу над сценарием, кто-то меня спросил: а на кого этот будущий фильм рассчитан? На того, кто никогда не видел Киева или кто его уже полюбил?

Отвечаю четко: для второго.

Первый пускай почитает, потом приедет, влюбится и тогда уж пусть идет смотреть картину.

Кто помнит фильм «Сена встречается с Парижем»? Там нет диктора, слов, но там есть главное — Париж. К чему-то такому стремимся и мы. Передать настроение, атмосферу, душу самого города.

У каждого свой Киев...

Седая давность у археолога — черепки, остатки стен, монеты, утварь, поиски фундамента четвертого терема князя Владимира...

У архитектора — будущее. Новые кварталы, проспекты, жилые массивы на месте пригородов и окрестных сел... Позади Нивки, Отрадный, Березняки, Воскресенка, впереди — Осокорки, Вигуровщина.

У этой дамы с сумкой — Киев — это близлежащий к ее дому район — гастроном, молочный, хлебный, овощной магазины, «Украинская колбаса», очереди за яблоками, иногда Бессарабка.

Пенсионер играет в шахматы или стучит в «козла». Иногда просто сидит на скамейке под сенью лип и каштанов, читает «Вечерку» или обсуждает ближневосточные дела с соседом из 17-й квартиры...

У внука или правнука его — Киев это бабки из песка, желтые осенние листья, лакированные каштаны.

У пацана постарше — собственный двор и двор соседский, с которым он воюет. Дворы разные. На окраине и в центре. И на окраине разные — на Лукьяновке не такие, как на Шулявке или Щекавицкой горе. Где ровно забор к забору, где овраги и яры, заросли, джунгли... В центре сложная система проходных дворов, подвалы, закоулки, пожарные лестницы, крыши, чердаки. Воевать в таких условиях нелегко. А еще труднее пройти в целости и сохранности мимо враждебного, двадцать второго номера в школу. Как теперь воюют подростки — не знаю, особенно в новых кварталах, где дворов, как таковых, нет. В периоды «прекращения огня» в наше время играли в классы, «коцы», камешки, ножи, реже — пускали змеев (куда они делись?), теперь же в основном футбол («Дяденька, проедьте немного дальше, у нас здесь ворота»), голуби — это преимущественно на окраинах, хотя и в центре иногда попадаются монументальные сооружения на высоких ножках. Для этого возраста — лет до 15-ти, — Киев это сквер по соседству, двор, дорога в школу. Повзрослев, об этом будут вспоминать. Киев тех лет кажется уютным, маленьким, своим.

Напротив — приехавшим на экскурсию школьникам из районного центра он кажется Нью-Йорком. Люди, машины, суета, страшно перейти улицу. Ни на что не хватает времени. Надо позавтракать в «самообслуге». Затем выставка, музей, опять выставка. «Скорей, скорей, не отставайте, впереди еще...»

Итак, у каждого свой Киев.

С чего мы начнем рассказ о «нашем»? Вариантов много, сам собой напрашивающийся, например — с раннего-раннего утра и закончить где-то ранним утром следующего дня. Или — начать с весны и кончить глубокой осенью или зимой. Или, как это уже встречалось в кино, — всю, так сказать, «путеводительскую» часть вложить в уста гида, а главное, о чем мы и хотим-то рассказать, не утяжелять текст, а показывать, узнавать из случайных бесед.

Некий вариант этого и предлагается ниже.

Туристы в поезде. С рюкзаками. Прилипли к окнам вагона. «Ух ты какой зеленый... А это, вероятно, Лавра... Что же это за птицы были при Гоголе, если они не могли долететь до середины Днепра...Внимание! Вверх по течению — мост Патона. Уникальный мост. В нем ни одной заклепки, все сварено...»

В тамбуре, севшая где-нибудь в Нежине бабка с мешком. «Сыночки, а как на Хрещатик проехать, в гастроном». «Покажем, бабуся, не волнуйся».

Вокзал. Огромный, многолюдный, оглушительный. У входа тот самый зазывала-экскурсовод, на которого мы боимся походить. «За один час увидите...» «Сядем, что ли?» «Да ну его, сначала устроимся...» «Сыночки, а как же мне на Хрещатик?» «Держись, бабуля, не подкачаем, есть у нас и киевлянин...»

В троллейбусе всем мешают рюкзаки и бабкин мешок. «Житья из-за этих туристов нет... Ездят, ездят». «Любим ездить, гражданочка, мы пытливые романтики...» «Вот и крутите свои романчики на чистом воздухе, в саду где-нибудь». Хохот. Часть на стороне туристов. Общетроллейбусная дискуссия. «Спокойствие! Проезжаем Владимирский собор. Васнецов. Нестеров... На пасху — крестный ход...» «Граждане пассажиры, приобретайте проездные билеты. Деньги прошу передавать без сдачи». «А это что?» «Университет». «Почему такой красный?» «По велению Николая I. Если студенты не краснеют за бунт, пусть краснеют стены». «Чепуха! Красный и черный цвета — ленты ордена святого Владимира». «И все-то он знает» «А это налево, Первая Гимназия. Сейчас университет...» «Следующая остановка конечная — Крещатик...»

У памятника Ленину пионеры возлагают венки. Смотрят, бабка совсем растерялась. «Ты, бабуся, сюда, в подвал, по лестнице. С той стороны поднимешься, двести метров — и Гастроном». Бабка не без страха, но решительно ринулась в подземный переход.

Другие туристы. Иностранцы. Самолет пролетает над городом, заходя на Борисполь. Все у окон. Внизу Крещатик, купола, сады. Днепр...

Борисполь. Аэропорт. На вокзал не похоже. У входа никаких зазывал, многоместные, прозрачные «Икарусы».

Бориспольское шоссе. Дарница. Русановка. Гид в микрофон: «Когда-то глухая окраина, деревня. Сейчас город. 250 тысяч жителей...»

Мост Патона. Гид: «Это знаменитый мост. В нем ни одной заклепки. Сделан по проекту академика Е.О. Патона...»

Набережная. Аллея к Аскольдовой могиле. Гид: «Могила Аскольда, содружинника Рюрика, которого вместе с Диром в 864 году умертвил Новгородский князь Олег, учредивший на этих высотах свою столицу...»

Липки...

Гид: «Здание Верховного Совета УССР. Архитектор В. Заболотный». «Налево Совет Министров, построенный по проекту выдающегося архитектора Фомина».

«Икарусы» подъезжают к гостинице «Дніпро» на площади Ленинского комсомола. Пока выгружают горы чемоданов, а руководитель группы выясняет что-то насчет номеров, интуристы осаждают киоски.

Покупают сувениры, открытки с видами Киева. Тут же их заполняют.

О, эти открытки...

Киеву по одним данным 2000 лет, по другим — 1400, производству открыток с его видами чуть меньше, но во всех наборах и альбомах — и дореволюционных и нынешних — обязательно Оперный театр, и всегда с одной и той же точки — от Академии Наук, и София с Богданом Хмельницким на переднем плане, и Андреевская церковь тоже всегда с одной точки, и памятник Шевченко от Университета, и Университет от памятника Шевченко, и Днепр через голову князя Владимира, ну и, конечно же, Крещатик — со стороны Бессарабки или видом на Почтамт.

А Киев-то другой, совсем другой. Есть и этот, его не минуешь, да и не хочется миновать, надо только другой ракурс найти. Но есть другой Киев, о котором в путеводителях не говорят. В чем-то он может быть и не менее интересен.

Пока что мы оставляем икарусовских интуристов, пусть устраиваются и кормятся, и попытаемся разыскать ваших ребят — они в каком-нибудь из крещатицких кафе.

В «Красном маке» их нет, в «Галушках» нет, в «Бульонной» — тоже. «Грот» — открытое кафе под лестницей против улицы Ленина. Сидят. Вокруг рюкзаки.

«Приятного аппетита. Проголодались?» «Да ничего, малость подзаправились. Слушаем вот рассказ старого киевлянина».

«Старому киевлянину» всегда есть что рассказать. Конечно же, он осуждает нынешний Крещатик. «Шире, зеленее, ничего не скажешь, но...»

Автор этих строк относится к категории этих самых «старых киевлян», и для него, как и для всех его сверстников, Крещатик был самой красивой улицей в мире, хотя в лучшем случае мы знали еще Невский, улицу Горького в Москве и знаменитую Дерибасовскую.

Ах, Крещатик, Крещатик... Был ты, конечно, уже, и каштанов и лип, таких как сейчас, вдоль тротуаров не было, и движение было чуть меньше, но зато... Трамвай № 1, ходивший по нему, был первым в России. В этом году ему минет 80 лет. Длинные, четырехосные пульмановские вагоны с широкими зеркальными окнами, плетеными соломенными сидениями и родиками вместо дуги. А фонари? Такие сохранились только возле Аскольдовой могилы. Куда до них нынешним — тяжелым и гранитным. Не взлюбили их киевляне, эти новые, первыми появившиеся на разрушенном после войны Крещатике. А «Щанцер»? Лучший в мире кинотеатр. Сейчас на его месте Горсовет. Конечно, «Украина» и больше, и вместительнее, и воздух там вроде кондиционированный, но именно там познакомились впервые с Игорем Ильинским и Кторовым в «Празднике св. Йоргена» и «Процессе о трех миллионах».

С прошлого «старый киевлянин» перескакивает к настоящему. Порывается повести ребят в свой двор, совсем рядом, Крещатик, 46. Это замечательный двор. Он, «старый киевлянин», вырастил в нем яблоню, грушу, сливу. И виноград, на-

стоящий, съедобный, не хуже болгарского. Каждый год снимает урожай. Внизу, под его квартирой прачечная, поэтому всегда тепло, как в Крыму... А когда яблоня принесла два первых своих плода, он подарил один жене, а другой участковому, чтобы тот... В общем, понятно... недели через полторы его вызывают вдруг в милицию. Не в районную, а в городскую. Легкий переполох... Надел планки, пошел на Короленко, 15. «Пожалуйста, генерал вас ожидают». Из-за стола подымается и идет навстречу милицейский генерал. «От имени Городского управления милиции выношу вам, уважаемый товарищ, благодарность за то, что вырастили в центре города, на Крещатике, плодоносную яблоню. Спасибо!» Вот так-то... если есть время «старый киевлянин» приглашает ребят отведать его яблок. Но те торопятся — надо еще устроиться, оставить рюкзаки, посмотреть город, а потом, завтра или послезавтра... Нет, не завтра и не послезавтра, а сейчас. Это рядом, у самой троллейбусной остановки. Десять минут, не больше...

Дворы. Яблоки, виноград, увы, еще не созрел. «Спасибо, спасибо, очень тронуты...» Рукопожатия, прощание, и мы прощаемся с ребятами.

(С этими ребятами, интуристами, возможно, мы еще встретимся, а может быть, и нет — сейчас для нас это прием).

Мы на Крещатике, в центре города.

Мы уже мельком видели его, разыскивая ребят, но заглядывали, в основном, в кафе.

Пройдемся же по нему, уже никого не ища. В сторону Днепра.

По сегодняшнему и довоенному. О нем нам рассказывал «старый киевлянин». А до «старого киевлянина» был еще и другой Киев, с конкой, большой лужей посредине и двухэтажными домами. От них осталось только четыре. Один, правда, надстроен.

От довоенного осталось домов чуть побольше — в самом начале и конце улицы, два десятка деревьев (в самом начале) и один, чудом сохранившийся, серебристый тополь у арки, ведущей на улицу Энгельса.

Остальное — все новое, послевоенное.

Смешаемся с толпой. Она многолика. В разное время — разная. Утром — служащие, днем — покупающие, в дни футбольных матчей — стремится сплошной лавиной в одну сторону, к стадиону, потом — в другую. Крещатик — главная артерия. Его не минуешь.

У магазинов толпа. У киосков толпа. На скамейках вдоль бульварчика меряют обувь. В подземных переходах тоже толпа. Там свои киоски — папиросы, марки, книги, газеты. На ступеньках продавщицы цветов. Их часто гонят, но они моментально появляются. В этом, главном, самом большом переходе, зимой, когда холодно, назначаются свидания, летом — у Главпочтамта. Здесь всегда группы молодежи или поглядывающие на часы одиночки.

А напротив почтамта (в годы нэпа здесь был продуктовый магазин Торлина) высилась городская Дума с золоченым архангелом Михаилом на шпиле. Перед ней Столыпин — тот самый, который потом выглядывал из-за забора на Кузнечной. Думская площадь — самое злачное место дореволюционного Киева — «Девушка с Думской».

Думы уже нет. Вместо нее сквер и троллейбусные хвосты. И еще один — на такси, особенно беспокойный.

Все это минуем. Прямо вверх, стрелой — Софийская улица, ныне Калинина. Замыкает ее колокольня Софийского собора. Мы идем туда. Но другим путем. По переулочку (единственному, кажется, в Киеве без зелени), называвшемуся когда-то Козье болото. В этом переулке сохранился одноэтажный, деревянный, уютный домик с садом. Здесь жил Шевченко.

Наши проулки не рассчитаны на интерьеры. Мы не будем заходить ни в музей, ни на выставки, ни в театры. Но сюда мы зайдем. А отсюда, может быть, перенесемся туда, на левый берег Днепра, где стоял не допущенный в город гроб с прахом Шевченко, когда его перевозили из Петербурга в Канев.

Дальше по улочке, по Козьему болоту налево, по лесенке, прилепившейся к стене, на Ириниинскую улицу. Затем Владимирская. Направо. И мы в Софийском подворье.

София Киевская. Чудом уцелевшая после монголо-татарского нашествия. Своими размерами и росписью она соперничала когда-то с Царьградской. Все это в XI веке, при Ярославе Мудром. По некоторым сведениям, именно тогда столица древнерусского государства была одним из крупнейших городов Европы и со своим чуть ли не стотысячным населением оставила за собой даже Лондон.

Заходим в собор. Туристы. Гид. Он рассказывает о громадной, распростершей над нами руки мозаике — Богоматери-Оранты («молящаяся»). Ей нет равных по размерам в мировом искусстве. Даже в Равенне — мировом центре Византии. Ей 900 лет. Ниже — Евхаристия — причащение апостолов. Тоже XI век. На стенах узких литых, в стенах, лестниц — фрески: цирк, охота, музыканты. В других соборах светская роспись обычно не встречается.

Мы слышим голос гида, объясняющего все это, но вскоре отрываемся от него. Мы избегаем излишних, скрупулезных подробностей, которые могут утяжелить фильм,— для нас София интересна не только своей генеалогией, но прежде всего всем своим обликом. Как и в дни Ярослава, она сейчас является композиционно-архитектурным центром Киева. Ее отовсюду видно, и мы еще часто будем с ней встречаться, говоря уже о другом.

Гид говорит о Ярославе, показывает его саркофаг, а мы, выйдя из собора, прощаемся с Византией, с XI веком, и сталкиваемся с XVIII.

Перед нами барокко. Но как оно не похоже на «классику», пришедшую на Украину с Запада через Польшу и столкнувшуюся в Киеве с Византией. Оно сдержаннее, лаконичнее творений Борромини, Бернини и других прославленных мастеров Запада.

Сдержанное барокко — это звучит нонсенсом, но это так. Сохранив конструктивную основу византийских храмов, оно не исказило, но подавило пышностью своих изощ-

ренных форм, а очень скупо дополнив, трансформировало по-своему. И родился новый, очень своеобразный стиль — украинское барокко.

Мастера тех лет придали соборам, в частности Софийскому, нечто свое. Обогатив стены орнаментом, заменив полусферические византийские плавно-изогнутыми, золочеными, они создали то, что мы и называем украинским барокко. И сделали очень тактично, объединив в единый ансамбль собор с колокольней XVIII века. (Четвертый этаж надстроен, правда, позже — в XIX).

Примеров украинского барокко в Киеве много. И очень разнообразных. Брама (ворота) Р. Заборовского в Софии — образец наиболее богатого, пышно орнаментированного стиля. Митрополичьи покои в той же Софии, Кирилловская церковь, Покровская на Подоле — сдержаннее. Но, пожалуй, наиболее ярко украинское барокко (именно лаконичное, немногословное) проявило себя в церкви Николая (больничного) в Лавре, в монастырских кельях там же, в трапезной Выдубицкого монастыря. Белоснежные, светотень от наличников и карнизов, крутые, с переломом крыши придают строениям свой собственный, ни на что не похожий, очень лирический оттенок.

Сейчас барокко вроде как бы забыто. Это естественно, у архитектуры свои требования, но заговорив о барокко в Киеве, нельзя не вспомнить тех, кто попытался не забыть о нем в наши дни. В начале XX века попытался сделать это в доме на Софийской площади (ныне несуществующем) архитектор П. Алешин, позднее — Д. Дьяченко в Сельхозакадемии в Голосееве (некий парафраз митрополичьих покоев) и в конкурсном проекте Киевского вокзала.

Несколько слов об этом вокзале. Сорок лет тому назад автор этих слов принимал участие в строительстве его. Стажером-лаборантом в бетонной лаборатории. И до сих пор гордится, что литой бетон не смогли подорвать даже немцы.

Строился он по проекту архитектора А. М. Вербицкого, получившего первую премию на вокзальном конкурсе. Условия конкурса были несколько необычны. Фасад вокзала

должен был сочетать в себе элементы украинского барокко с принципами выходившего тогда в конце 20-х годов на широкую дорогу конструктивизма.

Задача почти неразрешимая. Но вот А. Вербицким (в свое время одним из представителей так называемого «модерна») решена она была, может быть, и спорно, но очень тактично. Модернизованные барочные формы он придал центральной части вокзала, главному вестибюлю, его фронтону, сделанному в виде кокошника.

Вокзал — это ворота города, его фасад, первое, что бросается в глаза приезжему. Тем обиднее, что в послевоенные годы при его восстановлении внутренность вокзала была искажена и «обогащена» самым варварским образом. Интерьер этот (громадные, параболические, очень конструктивные и пластичные арки вестибюля, — в нынешнем своем виде — колонны, карнизы безвкусная лепнина и роспись) находится в кричащем противоречии с несколько тоже испорченным, но все же сохранившим замысел архитектора, фасадом.

Случай с киевским вокзалом — обойти мы его не можем и не хотим — вопиющий пример непонимания принципов архитектуры и неуважения к творчеству архитектора.

Пример противоположного подхода — здание Государственного банка, подражающее северо-итальянской готике, и Сельхозакадемия. Оба они не достроены. Первое в 1935 г., второе в 1950. Очень умело и деликатно. Правда, в первом случае принимал участие один из авторов первоначального проекта А. Кобелев, но во втором случае, где автор не мог принять участие, надстройка сделана с известным уважением к замыслу автора.

Итак, из Киева XI века мы неожиданно сделали прыжок в Киев сегодняшний, сейчас же совершим прыжок опять в прошлое.

К сожалению, языком кинематографа очень трудно рассказать о возникновении Киева. Оно окутано легендами. Известно только, что Киев принадлежит к числу древнейших городов не только России, но и Европы. С некоторой

определенностью можно говорить о судьбах Киева только с первых веков христианской эры.

Во времена владычества готов (III в. до н. э.) Киев уже был довольно крупным населенным пунктом, ведшим оживленные торговые сношения с римскими и греческими колониями на берегах Черного моря (об этом рассказывают раскопки — монетами с портретами римских цезарей III—IV вв. н. э.). Затем гунны, хазары... Легенда об основателях Киева — Кие, Щеке, Хориве и сестре их Лыбеди все-таки не более чем легенда, и о ней можно рассказать, но показывать нечего, кроме Старокиевской горы, где обосновался якобы Кий, Щекавицкой — Щек, и Хоревицкой — Хорев, и затиснутого в бетон ручейка Лыбеди. Первая, связанная с Киевом дата, — 864 год, год, когда Киевом завладели содружинники Рюрика — Аскольд и Дир. На смену им, умертвив их, пришел Олег, учредивший на киевских высотах свою столицу. «Се буде мати городам русским». Затем княжение Игоря, Ольги, Ярополка. В 980 г. Киевом овладевает новгородский князь Владимир и начинается эпоха быстрого развития и украшения Киева.

Княжение Владимира — период знаменательный в истории не только Киевской Руси, но и последующих периодов. Если Олег, овладев Киевом, объединил Новгород и Киев и тем самым положил начало объединению восточнославянских племен в единое могущественное государство Киевскую Русь, — то Владимир это могущество укрепил. Именно при Владимире на смену язычеству пришло христианство — следующая, более прогрессивная ступень в истории человеческого развития. Об этом событии — крещении Руси — напоминает и сейчас памятник князю Владимиру на Владимирской горке, по своему местоположению на высокой горе над Днепром — один из удачнейших образцов не только у нас, но, может быть, и вообще в монументальном искусстве.

Мы обойдем «город Владимира». Он не велик. Территория его — треугольник между Андреевской церковью, Б. Житомирской и нынешним зданием Обкома партии. Вот

тут уже есть не только что рассказать, но и показать. Сейчас ведутся интенсивные раскопки города Владимира. Уже найдено много уникальных вещей, в том числе громадная керамическая печь на Ириниской улице, и как будто бы остатки фундамента четвертого, о существовании которого только предполагали, терема князя Владимира. На самой круче, над Андреевским спуском (Боричевым взвозом) был «детинец» — Кремль, форум. Здесь высились княжеские терема, стояли вывезенные Владимиром из Херсонеса (Корсуни) античные, женские фигуры «див», красовались трофеи войн, побед, мира, «медяны кони», священные «требища» (капища) с изваяниями богов (капов) и жертвенниками. Здесь же был и «Бабин торжок» — место торговли и народных сборищ.

От всей этой роскоши и богатства, увы, ничего не сохранилось, кроме утвари, монет и кое-каких фундаментов. На Перуновом холме, где стояло изваяние идола, сброшенное Владимиром в Днепр, была Владимиром же впоследствии построена деревянная церковь св. Василия (его патрона), а в XVIII веке, по велению Елизаветы Петровны, воздвигнута Б. Растрелли Андреевская церковь, до сих пор украшающая город. По своему расположению и удачной «привязанности» к месту ей, пожалуй, нет равных. Особенно она хороша с Подола. Когда мы попадем туда, она нас будет сопровождать — ее стройный, изящный силуэт точно парит над обрывами и урочищами, спускающимися к Подолу.

Рядом с Андреевской церковью перед зданием Исторического музея выложены из кирпича очертания плана Десятинной церкви.

Уничтожена она была Батыем — рухнула, не выдержав тяжести скопившихся на хорах от огня и меча киевлян. Воздвигнутая в XIX веке на ее месте новая церковь, не сохранившаяся до наших дней, с архитектурной точки зрения особенного интереса не представляла.

— Нашествие Батыя нанесло тяжелые раны Киеву. Хотя развитие Киева сильно задерживали систематические пожары, междоусобные войны и народные восстания XI—

XII вв., но Золотая Орда в 1240-м нанесла удар, от которого Киев, подпавши потом под владычество Литвы и Польши, долго не мог оправиться. Город был полностью разрушен, а население почти целиком уничтожено. Семьсот лет спустя «новый» Батый — Гитлер так же пытался расправиться с городом. К счастью, это ему не удалось в той мере, к которой он стремился, но к руинам Крещатика и Успенского собора в Лавре мы еще вернемся.

Итак, мы обошли «город Владимира». «Владимирского», к сожалению, в нем оказалось не так уж много, но сохранилось нечто другое, более позднего происхождения, но для нас также представляющее интерес.

В этом вот доме, совсем рядом с Андреевской церковью, жил известный историк Костомаров, который ввел в Кирилло-Мефодиевское общество Тараса Шевченко, а позже жил Михаил Врубель. Имя его тесно связано с Киевом. Одно время, под руководством Андриана Прахова, он занимался росписью Владимирского собора, позднее — Кирилловской церкви. В широко известном «Сошествии Святого духа» Врубелю удалось достичь того, что не всякому художнику под силу — вписаться в древнюю, XI века, церковь, не споря с фресками тех лет. Эмоциональная насыщенность апостолов (говорят, он рисовал их с больных психиатрической больницы (как бы дополняет аскетизм старинных фресок.

Рядом с врубелевским домом, через один — другой, маленький, двухэтажный. На нем мемориальной доски нет, но он тоже знаменит. В нем провел свои юные годы А. В. Луначарский.

Этот дом сохранился, № 10 по Трехсвятительской улице. Когда-то это был особняк с густым садом и террасами, спускавшимися к Подолу, сейчас какое-то учреждение, и вместо патриархального сада — сараи и машины. Мне попались в руки записки старой киевлянки, которая помнит дом юности Луначарского. В доме царил «домострой». Мать Анатолия Васильевича была деспотом и никому ничего не разрешала. Жильцов своих держала в ежовых рукавицах. За-

вела, например, корову и запретила квартирантам покупать молоко на стороне, а свое продавала втридорога. Бедные жильцы стали покупать молоко через окно у молочниц. Велела тогда дворнику дежурить у окон. Но те все же обманули дворника и стали убегать на базар через какой-то подвал.

Но это так, к слову, мало кто об этом знает.

Недолго прожил Луначарский в этом дворянском особнячке. Революционная деятельность, которую не очень-то одобряла его строгая, деспотичная мать, вырвала его из этого замкнутого в своих хозяйственных интересах дома. Вырвала сначала в университет, а затем и в другой университет — Лукьяновскую тюрьму, стены которой были знакомы не только ему, но и М. М. Литвинову, и Н. Бауману, совершившим в 1902 году дерзкий побег из нее вместе с девятью другими «искровцами».

Знаменита в Киеве и другая тюрьма — военная, так называемый «Косой капонир». Здесь томились после восстания в ноябре 1905 года солдаты саперной бригады. Руководил восстанием юный подпоручик Б. Жадановский. Военный трибунал, после подавления восстания, приговорил его к смертной казни, замененной впоследствии пожизненной каторгой. Октябрьская революция освободила его. Умер он в Крыму, в Ялте, в 1918 г., защищал Советскую власть от приближавшихся немцев. Где его могила неизвестно. Возможно, во время съемок удастся ее разыскать.

Мы перескакиваем из века в век. Начав свою прогулку по «городу Владимира», мы из IX века перенеслись в начало XX. Сейчас же, завершая ее у раскопок владимирского терема, мы окажемся в Киеве второй половины XX века. Начинается он именно тут, на месте бывшего «детинца». Это историко-археологический парк-музей «Древний Киев».

В Киеве, в отличие от многих других городов, поражает то, что из самого центра, с оживленной, заполненной машинами улицы, ты в течение одной минуты, зайдя в какой-нибудь из дворов, оказываешься в совершенно другом месте. Войдите в любую из подворотен любого дома по правой стороне Б. Житомирской улицы, минуйте фли-

гель, и перед вами откроется пейзаж, может быть, один из красивейших в городе, и, что особенно любопытно,— почти никому из киевлян, кроме жителей этого района, неизвестный.

Вы окажетесь над громадным, густо заросшим буйной зеленью — обрывом. Тянется он от Исторического музея до Художественного института, а внизу вдоль оврагов, под кручами Замковой горы, вьются допотопные, одноэтажные, деревянные улички — всякие Кожемяцкие, Гончарные, Дегтярные. Все они в нетронутом виде войдут, как составная часть, в комплекс парка-музея.

Над проектом архитектурного комплекса работает сейчас группа архитекторов «Киевпроекта» во главе с А. Милецким. О нем рано еще говорить как о чем-то законченном, но сам замысел очень интересен. Комплекс этот составляет здания Академии Наук, Дома дружбы, Союза писателей. Невысокий, со сквозным первым этажом, чтобы не закрывать открывающийся ландшафт, он будет тянуться лентой по кромке оврага, перебиваемый в отдельных местах вертикалями и объемами зрительных залов, музеев и выставок. Вдоль всего здания — прогулочная эспланада, а под ней (в будущем) разгружающая Б. Житомирскую автодорога (с туннелем под старым городом) от площади Ленинского Комсомола до Лукьяновки.

Таким видится Киев недалекого будущего — удачный пример сочетания прошлого с современностью — неизменившаяся топография первого тысячелетия, характерный для всех времен киевский пейзаж, улички XIX века, высящаяся над ними Андреевская церковь и ансамбль современных зданий.

Несколько выше мы заговорили о дворах и неожиданно открывающихся перспективах. Второе нас особенно интересует — показать Киев не из окна экскурсионного автобуса или такси, а с тех точек, которые мало кому известны — с чердаков, с крыш высоких домов, походить по улицам, по которым никогда не бродят туристы. На Подоле, например, который все считают плоским и не очень красивым, за Жит-

ним базаром, оказывается, есть живописнейшие, вьющиеся круто вверх, на Щекавицкую гору, улицы Олегинская, Мирная, Лукьяновская. Море зелени, патриархальные дворики с громадными голубятнями, лесенки, ведущие в «приватные» рощицы над обрывами.

Киевский дворик или двор — это отдельная тема. Это и глухие дворы-колодцы (типичнейший из них в доме № 2 по Михайловской улице, ныне Парижской Коммуны), с железными пожарными лестницами и развешанным на перилах бельем. Это и подольские дворики, где обязательно стоит перетащенная с Днепра лодка, и лукьяновские — с фруктовыми садами и сиренью, растущей не кустарником, а мощными деревьями. Это и увитые виноградом беседки или балконы, превращенные в беседки, в тылах той же Б. Житомирской или Андреевского спуска, где обедают, ужинают, пьют чай, стучат в «козла». Этим занятием, между прочим, занимаются не только во двориках и беседках, а во всех без исключения парках и скверах города, чередуя домино с шахматами. Словоохотливые пенсионеры, оторвавшись от досок и костяшек, с удовольствием поделятся с вами своими мыслями о жизни, нынешней и прошлой, а контингент помоложе — о футболе, хоккее, ну и еще о чем-нибудь, близком молодежи.

Не будем предвосхищать сейчас где, как и в какой последовательности покажем мы эти дворики и дворы — возможно, они будут разбросаны по всему фильму, — сейчас же, по одному из спусков — Андреевскому, Вознесенскому или Кияновскому переулку спустимся на Подол и сразу же свернем направо, на Покровскую (ныне ак. Зелинского) улицу — единственную, сохранившуюся после пожара 1811 г. Это одна из самых живописных улиц Подола, со старинными ампирными домиками и двумя церквями — Николы Доброго и Покровской, за которой высоко на горе изящным силуэтом рисуется Андреевская церковь.

Подол — торговый центр Киева еще с княжеских времен. Он привлекал к себе множество иноземцев — купцов из Греции, Венеции, Ближнего Востока. До польского и литовского

владычества на Подоле жили и торговали арабы, немцы, поляки, евреи, хазары, до XVI века находился армянский квартал и генуэзский торговый центр. Многочисленные пожары и особенно 1811 г. изменили его лицо, и перед нами сейчас город XIX—XX вв.

К сожалению, не сохранился до наших дней Братский монастырь, но небольшая часть (конгрегационная церковь Богоявленского монастыря) с мемориальной доской Гр. Сковороды существует, и это даст нам возможность упомянуть о Киевском братстве, столь содействовавшем росту национального самосознания украинского народа — из стен Братского училища, в 1701 г. преобразованного в Киево-Могилянскую Академию, вышли такие государственные и политические деятели, как украинские гетманы Сагайдачный и Богдан Хмельницкий, историки Рубан и Конисский, сподвижник Петра I Феофан Прокопович, философ Григорий Сковорода.

Феофан Прокопович — ректор Академии до 1716 г. Один из наиболее выдающихся церковных и общественных деятелей, ученых и поэтов начала XVIII века. Вызванный позднее Петром I в Петербург, он стал епископом псковским, вице-президентом Синода и закончил свою жизнь епископом новгородским. Образованнейший человек, всей своей деятельностью — общественной и политической — он поддерживал петровские реформы и после смерти Петра I возглавлял, так называемую, «ученую дружину» прогрессивных писателей, отстаивавших петровские реформы.

Григорий Сковорода. Украинский народ по праву гордится этим именем. В 1972 г. будет отмечаться 250-летие со дня рождения Сковороды, поэтому на его жизни желательно хоть немного остановиться.

Разносторонность деятельности и биография Григория Сковороды поразительны. Философ, поэт, баснописец, композитор, к тому же превосходный певец. Крупнейший гуманист и демократ. Преследуемый правительством, избрал путь странствующего философа, что давало ему возможность непосредственно общаться с народом.

В Киево-Могилянской Академии проучился в общей сложности десять лет, с перерывом в два года, когда был певчим в придворной капелле.

Гр. Сковорода был одним из первых, кто в истории украинской общественной мысли выступил против официальной религии и церковной схоластики, обратившись к природе, человеку и его разуму.

Как известно, в ленинском декрете 1918 г. о сооружении памятников выдающимся деятелям культуры упомянуто и имя Гр. Сковороды.

На могиле его в селе Сковородиновка Харьковской области высечена надпись, придуманная самим Сковородой: «Мир ловил меня, но не поймал...».

Неподалеку от Братского монастыря древнейшая на Подоле церковь Николы Притиска (1681 г.) на Хоревой, Ильинская церковь, бурса (та самая, гоголевская) и Флоровский монастырь. (Туда неплохо попасть в какой-нибудь из больших праздников, посмотреть на монашек в черных скуфьях, на прихожан, на старушек, по церковной традиции просящих на паперти милостыню). Ансамбль Флоровского монастыря, складывающийся на протяжении полутораста лет, включает в себя элементы украинского барокко, классицизма XIX века и современной (этого года) росписи Вознесенского собора.

В трех минутах ходьбы от монастыря — бывшая 3-я мужская гимназия. В ней после пожара 1811 г. находился Магистрат и Городская Дума (здание Магистрата против Братского монастыря полностью сгорело). На противоположной стороне площади дом, так называемых, Контрактов, построенный в 1817 г. архитектором А. Меленским.

Начиная с 1797 г. в период Успенского поста в Киев съезжались польские и украинские помещики, дворяне и купцы для заключения продаж, размена, аренд, коммерческих сделок и контрактов. В это же время устраивалась грандиозная ярмарка, соперничающая со знаменитой лейпцигской и привлекающая тысячи посетителей. Контракты считались школой светскости. Здесь устраивались матримо-

ниальные дела, спускались в карты целые имения, лилось рекой вино. При Контрактовом доме имелся ресторан, где арфистки услаждали гостей музыкой и одно время выступал Франц Лист. Бывали на контрактовых балах Гоголь, Шевченко, Бальзак.

Вообще, «прозаический» Подол видал на своих улицах не одну знаменитость. Бывали здесь (собирались именно в Контрактовом доме) и декабристы — члены Южного общества — Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, Волконский. Был и Грибоедов. Любил и долго жил на Подоле (сохранился даже дом на углу Боричева взвоза) А. Куприн. Он хорошо знал Подол, его пристани, причалы, трактиры. Дружил и пропускал свою рюмочку с днепровскими капитанами, лоцманами, шкиперами.

Один из них жив и по сю пору и наверное же встречался в какой-нибудь «Волне» с автором «Киевских типов». Это Аким Григорьевич Меньшиков, в паспорте которого в графе «год рождения» написано «1864». Да, ему сейчас 106 лет, но его часто можно встретить у пивного киоска на Спасской пристани.

Если в этот момент рядом с нами окажутся наши юные туристы, он с удовольствием за стаканчиком чего-нибудь крепенького расскажет о прошлом, о Днепре, которому посвятил всю свою жизнь, о Подоле, его знаменитостях.

Подол — это город в городе. У него свои обязанности, повадки, характер, свои привычки, традиции, свой, отличающийся от Старого города облик. Именно он связан с Днепром, со всем речным. Здесь больше тельняшек и «крабов». Здесь речной вокзал, пристани, причалы, пакгаузы, элеваторы, краны. Здесь свой колорит, своя красота. Элегантные, белоснежные, двухпалубные теплоходы и довоенные, может быть, даже дореволюционные пароходы с плицами, самоходные баржи, хриплоголосые буксиры, катера «Ракеты». Совсем недавно еще были плоты — сейчас сплава по реке нет — и в чем-то Днепр потерял свою прелесть. Нет больше растянувшихся на целые километры плавучих городов с шалашами, кострами, сохнущим бельем и плотогонами, пере-

правлявшими когда-то, рискуя жизнью, все это хозяйство через знаменитые Запорожские пороги. Все это уже позади, и сохранилось только в воспоминаниях, рассказах того же Акима Григорьевича хотя бы...

Если мы по легкому, висячему, очень красивому мосту переправимся на Рыбачий остров, то оттуда нам откроется весь Киев в «исторической его перспективе», начиная от Лавры до гавани с ее кранами и складами. Тут же, на берегу, в небольшом парке рядом с заводом «Ленинская кузня» на каменном постаменте монитор «Железняков» — герой Отечественной войны...

На Спасской пристани, распрощавшись с Акимом Григорьевичем, сядем на речной трамвай и отправимся на пляж.

Пляж... Киев немыслим без пляжа, как без Софии, своих садов, Крещатика, как Ялта без моря.

Говорят, что в солнечный летний день киевские пляжи пропускают «через себя» до полумиллиона киевлян. Если это преувеличение, то небольшое. Киевский пляж — тоже свой мир. Открывают его «йоги» часов в пять-шесть утра. На них стоит посмотреть, как зимой на «моржей», которых в Киеве предостаточно, как и рыболовов — летних и зимних. У станции метро «Дніпро» рыболовный базар — черви, крючки, лески, удочки. На ступенях набережной рыболовы — в любую погоду, любую стужу.

Итак, начинают «йоги». Потом, особенно по субботам и воскресеньям, появляются семейства. Папы, мамы, дети, внуки. Корзины, рюкзаки, авоськи, одеяла, тенты, надувные матрацы...

Когда-то на пляж переправлялись на «лаптях» (в 20—30-х годах переправляли знаменитые братья Добровольские), сейчас к речным трамваям, сменившим «лапти», прибавился пешеходный мост на Центральный пляж и метро «Гидропарк» — к Венецианскому заливу, Довбычке... К полудню пляжи забиты до отказа. В реке уха — из людей и лодок. В Матвеевском заливе гоняют яхты. А по берегам Днепра и Старика сотни палаток. Киевляне проводят свой отпуск — костры, рыба, у всех свои моторки...

Киевский пляж не только место отдыха. Это фабрика будущих циркачей, гимнастов, акробатов. Сотни загорелых, поджарых юнцов начинают свою школу именно здесь, на киевском пляже. Именно здесь «открыт» был миру феноменальный Григорий Новак, первый из советских спортсменов, ставший чемпионом мира... Поджарые юнцы крутят сальто, мечтая о карьере Бориса Шахлина, девушки — Ларисы Латыниной. Все начиналось и начинается здесь, на киевском пляже...

Здесь, на пляже, в тени грибка мы полежим, отдохнем от городской суеты, от киевских достопримечательностей. Посмотрим на них издали. С довбычского пляжа особенно хорош киевский силуэт. Сады, парки, море зелени. Слева золотые купола Лавры, затем, правее, краны новостроек, купол Верховного Совета, прямоугольник Совета Министров, опять парки, Владимирская горка и замыкает все это видимая отовсюду Андреевская церковь. Назывался же он Цепной, хотя никаких цепей на нем не было. Просто потому, что до него на этом месте был действительно цепной мост, построенный еще при Николае I. В 1920 г. он был взорван отступающими белополяками. Второй, металлический, погиб в Отечественную войну. Нынешний, верим, избежит судьбы первых двух.

По мосту несутся голубые поезда. Метро. Вырвалось наружу. Через пять минут — и ты в центре города... Когда-то на месте этого моста был другой — им. Евгении Бош.

По нему, пожарившись на пляже, мы вернемся в центр. Выйдем на станции «Крещатик». Но не на самый Крещатик, а по другому выходу, на ул. Карла Маркса. Это тоже центр, но более тихий, спокойный. Когда-то это (Николаевская улица) был самый фешенебельный район Киева. Кондитерские, кафе, отель «Континенталь», цирк «Киссо», Соловцовский театр (ныне им. И. Франко). Он и сейчас, этот район, напоминает довоенный, хотя на месте цирка кино «Украина», а вместо «Континенталя» — Консерватория. Но большинство домов восстановлено в своем прежнем виде.

Кстати, а знаешь ли ты, читатель, а в будущем, надеемся, и зритель, что происходит на верхних этажах этих домов? Ты всегда куда-то торопишься, спешишь и смотришь прямо или направо-налево, в витрины, киоски, лотки. Или разговариваешь с попутчиками. Или думаешь о чем-то своем. Тебе не до верхних этажей. И ты не знаешь, например, что на самом верху дома № 6 по Крещатику знаменитый барельеф бельгийского скульптора К. Менье «Труд»... Так давай же, гуляя по городу, иногда задирать голову вверх. Там много любопытного. Да и не только вверху. Дома надо уметь рассматривать, а не только проходить мимо или заходить внутрь.

Пассаж. Крещатик, 15. Сейчас здесь «Детский мир». Построил его (недостроив Крещатицкую часть) перед самой Первой мировой войной архитектор П. С. Андреев. Ручаюсь, что, кроме автора этого будущего фильма, в полутора миллионном Киеве нет ни одного человека, который бы знал, что же изображено на фасадах этого громадного дома-улицы. Наш объектив поймает и покажет то, на что никто не обращает внимание. Здесь на фасадах великое множество гербов, гирлянд, поддерживающих их крылатых гениев, и амурчики, и мужские и женские головы над входами, и орлы, и совы, и бараньи головы с привешенными к рогам ананасами, затерявшиеся в лепных орнаментах бычьи черепа...

На барельефах обнаженные мужчины и женщины, что-то символизирующие, всадник с факелом, Нептун, вакхические сцены и среди них одна, очень забавная: детишки спаивают льва! Да, да, в руках у них гроздья винограда, они его выжимают в какую-то амфору, а один из них преподносит чашу льву, вливает вино ему в пасть...

Бедный скульптор, бедный архитектор, они так старались украсить эти фасады, и никто на них не обращает внимания.

Пассаж, по которому мы сейчас совершили прогулку, образчик так называемого неоклассицизма в городской архитектуре начале века. Но тогда появился и другой стиль —

«модерн». Его принято ругать, но не всегда для этого есть веские основания.

Все киевляне, да и не только киевляне, знают дом на Банковой (ныне Орджоникидзе), 10, называемый «дом с химерами». В лаконизме и сдержанности его никак не обвинишь. Он «напичкан» до предела. Тут носороги, и дельфины, и на них какие-то русалки, на крышах громадные жабы, в воротах слоновьи головы и даже каннелюрах колонн ползают ящерицы и змеи. И на решетке — разъяренный барс воюет с распластанным на земле орлом. Все это может быть и не «архитектурно» с точки зрения историка искусств, но зато экспрессивно, наделено фантазией, которой, к сожалению, лишено большинство нынешних архитекторов, а главное — украшает город. (В свое время, после ренессанса, барокко тоже считалось антиархитектурным). К тому же само расположение дома на крутом обрыве делает его видным со всех сторон, а лестницы и гроты придают ему еще больше сказочности.

Построил его архитектор В. Городецкий. Им же построены и другие известные в Киеве здания — костел на Красноармейской улице (готика), музей Украинского искусства (Греция), караимская синагога (что-то восточное) на Б. Подвальной (сейчас здесь кинотеатр «Заря»). Все это сделано со знанием дела, но в общем-то это эклектика.

Но оказывается был другой Городецкий, тот самый, который построил «дом с химерами».

Как-то, гуляя по городу, я напоролся на дом, который давно знал. Он находится на улице Чкалова (№ 60) и хорошо был виден из окна аудитории строительного института, в котором я когда-то учился. Он стоит в глубине участка, утопающий в зелени, многоэтажный, похожий на замок. К нему, с улицы, ведут какие-то лестницы, площадки со сторожками, стены с зубцами, подпорные стены.

И вот, поднимаясь по этим лестницам, я столкнулся с какой-то старушкой. Спросил ее: «А не знаете ли вы, кто этот дом построил?» — «Как же, знаменитый архитектор Городецкий».

Подумать только, столько лет я, будущий архитектор, смотря из окна своей аудитории, не знал автора этого занимательного дома... У этой старушки я узнал, что Городецкому принадлежит и Глазная больница на той же улице Чкалова (в ней когда-то лежал раненый Столыпин, давший в свое время название улице — Столыпинская), и дом на углу Театральной и Б. Подвальной с башней и острым шпилем, и что меня особенно поразило и обрадовало — знакомый мне еще с детства дом на Андреевском спуске (№ 15), прозванный нами, мальчишками, «Замком Ричарда Львиное Сердце».

Городецкий любил замки. Этот «замок» тоже с башней и шпилем, с квадратным «средневековым» двориком, лестницей в стене и другой, висячей, железной. Стоит он на крутом обрыве и виден отовсюду — с Подола, из Старого города, с тылов той же Б. Житомирской улицы.

Мы побродим по всем этим лестницам, площадкам, ходам, переходам, подымемся по крутой с бойницами лестнице на заросшую буйным кустарником прилегающую горку и полюбуемся раскинувшимся у ее ног Подолом с морем крыш и зеленеющими среди них куполами церквей. Глянув в другую сторону, увидим внизу маленький дворик, прилепившийся к подножью горки и увитый виноградом домик с застекленной верандой.

Тут в 1919 г. жили Турбины, а в свое время и сам автор «Дней Турбиных» М. А. Булгаков.

Мы спустимся к этому домику № 13 по Андреевскому спуску, зайдем во дворик, в квартиру, где разворачивалось действие в «Днях Турбиных», и Нина Васильевна (дочь бывшего владельца дома, одного из героев булгаковской «Белой гвардии», прозванного Василисой), расскажет нам о юных годах Булгакова.

А где-то неподалеку от Владимирского собора есть другой дом. В нем жил К. Паустовский. Он тоже киевлянин, и как Булгаков (и А.В. Луначарский) учился в Первой гимназии, на лестнице которой разворачивается последнее действие «Дней Турбиных».

Сейчас в здании Первой гимназии — университет. Другое, основное здание университета — красное с колоннами — тут же, на Владимирской, напротив памятника Т. Шевченко.

Когда-то на месте, где высится сейчас бронзовая фигура Кобзаря, стояла фигура другого человека, которому Шевченко многим обязан — Николая I. В первые годы революции ее свергли, но она долго еще лежала у собственного пьедестала, доставляя неизъяснимую радость мальчишкам, среди которых был и автор этих строк. Потом фигуру куда-то увезли, очевидно на переплавку. Другой «друг», на этот раз «благодарного юго-западного края» — П. Столыпин долго выглядывал потом из-за забора одной из усадеб бывшей Кузнечной улицы, пока тоже куда-то не исчез. Больше всех «повезло» Александру II. С гранитного пьедестала на Царской площади (ныне Ленинского Комсомола) он перекочевал во двор Русского музея, где и стоит сиротливо до сих пор.

Тему памятников, возможно, стоит выделить отдельно. Богдан Хмельницкий, князь Владимир. Из несохранившихся, теплого слова заслуживает памятник княгине Ольге, работы известного скульптора И. Кавалеридзе, стоявший на Советской площади неподалеку от Присутственных мест. Современные, быть может, опять-таки, не охватывая всех, а останавливаясь на лучших — (Неизвестному солдату, Лесе Украинке, Арсенальцам) — надо связывать с определенными событиями или упоминаемые в фильме датами.

Но сейчас мы возле памятника Т. Шевченко, у Университета. Здесь в Шевченковском парке сталкиваются два поколения: пенсионеры — шахматы, домино, и молодежь — студенты. И тех и других можно «проинтервьюировать». Это можем сделать «мы» или брошенные нами на пляже ребята, или совсем уж забытые интуристы. Или и те, и другие, и третьи вместе.

Думается, что эту «дневную», учащуюся — сидят на скамейках и что-то зубрят — молодежь неплохо бы сопоставить (отнюдь не противопоставляя) с нею же, но «вечерней» —

крещатицкой — тоже сидящей на скамейках, тоже в парках, но уже с другой целью.

Парки. Это отдельная, специфическая «киевская» тема. Пейзажно-лирическая... Парки эти — в основном, надднепровские — хороши всегда — весной, летом, осенью, зимой. Летом, пожалуй, наименее интересно — все слишком заросло. А вот ранняя весна, когда появляются первые листочки, или опадающая листьями осень, или зима с белыми от снега ветвями, лучше лета. Как ни странно, но очень хорошо начало ноября. Стволы деревьев принимают какую-то особую серебристо-коричневую окраску и сквозь кружева ветвей как-то по-особенному сияют золотые лаврские купола...

Но кроме ухоженных парков и садов, есть — чем Киев и славен — дикие, заросшие обрывы. Здесь, вместо асфальтовых дорожек, тропинки. И приводят эти тропинки в заповедные уголки, и виды с этих уголков — один другого краше. Такие уголки есть на Печерске, возле Лавры, на Зверинце, в тылах улицы Героев Революции (бывшая Трехсвятительская). Есть большое, совершенно запущенное кладбище на Щекавицкой горе. И все это в общем-то в городе, а не где-нибудь на дальних окраинах.

Киевский пейзаж построен на неожиданностях. Тропинки, заросли — и вдруг эти заросли расступились, и перед тобой необозримые днепровские дали и белые массивы Русановки. А София, например, наиболее интересна не отсюда, не с площади, а из дворов прилегающих улиц — Рейтарской, Стрелецкой, Андреевская церковь — из дворов Трехсвятительской.

Крыша — вот точка, с которой лучше всего снимать Киев. И крыши сами по себе. Всему миру известны крыши Парижа, Праги. Киевские ничуть не уступают им.

И улицы — не только Крещатик и Карла Маркса, а Стрелецкая с глухой стеной Софийского подворья, живописно вьющийся среди старых, доживающих свой век деревьев Кияновский переулок возле Художественного института, Михайловский переулок с лесенкой, по которой мы уже подымались.

Не миновать нам и киевских контрастов. Двадцатый век, особенно вторая его половина, властно вторгается в век минувший. Одноэтажные особняки Липок и высотное здание против памятника Ватутину. Новое многоэтажное здание против Оперного театра... Бульвар Шевченко, ул. Саксаганского — и стеклянный параллелепипед новой гостиницы «Интурист» на площади Победы.

Площадь Победы. Сегодняшняя и какой она была в бытность свою Евбазом. Толкучка, подслеповатые, одноэтажные халупы с какими-то железо-скобяными лавками, железная (!) церковь Иоанна Златоуста на том месте, где сейчас «Аэрофлот». Здание цирка, возможно, не очень украшает нынешнюю площадь, но что поделаешь — не сносить же.

Другой, интересно реконструированный узел — стык Красноармейской, ул. Горького и Автострады. Это место так же неузнаваемо, как и бывший Евбаз. Многоэтажные здания, эстакада, новое, более чем неожиданное по своей конфигурации здание Института Научной информации.

Все это — новый, сегодняшний Киев.

Отбирая лучшее для показа этого нового Киева, отберем концертный зал «Украина», автовокзал и Дворец пионеров. В этот последний мы, возможно, даже зайдем. Зайдем по двум причинам. Во-первых, чтобы посмотреть малышей не только в парках и дворах, а хотя бы в обсерватории (кстати, оттуда тоже неплохой вид, и не только во вселенную), а во-вторых, чтоб показать один из существенных элементов архитектуры здания — мозаики работы киевских художников А. Рыбачук и В. Мельниченко. Ведь знакомились мы с мозаикой XI века, почему не познакомиться с мозаикой XX?

Не будем, опять-таки, предрешать, где и когда это появится. Рядом Парк Славы с Могилой Неизвестного солдата. Соседство это может натолкнуть на определенную ассоциацию — вот, мол, дети, рядом с вашим Дворцом могила того, могила тех, кто отдал свою жизнь для того, чтобы вы могли веселиться в этом дворце. Можно сделать и обратный ход.

Памятником Неизвестному солдату завершить часть, посвященную войне, а после этого показать Дворец — жизнь этих героев отдана, мол, не зря...

Пожалуй, второй ход лучше.

Настало, наконец, время рассказать и о войне. Сначала гражданской, затем Отечественной.

А можно начать издалека. Отдельными мазками, штрихами, вехами, захватывая отдельные этапы.

Богдан Хмельницкий. Освободительная война 1648—1654 гг. Воссоединение с Россией.

Прыжок через три столетия. Декабристы в Киеве. Пестель. Бестужев-Рюмин, Муравьев-Апостол. Встречи с Грибоедовым.

Третья веха — еще через сто лет — восстание саперов во главе с подпоручиком Б. П. Жадановским. (Его именем названа бывшая Жилянская улица, по которой восставшие саперы под звуки «Варшавянки» шли на Шулявку к казармам артиллерийской бригады).

Четвертый этап. Январское восстание 1918 г. Героическая оборона Арсенала 16—21 января против войск Центральной Рады. Гибель А. Горвица. Освобождение Киева 22 января Красной Армией во главе с Ю. Коцюбинским и В. Примаковым. Бегство Центральной Рады в Житомир. 28 января 1918 г. — установление советской власти на Украине — телеграмма Народного Секретариата Украины СНК РСФСР и Российской делегации на Брест-Литовской конференции. 30 января — переезд украинского правительства в Киев. Киев — столица Украины.

Пятый этап. Отечественная война...

Первые четыре этапа — фотографии, памятники, дома...

Богдан Хмельницкий Микешина на Софийской площади. (Кстати, очень интересен в высшей степени сложный путь, по которому шел автор памятника, пока не остановился и не воздвиг нынешний, стоящий на площади).

Декабристы. Дом генерала Раевского (ул. Кирова, 14), где они собирались. Другое место их встреч — Контрактовый Дом на Подоле.

1905-й год. «Косой капонир» — место заточения восставших саперов.

Построенный при Николае I и называвшийся Киево-Печерской фортецией, он после польского восстания 1863—1864 гг. стал казематом для политических заключенных. Из документов царской охранки известно, о замученных в «Косом капонире» руководителях польского восстания Адаме Зелинском, Платоне Крыжановском, Ромуальде Ольшанском, Владиславе Раковском. В 1897 г. за организацию подпольной типографии был арестован и посажен в «Косой капонир» М. Урицкий. В 1904 г. туда попадает младший брат Ленина, Дмитрий Ильич Ульянов. Незадолго до февральской революции возле «Косого капонира» было расстреляно 17 солдат, отказавшихся идти на фронт. Политзаключенные называли «Косой капонир» киевским Шлиссельбургом.

Январское восстание. Иссеченное пулями здание «Арсенала». Памятник — пушка. Возможно — нужно найти только правильную, ненавязчивую форму — разговор с участниками обороны Арсенала. Может быть (как один из вариантов), мы с ним встретимся во время прогулки, допустим, по Мариинскому парку. Может быть, он и будет одним из тех стариков-пенсионеров, играющих в шахматы, которого мы уже давно ищем.

Отечественная война...

Здесь, кроме фотографий, памятных мест и рассказа о событиях, есть, к нашему счастью, и кинолетопись.

Подойти к Отечественной войне можно разными путями. Вот два примерных.

Начать рассказ (и показ) с днепровских обрывов. С тех самых прогулок по тропинкам, среди зарослей. Есть недалеко от Лавры такое уютное местечко. Тропинка приводит к площадке. С нее вид на левый берег и мост Патона...

Мост Патона. Уникальный мост — мы уже о нем говорили на первых страницах. Поток машин, стрелой уходящее шоссе. Налево через канал — высотные здания Русановки. Направо Березняки...

И вдруг перед нами другой мост. Понтонный. От тоже запружен, но не «Волгами» и «Москвичами», а тягачами, бронетранспортерами, грузовиками, артиллерией, повозками... Никаких Русановок, никаких Березняков. Ноябрь-декабрь 1943 г. ...Освобожденный Киев...

Помню, как я въезжал по этому понтонному мосту (когда-то на этом месте был так называемый Наводницкий мост) недели через две после освобождения Киева. Машина доехала до Бессарабки и направо, вместо Крещатика, руины — искореженные балки, битый кирпич и поразительное малолюдье...

С этого моста и разбитого Крещатика можно и начать рассказ о войне.

А можно иначе. Тоже с руин, но других. С Успенского собора в Лавре.

Киевско-Печерский монастырь (от слова «пещеры», давший название всему району — Печерск — возник в середине XI века и сыграл в истории Киева и Руси выдающуюся культурно-историческую роль. Как рассказывает летописец Нестор — один из культурнейших и образованнейших людей нашего времени, автор «Повести временных лет» (прах его, «мощи», покоится в лаврских пещерах), первые монахи обосновались на дальнем холме, позже получившем название Дальних пещер. Первый храм монастыря — Церковь Богородицы, так же, как и монашеские кельи, были устроены под землей. Число братии возрастало и кельи появились и на территории Ближних пещер. Позже, с ростом популярности монастыря, сын Ярослава Мудрого Изяслав пожертвовал новый участок, ныне называемый Верхней Лаврой, где возведен был новый, главный храм — Успенский собор.

Закладка собора произошла в 1078 г., освящение в 1089. Являясь главным храмом монастыря, Успенский собор был, кроме того, и архитектурной доминантой всего монастырского ансамбля, объединяющего Дальние, Ближние пещеры и Верхнюю Лавру.

Но прогулку по Лавре мы не начнем, а закончим Успенским собором. Церквей в Лавре много, каждая имеет свою ценность, но подробно с ними всеми знакомиться мы не в силах.

Когда рассказывали об украинском барокко, мы уже приходили в Лавру, знакомились со зданиями келий, с церковью Николая (больничного). Сейчас же, может быть, любопытства ради, мы зайдем в Трапезную, где сейчас Научно-антирелигиозный музей и раскачивается из-под купола маятник Фуко. Любопытен же не так маятник и стенды, как сочетание иконописи (не очень древней, прошлого века) с портретами Гагарина и изображениями лунного пейзажа. Но это так, к слову, для улыбки, надо же где-нибудь и улыбнуться.

Итак, прогулку по Лавре мы закончим фотографией Успенского собора. Скажем о нем то, чего он заслуживает, покажем надгробие князя Константина Острожского (один из блестящих примеров барочной скульптуры тех лет), и — кинематографический прием! — взрыв! И руины Успенского собора. Сейчас они имеют более или менее «культурный вид», но, очевидно, сохранились кадры развалин первых дней освобождения Киева.

Вот с этих руин и можно начать рассказ о Киеве периода войны. Опять-таки отдельными мазками, штрихами.

Оборона Киева. Ежи и баррикады на улицах. Бои в Голосееве... Киев периода оккупации. Трагедия Бабьего Яра... Мы посетим его. Постоим у гранитного камня, на месте, где погибло около ста тысяч киевлян. (Возможно, сохранились кадры, отснятые опять-таки в первые месяцы после освобождения Киева.) Затем покажем взорванный (и взрывающийся) Крещатик, немцев в Киеве (немецкая кинохроника) и завершим рассказ о войне кинофрагментами освобождения Киева.

Весь этот рассказ надо закончить памятником Неизвестному солдату в Парке Славы, вечным огнем и маленькими трогательными букетиками возле него.

И вот тут-то, пожалуй, уместнее всего переключиться на находящийся рядом Дворец Пионеров — ведь это, собственно говоря, единый ансамбль.

Дворец Пионеров — это и мастерские, лаборатории, киностудия, отрывок из какого-нибудь самодеятельного концерта, пионерский костер, подъем флага и шах Иранский или король Афганистанский только что возложившие венок к могиле Неизвестного Солдата...

А в общем-то, тема — дети. Дети разных возрастов. Для них война — далекое прошлое, отцы, деды... Одни что-то мастерят и делают опыты в лабораториях, другие лепят бабки в парке, третьи запускают голубей, четвертые возятся с поломанным мотоциклом где-то в железной свалке городского двора, пятые с любопытством рассматривают в музее или отцовском альбоме фотографии разрушенного Крещатика.

Дети подрастают. Становятся школьниками, студентами. И вот они на этом самом Крещатике.

Вечерний Крещатик.

Те самые ребята и девушки, которые сидели в шевченковском парке у Университета и что-то зубрили, теперь здесь. Парочками, втроем, вчетвером, компаниями. Решают какие-то свои дела, проблемы — институтские, мировые, но вероятнее всего, не те и не другие, а значительно более интересные и близкие им.

Вечерний Крещатик шумен, весел. В «Гастрономе» не протолкнуться... Море огней. Светящиеся рекламы.

Кстати, обратим и на них внимание. Кто сочинял их тексты — неизвестно, думается, авторы отнюдь не будут настаивать на опубликовании их фамилий.

Подымем головы вверх.

И хотя мы уже более или менее привыкли к призывам Аэрофлота во всех городах страны, просящим нас быть экономными и пользоваться его услугами, — мы читаем другие призывы:

«Кришталь, скловироби, термоси виробництва Київського склозаводу — хай будуть в квартирі у кожного».

«Шукати піаніно, баяни, бандури не треба довго, адреса точна — магазин Київкультторгу».

«Якості найкращі сконцентровані саме в ньому — в цукрі рафінованому».

Вот на этом вечернем Крещатике, пожалуй, и стоит закончить фильм. Возможно, на нем мы распрощаемся и с нашими ребятами, где-нибудь в кафе, где они сидят и за рюмкой коктейля о чем-то оживленно спорят с тремя неграми из Сомали.

Тут же можем распрощаться и с интуристами, делающими свои последние снимки, допустим, праздничного салюта, пока «икарусы» загружаются многочисленными чемоданами.

А может, распрощавшись со всеми, мы увидим ночной, пустынный уже Крещатик с последними троллейбусами, последними парочками, безуспешно (или успешно) гоняющимися за последними такси...

И утро... Раннее, раннее утро. Дворники шуршат метлами. И бредут куда-то одинокие фигуры... Откуда, куда — никто не знает. Начинается новый день. Первые лучи солнца на древних куполах Софии...

* * *

Многое не удалось «втиснуть» в сценарий.

«Болельщики» могут обидеться, что не показан стадион. А его, вероятно, надо бы показать, но он не «втиснулся». А может, еще и «втиснется». Стадион эффектный, и все связанное с ним — споры, обсуждения, предсказания, толпы людей и машин, стремящихся в одну сторону, горящие газеты — все это очень интересно. Может, найдется и для этого, в конце концов, место...

И для лыжного трамплина тоже. Сооружение уникальное, легкое красивое — им гордятся не только лыжники, но, в первую очередь, инженеры, соорудившие его — ведь он, такой, единственный в Советском Союзе. Все киевляне им гордятся.

Наконец, любители старины могут нам сказать, что мы ничего не сказали о Выдубицком монастыре, а ведь он тоже дремучая старина, и красив не менее, чем Лавра и София.

Обидятся на нас и любители птиц — а где же знаменитый «птичий базар»?

Многие, очень многие могут упрекнуть нас в очень многом, но что поделаешь, еще Кузьма Прутков сказал: «Никто не обнимет необъятного».

А Киев необъятен.

1970

БОРИСФЕН, ДНЕПР, СЛАВУТИЧ, ДНІПРО

Мемуарные заметки
20 июля 1980 г.

Я впервые переплыл Днепр, когда мне было 16 лет. Это было величайшим событием моей жизни. Переплыть реку, широкую, почти, как Волга, с быстрым течением, водоворотами, пароходами — поверьте мне, это не шутка. Ох, сколько страшных историй наслушался об этих коварных водоворотах и колесах (плицах, как называли их знатоки), под которыми гибли юные и не юные пловцы.

Готовился я тайно, чтоб не знали родители. В Крыму, затем на Днепре. Вода в реке пресная, плыть тяжелее, чем в море. Сильно сносит. Очень важно выбрать место так, чтоб вынесло тебя на правый берег выше Цепного моста — под ним никакое движение не разрешалось, кроме пароходов.

В тайну мою был посвещен только ближайший друг — Валька Цупник, — нужен был свидетель, иначе не поверят.

В назначенный день, — господи, сколько раз он откладывался, то ветер, то дождь, то понедельник — речники, как моряки, суеверны — я стащил у родителей пакетик масла (дома его потом долго искали, в те годы оно было на вес золота) и по всем правилам рекордсменов обмазался им с головы до ног.

Готов? Готов! Давай!

Я решился.

Не надо смеяться. Когда продрогший, несмотря на масло, выкарабкался наконец на берег, я чувствовал себя ге-

роем. Нет, у меня не было единоборства с пароходными плицами, но случилось непредвиденное — мне преградили дорогу плоты. О, эти плоты, откуда они вдруг взялись? Три плота, сцепленные между собой. Они настигли меня, когда я только добрался до середины реки. Ждать, когда проплывут, не мог, меня снесло бы к мосту. Можно было, конечно, забраться на плот, пробежать и опять нырнуть, но это уже нарушение всех спортивных правил. И я решился... Это был самый и, пожалуй, единственный героический поступок в моей жизни. Я нырнул под плот. А они, плоты, широкие, метров 8—10. И я проплыл под ним. Если б не Валька, никто б не поверил, И не только переплыл, но умудрился в разрыве между двумя плотами высунуть голову, набрать воздуху и опять нырнуть. «Это были самые ужасные минуты в моей жизни», — говорил потом Валька. Сейчас он смотрел на меня, замерзшего, с трудом попадавшего в штанину, и завидовал. Даже родители простили масло — пришлось признаться. И только один Женька Захарьевич, над всеми всегда подтрунивавший, иронизировал: «Великое событие! Можно подумать Волга, Миссисипи... Вот там плоты, так плоты...» Я вспомнил его и его слова, когда впервые переплывал Волгу. В этот раз не вплавь, а на битком набитом солдатами пароходике «Ласточка», доставлявшем подкрепление в пылающий, застланный черным дымом Сталинград.

С тех пор, со дня покорения Днепра, прошло пятьдесят с лишним лет. Валя погиб на фронте. Женя умер в эмиграции, в Аргентине. Я пока еще жив — на берегах Сены...

Кто-то из великих сказал, что вид текущей перед тобой воды успокаивает, спасает от всех неприятностей. У меня не так уж их много, но я люблю сидеть под старым платаном у Пон-Рояль с сигаретой в зубах и смотреть на Сену. Я полюбил ее, привык к ней, к ее мостам, баржам, «бато-муш», но — да не обидится она на меня — куда ей до Днепра...

Днепр... Днипро по-украински. При князе Владимире — Славутич. Греки называли его Борисфен.

Красив ли он, наш Днепр? Киевляне считают, что красивее его нет реки. Я тоже киевлянин. Рек на своем веку

повидал немало. Если не считать Амазонки и Миссисипи, все самые знаменитые. Ганг и Нил, правда, из окна самолета. Конго и Замбези еще впереди. Рубикон пересекал только в переносном смысле да Феллини видал.

Днепр красив... Нет, поверьте мне, не потому, что я родился на его берегах и мальчишкой переплыл, а потому, что он действительно красив.

Правый берег крутой, высокий, левый — луга. Если вы попадете в Киев и подымитесь на Владимирскую горку или прогуляетесь по Царскому саду (теперь он Первомайский, но все киевляне в пику кому-то называют его по-старому), а из него перейдете в Мариинский парк, где бывший царский дворец (ныне в нем пьянствуют, принимая гостей, правители Советской Украины), то перед вами откроются дали такой шири и красоты, что даже итальянцы, которых красотой особенно не удивишь, стоя над днепровскими обрывами, только и могут что закатывать глаза — «Манифико! Манифико!»

Днепр поуже Волги, хотя Гоголь и считал, что не всякая птица долетит до его середины. Но сама излучина его, серебристый песок Труханова острова, заросли кустарника, осенью горящие золотом, и дальние, до самого горизонта, голубые леса — от всего этого простора, неба, корабликов, лодок и катеров, снующих вдоль и поперек, — нет, куда там Сене, даже Луаре со всеми ее замками. Если, к тому же, вы попадете к восходу солнца, тут уж «Манифико» не отделаешься. (Только однажды мне удалось, в День Победы, 9 мая 1945 г., когда всю ночь, пьяные, шатались мы по городу и последнюю бутылку распили на склонах Владимирской горки, приветствуя первые лучи солнца с наступившим наконец миром...)

Но Днепр не только красив. Он славен своими пляжами. Таких я нигде не видал. Не знаю, как американцы, но европейцы, чудаки, в своих реках не купаются — грязные, мол. Думаю, Днепр не многим чище, но киевлян это не пугает. В погожий, солнечный летний день пол-Киева — это значит миллион — на пляже. Непонятно, кто ж работает.

Пляжи прекрасные, что и говорить, но только рано утром. Днем — пытка. К воде протискиваешься, как в автобусе в часы пик. Чтоб найти относительно свободное место, надо переться по раскаленному песку не меньше километра. Что поделаешь, загар сейчас моден.

Это теперь. В дни моей молодости подобного не было и все свободное время мы проводили на пляже, на «Трухашке». Я не спортсмен. Даже не болельщик. Не люблю и не понимаю футбола, выключаю телевизор, когда начинается хоккей, никогда не увлекался ни волейболом, ни баскетболом, в шахматах просто туп — но в двух видах спорта был на нашем пляже не последним — в плавании и гребле. (С какой тоской и грустью любовался я и завидовал на Гаваях бронзовым ребятам на дощечках — будь в мои годы в моей стране «серфинг», ей-богу, удивил бы человечество.)

Нет, рекордсменами мы с моими друзьями не были, но наш полутригер (так назывались тогда длинные, узкие, очень легкие лодки с выносными уключинами и подвижными сиденьями) был одним из самых быстрых на Днепре. Ходили мы и под парусом. На последнем курсе института совершили поход на двух парусных лодках от Киева до Черного моря. С погодой повезло, была, правда, и буря с настоящими волнами, и мы малость струхнули, но когда худые и загорелые, добрались наконец до Херсона, мы чувствовали себя Магелланами. Тысяча километров за десять дней — не так уж плохо. В институте, в вестибюле, вывешена была карта нашего перехода и на ней флажками отмечалось наше движение. В Херсоне на почте ждала телеграмма — институтское начальство поздравило с победой — в нашей стране это любимое слово.

В гоголевские времена и в еще более давние — во времена Запорожской Сечи, вольной казацкой республики — Днепр был поэзией, легендой, песней, струи его были прозрачны, глубины полны рыбы, берега лесисты. Сейчас вместо поэзии заводы, фабрики, верфи, плотины, электростанции. Днепрогэс — плотина и станция — извесен всему миру — бог ты мой, сколько о нем в свое время трубили.

Романы, оды, поэмы, пьесы. Были даже папиросы. В войну немцы его взорвали. После войны он был отстроен. Опять трубили... Но тогда, в годы того самого великого заплыва, это была тихая река. Тихая и задумчивая. Гранитных набережных еще не было, рыбаки со своими удочками и банками лепились на каких-то камнях и бугорках. Чтоб попасть на «Трухашку» надо было заплатить сто тысяч или миллион (такой тогда рубль был!), потом 50 коп. туда и обратно на переправе братьев Добровольских. У них были моторные лодки. А за 25 коп. можно было переправиться на лодках трухановских жителей — там уж на веслах. Разрешалось и нам, мальчишкам, немножко им помогать. Хозяин сидел на корме, правил маленьким корявым веслом и только командовал: «Правым, левым... Загребай!» Мы из кожи вон лезли.

Пароходы тогда были однопалубные, с лениво хлопающими плицами и очень красиво, низко гудели. Откуда-то, с верховья вниз, все время шли плоты, те самые, ненавистные. Куда и зачем их гонят, нас не интересовало, но иногда мы забирались на них. С плотогонами, полуголыми, черными от загара ребятами, общались мало — они жили своей собственной загадочной жизнью, в крохотных хибарах с женами, собаками, курами, развешенным бельем и всегда что-то пили — мы этим стали заниматься несколько позже.

Сейчас плотов уже нет, мешают плотины. Их теперь пять на всем протяжении от Киева до Херсона, и все вместе называется Днепровским каскадом. Романтика Днепра уходит в прошлое. Один за другим умирают старые капитаны и шкиперы, которые еще помнят Александра Куприна, знаменитого писателя, жившего в нижней части города, на Подоле, и любившего посидеть с ними в кабачке, поболтать о былом, о том, что Днепр уже не тот, мелеет, и народ не тот, и рыба не та, и раки куда-то исчезли и ... взяли еще по бутылочке?

Раки действительно исчезли (когда на базаре они изредка появляются, не днепровские, а с соседней Десны, их мигом раскупают, не спрашивая цены), и рыба не та — ви-

новаты все те же заводы и плотины, в корне изменившие режим реки, — но рыбаков ничуть не меньшей. Дело ведь не в рыбе, а в привычке, тишине, покое, ну, и тяпнешь с соседом по маленькой.

И ходят теперь по Днепру элегантные трехпалубные турбоэлектроходы, вихрем проносятся всякие глиссера и «Ракеты» на подводных крыльях, и на Труханов остров совершенно бесплатно можно пройти по висячему пешеходному мосту (у одной американской туристки было записано — обязательно посмотреть киевский висячий мост! Туристка была из Сан-Франциско...), но оставшиеся еще в живых ветераны-шкипера на все это смотрят с презрением: «Разве это Днепр? Вот в наши годы, разольется бывало весной...»

Я помню один из таких разливов. В начале тридцатых годов. Вода залила половину Подола, дошла до главной улицы с трамваем и позаливала подвалы домов. Нас, студентов, бросили на помощь, но толку от нас было немного — чувствуя себя почти в Венеции, мы устраивали гонки по местному Каналу-Гранде и горланили песни. Было весело.

Когда-то, в раннем детстве, я увлекался географией. Сохранилась и стоит до сих пор на книжной полке сделанная мною маленькая карта Франции почему-то из пластилина, налепленного на картонку. Интересовался, конечно, больше Африками и Америками, Эверестами и Амазонками, к Днепру же относился как к чему-то домашнему, отнюдь не географическому. А Днепр — река большая, солидная, длиною в 2200 км. Истоки свои берет еще в России, в так называемой Валдайской возвышенности, затем сворачивает в Белоруссию, но настоящей широкой рекой становится на Украине. Украинцы ею гордятся, слагают про нее песни — «Ой, Дніпро, Дніпро, ти силен, могуч...» — и называют его почему-то седым — по-украински «Сывый Днипро». Впрочем, Амур у нас, в России, — батюшка, Волга — матушка, а Дон — тихий, хоть мы знаем, что и Тихий океан не всегда бывает ласков с мореплавателями.

Вдоль берегов Днепра много городов, больших даже — Смоленск, Днепропетровск, Запорожье, Никополь, Дне-

продзержинск, у устья — Херсон, и о каждом из них есть что рассказать. Но мы их минуем, в ... всего не запихнешь, да и я их не очень хорошо знаю — а вот о Киеве, «матери городов русских» как его называют, двухмиллионном городе, столице нынешней советской Украины, я кое-что знаю.

Я в нем родился и прожил всю свою жизнь, если не считать нескольких лет тетральных странствий и годы войны.

Как-то, в юношеские еще годы, до нас откуда-то докатилось известие, что на каком-то международном конкурсе — какой из городов самый красивый — Киев получил вторую премию. Первую получил Сан-Франциско. Мы глубоко были оскорблены. Подумать только, какое-то там Сан-Франциско пытается с нами соревноваться. С нами, с самым красивым и зеленым городом мира. Наши сады и парки! Золотые купола Софии и Лавры, наши широченные тротуары, трамвай с мягкими плетеными сиденьями (первый в России!), наш кинотеатр «Шанцер», наш Днепр и его откосы, наконец, наш Крещатик! Ни о каких Шанз Элизе и Бродвеях мы и слышать не хотели, Крещатик, главная наша улица, лучше всех! (А если по правде, улица как улица, дома как дома, и деревца-то, вообщем-то, жалкие вдоль тротуаров, не то что теперь, — после войны посадили сорокалетние каштаны и липы, и они разрослись и, к всеобщему удовольствию, заслонили новые послевоенные фасады, которые не лишенные юмора киевляне окрестили «бредом взбесившегося кондитера».)

Если вы откроете сегодня любой альбом или путеводитель, посвященный Киеву, вы обязательно наткнетесь на такие, кочующие из книги в книгу, определения, как — древний и вечно юный город-герой, город-труженик, город истинной культуры и высокой производительности труда, город-красавец, наконец, город любви нашей...

Что правда, то правда. Киевляне любят свой Киев. Но не тот, куда поведет вас гид «Интуриста». А поведет он вас конечно же на Крещатик, тот самый, «любовно восстановленный, поднятый из руин трудящимися столицы», обязательно остановится у нового памятника Ленину (на Крешатике их

теперь два), покажет строящееся, тоже новое грандиозное здание музея его имени... Нет, мы с вами Крещатик минуем. И в Софийский собор тоже не пойдем, хотя там прекрасные фрески XI века, и в Киево-Печерскую лавру тоже. Когда-то, когда там были монахи, можно было бы и спуститься с тоненькой свечкой в руках в знаменитые пещеры, где покоятся высохшие останки святых. Сейчас все залито ярким электрическим светом и молоденький гид бодрым голосом вам сообщит: «Тело молодого человека, выдаваемого служителями церкви за мощи Нестора Летописца»...

Нет, мы пойдем с вами туда, куда туристов не водят. Это куда интереснее.

Начнем свой поход с Правительственной площади. Название это еще довоенное, когда предполагалось построить на ней два симметричных здания — Совета министров и Центрального Комитета Коммунистической партии Украины. А между ними, в разрыве, грандиозный памятник Ленину. Успели построить только левое из этих зданий — Совет министров, правое же... Дело в том, что на том самом месте, где должны были его возвести, девятьсот лет стоял и украшал собою город знаменитый Михайловский монастырь с собором — золотые барочные купола его видны были издалека и очень хорошо вязались с колокольней и золотыми же куполами Софии, белые стены которой замыкают площадь с другой стороны. Киевские архитекторы и художники робко попытались что-то сказать об XI веке и ценнейших фресках, но слушать их никто не стал, и монастырь вместе с собором снесли до основания. А тут, как на грех, война. И остался один-одинешенек много- и тяжелоколонный Совет министров, ставший теперь Обкомом партии, а на месте снесенного монастыря — ничего, пустота, заборы...

Покачав головами — жаль собора, жаль старину, — свернем мы с вами налево и по улице Героев Революции (до этого она называлась «Жертв Революции», но так как непонятно было, какие жертвы подразумевались, ее переименовали), направимся к Андреевсеой церкви. Сзади останется большое унылое, четырехэтажное здание времен Николая I.

Именно в нем в 1911-м слушалось прогремевшее на весь мир (не меньше, чем дело Дрейфуса) дело Бейлиса. Старый полуграмотный еврей обвинен был в ритуальном убийстве русского мальчика Ющинского. Доказать не удалось, и хотя антисемитизм поддерживался правительством, кампания провалилась, но память об этом процессе живет до сих пор. Сейчас в этом же здании, даже в том же зале — он так и называется «бейлисовский» — инсценируются процессы против советских инокомыслящих. В этом есть какая-то логика.

Андреевская церковь... Хотя это один из главных туристских объектов, — а мы решили их миновать, — на минуту мы все же задержимся. Во-первых, потому, что она, стройная и изящная, воздвигнутая над обрывом в XVIII веке итальянцем Растрелли, действительно красива; во-вторых, потому, что, по преданию, именно с этого обрыва был сброшен языческий идол Перун, когда святой Владимир крестил киевлян; и в-третьих, потому, что в доме напротив — Владимирская ул. № 4 — родился автор этих строк. Место, как видите, достойно того, чтоб несколько задержаться.

Постояли, автор что-то там поострил, и пошли дальше по Андреевскому спуску, вниз, к Подолу. Это, пожалуй, самая симпатичная и самая «киевская» из всех улиц. Впрочем, на плане города вы не всегда ее найдете — по каким-то высшим стратегическим соображениям планы городов в нашей стране сознательно искажаются. Считается почему-то, что для своих грязных целей шпионы пользуются только планами, купленными в киоске.

Андреевский спуск — улица крутая, вымощенная булыжником, и никаких архитектурных чудес на ней вы не найдете. Киев вообще-то архитектурой своей особенно прославиться не может — обычные доходные дома XIX—начала XX века, — славится же он своим рельефом, своими холмами, оврагами, обрывами, буйной своей зеленью и теми самыми улочками и лестницами, куда туристов не водят. Там нет асфальта, тротуары узенькие, домишки маленькие, одноэтажные, но весной все утопает в сирени, жасмине и у дверей сидят уютные старушки, смотрят вам вслед и качают головами.

И все же есть на этом самом Андреевском спуске два примечательных дома. Один из них называется замок Ричарда Львиное Сердце. Стоит он над самым обрывом, у него башня со шпилем, но главное в нем двор — ходы, переходы, лестницы, арки, гроты, площадки, а за ними заросшая густым кустарником горка и опять обрыв. Ну, как не прибегать сюда мальчишкам всего города, где б они ни жили — лучшего места для «сыщиков и разбойников» не найдешь. С возрастом цели визитов меняются. На горке, в кустарнике, врытый в землю столик и две скамейки. Более идеального места в Киеве, чтоб раскупорить бутылочку, нет. Внизу, под обрывом, Подол, вечерние огни, Днепр, заднепровсеие дали. И говорить, или молчать, можно здесь до утра.

А чуть ниже замка Ричарда, под самой горкой, еще более примечательный дом — невзрачный, двухэтажный. В нем, в годы революции, жил один из замечательнейших писателей Михаил Булгаков. Не только жил, но и описал его и жителей его в своем романе «Белая гвардия». По роману им же сделана пьеса «Дни Турбиных». Она долго шла (и сейчас идет) в Московском Художественном театре. И хотя пьеса эта о белогвардейцах, к тому же милых и хороших, разрешена она была к постановке только в одном этом театре, и то по личному указанию Сталина. Более того, точно известно, что сам он — человек, как известно, более чем занятой — смотрел эту пьесу не больше не меньше как... семнадцать раз! Почему? Что могло его в ней прельстить? Какая сила тянула? Мы можем только догадываться. Скорее всего, он, не веривший никому — ни себе, ни жене, ни друзьям, ни соратникам (только Гитлеру!) — любовался или завидовал этим милым людям, этой дружной семье — в победу они уже не верили, но долгу, престолу были верны. Очевидно, именно этого, искренней преданности, ему не хватало.

Судьба самого Булгакова не из легких. Его критиковали, ругали, книги его перестали издавать. Умер он в 1940 году, так и не увидев в печати своего лучшего произведения «Мастер и Маргарита». На свет оно появилось через 26 лет после его смерти и переведено сейчас на все языки.

А в доме № 13 до сих пор живет дочь одного из героев «Белой гвардии». От поклонников Булгакова у нее нет отбоя, но туристов туда не водят.

Не водят их в Бабий Яр...

Бабий Яр — это самая трагическая страница истории Киева после нашествия татар.

Через десять дней после взятия города немцы развесили повсюду объявление: «Все жиды города Киева должны явиться в 8 часов утра 29 сентября 1941 г. на Лукьяновский базар с документами, деньгами, ценными вещами, теплой одеждой, бельем и прочим». Евреи явились, их отвели неподалеку, в Бабий Яр (овраг глубиной до 40 метров), и там расстреляли. Всех — женщин, стариков, детей, всех, кто не успел эвакуироваться. Длилось это три дня. По приблизительным подсчетам, погибло около 100 000 человек. Пожалуй, по количеству жертв и краткости срока подобного не было за всю историю человечества — в Варфоломеевскую ночь убито было 30 тысяч гугенотов.

Но на этом трагедия не кончилась. Когда в 1943 году Киев был освобожден, о Бабьем Яре велено было забыть. Его переименовали в Сырецкий, по имени района, где он находится, и превратили в городскую свалку. Потом просто замыли. Так называемой «пульпой» — смесью песка с глиной. Овраг превратился в заросший бурьяном пустырь...

В 1961 году произошла катастрофа. Прорвало дамбу, сдерживающую намытую часть Бабьего Яра. Десятиметровый вал жидкого песка и глины устремился на Куреневку, окраину Подола, снес на своем пути прилепившиеся к откосам оврага домишки, усадьбы и затопил трамвайный парк. Было много жертв. Точно никто не знает — у нас об этом не пишут.

Следов разрушения давно уже не видно. Дамбы восстановлены, на месте прорыва широкая автомобильная дорога. И рядом с ней неожиданно появился вдруг камень с надписью — «Здесь будет сооружен памятник на месте расстрела советских граждан (!) в период временной немецко-фашистской оккупации». Откуда он взялся?

29 сентября 1966 года — в день 25-летней годовщины расстрела — на пустыре бывшего Бабьего Яра собралась тысячная толпа. Дети, внуки, друзья, знакомые погибших здесь евреев. Были речи. Говорилось о том, что фашизм и антисемитизм — это одно и то же, что повториться подобное больше не может, что памятник на этом месте должен быть... Появившаяся милиция разогнала толпу. У «киношников», снимающих митинг, отобрали пленку. Директора киностудии сняли с работы. Начальнику городской милиции, который допустил это «сионистское сборище», влепили выговор. Но камень поставили.

Теперь на его месте памятник. Через тридцать лет! Я его не видел, но, судя по фотографии, это группа гневных, одухотворенных, знающих во имя чего они гибнут, мужчин и женщин весьма арийской внешности... Никаких стариков и старух, никаких евреев. Советские граждане и все...

В полукилометре от Бабьего Яра было когда-то старое еврейское кладбище. Очень красивое, тенистое, с гранитными и мраморными памятниками, мавзолеями, усыпальницами. Говорю в прошедшем времени, так как сейчас его нет. Центральную аллею уничтожили еще немцы, а остальные... Теперь их тоже нет. Десятки тысяч надгробий варварски разбиты, разрушены, осквернены. Кто, когда, как — никто не знает. А кто знает — молчит. Все это произошло после освобождения Киева. А в двух кварталах от кладбища жил в своей «даче» Хрущев — тогда первый секретарь ЦК Компартии Украины.

В эти печально-туристические места туристов тоже не привозят.

Куда же их возят? Так как известно, что Киев не только вечно юный, но и древний город — через год ему минет 1500 лет — их возят в Киево-Печерскую лавру. Там показывают руины Успенского собора, взорванного немцами (а может, и нами самими, как Крещатик, выполняя приказ Сталина оставлять врагу выжженную землю), затем покажут саркофаг Ярослава Мудрого и фрески в Софийском соборе (о Михайловском ни полслова), разрешат сфотогра-

фировать памятник гетману Богдану Хмельницкому — это он в 1654 году присоединил Украину к России. (В первоначальном варианте конь его топтал польского пана, арендатора — читай еврея — и иезуита, главных кровопийцев, но Александр II велел убрать). И с особой радостью повезут вас — ведь Киев не только древний, но и вечно юный — на выставку передового опыта. Там, изнывая от объяснений, вы наконец поймете, что Украина — страна богатая, индустриальная и счастливая. (До сих пор, забегая в магазины, вам обнаружить этого не удалось.) После выставки повезут на завод, в рабочий клуб, детские ясли, а вечером пожалуйте в оперный или драматический театр. Если очень повезет, то дадут билеты на ансамбль Веревки или Вирского — тут вы не пожалеете, танцевать и петь украинцы умеют. Поводят и по музеям. Начнут с музея Ленина (в гражданскую войну в этом здании была Центральная Рада — высший орган «буржуазно-националистического» правительства, как называется оно во всех словарях), потом музей и домик, где жил величайший украинский поэт Тарас Шевченко. Память его чтут все — русские и украинцы, коммунисты и националисты, даже немцы-оккупанты положили венок на его памятник. А памятники ему во всех городах и селах — не меньше, чем Ленину. Есть даже в Париже, на бульваре Сен-Жермен.

В гостиницу свою — «Украина» на бульваре Шевченко или «Дніпро» на площади Ленинского Комсомола (до этого — Сталина, до этого III Интернационала, а до этого — Царская) — турист придет, как у нас говорят, без задних ног. И сразу же в ресторан, где ждет его (вернее, он будет ждать) украинский борщ и киевские котлеты, из которых обязательно брызгнет масло прямо на брюки, потом... Нет, ни о каком сне не может быть и речи». В оперу! На «Запорожец за Дунаем». О господи!

Но если вам удастся (а это очень и очень трудно) оторваться от своей группы и если есть у вас в Киеве друг или знакомый (желательно обладатель лодки), попросите его покатать вас по Днепру.

В мои годы мы отправлялись вверх по течению. Сейчас, увы, там плотина. Можно двинуть и вниз, но лучше всего, не доезжая до моста Метро (его, метро, вам тоже покажут, и вы действительно будете восторгаться чистотой и порядком, особенно, если вы из Нью-Йорка), так вот, не доезжая моста Метро, сверните в Венецианский (в незапамятны времена там был ресторан «Венеция») залив и пристройтесь где-нибудь на бережку подальше.

Этот день, этот вечер, ночь вы будете потом долго вспоминат. Небо. Молодой месяц, звезды. Вдали огни вечернего Киева, над ним — зарево. Где-то квакают лягушки. Потрескивает костер. В котелке что-то варится, может даже рыба, если вам удалось ее поймать. Или кулеш — пшенный суп, в него потом бросаются маленькие кусочки поджаренного украинского сала (его, кстати, купить тоже не так-то и просто)... Наевшись этого кулеша до отвала и выпив немного самогона — обязательно самогона, а не водки, делается он дома из сахара или бурака и обходится во много дешевле, — вы разваливаетесь на мягком бархатистом песочке и бездумно любуетесь отражением звезд и месяца в днепровских водах.

...«Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно несет сквозь леса и горы полные воды свои... Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда все засыпает, и человек, и зверь, и птица... Звезды горят и светят над миром и все разом отдаются в Днепре... Нет реки ему равной в мире...»

Так считал, так писал о нем Николай Васильевич Гоголь, величайший русский писатель, украинец по происхождению. Никому, кроме него, не удалось с такой любовью рассказать о Малороссии, как называлась тогда Украина, о ее чубатых парубках и веселых черноглазых девчатах, о ее легендах, поверьях, русалках и чертях. Гоголь любил этот красивый приветливый край, любил Днепр, любил Киев. И никто не может понять, почему в Киеве, в котором столько памятников, свергнутых и не свергнутых (Николая I на что-то переплавили, а Александр I до сих пор печально стоит во дворе Русского музея), столько

бронзовых фигур писателей, композиторов, философов, героев и жертв, есть памятник Пушкину, даже героям-чекистам (теперь они называются КГБистами), Гоголю нет. Неужели не заслужил? (Скажу по секрету, кое-кто в Киеве считает его изменником — почему писал по-русски, когда родители украинские помещики и сам родился под Миргородом, на Полтавщине?) Но Гоголю хоть в Москве есть (даже два и почти рядом), а вот Михаилу Булгакову ни в Москве, ни в Киеве, а события-то в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных» развиваются именно в Киеве. Нет и Константину Паустовскому, прекрасному писателю, тоже киевлянину. Нет Шолом-Алейхему, выдающемуся (вероятно, именно поэтому) писателю, пережившему ужасы погрома в 1905 году именно в Киеве и бежавшему в Америку. Ну, они, допустим, не свои, чужие, русские, евреи, но почему нет (правда, на кладбище бюст) Михаилу Грушевскому, наиболее выдающемуся из всех украинских историков, нет Лесю Курбасу, украинскому Мейерхольду, создателю самого интересного на Украине театра «Березіль», погибшему при Сталине в лагерях, и многим, многим другим. Но спешу успокоить — ожидалось нечто новое.

Я шел по Институтской вверх — это было незадолго до моего отъезда. Шел и любовался осенним Киевом. И думал о чем-то печальном, осеннем. И вдруг...

— Молодой человек, — окликнул кто-то меня. — О чем задумался?

Передо мной вырос приятель, скорее знакомый, довольно известный киевский художник. Он был навеселе. Даже более чем навеселе.

— Давай зайдем куда-нибудь, пропустим по стаканчику.

Мне не очень хотелось, но я согласился.

— Вижу, ты уже малость того, — заметил я.

— Даже не малость, — признался он. — К вечеру буду совсем готов.

— Есть причина?

— Более чем достаточная. Я только что присутствовал при акте убийства горячо любимого нашего Киева.

— Не понимаю.

— Вот зайдем сюда, сядем за столик, и ты все поймешь. К вечеру тоже с горя напьешься.

Я попытался взять бутылку вина, но он потребовал водки.

— Так вот... Не больше часа тому назад в Выставочном зале Союза художников — всех нас туда пригласили — был подписан, под гром аплодисментов, смертный приговор Киеву, его единственному, ни с чем несравнимому силуэту.

— Какому силуэту? При чем тут силуэт?

— А при том, что партия и правительство, в лице первого секретаря Украины тов. Щербицкого, приняли только что решение о сооружении в Киеве, городе-герое, памятника матери-Родине, Великой Отечественной войне, героической обороне и всем героям вместе взятым. Как в Сталинграде, на твоем Мамаевом кургане.

Я давно об этом слышал, но не верил.

— И кому поручено? Вутетичу небось?

— А кому же! Он сам демонстрировал свой проект. Фигура сто метров высотой, и вся золотая. И с мечом в руках. Над Днепром. Рядом с Лаврской колокольней. Только еще выше. На 10 метров. Ему тискали руки, обнимали, даже целовали...

Это был удар в самое сердце. К вечеру я тоже был пьян.

Силуэт Киева, если смотреть на него с левого берега Днепра, действительно один из красивейших, который я когда-либо видел. Крутые обрывы густо заросли зеленью. И из этого моря зелени вырастают купола. Золотые купола монастырей — Выдубецкого и Лавры. Других домов не видно, только купола, да справа чуть-чуть нарушает гармонию здание Совета министров, но оно далеко и почти полностью закрыто садами. И вот по только что под аплодисменты принятому проекту рядом с колокольней все нарушено, выросло-таки золотое чудовище.

Автор — Евгений Вутечич — создатель сотен памятников, портретов и символических аллегорий. Это его «Пере-

куем мечи на орала» стоит возле здания ООН в Нью-Йорке, это его «Солдат-освободитель» в Трептов-Парке в Берлине, и наконец, это по его проекту воздвигнут Мемориал в Сталинграде, на Мамаевом кургане, где шли наиболее ожесточенные бои. Грандиозная лестница, бассейн, сотни фигур героев и защитников, барельефы, высеченные надписи, звуки Грига и Шопена в Пантеоне, и над всем этим с мечом в руке стометровая Мать-Родина. Как раз на том месте, где долгие пять с половиной месяцев сражался мой полк. Где окопы вырыты моими саперами...

И вот теперь Киев...

Как хорошо, что меня там нет.

* * *

Я прощался с Днепром. Через два дня я уезжал. Навсегда...

Сел в метро, доехал до Гидропарка. Там вышел. Было раннее утро. Но старики с червями для рыбаков уже расставили свои банки на мостике через пролив. Я прошел через мост, обогнул рощу и через густой лозняк вышел к своему любимому месту. Никого еще нет, пусто. Через два часа негде будет сесть.

Вода была теплая. За лето Днепр очень обмелел, пляжи разрослись. Тихо, пусто. И только чья-то палатка у старой ивы. И лодка, вытащенная на берег. Туристы, должно быть.

Далеко не заплывал — времени было мало — выкрутил трусы и растянулся на прохладном еще песочке.

Солнце только что взошло и первые лучи его играли на золотых куполах монастырей. Я знаю этот вид с детства. Те же купола, та же зелень — нет, тогда она не такая густая была — и вместо нынешнего моста Метро, был старый, времен еще Николая I Цепной мост. Его взорвали поляки, когда уходили из Киева в 1920 году. Построили новый. Его взорвали немцы. А этот появился недавно, когда сооружали метро.

Я глядел на такой знакомый мне силуэт и не хотелось думать, что через год-два среди этой же зелени, на этих же

обрывах, рядом с лаврской колокольней вырастет... Нет, не хочется об этом думать. А ведь кому-то будет нравиться, а лет через десять-двадцать все к этому привыкнут, как привык Париж к Эйфелевой башне.

Стали появляться первые пляжники. Я натянул брюки, закурил и направился к лозняку. Там обернулся и бросил прощальный взгляд...

Да... Чуден Днепр при тихой погоде... Нет реки ему равной в мире..

Не буду спорить с Гоголем. Нет такой реки! И будет она вольно и плавно мчать сквозь леса и горы полные воды свои как встарь. Не замечая ни заводов, ни плотин, ни стометровых тёток с мечом в руке. Днепр... Славутич... Борисфен.

МАМА

В этом году ей исполнилось бы сто четыре года. Двадцать четвертого июня. Прожила она девяносто один. Умерла 7 октября 1970 года.

Покоится на Байковом кладбище. Рядом с матерью и сестрой. Мне на этих могилах не бывать, цветов не класть. Делают это друзья. Спасибо им.

Смотрю на нынешних мам. Нельзя! Исключено! Не разрешаю! Мопед зависит только от твоих отметок. Перестань! Прекрати! Нельзя и все!

И так, с утра до вечера, вернее, с момента прихода из школы до «Спать! И никаких телевизоров!»

За всю жизнь не припомню случая, чтобы мать отчитала меня. Или что-либо запретила. Чему-то удивлялась — «И почему вы всегда уроки оттягиваете до последней минуты? У меня все с субботы было готово, воскресенье гуляла». Иной раз огорчалась. И то, когда я достиг определенного возраста и стал переступать некие грани.

Ни разу, до самого своего последнего дня, не припоминала она мне прискорбного случая, когда я впервые переступил эти грани.

После одной из получек (работал я тогда, окончив профшколу, на строительстве киевского вокзала), мы завалились в «Континенталь», лучший в Киеве ресторан. Как вернулся домой, не помню, но то, что вся изысканная континентальская закуска оказалась не только на полу, но и на

стенах, помню хорошо. Очнувшись утром, я не обнаружил ни малейших следов своего позора. А мыть полы мать не умела и не любила.

Не очень радовали ее и поздние мои возвращения. За полквартала я уже видел ее маленькую фигурку на балконе. «Поверь мне, — возмущался я, — твое дежурство ни на минуту не приблизило часа моего возвращения...» Мать смущалась: «Никакого дежурства. Просто вышла подышать немного, вечера такие душные...»

Никогда не поучала, не учила уму-разуму. Наоборот. Понятия «отличник» в мои годы не было. Тем более, идиотского «хорошист». Был «уд» и «неуд». Эти вторые не часто, но все же иногда появлявшиеся в дневнике, в отчаяние ее не приводили, напротив — «Не будь только первым учеником, — уговаривала она, — в наше время это считалось неприличным...» И я строго придерживался ее указания. Пожалуй, даже строже, чем надо. Сохранилась «четверть» тех лет — «Сведения о занятиях ученика 3-й группы В. Некрасова. 8 апреля 1922 г. Математика — слаб: ошибается в вычитании и в таблице умножения. Никакого понятия о делении». (Мало что изменилось с тех пор — очень помогает мне в тяжелую минуту вычислительная машинка за 40 франков). По поводу этой огорчительной оценки, к математику, ненавистному Кругляку, ходила объясняться бабушка, мама считала это непедагогичным.

Так же не вмешивалась она и в религиозное воспитание сына. Все мои бонны были верующими. Перед сном, стоя на коленях, я долго молился, вызывая бурное негодование старшего брата Коли. Он написал даже матери (жил тогда в Миргороде) длинное, гневное послание, начинавшееся словами: «Зина! Когда же кончится, в конце концов, это безобразие?» Ответ был краток: «Не беспокойся, сам разберется».

Когда я разобрался и перестал верить в Бога, не помню. А почему? Во всяком случае, не антирелигиозная пропаганда тому была причиной. Думаю, что она, напротив, должна была приблизить к Нему. Возможно, улови я на каком-нибудь изображении Христа улыбку, я остался бы верующим.

Мать не баловала меня (это была прерогатива бабушки), но глубоко была убеждена, что хвалить лучше, чем порицать. Думаю, что она была права. Сужу по себе — похвалят, стараюсь сделать еще лучше, поругают не исправляюсь, задираюсь, настаиваю на своей правоте. Уверен, что в какой-то степени именно это сыграло определенную роль в моих отношениях с теткой, домашним диктатором, и Советской властью. Обе делали упор на мои недостатки, строптивость, мать же, если и не всегда потакала, то, как говорится, мирволила.

Все прогрессивное человечество осуждало мое увлечение театром. «Подумайте только, учится в институте, выбрал прекрасную профессию, будет скоро архитектором и вдруг, просто не верится, пошел в комедианты». А потом, когда изгнанный из Киевской Русской драмы, стал на клубных сценах глаголом жечь сердца в каких-то «Парижских нищих» и «Тайнах Нельской башни», руками только разводили: «Ненормальный и только. Куда родители смотрят?» А родительница, всем наперекор — «Ведь он такой способный. Даже в шарадах был лучше всех. И Станиславскому, вот, понравился, обещал в свою студию принять».

Мое вступление в партию тоже не осудила, в противоположность тетке. Та, несмотря на свою дореволюционную дружбу с большевиками (Ногин, Соловьев), считала, что идеалы опозорены и состоять в партии неприлично.

Как ни странно, но ничего антисоветского в нашей семье не было. А ведь и ничего хорошего эта власть им не дала. Не преследовала, не угрожала, но вряд ли можно было сравнивать нынешнюю коммунально-примусную жизнь с дореволюционной швейцарско-парижской.

Не в характере матери было кого-то осуждать. Исключение составляли только мои обидчики. Но даже Хрущева, главного из них, когда его сняли, очень жалела. «Ну, как это можно? Вчера еще на руках носили, дорогой, любимый, а сегодня... Как ты думаешь, ему, как пенсионеру, два месяца в году разрешат работать? Ведь он такой деятельный и говорить так любит...» От всей души жалела. Только вот маршалу

Жукову никогда не могла простить, что он фильм «Солдаты» запретил. Даже былые заслуги не принимались во внимание.

Всю жизнь она работала. В 1906 году закончила университет в Лозанне, а через два года «Зинаида Николаевна Некрасова, урожденная Мотовилова, вероисповедания православного, дочь дворянина, доктор медицины Лозанского университета, подверглась, с разрешения Министерства Народного Просвещения, испытаниям в Медицинской Испытательной комиссии при Императорском Харьковском Университете в апреле и мае месяцах 1908 года, при чем оказала следующие успехи... и удостоена степени «лекаря».

С успехами произошла, правда, небольшая накладка. Студентами принято было решение, чтобы не иметь никаких преимуществ перед своими товарищами-евреями, на отметки выше «удовлетворительно» не соглашаться. (А? Ничего себе при Николае Кровавом было?). «А вот этому дураку профессору так понравились мои, видишь ли, ответы, что он по фармации и по фармакогнозии поставил «весьма». И получилось черт знает что. По всем предметам еле-еле, дура-дурой, а тут вдруг весьма!» Очень огорчалась, до старости лет.

Забавная деталь. Когда для чего-то снималась копия харьковского диплома, слово «Императорский» было выкинуто. Любопытное новшество в советском нотариате.

В годы Первой мировой войны мать работала в Париже, в военном госпитале. Потом в Киеве, чуть ли не до начала Отечественной войны, врачом для посещения на железной дороге. Между харьковским и парижским был еще не совсем ясный для меня период, от которого сохранилась белая эмалированная дощечка «Д-р З.Н. Некрасова, прием от-до», упоминание о том же докторе в разделе «Женщины-врачи» в «Путеводителе по Киеву» за 1913 г. и нелепое, особенно рядом с диваном павловского ампира, гинекологическое кресло. Использовалось оно, в основном, мною — сваливал на него рулоны своих чертежей.

Врачом мать была хорошим. Больные ее обожали. Через десятки лет какие-то старушки и старички бросались на

улице ей в объятия. «О! Солнышко вы наше, как вы, что вы? Смотрите, и не изменились совсем». Мать скептически улыбалась: «Господи, неужели я и тогда такой обезьяной была?» Лобзали ее на улице и бывшие, повзрослевшие уже дети — придя к больному, мать, само собой разумеется, выслушивала и ставила градусники всему семейству.

Районом маминого обслуживания была Демиевка, ставшая в последствии Сталинкой, и бывшая Ямская улица, воспетая в свое время Куприным. Обход, естественно, совершался пешком (за это полагалось дополнительное вознаграждение — «шаговые»), в любую погоду, преодолевая любые препятствия. Пригодилось маме ее альпинистское прошлое — по узкой, скользкой тропинке между двумя глинищами, окрещенной «Дарданеллами», я бы сейчас ни за какие коврижки не пошел, а она как ни в чем не бывало. Только ноги потом долго надо было отмывать — ходили тогда все босиком, даже врачи.

Любили мать не только больные, любили все. Любили мои товарищи школьные, институтские, послевоенные, любили соседи, сослуживцы, даже жившие в нашей уплотненной квартире КГБ-исты (думаю, именно поэтому, не было у нас никаких неприятностей по этой части). Любили за веселость, за умение видеть в жизни в основном светлое (тетка, напротив, только темное, Господи, до чего же были они разные!), за доброту, приветливость, щедрость («Слушай, ты ж только что получил гонорар, почему ничего не дал Жене, ведь они сидят без копейки денег»). Когда я неожиданно, после первой книги, разбогател, за нашим столом, как правило, собиралось — в обед, к вечернему чаю — не меньше десяти-двенадцати человек. Прижимистая наша домработница Ганя только шипела и негодовала: «Ходють, ходють, як в ресторан, хоч бы хто потим посуду помыв...» — а мать только волновалась, почему второй день нет Евгении Григорьевны, не заболела ли, узнай.

Человеком она была не только веселым и компанейским — «Ну, что вы все сидите, дымите и Никиту ругаете — пошли в кино! Галопом! Где мои туфли?» — но и не отста-

ющим от века. Очень одобряла короткие юбки, — удобно в троллейбус влезать, — читала «Известия» (интереснее, чем «Правда»!) и велела мне даже подписаться на «Новое время», которое, скажу по секрету, по-моему не читала. И в то же время она была и «старорежимной» — держать слово, быть всегда на высоте, не лгать, не пресмыкаться — вот, что она требовала от людей. Нет, не требовала, она ни у кого никогда ничего не требовала, просто люди, не соответствующие этому эталону, скажем так, встречались менее радушно.

Как врач она была безотказна, — в любую минуту на край света, поэтому, возможно, и любила больше всех Исачка Пятигорского, моего друга с институтских еще лет, специальность которого была всем помогать — поступить в институт, в техникум, устроить на работу. Если у кого какие-либо осложнения, тут же призывала меня: «Позвони Исачку, он все сделает». Кажется мне, что и Исачок больше всех на свете любил ее. «Вот ты, Вика, не замечаешь, а я провинциал, из Умани, и прямо могу тебе сказать — если есть в тебе еще что-то хорошее, то только от нее. А у нее от девятнадцатого века, — но тут же с ухмылкой добавлял, — впрочем, товарищ Сталин тоже девятнадцатого...»

Не знаю, как там с веками, но чувство долга в ней было развито до чрезвычайности. Ее слова, сказанные мне по телефону из окруженного Киева в Ростов: «Я рада, что тебя призвали в армию. Не время сейчас в театре на броне сидеть» — чуть до слез меня не довели. И не было этого знаменитого материнского «береги себя», хотя было другое, очень ее: «Смотри, пиши аккуратно». К слову сказать, в Ворошиловграде, незадолго до нашего печальной памяти наступления на Харьков, я, проходя мимо почты, зашел в нее и отправил письмо, — придет же такое в голову! — другой моей тетке, Вере, жившей не больше, не меньше, как в Швейцарии. Чудеса из чудес — письмо не только дошло до Лозанны, очевидно, через Америку, но переправлено оттуда было в оккупированный немцами Киев. Сколько счастья до-

ставило это матери, в конце года она знала, что в мае сорок второго года ее сын был жив-здоров.

Она пережила оккупацию. Думаю, самые тяжелые годы ее жизни. Работала в медпункте какого-то завода — через весь город, на Куреневку, пешком, трамваи не ходили. Воду — за два квартала, на пятый этаж, тоже пешком. Незадолго до освобождения похоронила мать, мою бабушку, самого доброго человека на свете. Остались вдвоем с тетей Соней.

Дом немцы перед уходом сожгли. Перебрались на другую квартиру, перетаскивая по ночам картины и прочие, дорогие как память, ненужности.

Об освобождении Киева я узнал в Баку, в госпитале, по радио. О том, что мама жива, из телеграммы — прислал друг-журналист, вступивший с войсками в Киев и сразу же разыскавший маму. Я тут же выписался и ринулся в Киев.

Маленькая, еще меньше, чем была, в неизменном своем пенсне, она стояла посреди комнаты, над печуркой и что-то варила. Потолки, стены черные, закопченные, а посреди этого мрака, мама, источающая сияние... Трудно во все это было поверить.

Через несколько дней я ушел на фронт и вернулся только через полгода, после второго ранения, теперь уже навсегда. И прожили мы вместе еще двадцать пять лет. Не самое ли это большое счастье в человеческой жизни?

Мамина непрактичность стала легендой. О ценах не имела даже приблизительного понятия. (Тетя Соня же всю жизнь вела книгу расходов, где-то я прочел, что такая же книжка парижской консьержки времен Французской революции была бы куда ценнее любого письма Наполеона). Как-то поехала она в командировку в Одессу. Вернулась оттуда сияющая. «Была на знаменитой Молдаванке, приценивалась — почему-то все всегда интересуются ценами». — «Ну, и какие ж там цены?» — «Какие? Хорошо помню... Что-то пять, а что-то семь рублей». Никак не могла понять, почему все смеются. И напрасно смеялись. В панические дни первой денежной реформы умудрилась, отправившись

одна-одинешенька на Евбаз (был такой Еврейский базар в Киеве, сейчас площадь Победы), притащить домой ворох весьма пригодившихся потом вещей — сапоги, муфту, лисье боа, простыни (тогда на вес золота были), какой-то чайник. «В самый последний день пришел откуда-то из Сталинграда твой гонорар. Что делать? Вот и ринулась сломя голову». О том, сколько за что она заплатила, конечно же, и понятия не имела.

Любимым ее занятием было писание писем. И первым вопросом, протерев утром глаза: «Письма есть?» «Больше всего в жизни З. Н. любит письма, потом уже тебя», — смеялись мои друзья. Я сделал фотоальбомчик «Мать за работой». Дома, на даче, на пляже (он был на третьем месте после писем и меня), в поезде, на пароходе, в самолете, на скамейке в скверике в ожидании чего-то. В сумочке у нее всегда хранился почтовый набор — бумага, конверты, открытки — и как только подворачивалась свободная минута, садилась и начинала строчить. Во все концы света.

Неутомимость и любознательность ее были феноменальными. Ну, что может быть такого уж интересного в Сельскохозяйственной выставке? Нет, пойдем! Идем. Обошли штук десять павильонов. Изнемогли. «Нет, мы не были еще в армянском, я люблю Армению». Но он закрыт! «Нет, не закрыт, я видела. Сидите, лентяи, а я пойду». И шла, и сняв пенсне, внимательно читала сквозь какую-то лупу цитату из Сталина на рисовом зерне или в бинокль разглядывала что-то ликующее, изображенное на потолке. После армянского был еще азербайджанский, туркменский, все республики по очереди. Вернувшись домой — усталости не признака, — уложила чемодан, — в этот же день мы летели в Киев, — а прилетев, все распаковала, аккуратно разложила по комодным ящикам и только тогда села за чай. Я же на ногах не держался.

Вечерние чаепития были ритуалом. После обязательной прогулки, на обратном пути покупался свежий батон, и, рассевшись потом за столом, начинали то, что обычно начинается за русским столом, даже когда на нем нет бутылки.

Мать принимала активное участие, опорожняя один за другим стаканы чая с лимоном. «Зинаида Николаевна, как же вы спите после такого количества?» «Прекрасно! Промываю почки. Никогда не вредит». В отличие от нынешних дам, которые часами и с увлечением могут говорить о вреде масла, соли, сахара, всего мучного, она питалась антинаучно (хотя одно время работала диетврачом), и всех приводила в ужас, забрасывая соль горстями прямо в рот. «Все это чепуха, все эти рационы. Организм лучше нас знает, что ему надо».

Обожала сквозняки. Ветер гулял по всем комнатам, вздымая занавески. В поезде ли, в троллейбусе моментально открывала окна, невзирая на ропот окружающих. Ненавидела слово «продуло», сама никогда не простужалась. Лекарствами не пользовалась, разве что аспирином. На пляже (до глубокой старости!) гневалась, когда я пытался раскрыть над ней зонтик. «Убери, убери сейчас же... Я за солнцем сюда приехала, а ты его заслоняешь». И, отпихнув зонтик, углублялась в последний номер «Нового мира».

Любимый ее писатель был Анатоль Франс, и с детских лет еще, Писарев. «Принеси мне, пожалуйста, Писарева», — говорила она мне, прикованная уже к постели, и в сотый раз листала «Пушкина и Белинского». Конечно же, она любила Пушкина, но всякого, кто осмеливался вступать в спор с авторитетами, еще больше. Думаю, это нас с ней сближало.

Есть такое, на мой взгляд, нелепое выражение — любить жизнь (не знаю, кто ее так уж ненавидит). Так вот, если все же применять его, то лучшего объекта, чем она, не найдешь. Любила жизнь, людей, веселье. А жизнь-то не всегда ее баловала.

В 1919 году трагически погиб мой старший брат Коля. Ему было восемнадцать лет. Мальчик на редкость одаренный. Смотришь на его чудом сохранившиеся рисунки, висящие у меня на стенке, и диву даешься. Ни на кого не похоже, собственное лицо, слегка левоватое и очень профессионально. А нигде не учился. И писал. Кое-что сохранилось. Тоже по-своему и совсем не по-детски. Чуть-чуть от надвигавшегося уже абсурда. Почти всю свою жизнь прожил

в Швейцарии и во Франции. С матерью был очень дружен, с теткой — не очень, крутой у нее нрав был. В связи с этим и оказался он в тот нелегкий год в Миргороде, где жил наш отдаленный родственник-врач. Правительства сменялись одно за другим. В один из приходов красных у него проведен был обыск. Нашли французские книги, приняли за шпиона и убили, засекли шомполами, бросили в реку. Мать ездила на розыски, но разве найдешь?

Мне было тогда восемь лет. Помню маму, приехавшую из Миргорода. Никогда больше не видел я ее такой. Она плакала. Я тоже. Сидели вместе на диване и плакали.

Все остальные невзгоды она переносила, никогда не жалуясь. Бегала босичком по своим «Дарданеллам», во время учебных тревог в противогазе и с лорнетом (!), таскала «раненых», вот только в очередях никогда не стояла (бабушкино занятие) и старыми перьями не торговала на Евбазе (теткина работа).

Два года провели они в оккупации. Три немолодых женщины, впроголодь, без отопления, а зимы были лютые. Друзья, в большинстве евреи, кто не эвакуировался, погибли в Бабьем Яру. И об этом рассказывала мне потом мама. Просила, умоляла оставшихся — «Не ходите, не верьте им. Живите у нас пока, у нас вас никто не тронет, мы все же русские...» Нет, поверили в какое-то там гетто и пошли. Лизу Александровну, маленькую, беззащитную, одинокую проводила до самого Лукьяновского базара. Дальше не пустили. Обнялись, заплакали и расстались. Уходя, мать слышала уже первые залпы...

Осенью сорок четвертого вернулся я. Навсегда уже...

Можно ли назвать мамину жизнь счастливой? Думаю, что да. Учитывая ее характер.

Детство и юность — Швейцария, Лозанна. Нет, они не были эмигрантами, просто тогда так велось — образование за границей лучше, чем дома. Там же встретилась с моим отцом. Там же родился и Коля. В 1915 году заграничная жизнь кончилась, вернулись домой. Но Швейцарию и Францию мать вспоминала постоянно. С особой любовью и тепло-

той — Париж. «Вот бы тебе, Викочка, туда. И французы бы тебе понравились, всегда веселые. Не то, что швейцарцы, те больше о еде и пищеварении...» Осуществилась теперь мамина мечта, я в Париже. Но сейчас не «belle epoque», сейчас инфляция, веселых куда меньше. Думаю, что самой веселой, окажись она здесь, была б именно она.

Умерла она тихо. Просто не проснулась.

Последний год она прикована была к постели. Поскользнулась на полу и сломала ногу. В этом возрасте не очень рекомендуется. Кость срослась, она стала выходить с моей помощью к столу, но из дому уже не выходила. Кончились прогулки, кончилось «Галопом! В кино!» И постепенно угасла.

«Дай мне, Викочка, Писарева», — по привычке говорила она, но он уже не очень читался, больше лежала, печально глядя в окно, вспоминая иной раз Колю, а то и папу, своего папу.

— И плачу я, и плачу я, и горько-горько плачу я...

— Мам, ну что это ты?

— Да так... Ты не слушай.

Она часто повторяла эту, неизвестно откуда пришедшую к ней фразу и так это было не похоже на нее. А потом вдруг улыбнется.

— Ты помнишь еще тот стишок про ласточку? Почитайка мне.

И я читал чудом сохранившийся в памяти французский стишок про маленькую ласточку и ее маму, которая учит ее летать.

— И почему ты не говоришь по-французски? У тебя такое произношение...

— Ладно, ладно... Другие заботы. Пойдем лучше чай пить.

— Пойдем. А Исачок пришел?

— Сейчас придет.

— Люблю я твоего Исачка. Он лучше всех.

— Даже лучше меня?

— Сравнил... Он же не пьет. — А в глазах улыбка.

Парировать мне было нечем.

Хоронили ее в тихий, солнечный, осенний день, с падающими золотыми листьями кленов, которые она так любила собирать и сушить в толстом «Ля-руссе», а потом в зеленом однотомнике Лермонтова, сохранившемся еще с тех лет.

Покоится рядом с бабушкой и тетей Соней*. В одной ограде. На похоронах было много друзей. Это они сажают сейчас на могилу цветы. Она всегда прибрана, ухожена. Фотография трех холмиков у меня на столе. Пришла из Австралии, из Сиднея. И засушенный цветочек рядом. С того же холмика. Прислала незнакомая мне тогда еще дама — Валерия Павловна Тоцкая. Побывала в Киеве, знала когда-то мать, разыскала могилку, сняла, сорвала цветочек и через моря-океаны долетело это до меня. Как когда-то мое фронтовое письмо через весь земной шар до мамы... Не зря любила она переписку, больше чем сына, как говорили досужие языки.

1980

---

* Могилы бабушки Алины Антоновны Мотовиловой (урожд. фон Эрн) (1857—1943), тети Софьи Николаевны Мотовиловой (1881—1966), мамы Зинаиды Николаевны Некрасовой (урожд. Мотовиловой) (1879—1970) находятся на Байковом кладбище в Киеве, 13-й участок.

КИЕВУ — 1500 ЛЕТ

Статья для радиопередачи

Посоветовашись с кем нужно и выслушав все положенные рекомендации вышестоящих органов, ученые Украины поняли, что им доподлинно уже известно, что Киев, мать городов русских, заложен был в мае 482 года. И то, что сделано это было тремя братьями Кием, Щеком и Хоривом и примкнувшей к ним сестрой Лыбедью, тоже было окончательно решено и подписано. Началась подготовка к знаменательному юбилею.

1500 лет отрезок времени немалый. Событий произошло за эти годы достаточно, надо в них только разобраться. И разобраться так, чтобы всем стало ясно, что из этих полуторатысяч лет, — 1435 были годами гнета и героической борьбы с ним, а 65 (последних, разумеется) — бурного расцвета и преуспевания. В годы гнета, правда, тоже были периоды небольшого относительного расцвета (Ярослав Мудрый, Богдан Хмельницкий, когда ему пришло в голову добровольно присоединить Украину к России), но все это не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит сейчас.

А сейчас?.. но не будем голословными, давайте лучше послушаем, почитаем, что в связи с этим говорят деятели страны.

Союз писателей Украины, в преддверии праздника решил собрать всех, кому положено и кто достоин этого, на специальное заседание Секретариата. Собрались. Из Мо-

сквы приехала внушительная делегация во главе с двумя Героями Социалистического Труда М. Алексеевым и А. Софроновым, из Минска — первым секретарем Союза писателей Белоруссии Нилом Гилевичем. Так как Киев (дальше привожу несколько длинную, но очень точно определяющую пафос всего праздника цитату): «Киев во все времена вековечной дружбы трех народов, русского, украинского и белорусского наполнял вдохновением источники единения братских культур. Из глубины веков ведут еще свою родословную литературу трех братских народов, объединенных верностью идеалам добра и справедливости, высоким патриотизмом, интернационализмом, любовью к родной земле...» В силу этого и, добавлю уже я, в силу того, что Киев считается колыбелью этих трех братских народов, представителей других народов, населяющих Советский Союз, на это заседание не пригласили, ограничились тремя, из одной колыбели, всех остальных соберут к другому юбилею — 60-летию Советского Союза.

Какими же мыслями поделились с присутствующими три представителя братских литератур? Свежими и интересными, скажем мы, но кроме них, свежих и интересных, о вечной нерасторжимой дружбе трех народов, А. Сафонов поделился своими воспоминаниями, как в дни 325-й годовщины воссоединения Украины с Россией, поездка в Черкассы вдохновила его написать три думы — про Богдана Хмельницкого, Т. Шевченко и про Черкассы. Последнюю думу он тут же прочел с трибуны. Белоруса Нила Гилевича глубоко тронуло то, что киевляне назвали один из районов своего города Минским. Меня же особенно привлек рассказ Павла Загребельного (первого секретаря Союза писателей Украины) о том, каким он видит сегодняшний Киев, весьма художественно изложенный им в газете «Радянська Україна» за 12 марта.

В основном много в этом рассказе ласкового неба, клубящихся облаков, шума древних дубрав, щебета птиц, веселого детского смеха и эха девичьих шагов по плитам древней Софии. Таким рисуется Загребельному Киев, го-

род, — заканчивает он, — где искусство вырастает из природы и истории, где человек и государство воссоединены так же вечно, как свобода и власть, как величие и достоинство...

Да Загребельный же поэт, подумал я, прочитал эти строки — и тут же вспомнил другого поэта, Миколу Руденко... Человек и государство, свобода, величие и достоинство... И ласковое небо, щебет птиц, детский смех... Вряд ли доносится сейчас до Москвы веселый этот смех, вряд ли так уж ласково выглядит небо, которое он видит сквозь тюремную решетку. Да, он, вступивший в партию еще на фронте, раненный-перераненный, стихи которого печатались во всех журналах, изолирован сейчас, как принято говорить на юридическом языке, от своего народа, короче — в тюрьме. И никто о нем, в прошлом секретаре парторганизации Союза писателей, не вспомнит...

И о Гелии Снегиреве тоже не вспомнят, о человеке, который мог свободно жить и творить, а вместо этого совал свой нос куда не надо (кому нужны эти процессы 20-х годов, СВУ, все эти старики-профессора — были и нету, забыли...), дружил не с тем с кем надо, и на «сионистское сборище» в Бабьем Яру ходил, и что-то там еще снимал. Более того, написал еще письмо самому Брежневу, в котором пытался утверждать, что все в этой стране ложь — даже колосья в гербе, которые привозятся из Америки и Канады...

И об Иване Дзюбе тоже не вспомнят, самом, может быть, умном, талантливом, такой трагичной судьбы деятеле украинской культуры. И речь его 29 сентября 1966, в день 25-й годовщины расстрела в Бабьем Яру тоже не вспомнят. А он произнес там не пустые слова — слова о дружбе украинского и еврейского народов.

Да и о самом Бабьем Яре не вспомнят — поставили, наконец, памятник, есть теперь куда иностранцам приезжать, дался им этот памятник, все уши прожужжали — говорить же будут о том, что древний и всегда молодой город, засучив рукава, созидает новый, небывалый мир, что в нем столько-то фабрик, заводов, научно-исследовательских ин-

ститутов и среди них прославленный на весь мир Институт электросварки им. Патона и Кибернетики покойного Глушкова, и что корни всего этого уходят в глубь веков, и за это поднимут потом бокалы, по-украински «келыхы», и начнут обниматься и поздравлять друг друга с заслуженной наградой — а их будет предостаточно и «Дружбы народов» больше всего...

О дружбе... Какое прекрасное слово! И во что оно выродилось? Дружба народов, дружеская рука, братская поддержка, братские партии... И венцом всему — газета, именуемая «Правдой»...

1982

СТАРЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ

Моему родному городу,
которому сейчас невесело.

Вряд ли кто помнит сказку Андерсена «Старый уличный фонарь». Я ее просто никогда не читал. А вот случилось, что прочел недавно.

Листая в книжном магазине прекрасно изданную издательством «Мистецтво» (том самом, где я в незапамятные времена был секретарем парторганизации!) книгу о Егоре Нарбуте, изящнейшем украинском графике, я обнаружил в ней несколько иллюстраций к сказкам Андерсена. И среди них одна, к этой самой о фонаре.

Старый уличный фонарь заканчивал свою жизнь. Отработал. И его сняли. И взял его к себе в дом старый фонарщик, который столько лет зажигал его по вечерам. И заскучал, загрустил фонарь. Так много повидал он на своем веку, так много интересного мог бы он рассказать. Вставьте в меня свечу, зажгите и послушайте меня. Но никто не вставлял в него свечу, и не зажигал, и не выслушивал его такие трогательные, печальные и радостные, такие поучительные рассказы. Так и грустит он в своем углу, никому не нужный, всеми покинутый...

Я не Андерсен, сказок не пишу, но об одном фонаре тоже могу рассказать.

Стоял он как раз под нашим балконом, очень красивый, высокий, изящный, с большими завитками наверху, украшенный металлическими листьями то ли аканта, то ли чего-то другого мифически-геральдического.

На цоколе его рельефно выделялись головы каких-то бородатых старцев. Фонарь был не керосиновый, как у Андерсена, а электрический. Но он никогда не светил — в те далекие, бурные годы с освещением в Киеве было плохо.

Таких фонарей на отрезке нашей улицы, Кузнечной, между Караваевской и Мариинско-Благовещенской, было пять. На нашей, четной стороне, три — напротив домов № 6, № 14 и нашего, 24-го. На противоположной стороне, за каштановым бульваром, — всего два. Ни один из них не горел. По вечерам киевляне ходили в темноте, даже привыкли к этому.

Горели фонари только на Крещатике. Через один. И два спаренных возле Городской думы. Между ними на гранитном пьедестале стоял высокий господин в длинном бронзовом сюртуке. Под ним на цоколе было написано: «Столыпину — благодарный Юго-Западный край».

Потом Столыпина свергли (он долго стоял и меланхолически смотрел из-за забора большого сада наших знакомых Кистяковских, на той же Кузнечной, только ниже), а на его место поставили Карла Маркса. Он высился, вернее, верхняя его половина, от пояса, на двух врезанных друг в друга кубах, и сам был в том же стиле, который назывался тогда «кубизмом». Одна его рука была заправлена за борт то ли фрака, то ли пиджака (острили, что он держится за бумажник), другой, по-моему, вовсе не было.

Два таких же спаренных фонаря стояли против городского театра на Владимирской и два на Царской площади, по сторонам горизонтально вытянутого пьедестала, на котором возвышался когда-то Александр II. Как он выглядел, я не помню, на его место на пьедестале поставили ящик с цветами. Но перед самым своим отъездом я обнаружил его, бронзового, с рукой на рукояти сабли, скучающим во дворе Русского музея на улице Чудновского.

Все эти фонари светились. Правда, только по два часа в день, от восьми до десяти. Светились они и на Николаевской, но там они висели на цепях, перекинутых от дома к дому, через улицу и — это был высший шик! — на них

были молочные колпаки — абажуры, слегка вытянутые наподобие огурца. Наличие их придавало Николаевской улице нечто европейское. К тому же и мостовая была базальтовая, из маленьких аккуратных кубиков, уложенных веером, а вокруг лип, украшавших улицу, красовались металлические решетки. В довершение всего в гостинице «Континенталь» сияли, даже не два часа, а целый вечер, витрины концессионного шведского магазина SKF. В них беззвучно крутились на шарикоподшипниках какие-то колеса, и рядом красивыми русскими буквами было написано: «Даже кривой вал...» Что он делал, этот кривой вал, я уже не помню.

Такой лучезарно-шикарной была наша Николаевская улица, с цирком Киссо, куда мы зайцем пробирались на «Международные ч-ч-эм-пионаты французской борьбы», и театром Соловцова в самом конце, наверху.

Мы считали, что именно так должны выглядеть Елисейские Поля в Париже. Вообще, нам ужасно хотелось походить на нормальный западный европейский город. (К слову, маленькая забавная деталь, связанная с этой самой Николаевской улицей. Герой моих «Окопов» Керженцев, лежа ночью на берегу Оскола и вспоминая Киев, вспоминает и Николаевскую с молочными фонарями, «самую европейскую из киевских улиц». При переиздании слово «европейскую» заменили на «самую эффектную»! В украинском издании не слишком грамотный переводчик «эффектную» превратил в «эффективную». Бывает и такое.)

Итак, нам ужасно хотелось выглядеть по-западному. Париж не Париж, но что-то вроде Рио-де-Жанейро...

Николаевские фонари, решетки, сияющие никелем, «линкольн» у «Континенталя», SKF, шикарный кинотеатр «Шанцер», кафе «Семадени», не такое пышное, как в Монте-Карло, но свое собственное «Казино» на углу Крещатика и Фундуклеевской. Ну, а садами своими над днепровскими кручами мы побивали все возможные рекорды — тут с нами никто не мог сравниться... Единственной и незаживающей раной был вокзал — длинный, уродливый сарай. Перед первой войной запланирован был новый, старый снесен,

и построили временный, простоявший пятнадцать лет. Построенный в начале тридцатых годов новый рану затянул — я к строительству имел касательство и считал, что тут мы наконец достигли европейского уровня.

Вот таким был Киев, когда в нем не было еще и полумиллиона (сейчас более двух!) и по улицам, трезвоня, бегали веселые трамвайчики.

Иногда по вечерам мы с товарищами, стоя на балконе, развлекались своеобразным образом. Плевали. Важно было рассчитать так, чтобы плевок угодил на голову прохожему. Было очень смешно, когда мы попадали в цель. И только фонарь был свидетелем этих наших, как нам казалось, таких смешных и остроумных выходок. Но он никогда нас не выдавал.

И вот случилось чудо. Не помню, в каком именно году это произошло, но однажды, возвращаясь с дачи вечерним поездом и сойдя на нашем углу с трамвая № 9, я не поверил своим глазам. Фонари на нашей улице горели! Все пять! И наш, и у четырнадцатого, и у шестого дома, и оба напротив. Не поднимаясь к себе, бросив кошелку с бельем для стирки у швейцарихи Кати, я помчался на Владимирскую — господи! — и там зажглись, перед университетом. Это был праздник, триумф, победа! Вырвались, сравнялись наконец... Я вихрем влетел на шестой этаж к Вальке Цупнику — «Видал?» — «Видал!» И мы, кажется, обнялись...

Боже мой, как мы любили свой Киев, как радовались каждой мелочи, появившимся вдруг новым дощечкам с названием улиц, синеньким, аккуратным, эмалированным с белыми буквами — «вул. Леніна», «вул. Карла Маркса» (та самая, Николаевская), «вул. Воровського» (для нас все равно Крещатик), каким событием было появление десяти новых Николаевского завода трамвайных вагонов №№ 801—810 (прежние были все семисотки, а пульманы от 1001-го и дальше). А появление первых автобусов? Событие, о котором долго говорили как о начале новой эры. Десять красно-желтых «Даймлер-Бенцев» с впервые увиденными нами автоматически закрывающимися дверцами-гармошками

и — ты заметил? — специальными лампочками, освещающими ступеньки. Ходили они по Крещатику, от площади Сталина до площади Толстого, и большинство пассажиров только делало вид, что куда-то едут по делу. Просто катались, щупая сиденья — из настоящей ли кожи они сделаны?

Очень гордились мы и гранитными набережными, которые вытянулись вдоль Днепра («Одягнемо Дніпро у граніт»), заработавшим наконец «финикюлером», канатной дорогой с Подола на Владимирскую горку... Как обожали Постышева, отца и вдохновителя всех этих прекрасных новшеств...

А фонари зажигались все больше и больше, один за другим. Жить стало лучше, жить стало веселее...

Возвращаясь ночью домой, я подмигивал нашему милому, со стариками на цоколе — по-моему, они стали даже улыбаться — «Ну как, старик, светим? Свети, свети, родной!»

Наступила война...

С трепетом соскочил я с грузовика возле Бессарабского рынка. Я возвращался на фронт после бакинского госпиталя, но по дороге заскочил в Киев к моим «старушкам». Это было в конце ноября 1943 года.

Крещатика не было. Был битый кирпич, закопченные остатки стен, покореженные железные балки, и среди этого хаоса тоненькие, протоптанные в снегу тропинки. И редкие прохожие...

Взвалив на плечо сидор, двинул пешочком на свою Кузнечную, превращенную уже в улицу Горького. Угловой, двадцать шестой и наш, двадцать четвертый, были сожжены. На нашем балконе, на шестом этаже, лежали, чудом сохранившиеся, связки дров. Сохранился и фонарь. Но старцы не улыбались.

Близнецы их на Владимирской тоже уцелели. Университет напротив зиял пустыми глазницами, красные стены покрыты были копотью.

Городской театр, ставший Держоперой ім. Шевченко, стоял целехонький. Четыре крутых завитка перед его фасадом тоже пустовали.

Но родители мои были живы, и это главное. Не дожила только бабушка, но ей-то было почти девяносто лет.

Я с неделю прокантовался в Киеве, выхлопотал какие-то льготы маме, набрал и оставил какое-то количество свинотушенок и ненавистной мне с детства таранки, с дровами на балконе, увы, ничего не вышло — кто-то обскакал меня — и убыл на фронт искать свою дивизию.

Ну а фонарь, стройный мой любимец фонарь со стариками? Что он мог рассказать мне об оккупации? Ведь он был свидетелем многого. Видел, как немцы очищали квартиры, не торопясь, обстоятельно, в день по этажу. Видел, как мои старушки перетаскивали по ночам нелепые свои пожитки. Но книги — их было много, отложили на конец — не хватило времени, сгорели. А картины — прадедушкины итальянские акварели в облупившихся лакированных рамах и Шильонский замок — выволокли. И ломберный столик с закапанным чернилами зеленым сукном тоже. И альбомы с господами в стоячих воротничках и фарфорового всадника в шляпе с пером. Пыхтя и останавливаясь на каждой площадке, тащили это в тридцать восьмой номер, в брошенную эвакуировавшимися жильцами пустую квартиру. И все это мой фонарь видел. И как пришли потом немцы с канистрами и подожгли наш красивый шестиэтажный дом с узорными паркетами и никогда не топившимися каминами: дымоходы были прочно забиты. Видел, как лизало пламя фасад с лепными гирляндами и масками сибилл, как рушились перекрытия, как черный дым стелился над нашими каштанами. И как мама и тетя Соня пришли потом, когда немцы ушли, и написали на стене мелом: «Некрасовы в доме № 38, кв. 7», тоже видел. И еще много, чего не успели мне рассказать мама и тетя Соня... Стоял и молчал, и душили его, видимо, от беспомощности слезы...

Но настал день...

Киев постепенно приходил в себя. Павло Тычина написал стихи: «Сестри, братики, попрацюємо на Хрещатику...» И трудящиеся, студенты и академики, включились в дело чести, долбали ломами руины, выстроившись цепочкой,

передавали друг другу кирпичи. Когда все было разобрано, решили Крещатик заново заасфальтировать, вдоль тротуаров поставить новые фонари. И не простые, а золотые. Об этом много тогда писали, киевляне, в основном, возмущались и подсчитывали, сколько стоит каждый фонарь, сколько можно было портянок пошить — сверхмонументальные эти осветительные мачты стояли на гранитных полированных постаментах, а вокруг них еще и гранитные скамеечки... Стоят они и до сих пор, эти монстры. А наши любимцы...

Вернулся я как-то, то ли из Крыма, то ли из Москвы, подошел к нашему бывшему дому — его уже восстановили и выкрасили в безликую бледно-желтую краску — и увидел перед входом свежезасыпанную яму. Фонаря больше не было. А работяги, балансируя на выдвижных лестницах, долбили стены и цементировали какие-то штыри... Потом от штыря к штырю, через улицу, натянули провод и повесили фонари. Очень много. И улица Горького, бывшая Кузнечная, засияла, как Бродвей.

Но жить стало хуже, жить стало грустнее...

Андерсеновский фонарь печально коротал свою жизнь в углу фонарщика, а наш, очевидно, переплавили на пушки.

Эх, жить бы в андерсеновские времена.

1986

ЯСЯ СВЕТ

«Светлое, безмятежное…»

Началось все с того, что кто-то постучался во входную дверь — звонков тогда и в помине не было. Стук был какой-то чужой, нерешительный. Принято было дергать дверной разболтавшейся ручкой или стучать кулаком, а тут робкий стук пальчиком. Я пошел открывать. В дверях незнакомый господин. Именно господин, из того разряда, который на языке тех лет назывался «дорежимный». Воротничок, галстук — тогда это было не в моде, ходили, в основном, во френчах и толстовках, — бородка, пенсне. Такими мы представляли себе приват-доцентов или присяжных поверенных.

— Судя по дощечке на дверях, я попал именно туда, куда надо. Вы не сын женщины-врача, фамилия которой здесь указана? — он провел пальцем по дощечке, где были написаны мамины часы приема, которого никогда не было.

Витиеватость фразы мне не понравилась.

— Да, сын, — сказал я.

— Тогда вы-то мне и нужны. Направил меня сюда Герасим, здешний швейцар.

— Слушаю вас, — как можно вежливее сказал я.

И тут, не входя даже, он сообщил, что недавно с семьей приехал в Киев, поселился в нашем доме, и так как у него есть сын приблизительно моего возраста, он поинтересовался у Герасима, у кого здесь, в доме, есть интеллигентные дети. Герасим и направил его к нам, в семнадцатую квар-

тиру. Эта фраза мне тоже не понравилась — «интеллигент» было тогда словом ругательным.

— Так вот, можно ли моему сыну Ясе к вам прийти?

Я сказал, что можно, и он в тот же день пришел.

Друг другу мы не понравились. Мне он показался излишне вежливым, воспитанным, с притворной, неестественной улыбкой. Для него же, как выяснилось потом, я оказался слишком развязен и болтлив.

Мы минут десять постояли на балконе, рассуждая о красотах Киева и его достопримечательностях. Было нам лет по пятнадцать, ходили мы в коротких штанишках и сандалиях, и бронзовый цвет моих колен определил следующую тему — Крым, откуда я только что приехал. Выяснилось, что в Крыму Яся никогда не был, а я каждое лето отдыхал в Алуште, что плавать он не умеет — у них в Енакиеве, на Донбассе, откуда он приехал, речки нет, — стало ясно, что говорить больше не о чем. Так и не перейдя на «ты», мы расстались.

«Что может быть бессмысленнее искусственных знакомств», — подумал я и вскоре об этой встрече просто забыл.

Через месяц-другой, когда все мальчики моего возраста готовились к вступительным экзаменам в профшколе — была тогда такая промежуточная трехлетняя институция между семилеткой и вузом, — ко мне забежал вдруг Яся — нет ли у меня угольника?

Пока я искал угольник, завязался разговор — сначала о профшколах (он поступал в торгово-промышленную, а я в железнодорожную, строительную), — выяснилось, что ни то ни другое нас не интересует, а любили мы...

Как ни грустно в этом признаться, но оба мы относились не к разряду драчливых забияк, а любили Жюль Верна и Луи Буссенара, книги о приключениях и путешествиях, я к тому же собирал марки и кормил дафнией двух рыбок, живших в банке от варенья, а он увлекался географией и склонен был к литературным упражнениям.

Географией когда-то и я увлекался и, когда учился в старшем подготовительном классе гимназии Хорошиловой, добился разрешения ходить в первый класс на уроки

географии. Добытая мною тогда «Новая карта Европы» с расчлененной Австро-Венгрией и впервые появившимися Польшей и Чехословакией, сразу же привлекла внимание Яси, и, думаю, именно она послужила первым толчком к нашей последующей дружбе.

Думаю, эта дружба была самым светлым пятнышком моей жизни. В ней не было никакой корысти, просто мы не могли друг без друга, каждый из нас был составной частью другого.

Возраст... Абсолютная безмятежность. Как и на что живем — черт с ним! Родители где-то работают, что-то зарабатывают. С голоду не умираем. На дворе — нэп, все дорого, но все есть. Видимость какого-то благополучия. По сравнению с предыдущими годами — шик, блеск! На углу Крещатика и Фундуклеевской есть даже казино — чем не Монте-Карло! — а в кино заграничные фильмы — смотрим, как на Западе разлагаются, немного завидуем, но гордимся, что у нас этого нет — мы строим новую жизнь. В истинность социализма верим, хотя не очень понимаем, что это такое, но все трудности преодолеть готовы. Мы искренние, чистые, честные, к тому же нам шестнадцать-семнадцать лет — лучший из всех возрастов.

И решили мы с Ясей издавать собственную газету. Причем не обыкновенную, а газету будущего. Называлась она «Радио», и события, описанные в ней, происходили в... 1979 году! Почему именно этот год — не помню, но разнообразие их и неожиданность были потрясающие.

Был ли это первый самиздат? Нет. Еще в школе мы с друзьями — было это в 1923 году, а нам по двенадцать лет — издавали — нет, не газету, а журнал. Назывался он почему-то «Зуав» — потом, очевидно, из патриотических побуждений переименован в «Маяк», и вышло, если не ошибаюсь, пять номеров. Один из них, спаренный (№№ 2 и 3), хранится у меня в Париже, другие — у моего живущего сейчас в Ленинграде сверстника по имени Шура.

Журнал во всех отношениях был аполитичный. В основном приключенческий. А-ля «Всемирный следопыт». Со-

стоял из начал так никогда и не законченных романов с захватывающими названиями: «В стране браминов», «Остров в огне», «Тайна бандитов», «Приключения трех моряков», «Дуэль», «Приключения Фрикэ Легира», ну и всякие — «По белу свету», «Война и техника», «Забавный уголок»...

На обложке моего спаренного номера изображен французский бородатый зуав, в феске и красных шароварах, над ним — два пересекающихся знамени — красное и трехцветное французское (общество «Дружбы», что ли?), шпага и винтовка. Под заголовком написано: «Еженедельный журнал, 5 апреля 1923 года».

Лучшее в журнале — это, конечно, концовки, за которыми было ожидание — «Продолжение следует...» Вот некоторые из них:

«...Он выхватил кинжал и занес его над Налиндрой со словами: “Теперь ты от меня не отделаешься!”» («В стране браминов».)

«...В один миг Фрикэ схватил и втащил в комнату индейца». («Приключения Фрикэ Легира».)

«...Один из полицейских подошел и сказал матадору: “Именем короля вы арестованы. Следуйте за мной!”» («Остров в огне».)

«...Мины все вышли, — воскликнул один из матросов весь бледный. А неприятель был на расстоянии 40 саженей». («Медуза».)

Вот такой был наш «Зуав». Редколлегия состояла из пяти человек — Вики, Вали, Бори и двух Шур. Они же и авторы, они же и читатели. Причины прекращения издания не помню — очевидно, наступившее лето...

В противоположность аполитичному «Зуаву» наша с Ясей газета «Радио» была весьма политична. Был в ней и литературный раздел — что-то загадочное под названием «Авто 257—454», но остальные события — всемирного значения,

В основном шла война — между Советским Союзом и англо-американской коалицией, именовавшейся «англо-амами». Бои шли почему-то в Аляске, а линия фронта

проходила где-то возле Ситхи. Побед особенных не было, поражений тоже, война, в основном, позиционная. Сопровождавшие военные сводки фотографии вырезывались из французского журнала «Иллюстрасьон» за 1916 год, периода Вердена.

Другим не менее важным событием был полет на Марс. Как, что и на чем — не помню, но выяснилось, что на красной планете жизни нет, но каналы все же были обнаружены.

Третьим событием были раскопки в Киеве, на Макарьевском спуске, где обнаружена была стоянка первобытного человека.

Сам Киев рисовался нам чем-то вроде Нью-Йорка, но пределом нью-йоркости было сто трамвайных линий — дальше наша фантазия не шла.

Газета состояла из четырех страниц размера «Правды». Выходила в одном экземпляре. Бумага, довольно толстая, покупалась в писчебумажном магазине Симоненко-Парфененко (бывш. Теуфель), и текст писался карандашом, печатными буквами, под линейку. Заголовок делался мной, готическим шрифтом вроде английского «Таймса».

Номеров вышло штук пять или шесть. Затем опять же помешало, видимо, наступившее лето. В каждом номере была передовая. Одна из них называлась «Политический вопрос в Персии», но что именно тогда в стране происходило — не помню. Шел «1979 год», но о Хомейни что-то не упоминалось.

Последний номер был самым сенсационным. Посвящен он был не более и не менее как убийству председателя Совета Народных Комиссаров — Николая Вильямовича Синежукова! Вот так-то... Короли и президенты выразили свое соболезнование, а на первой странице в траурной рамке был портрет дорогого Вильямыча. Мы долго искали подходящую фотографию убитого вождя и почему-то вырезали и наклеили физиономию английского лорда Грэя из журнала «Грэфик». Скажем прямо — породистые черты английского аристократа не очень-то вязались с привычными чертами

кремлевских деятелей. Как и почему пришла нам в голову такая фантазия — до сих пор ума не приложу.

Как, где и при каких обстоятельствах произошло само убийство — не помню. Имя убийцы тоже забыл, но так или иначе он пойман не был и след его простыл.

Вот таким был последний увидевший свет номер нашей газеты будущего. Как пережил он все последующие «тридцать седьмые годы» — объяснить можно только везением. Обысков у нас в те годы почему-то не было, а такой вид самиздата вряд ли был бы одобрен.

Подшивка мирно дожила до прихода немцев и погибла в огне сожженного немцами дома № 24 по Кузнечной улице, где мы тогда жили... Думаю, что это был лучший из всех выходов, хотя мама и переживала гибель столь ценного раритета...

Дальше наши пути с Яськой Светом надолго разошлись. Он переехал в Москву, женился, переженился, увлекался геологией, географией, стал писать, и думаю, что по истории Христофора Колумба и открытия Америки — нет ему равного.

Пересеклись наши с Яськой пути уже после войны. И произошло это в связи с моими «Окопами Сталинграда».

Живя в Киеве, я послал ему один экземпляр в Москву. Для проталкивания. Он рукопись переплел в шикарный том, а в судьбе ее приняла горячее участие его соседка по Сивцеву Вражку, некая, имеющая к литературе отношение, дама Мирра Соловейчик. Вот она-то и развила активную деятельность, ходила по редакциям и в конце концов столкнулась с критиком Владимиром Борисовичем Александровым, которого и можно назвать крестным отцом романа «Сталинград», превратившегося позднее в повесть «В окопах Сталинграда».

Но это уже другая история, в которой главную роль играли А. Т. Твардовский и редактор «Знамени» — Всеволод Вишневский.

С Яськой же мы потом встречались то в Москве, то в домах творчества. Последний раз отдыхали вместе с ним

в Ялте. Сохранилась у меня фотография, где мы где-то в середине 60-х годов сняты на террасе, почему-то вместе с Самуилом Маршаком.

А последний раз виделись где-то уже перед самым моим отъездом. Чего-то там выпили, по-моему, сухого вина, вспоминали прошлое, повеселились, погрустили и о будущем не говорили.

Недавно я узнал о его смерти. Смерти, может быть, самого близкого моего друга. Потому что дружба пятнадцати-семнадцатилетних — самая прочная из всех, как бы часто она потом не прерывалась. Прерывалась, но не проходила. А это тоже важно

ПРИМЕЧАНИЯ

Коротко о произведениях

«Розмова про Київ». Статья впервые опубликована на украинском языке в газете «Радянське мистецтво», 1945, 14 июля, № 15. Интересный разговор Виктора Некрасова со знакомым капитаном-фронтовиком, ленинградцем, архитектором об искусстве и архитектуре, про их родные города — Киев и Ленинград.

«Размышления о Крещатике». Статья впервые опубликована в «Литературной газете», 1952, 5 июня, № 68 (2941). Определенный интерес представляют приводимые Виктором Некрасовым факты серьезных ошибок и промахов, допущенных при проектировании Крещатика.

«В родном городе». Повесть впервые опубликована в журнале «Новый мир», 1954, №№ 10—11, а отдельной книгой — в 1955 году. Писатель повествует о сложной судьбе фронтовика, вернувшегося с войны. Тема «возвращения» решена в повести с нескрываемой полемичностью. Отвергая каноны «бесконфликтной» прозы, Виктор Некрасов показал, с какими внутренними трудностями его герой Николай Митясов находит свое место в послевоенном мире.

«Почему это не сделано?» (О памятнике погибшим в Бабьем Яру в Киеве). Статья опубликована в «Литературной

газете» 10 октября 1959 года. С возмущением писатель пишет о решении властей Киева «засыпать Бабий Яр, сровнять, а на его месте сделать сад, соорудить стадион...» И вновь поднимает вопрос о необходимости сооружения памятника киевлянам, зверски расстрелянным в Бабьем Яру.

«Фотографія? Ні, мистецтво!.. » Статья на украинском языке была опубликована в газете «Радянська культура», 1 апреля 1962 года, № 26.

Виктор Некрасов пишет о посмертной выставке своего давнего друга Михаила Григорьевича Болотова (1881—1958) — прекрасного киевского фотографа. Болотов работал вместе с женой Ниной Мелитоновной в фотолаборатории Киевского института рентгенологии и одновременно снимал памятники архитектуры и уголки старого Киева. Только после смерти замечательного мастера эти фоторабoты были выставлены в Киевском музее русского искусства. А затем, стараниями В. Некрасова, была организована выставка фотографий Болотова и в московском Доме Архитектора, имевшая большой успех.

«Из блокнота». Два очерка (1. «Царь-рыба»; 2. «Из Касабланки в Дарницу») были опубликованы в журнале «Новый мир», 1963, № 11.

В первом очерке Некрасов пишет в ироничном ключе о своем давнем желании отдохнуть с другом от киевской суеты, пожить у реки в сельской местности, и что из этого в конечном счете вышло. Во втором очерке мастерски описана забавная история, характерная для того времени, происшедшая со случайными пассажирами такси, возвращавшимися из Борисполя в Киев, и попавшими по воле случая в украинское село, на встречу демобилизованных солдат.

«Путешествие по улице детства». Аудио-репортаж (запись 1966 года) Виктора Некрасова об Андреевском спуске, опубликован в звуковом ежемесячном журнале «Кругозор», 1968, № 12 вместе с «Новогодним рассказом».

«Дом Турбиных». Легендарный очерк впервые опубликован в журнале «Новый Мир», 1967, № 8, с. 32—142. Именно его публикация и предвосхитила появление булгаковского музея на Андреевском спуске в Киеве. И с легкой руки Виктора Некрасова дом этот киевляне называют не по фамилии автора романа «Белая гвардия», а по фамилии «живших» здесь его героев.

«Алина Антоновна». Журнальный вариант рассказа опубликован в «Новом мире», 1970, № 6, а затем в мемуарном сборнике «В жизни и в письмах». Небольшой рассказ посвящен любимой бабушке писателя Алине Антоновне Мотовиловой (в девичестве — фон Эрн).

«Городские прогулки». Мемуарные записки о Киеве написаны в 1969—1970 годы, но изданы не были по понятным причинам. Лишь после смерти Виктора Некрасова опубликованы в журнале «Юность», 1988, № 7.

«Городские прогулки» Виктор Некрасов писал для «Нового мира». Писал по частям и читать давал по частям. Сначала я прочитала страницы, связанные с Булгаковым. Рассказ его «Дом Турбиных» был напечатан в «Новом мире» в 1967 г. Он встречен был с большим интересом и вызвал множество самых разнообразных писем и откликов. Именно Некрасов нашел в Киеве, разыскал и открыл этот, прежде никому не ведомый дом. Так завязалась эта линия «Городских прогулок». Не буду погружаться в воспоминания, скажу только, что, когда он довел рукопись до конца, в 1969—1970 годах я уже не работала в «Новом мире». «Городские прогулки» напечатать в те годы не удалось, и рукопись в том, тогдашнем, памятном для меня виде, он оставил у меня. Вскоре после написания письма из Парижа, третьего сентября 1987 г., Виктор Некрасов умер». А. Берзер.

«Прогулки по Киеву» (Литературный сценарий). Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украины. Фонд № 1009, опись № 5, дело №

113. Листы, б/н, 1—42. Сценарий был написан в 1970 году, в трудные времена для Виктора Платоновича (смерть мамы, слежка КГБ, запрет на издание его произведений). Конечно же, фильм по сценарию не был снят. Публикуется впервые.

«Борисфен, Днепр, Славутич, Дніпро». Мемуарные заметки о Днепре. Написаны 20 июля 1980 г.

«Мама». Трогательный мемуарный очерк посвящен матери писателя — Зинаиде Николаевне Некрасовой (1879—1970). Впервые был опубликован в газете «Новое Русское слово» (Нью-Йорк) 7—8 октября 1980 года.

«Киеву — 1500 лет». Эта статья написана 27 апреля 1982 года для радиопередачи. Хранится в Центральном государственном архиве-музее литературы и искусства Украины. Фонд № 1185, опись 1, ДЕЛО №11.

«Старый уличный фонарь». Мемуарный очерк впервые опубликован в газете «Русская мысль» (Париж) 22 июня 1986 года, вскоре после Чернобыльской катастрофы. Поэтому понятно посвящение к очерку: «Моему родному городу, которому сейчас невесело».

Автор хотя и подчеркивает, что «я не Андерсен, сказок не пишу», но читателю предлагается увлекательная история фонаря, стоявшего возле дома на улице Кузнечной, 24 в Киеве, где когда-то жил писатель.

«Яся Свет» («Светлое, безмятежное…»). Очерк впервые опубликован в газете «Новое Русское слово» 16 июля 1987. В очерке речь идет о друге детства В. Некрасова Ясе Свете.

В 1926 году он вместе с родителями из Енакиево переехал в Киев. Семья Светов жил в одном доме с Некрасовыми на улице Пролетарской (Горького), 24. Некрасовы жили в квартире № 17, а Светы в соседнем парадном, в квартире № 22.

Яков Михайлович Свет, переехав в Москву, в дальнейшем стал ученым, известным писателем, автором многих книг по истории географических открытий (в частности, книг «Христофор Колумб», «Маггелан», вышедших во всесоюзной серии «Жизнь замечательных людей», «Алая линия», «Одиссей поневоле»), переводчиком (например, дневников Джеймса Кука). Именно к нему в Москве обратился Виктор Некрасов с просьбой о содействии первой публикации своей знаменитой повести о войне.

Виктор Некрасов и Яков Свет — ровесники, одногодки, родились в 1911-м. Познакомившись в юношеском возрасте, сохранили дружбу да конца своих дней и ушли из жизни в один год — 1987-м.

Александр Немец, автор
интернет-проекта «Киевский календарь»
и «Сайта памяти Виктора Некрасова»
(в соавторстве с Виктором Кондыревым).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень произведений Виктора Платоновича Некрасова, связанных с киевской тематикой

1. Співаймо славу Перемозі [Споём славу Победе] : рецензія // Радянське мистецтво. — 1945. — 13 травня (№ 6). — С. 3. — [Текст укр. яз.].
2. Людина і вчитель [Человек и учитель] // Радянське мистецтво. — 1945. — 23 травня (№ 8). — С. 4. — [Текст укр. яз.].
   Еженедельник «Радянське мистецтво» выходил в Киеве в 1945—1954 годы, где с марта 1945 по 1947 г. Виктор Некрасов работал заведующим отделом.
3. Розмова про Київ [Разговор о Киеве] // Радянське мистецтво. — 1945. — 14 липня (№ 15). — С. 3. — [Текст укр. яз.].
4. Театральний художник [Театральный художник] // Радянське мистецтво. — 1945. — 23 жовтня (№ 29). — С. 4. — [Текст укр. яз.].
5. Найслабше місце дипломних проектів [Наиболее слабое место дипломных проектов] // Радянське мистецтво. — 1946. — 6 серпня (№ 32 (70)). — С. 4. — [Текст укр. яз.].
6. В. Г. Заболотний / В. Некрасов, П. Гасовський. — К. : Мистецтво, 1947. — 40 с. — (Майстри мистецтва України). — [Текст укр. яз.].
7. Испытание (Опасный путь) : пьеса. — [Написана вскоре после войны, поставлена в 1949 г. Московским театром им. Станиславского] // Радуга. — 1970. — № 8. — С. 52—90.

8. Размышления о Крещатике // Литературная газета. — 1952. — 5 июня (№ 68).— С. 2.
9. В родном городе : повесть. // Новый мир. — 1954. — № 10. — С. 3—65; № 11. — С. 98—178. — [Отдельная книга] . — М. : Молодая гвардия, 1955. — 261 с.
10. Фельетонные излишества / Н. Дубов, В. Некрасов // Литературная газета. — 1955. — 1 декабря (№ 143 (3488)). — С. 2.
11. Почему это не сделано? // Литературная газета. — 1959. — 10 октября. — С. 2.
12. Дедушка и внучек с P.S. : рассказ с поскриптумом. — [без «P.S.»] . — Новый мир. — 1959. — № 12. — С. 42—65. — [с «P.S.» впервые опубликован в мемуарном сборнике «В жизни и в письмах». — М. : Советский писатель, 1971. — С. 5—60].
13. Листки из блокнота : заметки // Юность. — 1961. — № 6. — С. 62—65.
14. Фотографія? Ні, мистецтво!.. // Радянська культура. — 1962. — 1 квітня (№ 26). — С. 3. — [Текст укр. яз.].
15. Кира Георгиевна : повесть // Новый мир. — 1961. — № 6. — С. 70—126. — [Отдельная книга]. — М. : Советский писатель, 1962. — 150 с.
16. Из блокнота (1. Царь-рыба; 2. Из Касабланки в Дарницу) : очерки // Новый мир. — 1963. — № 11. — С. 136—141.
17. В мире таинственного : рассказ // Новый мир. — 1965. — № 1. — С. 91—93.
18. Новые памятники // Декоративное искусство. — 1966. — № 12. — С. 23—27.
19. Дом Турбиных : очерк // Новый мир. — 1967. — № 8. — С. 132—142.
20. Новогодний рассказ. — [Не включенная автором глава повести «В окопах Сталинграда» и аудио-репортаж «Путешествие по улице детства» (запись 1966)] // Кругозор. — 1968. — № 12.
21. Чужой : маленький портрет. — Новый мир. — 1969. — № 9. — С. 102—110. — [Опубликован в мемуарном сборнике «В жизни и в письмах». — М. : Советский писатель, 1971. — С. 110—125].

22. Паустовский : маленький портрет. — Новый мир. — 1969. — № 9. — С. 120—125. — [Опубликован в мемуарном сборнике «В жизни и в письмах». — М. : Советский писатель, 1971. — С. 156—165].
23. Игнатьев : маленький портрет [под названием «В гостях у графа Игнатьева»] // Новый мир. — 1970. — № 6. — С. 97—100. — [Опубликован в мемуарном сборнике «В жизни и в письмах». — М. : Советский писатель, 1971. — С. 188—194].
24. Алина Антоновна : маленький портрет // Новый мир. — 1970. — № 6. — С. 88—93. — [Опубликован в мемуарном сборнике «В жизни и в письмах». — М. : Советский писатель, 1971. — С. 99—109].
25. Ограбление века, или Бог правду видит, да не скоро скажет : рассказ [написан в конце 1960-х] // Звезда. — 2005. — № 10. — [Публикация В. Кондырева и Гр. Анисимова].
26. Прогулки по Киеву : литературный сценарий. — 1970. — машинопись. — [Хранится в Центральном государственном архиве-музее литературы и искусства Украины. Фонд № 1009, опись № 5, дело № 113. Листы, б/н, 1—42].
27. Все ясно! : рассказ [написан 19—21 октября 1971 г.] // Радуга. — 2011. — № 3. — С. 4—8. — [Публикация Любови Хазан].
28. Камень в Бабьем Яру : статья [написана в 1973 г., была изъята у Виктора Некрасова во время обыска в его квартире в январе 1974 г.]. — Виктор Некрасов «Арестованные страницы». Составитель Любовь Хазан : рассказы, интервью, письма из архива КГБ. — К. : Лаурус, 2014. — С. 183—193.
29. Иван Дзюба, каким я его знаю : статья. — [написана в 1974 г. Впервые опубликована в 3-томном Собрании сочинений. Составители Г. Анисимов, В. Кондырев, Л. Лазарев. Статья подготовлена к публикации Л. Лазаревым. — Т. 2 «В родном городе». — М. : Изографъ, 2005. — С. 898—909].
30. Глузман и Плющ // Русская мысль. — 1975. — 18 августа.

Газета «Русская мысль» выходила с 1947 по 2006 год в Париже.
31. Записки зеваки : мемуарные заметки // Континент. — 1976. — № 4. — С. 13—172. — [отдельная книга]. — Франкфурт-на-Майне: Посев. — 1976. — 174 с.
32. Записки зеваки : мемуарные заметки [отдельная книга]. — Франкфурт-на-Майне : Посев. — 1976. — 174 с. — [Первоначальный вариант этой книги под названием «Городские прогулки» был опубликован после смерти В. Некрасова] // Юность. — 1988. — № 7. — С. 8—31. — [Предисловие А. С. Берзер].
33. Взгляд и нечто: мемуарные записки // Континент. — 1976. — № 10. — С. 11—85. — 1977. — № 12. — С. 90—119, — № 13. — С. 7—82.
34. Судьба Семена Глузмана // Русская мысль. — 1976. — 17 июня.
35. Быль : рассказ [написан в 1970-е, был изъят у Виктора Некрасова во время обыска в его квартире в январе 1974 г.]. — Виктор Некрасов «Арестованные страницы». Составитель Любовь Хазан : рассказы, интервью, письма из архива КГБ. — К. : Лаурус, 2014. — С. 15—19.
36. Вася Шукшин // «Новое Русское слово» . — 1977. — 27 февраля.
Газета «Новое русское слово» выходила с 1910 по 2010 год в Нью-Йорке (США).
37. Не всякому дано заслужить такое (о Мыколе Руденко и Гелии Снегиреве) // Русская мысль. — 1977. — 14 июля.
38. Как я пропил Валегу : рассказ // «Континент». — 1977. — № 13. — С. 28—30. — [Первоначально включен в мемориальные заметки «Взгляд и нечто», а затем опубликован отдельным рассказом].
39. Александр Корнейчук (к 75-летию) : статья для радиопередачи. — 1980. — 12 июня. — рукопись, машинопись.
40. Борисфен, Днепр, Славутич, Дніпро : мемуарные заметки. — 1980. — 20 июля. — машинопись. — [хранится в отделе рукописей Российской Национальной Библиотеки (Санкт-Петербург), фонд № 1505, ед. хр. № 287, 16 л.].

41. Днепр-2 : статья для радиопередачи. — 1980. — машинопись. — [хранится в отделе рукописей Российской Национальной Библиотеки (Санкт-Петербург), фонд № 1505, ед. хр. № 306, 3 л.].
42. Александр Довженко («Земле» — 50 лет): статья для радиопередачи. — 1980. — 30 августа. — рукопись.
43. Бабьему Яру — 40 лет : статья для радиопередачи. — 1981. — 28 сентября. — рукопись.
44. Мама : мемуарный очерк // Новое Русское слово. — 1980. — 7—8 октября.
45. Юность, театр, Достоевский (К 100-летию со дня смерти Ф. М. Достоевского) : мемуарные заметки для радиопередачи. — 1980. — 17 декабря.
46. Николаю Дубову — 70 лет: статья для радиопередачи. — 1980. — 19 декабря. — рукопись.
47. Славик... (С. Глузман) : статья. — 1980. — рукопись.
48. Славик Глузман : статья для радиопередачи. — 1981. — 8 марта. — рукопись, машинопись. — [Опубликована в однотомнике «Виктор Некрасов. Сочинения», — М. : Книжная палата, 2002. — С. 1137—1138].
49. Печальная встреча с детством — парк Монсури : статья для радиопередачи. — 1981. — 16 декабря. — рукопись, машинопись.
50. Софье Мотовиловой — 100 лет : статья для радиопередачи. — 1981. — рукопись.
51. Бесценный документ (О дневнике С. Н. Мотовиловой за 1938 г.) : мемуарные заметки // Новое Русское слово. — 1986. — 25 мая.
52. Мать-Родина в Киеве : статья для радиопередачи. — 1981. — 20 июня. — рукопись, машинопись. — [Опубликована в однотомнике «Виктор Некрасов. Сочинения». — М. : Книжная палата, 2002. — С. 1139—1140].
53. Израиль — 1 : путевые заметки для радиопередачи. — 1981. — 27 июля. — рукопись.
54. Мама : мемуарный очерк // Новое Русское слово. — 1980. — 7—8 октября.

55. Не повезло с фамилией (Леонид Волынский) : маленький портрет // Новое Русское слово. — 1981. — 22 ноября.
56. Бабий Яр — 40 лет : статья для радиопередачи. — 1981. — рукопись.
57. Бабий Яр — 45 лет : мемуарный очерк // Новое Русское слово. — 1986. — 29 августа.
58. Две годовщины (Гелий Снегирев, Мыкола Руденко) : статья для радиопередачи. — 1981. — рукопись.
59. Бабий Яр : статья для радиопередачи. — 1982. — 15 января. — рукопись, машинопись. — [Текст укр. яз.].
60. Киеву — 1500 лет : статья для радиопередачи. — 1982. — 21 апреля. — рукопись, машинопись.
61. В защиту Семена Глузмана : статья для радиопередачи. — 1982. — 7 июня. — рукопись, машинопись.
62. Предисловие к рассказу Гелия Снегирева «Где зарыта собака». — [Написана]. — 1982. — 13 июня] // Континент. — 1982. — № 33. — С. 60—61. — [Текст предисловия использован в радиопередаче «Гелий Снегирев (4-я годовщина смерти)»].
63. Памятник Гоголю в Киеве : статья для радиопередачи. — 1982. — рукопись.
64. Иван Дзюба : статья для радиопередачи. — 1982. — рукопись. — [Текст на рус. и укр. яз.].
65. Плач по Киеву : статья для радиопередачи. — 1983. — 10 марта. — машинопись.
66. Веселый старик — Джон Стейнбек : статья для радиопередачи. — 1983. — 6 апреля. — машинопись.
67. Виктория : рассказ // Новое Русское слово. — 1983. — 19—24 сентября. — машинопись.
68. Сорок лет со дня освобождения Киева : статья для радиопередачи. — 1983. — 18 ноября. — машинопись.
69. Памяти Миколы Бажана : статья для радиопередачи. — 1983. — 28 ноября. — машинопись.
70. Сергей Григорьянц : статья для радиопередачи. — 1983. — 13 декабря. — машинопись. — [хранится в отделе рукописей Российской Национальной Библиотеки (Санкт-Петербург), фонд № 1505, ед. хр. № 486, 3 л.]

71. «Патроны для расстрела» Гелия Снегирева : рецензия // Новое Русское слово. — 1984. — 25 марта.
72. Сорок лет со дня гибели генерала Ватутина : статья для радиопередачи. — 1984. — 28 марта. — рукопись, машинопись.
73. Дело Бейлиса (50-летие со дня смерти) : статья для радиопередачи. — 1984. — 20 июля. — рукопись.
74. По обе стороны стены : записки и рассказы. — Нью-Йорк : Effect Publishing, июль 1984. — 213 с. — [Содержание : По обе стороны стены. — Мраморная крошка. — С. 133—142. — Девятое мая. — Мама . — С. 164—177. — Виктория. — С. 178—213].
75. Александру Корнейчуку — 80 лет : статья для радиопередачи. — 1985. — 15 мая. — рукопись, машинопись. — [Опубликовано в однотомнике «Виктор Некрасов. Сочинения». — М. : Книжная палата, 2002. — С. 1143—1145].
76. Мои следователи : статья для радиопередачи. — 1985. — 30 января. — рукопись, машинопись. — [Опубликовано в однотомнике «Виктор Некрасов. Сочинения». — М. : Книжная палата, 2002. — С. 1141—1143].
77. 80-летие Ванды Василевской : статья для радиопередачи. — 1985. — 4 февраля. — рукопись, машинопись.
78. Собачья жизнь : рассказ // Новое Русское слово. — 1985. — 28 апреля.
79. Виталий Коротич в Париже (о его книге «Трава возле порога») : критическая статья // Новое Русское Слово. — 1985. — 3 августа.
80. Гелий Снегирев (7-я годовщина) : статья для радиопередачи. — 1985. — 16 декабря.
81. Чернобыль : статья для радиопередачи. — 1986. — 12 мая. — рукопись, машинопись.
82. Лежа на диване : рассказ // Новое Русское слово. — 1986. — 17 июня.
83. Старый уличный фонарь : рассказ // Русская мысль. — 1986. — 22 июня.
84. Памяти Гелия Снегирева (9-летие со дня смерти) : статья для радиопередачи. — 1986. — 8 декабря. — рукопись, машинопись.

85. О Косте Рябцеве (О книге Н. Огнева «Дневник Кости Рябцева») : статья. — 1986. — машинопись. — [хранится в Государственном архиве-музее литературы и искусства Украины, фонд № 1185, опись № 1, дело № 12, стр. 31—35].
86. Тарковский и Параджанов : статья для радиопередачи. — 1987. — 28 января. — рукопись, машинопись.
87. Памяти Ренато Гуттузо : статья для радиопередачи. — 1987. — 2 февраля. — рукопись, машинопись.
88. Пиши — не забывай! : рассказ // Новое Русское слово. — 1987. — 20 февраля.
89. Записки о Сталинграде. Подборки статей, написанных для радио в 1981-1987 годы. Опубликованы частично в книге «Виктор Некрасов. Сочинения» (М. : Книжная палата, 2002), предисловие Григория Бакланова.
90. Яся Свет («Светлое, безмятежное...») : маленький портрет // Новое Русское слово. — 1987. — 16 июля.
91. 80 лет тому назад (О движении скаутов) : мемуарные заметки [написано 27 июля 1987 г.] // Континент. — 1987. — октябрь. — № 55. — С. 367—369.
92. Городские прогулки: мемуарные заметки // Юность. — 1988. — № 7. — С. 8—31.

СОДЕРЖАНИЕ

Киев Виктора Некрасова. *А. Немец* 3
Розмова про Київ 11
Размышления о Крещатике 17
В родном городе 23
Почему это не сделано? 278
Фотографія? Ні, мистецтво!.. 281
Из блокнота 284
Путешествие по улице детства 295
Дом Турбиных 298
Алина Антоновна 317
Городские прогулки 328
Прогулки по Киеву 409
Борисфен, Днепр, Славутич, Дніпро 444
Мама 462
Киеву — 1500 лет 474
Старый уличный фонарь 478
Яся Свет 485
Примечания. *А. Немец* 492
Приложение. *А. Немец* 497

Літературно-художнє видання

Серія «Бібліотека киянина»

НЕКРАСОВ
Віктор Платонович

У РІДНОМУ МІСТІ

(російською мовою)

Укладач:
Нємец Олександр Васильович

Головний редактор *О. В. Красовицький*
Відповідальна за випуск *А. М. Гопаченко*
Художній редактор *О. А. Гугалова*
Технічний редактор *Г. С. Таран*
Комп'ютерна верстка: *О. В. Підлісна*
Коректор *Л. І. Вакуленко*

Підписано до друку 26.02.18. Формат 84×108 $^{1}/_{32}$.
Умов. друк. арк. 26,88. Облік.-вид. арк. 25,20.
Тираж 750 прим. Замовлення №

ТОВ «Видавництво Фоліо»
вул. Римарська, 21А, м. Харків, 61057
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 5244 від 09.11.2016

Сайт та інтернет-магазин видавництва:
www.folio.com.ua
Електронна адреса:
market@folio.com.ua

Надруковано з готових позитивів
у ТОВ «ПЕТ»
вул. Ольмінського, 17, м. Харків, 61024
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 4526 від 18.04.2013

Некрасов В. П.

Н48 В родном городе / Виктор Некрасов; сост., предисл. и прим. А. В. Немца; худож.-оформитель Е. А. Гугалова. — Харьков: Фолио, 2018. — 508 с.: ил. — (Б-ка киевлянина).

ISBN 978-966-03-7437-9 (Б-ка киевлянина).

ISBN 978-966-03-8123-0.

В новую книгу из серии «Библиотека киевлянина» вошло 16 произведений Виктора Некрасова (1911—1987), писателя-фронтовика, а впоследствии диссидента, автора знаменитой повести «В окопах Сталинграда» (1946), которая сначала была удостоена Сталинской премии 1947 года, а потом официально запрещена в СССР вместе с другими произведениями Виктора Некрасова с уточнением: «Все издания и на всех языках».

Большую часть своей жизни Виктор Некрасов прожил в Киеве, городе, который он так любил и о котором много писал, историю которого знал блестяще и так же блестяще изложил в «Путешествии по улице детства», «Прогулках по Киеву», «Городских прогулках» и многих других своих произведениях.

УДК 821.161.1(477)

До нової книжки із серії «Бібліотека киянина» увійшло 16 творів Віктора Некрасова (1911—1987), письменника-фронтовика, а згодом дисидента, автора знаменитої повісті «В окопах Сталінграда» (1946), яка спочатку була удостоєна Сталінської премії 1947 року, а потім офіційно заборонена в СРСР разом з іншими творами Віктора Некрасова з уточненням: «Усі видання і всіма мовами».

Більшу частину свого життя Віктор Некрасов прожив у Києві, місті, яке він так любив і про яке багато писав, історію якого знав блискуче і так само блискуче виклав у «Прогулянках Києвом», «Міських прогулянках» та багатьох інших своїх творах.

Книжки видавництва «Фоліо» ви можете придбати:

Оптова торгівля:

61057, м. Харків, вул. Римарська, 21А
(057) 700-05-46, 705-07-30
e-mail:
market@folio.com.ua
proizv@folio.com.ua

Книга поштою:

61057, м. Харків, вул. Римарська, 21А

(057)715-61-19
з 9.00 до 18.00

e-mail: club@.folio.com.ua

ТОВ «Видавництво Фоліо»

61057, м. Харків, вул. Римарська, 21А
(057) 700-44-29
e-mail: avk@folio.com.ua

Представництво в Києві
м. Київ, вул. Січових стрільців, 1—5, оф. 603
e-mail: kievfolio@gmail.com

Видавництво «Фоліо» в інтернеті

Сайт видавництва
www.folio.com.ua

Сайт подарункових ексклюзивних книжок «Фоліо»
www.elitebooks.com.ua

Видавництво «Фоліо» — сторінка на Facebook

Сторінка видавництва «Фоліо» на LiveJournal
www.folioua.livejournal.com

Власні книгарні

м. Київ
«Довженко. Книги. Кава. Кіно»
вул. Бульварно-Кудрявська, 43А
(050) 344-06-46

вул. Васильківська, 1
(в стадії відкриття)
(050) 344-45-51

«Книгарня № 1»
пр. С. Бандери, 10Б
(біля виходу ст. м. «Петрівка»)
(050) 344-43-31

Книжковий ринок «Петрівка»
Центральний ряд, місце 25

м. Львів
«Книги Фоліо»
вул. Коперніка, 3
(032) 244-55-17

Магазини-партнери

Вінницька область

м. Вінниця

Магазин «Буква»
пл. Гагаріна, 2 (ЦУМ)
пр. Юності, 43А
(ТРЦ «Магігранд»)
Магазин «Дім книги»
вул. Соловйова, 3/2
вул. Коцюбинського, 33А
вул. Келецька, 78
Магазин «Книжкова хата»
вул. Тімірязєва, 48

Волинська область

м. Луцьк

Магазин «Знання»
пр. Волі, 41

Магазин «Буква»
вул. Сухомлинського, 1
(ТЦ «Порт Сіті», 3-й поверх, секція Б-323)

Дніпропетровська область

м. Дніпро

Магазин «Книголенд»
пр. Дмитра Яворницького, 60
Магазин «Буква»
вул. Глінки, 2
(ТЦ «Мост-Сіті»)
Магазин «Буклет»
вул. Дмитра Яворницького, 54
Магазин «Книги»
вул. Тополина, 6А
Магазин «Книги і канцтовари»
вул. Вокзальна, 5

м. Кривий Ріг

Магазин «Буквиця»
вул. Гагаріна, 4Б

м. Павлоград

Магазин «Буклет»
вул. Шевченка, 118

Донецька область

м. Краматорськ

Магазин «Буклет»
вул. Маяковського, 1М

Житомирська область

м. Житомир

Магазин «Буква»
вул. Київська, 77

Магазин «Знання»
вул. Київська, 17/1
Магазин «МегаКнига»
вул. Скорульського, 8
Магазин «Читай»
вул. Київська, 77 (ТЦ «Глобал-UA»)

Запорізька область

м. Запоріжжя

Книжковий супермаркет «Папірус»
пр. Соборний, 166
Магазин «Буква»
пр. Соборний, 147
(Універмаг «Україна»)
Магазин «Буклет»
вул. Лермонтова, 24

Івано-Франківська область

м. Івано-Франківськ

Торговий ряд
вул. Незалежності, 9

м. Коломия

Магазин «Книжкова хата»
вул. Чорновола, 51

м. Київ

Магазин «Буква»
вул. Гната Юри, 20 (ТЦ «Квадрат»)
пр. Академіка Глушкова,13Б
(ТЦ «Магелан», 3-й поверх)
пр. Оболонський, 1Б
(ТЦ «Dream Town»)
вул. Б. Хмельницького, 3Б
вул. Лаврухіна, 4 (ТЦ «Район»)
вул. Мішуги, 4 (ТЦ «Піраміда»)
вул. Хрещатик, 20-22 (Підземний перехід ст. м. «Майдан Незалежності»)
вул. Луначарського, 10
пл. Слави, 1 (ТЦ «Навігатор»)
Дніпровська набережна, 33
(ТРЦ «Аркадія»)
пл. Спортивна, 1А (ТРЦ «Гулівер»)
Магазин «Книжковий супермаркет»
вул. Межигірська, 3/7
вул. Будівельників, 4
пр. С. Бандери, 6
вул. О. Теліги, 146
вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Магазин «Книголенд»
Харківське шосе, 152
вул. Будівельників, 43/12
Магазин «Сяйво»
вул. Велика Васильківська, 6
Кіоск «Петрівка "Фоліо"»
Книжковий ринок «Петрівка»,
центральний ряд, місце 25
«Книгарня № 1»
пр. С. Бандери, 10Б
«Довженко. Книги. Кава. Кіно»
вул. Бульварно-Кудрявська, 43А
Магазин «Наш формат»
пров. Бєлінського, 5
www.nashformat.ua
Магазин «Смолоскип»
вул. Межигірська, 21
Магазин «Українська народна книгарня»
пл. Слави, 1 (ТЦ «Навігатор»)
Магазин «Знання України»
вул. Велика Васильківська, 57/3
Магазин «Літера»
вул. Артема, 103
вул. Льва Толстого, 11/61
Магазин «Книгарня № 52»
вул. Гагаріна, 13
«Київський бібліотечний колектор»
вул. 40-річчя Жовтня, 100/2
«Центр народознавства Магазин "Шабля козака Мамая"»
вул. М. Донця, 2
Магазин «Наукова Думка»
вул. Грушевського, 4
Магазин «Читайка»
вул. Вербова, 17
(ринок Петрівка)
Магазин «Книгарня»
вул. Пушкінська, 8А

Київська область

м. Бровари

Магазин «Буква»
вул. Незалежності, 3

Кіровоградська область

м. Кропивницький

Магазин «Буквиця»
вул. Пашутінська, 63

Львівська область

м. Львів

Магазин «Книги»
вул. Братів Рогатинців, 30
вул. Огієнка, 4
вул. Лисенка, 21
Магазин «Літера»
пр. Червоної Калини, 36
(ТЦ «Шувар»)
Магазин «Книжковий лев»
вул. Шевська, 6
Магазин «Літера»
вул. Княгині Ольги, 106
(Універмаг «Львів»)
Магазин «Книги Фоліо»
вул. Коперніка, 3
Магазин «Дім книги»
пл. А. Міцкевича, 8
Магазин «Дім книги»
вул. Торгова, 11
Магазин «Українська книгарня»
пр. Т. Шевченка, 8
Магазин «Книгообрій»
вул. Бузкова, 2
Магазин «Ноти»
пр. Т. Шевченка, 16

м. Дрогобич

Магазин «Скарбниця»
пл. Ринок, 11
Магазин «Дивосвіт»
вул. Туроша, 28

Миколаївська область

м. Миколаїв

Магазин «Буквиця»
вул. Радянська, 6

Одеська область

м. Одеса

Магазин «Книголенд»
вул. Преображенська, 82
вул. Катеринінська, 91
вул. Генерала Петрова, 9
Магазин «Книжковий супермаркет»
вул. Жуковського, 38
вул. Дерибасівська, 18
Магазин «Буква»
вул. Дерибасівська,14
Магазин «Книжкова казка»
вул. Ак. Глушка, 16
Магазин «Дом книги»
вул. Дерибасівська, 27
Магазин «Горизонт»
Люстдорфська дор., 54
Магазин «Книгарня-кав'ярня»
вул. Катеринінська, 77
Магазин «Книжкова крамниця»
вул. Троїцька, 30
Магазин «Антресоль»
вул. Новощіпний Ряд, 2
(ТЦ «Остров», 2-й поверх)

м. Чорноморськ

Магазин «Книжковий супермаркет»
пр. Мира, 16

Полтавська область

м. Полтава

Магазин «Буква»
вул. Шевченка, 29
Магазин «Книголенд»
вул. Жовтнева, 50

м. Кременчук
Магазин «Книголенд»
пр. Лесі Українки, 39
вул. Соборна, 7 (ТРЦ «Європа»)
пр. Свободи, 22А
Магазин «Буквица»
вул. Першотравнева, 52Б
(ТЦ «Престиж Хол»)

Рівненська область

м. Рівне
Магазин «Буква»
вул. Соборна, 47
Магазин «Просвіта»
вул. Грушевського, 17
Магазин «Слово»
вул. Соборна, 57
Магазин «Книги»
вул. Соборна, 316
Магазин «Дружба» і «Знання»
майдан Незалежності, 5
Магазин «Книгарня Ранок»
вул. Соборна, 57

м. Острог
Магазин «Магістр»
вул. Незалежності, 20/3

м. Дубно
Магазин «Дім книги»
вул. Замкова, 21

Сумська область

м. Суми
Магазин «Буква»
вул. Соборна, 44
пл. Покровська, 2
Магазин «Книголюб»
вул. Козацький Вал, 1
вул. Петропавлівська, 50

м. Конотоп
Магазин «Книголюб»
вул. Миру, 1
вул. Миру, 82

м. Тростянець
Магазин «Книголюб»
вул. Горького, 22

м. Охтирка
Магазин «Книголюб»
вул. Батюка, 47

м. Лебедин
Магазин «Книголюб»
пл. Інтернаціональна, 4А

м. Шостка
Магазин «Книголюб»
вул. Комуністична, 1
вул. Інтернаціональна, 34А

м. Білопілля
Магазин «Книголюб»
вул. Леніна, 69

м. Ромни
Магазин «Книголюб»
вул. Соборна, 8А
вул. Руденка, 22

Тернопільська область

м. Тернопіль
Магазин «Ярослав Мудрий»
вул. Руська, 19
Магазин «Підручники і посібники»
вул. Грушевського, 23
Магазин «Дім книги»
вул. Й. Сліпого, 1
вул. Коперника, 19
Магазин «Книжкова хата»
вул. Текстильна, 28ч
(ТРЦ «Подоляни»)
вул. Чорновола, 14

м. Чортків
Магазин «Книжкова хата»
пл. Ринок, 1

Харківська область

м. Харків
Магазин «Буква»
Окружна дорога, 4А
(ТРЦ «Магеллан»)
пр. Героїв Праці, 7
(ТРЦ «Караван»)
Магазин «Книголенд»
вул. Плехановська, 66
вул. Ак. Проскури, 5
пр. Гагаріна, 167
Стадіонний проїзд, 11
вул. 23 Серпня, 47
вул. Чернишевського, 14
вул. Валентинівська, 15/17
вул. Різдвяна, 33
вул. Грицевця, 29Б
пр. Тракторобудівників, 59/56
(ТРЦ «Україна»)
вул. Червоні ряди, 14
вул. Бучми, 1Б
пр. Московський, 252Б
пр. П. Григоренка, 37
пр. Індустріальний, 26
Магазин «ЗнакЪ»
пр. Науки, 17
Магазин «BOOKS»
вул. Сумська, 51
Магазин «Диалог»
вул. О. Яроша, 21
Магазин «Книжная лавка»
пров. Кравцова, 19
пл. Захисників України, 5/6

Херсонська область

м. Херсон
Магазин «Буква»
вул. Комунарів, 21

Хмельницька область

м. Хмельницький
Магазин «Дім книги»
вул. Грушевського, 50
Магазин «Книжковий світ»
вул. Подільська, 25

Черкаська область

м. Черкаси
Магазин «Буквица»
вул. Дашкевича, 19
Магазин «Світоч»
вул. Б. Вишневецького, 38

Чернігівська область

м. Чернігів
Магазин «Буква»
пр. Миру, 19
Магазин «Будинок книги»
пр. Миру, 45

Чернівецька область

м. Чернівці
Магазин «Буква»
пл. Соборна, 1

Закарпатська область

м. Ужгород
Магазин «Кобзар»
пл. Корятовича, 1
Бовт «Файні книги»
вул. Ш. Петефі, 47

м. Мукачеве
Магазин «Літера»
вул. Пушкіна, 2

Інтернет-магазини
Інтернет-магазин «Якабу»
www.yakaboo.ua
Інтернет-магазин «Петровка.юа»
www. petrovka.ua
Інтернет-магазин «Букля»
www. booklya. com.ua
Інтернет-магазин «Личности»
www. persons-books. com.ua
Інтернет-магазин «Книжная лавка»
www. lavkabooks.com.ua
Інтернет-магазин «Топ-книга»
www. topknige.com.ua